ISSN 0130-6545

7.1999

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

АРУНДАТИ РОЙ
Бог Мелочей

АРНО ШМИДТ
Гадир,
или
Познай самого себя

ЛИТературный ГИД

ГЕРТРУДА СТАЙН,
или Американка в Париже

МОСКВА

**Из общего тиража в 12 800 экземпляров
Институт «Открытое общество» ежемесячно
выкупает и безвозмездно направляет
в библиотеки России и ряда стран СНГ 3 500 экземпляров.**

**Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует ЗАО КОНВЕРСБАНК (Акционерный банк Конверсии).**

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Н.А. БОГОМОЛОВА — заведующая отделом критики и публицистики
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — ответственный секретарь
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
ОСНОВАН В 1891 ГОДУ.
ДО 1943 ГОДА ВЫХОДИЛ ПОД НАЗВАНИЯМИ «ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ», «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА».
С 1955 ГОДА — «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

7 **ИЮЛЬ** **1999**

СОДЕРЖАНИЕ

АРУНДАТИ РОЙ — Бог Мелочей *(Роман. Перевод с английского Л. Мотылева)*..... 5

АДАМ ЗЕМЯНИН — Стихи из цикла «Польские коврики» *(Перевод с польского и вступление Натальи Астафьевой)*..... 127

АРНО ШМИДТ — Гадир, или Познай самого себя *(Рассказ. Перевод с немецкого и вступление Т. Баскаковой)*..... 131

Литературный гид
ГЕРТРУДА СТАЙН, или АМЕРИКАНКА В ПАРИЖЕ

КЛОДИЯ РОТ ПИРПОНТ — Мать утраты смыслов. *Гертруда Стайн как первооткрывательница литературного модернизма (Перевод с английского В. Михайлина)*..... 148

ШЕРВУД АНДЕРСОН — Творчество Гертруды Стайн *(Перевод с английского А. Борисенко и В. Сонькина)*..... 163

ГЕРТРУДА СТАЙН — Тихая Лена *(Повесть. Перевод с английского В. Михайлина)*..... 165

ГЕРТРУДА СТАЙН — Париж Франция *(Фрагменты книги. Перевод с английского Т. Казавчинской)*..... 184

ДЖЕЙМС Р. МЕЛЛОУ — Зачарованный круг, или Гертруда Стайн и компания *(Главы из книги. Перевод с английского А. Борисенко и В. Сонькина)*.. 203

Гертруда Стайн: краткая летопись жизни и творчества..... 223

Галерея «ИЛ»

НИНА ГЕТАШВИЛИ — Гертруда Стайн и художники..... 227

Трибуна переводчика

«Всех этих слов на русском нет...» (Круглый стол «ИЛ», посвященный переводу ненормативной лексики)..... 231

Среди книг

С. ЗЕНКИН — Жорж Батай между возможным и невозможным..... 241

У книжной витрины..... 247

Курьер «ИЛ»..... 250

Авторы этого номера..... 253

©«Иностранная литература», 1999

В следующем номере «ИЛ»

Литературный гид «СЛОВО – БЕССЛОВЕСНЫМ», в котором собраны произведения, написанные от лица или «братьев наших меньших», или неодушевленных предметов. Здесь представлены авторы из Франции, Польши, Японии, Перу, а центральное место занимает веселый и виртуозный роман английского писателя **Тибора Фишера** «КОЛЛЕКЦИОННАЯ ВЕЩЬ», где повествователем является старинная ваза: ее воспоминания (чего она только не повидала на своем долгом веку!) чередуются с описаниями приключений современных персонажей.

Рассказы венгерского писателя **Шандора Тара**: тщательно выстроенный сюжет, жестокая правдивость в сочетании с тонкой лирикой и неожиданная, порой шоковая развязка.

Чтение и детство, чтение и молодость, чтение и зрелость — в темпераментном и эксцентричном эссе **Татьяны Толстой**.

Цветные иллюстрации номера — картины из коллекции Лео и Гертруды Стайн:

На 1-й стр. обложки — АНРИ МАТИСС. «Женщина в шляпе»
На 2-й стр. обложки — ПАБЛО ПИКАССО. «Портрет Гертруды Стайн»
На 3-й стр. обложки — МАРИ ЛОРАНСЕН. «Художник и его друзья»
На 4-й стр. обложки — ПАБЛО ПИКАССО. «Девочка с цветочной корзинкой»

В Москве журнал можно приобрести в редакции,
а также в книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
книжный центр «Проект О.Г.И.» — Трехпрудный пер., д.11/13
«Летний сад» — ул. Большая Никитская, д.46
«Мир печати» — ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://www.infoart.ru/magazine/inostran

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Отпечатано с готовых диапозитивов. Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 28.06.99. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,71. Заказ №4315.

Тираж 12 800 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

АРУНДАТИ РОЙ

Бог Мелочей

РОМАН

Перевод с английского Л. МОТЫЛЕВА

Мэри Рой, которая вырастила меня.
Которая научила меня извиняться перед тем,
как перебить ее Публично.
У которой хватило любви ко мне,
чтобы отпустить меня.
LKC — от той, что, как ты, выжила.

Никогда больше отдельно взятая повесть
не будет рассказана так, словно она — единственная.

Джон Берджер

1. Райские соленья и сладости

Май в Айéменеме — знойный, тяжелый месяц. Дни долгие и паркие. Река мелеет, и черные вороны набрасываются на яркие плоды манго в пыльно-зеленых застывших кронах. Зреют розовые бананы. Лопаются плоды хлебного дерева. Праздные синие мухи пьяно гудят в приторном воздухе. Потом с лёта ударяются в оконные стекла и дохнут, недоуменно раздуваясь на солнце.

Ночи ясные, но отравленные ленью и угрюмым предчувствием.

В начале июня юго-западный муссон приносит три месяца ветра и воды с короткими проблесками ослепительного солнца, когда взбудораженные дети спешат наиграться. Земля сдается на милость бешеной зелени. Границы размываются: маниоковые изгороди пускают корни и зацветают. Кирпичные стены становятся мшисто-зелеными. Перечные лианы взбираются по столбам линий электропередачи. Ползучие растения прорывают плотный прибрежный латерит и перекидывают стебли через полотно залитых водой дорог. По базарным площадям снуют лодки. В рытвинах, оставленных дорожными рабочими, заводятся мальки.

В такую-то дождливую погоду Рахель вернулась в Айеменем. Косые серебристые канаты хлестали рыхлую землю, вспахивая ее, как пулеметные очереди. Старый дом на пригорке низко, как шапку, надвинул от дождя крутую двускатную крышу. Стены с прожилками мха утратили твердость и слегка вспучились, напитавшись влагой от земли. Заросший, одичавший сад был полон шмыганья и шелеста мелких существ. В траве полоз терся о блестящий камень. Желтые лягушки

© Arundhati Roy, 1997
© Л. Мотылев. Перевод, 1999
Консультант — А. М. Дубянский

бороздили пенящийся пруд в надежде найти пару. Вымокший мангуст перебежал засыпанную листьями подъездную дорожку.

Дом казался пустым и заброшенным. Двери и ставни были заперты, передняя веранда оголена. Мебель оттуда вынесли. Но лазурного цвета «плимут» с хромированными крылышками по-прежнему стоял около дома, а в доме по-прежнему жила Крошка-кочаммá.

Это была двоюродная бабушка Рахели, младшая сестра ее деда. Настоящее ее имя было Навоми, Навоми Айп, но все с детства звали ее Крошкой. Повзрослев, она стала Крошкой-кочаммой, то есть Крошкой-тетушкой. Рахель, однако, приехала вовсе не к ней. Ни внучатная племянница, ни двоюродная крошка-бабушка не питали на этот счет никаких иллюзий. Рахель приехала повидать брата Эсту. Они были двуяйцевые близнецы. Врачи говорили — «дизиготные». Произошедшие от разных, но одновременно оплодотворенных яйцеклеток. Эста (полное имя — Эстáппен) был старше на восемнадцать минут.

Они — Эста и Рахель — вовсе не были так уж похожи внешне и даже в тонко-руко-плоскогрудом детстве с его глистами и зачесами под Элвиса Пресли не вызывали обычных вопросов типа «Кто — он, кто — она?» ни у слащаво-улыбчивых родственников, ни у епископов Сирийской православной церкви, которые частенько наведывались в их Айеменемский Дом за пожертвованиями.

Путаница крылась глубже, в более потаенных местах.

В те ранние, смутные годы, когда память только зарождалась, когда жизнь состояла из одних Начал без всяких Концов, когда Всё было Навсегда, Я означало для Эстаппена и Рахели их обоих в единстве, Мы или Нас — в раздельности. Словно они принадлежали к редкой разновидности сиамских близнецов, у которых слиты воедино не тела, а души.

Рахель и сейчас, хотя прошло много лет, помнит, как однажды проснулась ночью, хихикая из-за приснившегося Эсте смешного сна.

Есть у нее и другие воспоминания, на которые она не имеет права.

Она помнит, к примеру (хоть и не была рядом), как Апельсиново-Лимонный Газировщик обошелся с Эстой в кинотеатре «Абхилаш». Она помнит вкус сандвичей с помидором — сандвичей *Эсты*, которые он ел в Мадрасском Почтовом по пути в Мадрас.

И это только лишь мелочи.

Но сейчас она мысленно называет Эсту и Рахель *Они*, потому что по отдельности и тот и другая уже не такие, какими *Они* были или когда-либо намеревались стать.

Ничего общего.

Их жизни теперь обрели очертания. Свои — у Эсты, свои — у Рахели.

Края, Границы, Контуры, Рубежи и Пределы ватагами троллей возникли на их раздельных горизонтах. Коротышки, отбрасывающие длинные тени и патрулирующие Размытую Область. Под глазами у близнецов темнеют нежные полумесяцы; им столько же лет, сколько было Аммý, когда она умерла. Тридцать один.

Не старость.

Не молодость.

Жизнесмертный возраст.

Эста и Рахель, можно сказать, едва не родились в автобусе. Машина, в которой Бабá, их отец, вез Амму, их мать, в родильный дом в Шиллонг, сломалась на дороге, круто петлявшей среди чайных плантаций штата Ассам. Они вышли на дорогу и, размахивая руками, остановили переполненный рейсовый автобус. Прояв-

ляя своеобразное сочувствие очень бедных к сравнительно богатым, — а может быть, просто потому, что видели, какой необъятный живот у Амму, — сидячие пассажиры уступили супругам место, и всю дорогу отцу Эсты и Рахели приходилось держать руками живот их матери (с ними самими внутри), смягчая тряску. Это, естественно, было до того, как они развелись и Амму вернулась к родным в южный штат Ке́рала.

Послушать Эсту, так если бы они и вправду родились в автобусе, им всю жизнь можно было бы кататься на автобусах бесплатно. Непонятно было, откуда он это знает, где получил такую информацию, но, так или иначе, близнецы не один год слегка сердились на родителей за то, что они лишили их этой привилегии.

А еще они были уверены, что если бы их сбила машина на «зебре» для пешеходов, Государство оплатило бы похороны. Они определенно полагали, что для этого-то «зебры» и существуют. Для бесплатных похорон. Конечно, таких «зебр» в Айеменеме не было, как не было их даже в ближайшем городе Ко́ттаяме, однако близнецы видели их иногда в окно машины, когда ездили в Ко́чин, до которого было два часа пути.

Правительство не оплатило похорон Софи-моль, потому что она погибла не на «зебре». Заупокойная служба прошла в Айеменеме, в старой церкви, которую незадолго до того вновь покрасили. Софи-моль была двоюродной сестрой Эсты и Рахели, дочерью их дяди Чакко. Она приехала к ним в гости из Англии. Когда она умерла, Эсте и Рахели было семь лет. Софи-моль было почти девять. Для нее сделали специальный детский гробик.

Обитый внутри атласом.

С латунными ручками.

Она лежала в нем в своих желтых кримпленовых брючках клеш, со стянутыми лентой волосами, со своей любимой стильной английской сумочкой. Ее лицо было бледное и сморщенное, как палец дхоби[1], который долго не вынимал рук из воды. На панихиду собралась чуть не вся община, и от заупокойного пения желтая церковь распухла, как больное горло. Священнослужители с курчавыми бородами махали кадилами с курящимся ладаном и не улыбались детям так, как улыбались в обычные воскресенья.

Длинные свечи перед алтарем были изогнуты. Короткие — нет.

Старая женщина, изображающая из себя дальнюю родственницу (никто не знал, кто она такая, но она часто появлялась у гроба на панихидах — похоронная наркоманка? скрытая некрофилка?), смочила ватку одеколоном и мягко-благочестиво-вызывающе провела ею по лбу Софи-моль. Мертвая девочка пахла одеколоном и гробовой древесиной.

Маргарет-кочамма, английская мать Софи-моль, не позволила Чакко, биологическому отцу умершей, обнять себя за плечи.

Семья стояла в церкви маленькой кучкой. Маргарет-кочамма, Чакко, Крошка-кочамма, а рядом с ней ее невестка Маммачи — бабушка Эсты, Рахели и Софи-моль. Маммачи была почти слепая и вне дома всегда носила темные очки. Слезы стекали из-за очков по щекам и дрожали у нее на подбородке, как дождевые капли на карнизе. В своем кремовом накрахмаленном сари она выглядела маленькой и больной. Чакко был ее единственный сын. Ее собственное горе мучило ее. Его горе убивало ее.

Хотя Амму, Эсте и Рахели разрешили прийти на отпевание, они должны были стоять отдельно от остальной семьи. Никто не смотрел на них.

---

[1] Дхоби — мужчина-прачка (*хинди*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

В церкви было жарко, и лепестки белых лилий уже подсыхали и заворачивались по краям. В чашечке гробового цветка умерла пчела. Руки Амму ходили ходуном, а с ними вместе — ее молитвенник. Кожа у нее была холодная. Эста в полуобмороке стоял к ней вплотную, его остекленевшие глаза болели, его горящая щека прижималась к голой дрожащей руке Амму, в которой та держала молитвенник.

Рахель, напротив, яростно, из последних сил бодрствовала, вся — как натянутая струна из-за выматывающей битвы с Реальной Жизнью.

Она заметила, что ради собственного отпевания Софи-моль очнулась. Она показала Рахели Одно и Другое.

Одно — это был заново выкрашенный высокий купол желтой церкви, на который Рахель никогда раньше не смотрела изнутри. Купол был голубой, как небо, по нему плыли облака и со свистом неслись крохотные реактивные самолетики, оставляя среди облаков перекрестные белые следы. Все это, разумеется, куда легче заметить, лежа в гробу лицом вверх, чем стоя в тесной толпе среди горестных бедер и молитвенников.

Рахель задумалась о человеке, который ухитрился забраться на такую верхотуру с ведрами краски — белой для облаков, голубой для неба, серебристой для самолетиков, — да еще с кистями и растворителем. Она вообразила, как он там лазает, голоспинный и блестящий, похожий на Вéлютту, как он сидит на доске, подвешенной к лесам под куполом церкви, и рисует серебристые самолетики в голубом церковном небе.

Она задумалась о том, что было бы, если бы веревка оборвалась. Вообразила, как он падает, темной звездой прочерчивая им же сотворенное небо. Потом лежит весь переломанный на горячем церковном полу, выплеснув на него из черепа темную, потаенную кровь.

К тому времени Эстаппен и Рахель уже успели кое-что узнать о способах ломки людей. Они успели познакомиться с запахом. Тошнотворная сладость. Словно от старых роз принесло ветром.

Другое из того, что Софи-моль показала Рахели, — это был крошечный летучий мышонок.

Пока шла заупокойная служба, Рахель наблюдала, как черный зверек, деликатно цепляясь кривыми коготками, лезет вверх по дорогому траурному сари Крошки-кочаммы. Когда он прополз между сари и короткой блузкой и добрался до голого живота с его многолетними дряблыми отложениями печали, Крошка-кочамма закричала и замахала молитвенником. Пение смолкло, сменившись недоуменными «чтотакое» и «чтослучилось», мохнатой возней и хлопаньем сари.

Скорбные священнослужители принялись расчесывать курчавые бороды пальцами в золотых перстнях, как если бы незримые пауки вдруг сплели там паутину.

Летучий мышонок взмыл в небеса и превратился в реактивный самолетик без перекрещенного следа.

Рахель одна из всех увидела, как Софи-моль тайком крутанулась в гробу.

Скорбное пение возобновилось, и второй раз был произнесен тот же скорбный стих. Вновь желтая церковь распухла от голошения, как больное горло.

Когда Софи-моль опускали в землю на маленьком кладбище позади церкви, Рахель знала, что она еще не умерла. Рахель слышала (ушами Софи-моль) мягкие звуки красной глины и твердые звуки оранжевого латерита, падавших комьями и портивших блестящую полировку гроба. Глухие толчки доносились до нее сквозь деревянную полированную крышку, сквозь атласную обивку. Заглушаемые землей и древесиной, звучали скорбные голоса священников:

Влагаем в руки Твои, всемилостивейший Отче,
Отлетевшую душу дочери нашей,
Смертное же тело опускаем в могилу —
Земля к земле, прах ко праху, персть к персти.

Там, в глубине земли, Софи-моль кричала и раздирала атлас зубами. Но крики невозможно было расслышать сквозь слой глины и камней.

Софи-моль умерла, потому что ей нечем было дышать.

Ее убили похороны. *Персть — шерсть, персть — шерсть, персть — шерсть.* На могильном камне было написано: «Лучик, просиявший так мимолетно».

Амму потом объяснила, что «так мимолетно» значит «на короткое время».

После похорон Амму повезла близнецов в Коттаям, в полицейский участок. Это место было уже им знакомо. Накануне они провели там немалую часть дня. Помня едкий, дымный запах застарелой мочи, который шел там от стен и мебели, они заранее зажали пальцами ноздри.

Амму спросила, на месте ли начальник участка, и, когда ее провели к нему в кабинет, сказала, что произошла ужасная ошибка и что она хочет сделать заявление. Потом спросила, нельзя ли увидеть Велютту.

Усы у инспектора Томаса Мэтью топорщились, как у добродушного махараджи с рекламы авиакомпании «Эйр Индия», но глаза у него были хитрые и жадные.

— Не поздновато ли, а? — спросил он. Он говорил на малаялам[1], на грубом коттаямском диалекте, и смотрел при этом на груди Амму. Он сказал, что коттаямская полиция знает все, что ей нужно знать, и не принимает никаких заявлений от *вешья*[2] и от их приблудных детей. Амму сказала, что это ему даром не пройдет. Инспектор Томас Мэтью обошел свой письменный стол и приблизился к Амму с дубинкой в руке.

— Я бы на вашем месте, — проговорил он, — возвращался домой подобру-поздорову.

Потом он дотронулся дубинкой до ее грудей. Легонько. *Раз, два.* Как будто выбирал манго из базарной корзинки. Вот эти — к его столу. Инспектор Томас Мэтью, видно, знал, кого можно тронуть, а кого нет. Инстинкт полицейского.

Позади него висел красно-синий плакат:

Прямота
Опыт
Лояльность
Интеллект
Целеустремленность
Истина
Ясность

Когда они вышли из участка, Амму плакала, поэтому Эста и Рахель не стали спрашивать ее, что такое *вешья.* И что такое *приблудные.* Впервые в жизни они видели, как мать плачет. Рыданий не было слышно. Лицо оставалось каменно-застывшим, но слезы текли и текли из глаз и сбегали по неподвижным щекам. От этого зрелища детей захлестнуло страхом. Плач Амму сделал реальным все, что до сих пор казалось нереальным. Они возвращались в Айеменем автобусом. Кондуктор, худой человек в хаки, приблизился к ним, скользя рукой по стальному поручню. Прислонившись костлявым бедром к спинке сиденья и глядя на Амму, он щелкнул

[1] Малаялам — язык народа малаяли, населяющего штат Керала в южной Индии, где происходит действие романа.

[2] Вешья — проститутка (*хинди*).

компостером. В смысле, *докуда вам?* Рахель чувствовала бумажный запах от рулончика билетов и кислометаллический запах поручней от ладоней кондуктора.

— Он умер, — шепнула ему Амму. — Я его убила.

— Айеменем, — поспешил сказать Эста, пока кондуктор не рассердился.

Он вынул деньги из кошелька Амму. Кондуктор дал ему билеты. Эста тщательно сложил их и засунул в карман. Потом обхватил маленькими ручонками свою окаменевшую, плачущую мать.

Через две недели Эсту Отправили. Амму принудили отослать его к их отцу, который к тому времени уже ушел с работы на отдаленной чайной плантации в штате Ассам и переехал в Калькутту, где устроился на предприятие по производству газовой сажи. Он женился вторично, перестал пить (более или менее) и срывался в запой лишь изредка.

С той поры Эста и Рахель не видели друг друга.

И вот теперь, двадцать три года спустя, их отец Отправил сына Назад. Он послал Эсту в Айеменем с чемоданом и письмом. Чемодан был полон модной одежды с иголочки. Письмо Крошка-кочамма дала Рахели прочесть. Оно было написано женским наклонным почерком, вызывавшим в памяти монастырскую школу, но подпись в самом низу была отцовская. Фамилия по крайней мере. Рахель ведь не знала подписи отца. Письмо гласило, что он, их отец, уволился с прежней работы и собирается эмигрировать в Австралию, где ему предложили должность начальника охраны на керамической фабрике; взять с собой Эсту он не может. Он шлет всем в Айеменем наилучшие пожелания и обещает, что заедет повидаться с Эстой, если когда-либо вернется в Индию, что, по правде говоря, маловероятно.

Крошка-кочамма сказала Рахели, что она может взять письмо себе, если хочет. Рахель положила его обратно в конверт. Бумага сделалась дряблой и похожей на ткань.

Она успела позабыть, каким влажным бывает воздух в Айеменеме во время муссонов. Набухшая мебель трещала. Закрытые окна распахивались со стуком. Книжные страницы становились мягкими и волнистыми. Вечерами, как внезапные догадки, влетали странные насекомые и сгорали на тусклых сорокаваттных лампочках Крошки-кочаммы. Утром их ломкие обугленные трупики валялись на полу и подоконниках, и пока Кочу Мария не заметала их в пластмассовый совок и не выбрасывала, в воздухе пахло Паленым.

Они, эти Июньские Дожди, остались какими были.

Обрушиваясь с разверзшихся небес, вода насильно возвращала к жизни брюзгливый старый колодец, расцвечивала мшистой зеленью заброшенный свинарник, бомбардировала застойные, чайного цвета лужи, как память бомбардирует застойные, чайного цвета рассудки. Трава была сочно-зеленая и довольная на вид. В жидкой грязи блаженствовали багровые земляные черви. Крапива кивала. Деревья клонили кроны.

А там, поодаль, на берегу реки, среди ветра, дождя и дневной шквалистой тьмы, расхаживал Эста. На нем была футболка цвета давленой клубники, теперь мокрая и потемневшая, и он знал, что Рахель вернулась.

Эста всегда был тихим мальчиком, поэтому никто не мог сказать хоть с какой-то степенью точности, когда (даже в каком году, не говоря уже о месяце и дне) он перестал говорить. То есть совсем умолк. В том-то и дело, что не было такого момента. Он не сразу прикрыл лавочку, а сворачивал дело постепенно. Еле заметно убавлял звук. Словно он истощил запас общения и теперь говорить стало вовсе не

о чем. Однако молчание Эсты было лишено всякой неловкости. Оно не было вызывающим. Не было громким. Не обвиняющее, не протестующее молчание — нет, скорее оцепенение, спячка, психологический эквивалент состояния, в которое впадают двоякодышащие рыбы, чтобы пережить сухую пору, только вот для Эсты сухая пора, казалось, будет длиться бесконечно.

Со временем он развил в себе способность, где бы он ни находился, сливаться с фоном — с книжными полками, деревьями, занавесками, дверными проемами, стенами домов — и стал казаться неодушевленным, сделался почти невидим для поверхностного взгляда. Чужие люди, находясь с ним в одной комнате, обычно не сразу его замечали. Еще больше времени им требовалось, чтобы понять, что он не говорит. До иных это так и не доходило.

Эста занимал в мире очень немного места.

После похорон Софи-моль, когда Эсту Отправили, их отец отдал его в школу для мальчиков в Калькутте. Он не был отличником, но не был и отстающим, по всем предметам более или менее успевал. «Удовлетворительно», «Работает на среднем уровне» — таковы были обычные отзывы учителей в ежегодных характеристиках. Постоянной жалобой было: «Не участвует в классных мероприятиях». Хотя что это за классные мероприятия, никогда не объяснялось.

Окончив школу с посредственными оценками, Эста отказался поступать в колледж. Вместо этого он, к немалому изумлению отца и мачехи, принялся делать домашнюю работу. Словно хотел таким способом возместить затраты на свое содержание. Он подметал и мыл полы, взял на себя всю стирку. Он научился готовить, стал ходить на базар за продуктами. Торговцы, сидевшие за своими пирамидами из лоснящихся маслянистых овощей, узнавали его и обслуживали без очереди, несмотря на ругань других покупателей. Они давали ему ржавые жестянки из-под кинопленки, чтобы складывать отобранные овощи. Он никогда не торговался. Они никогда его не обманывали. Когда овощи были взвешены и оплачены, торговцы перекладывали их в его красную пластмассовую корзину (лук на дно, баклажаны и помидоры — наверх) и всегда давали ему бесплатно пучок кинзы и несколько стручков жгучего перца. Эста вез покупки домой в переполненном трамвае. Пузырек тишины в океане шума.

Когда сидели за столом и ему хотелось чего-нибудь, он вставал и накладывал себе сам.

Возникнув в Эсте, молчание копилось и ширилось в нем. Оно тянуло свои текучие руки из его головы и обволакивало все тело. Оно качало его в древнем, эмбриональном ритме сердцебиения. Оно потихоньку распространяло внутри его черепа свои осторожные ветвистые щупальца, ликвидируя, словно пылесосом, неровности памяти, изгоняя старые фразы, похищая их с кончика языка. Оно лишало его мысли словесной одежды, оставляя их нагими и оцепеневшими. Непроизносимыми. Немыми. Для внешнего наблюдателя едва ли вообще существующими. Медленно, год за годом Эста отдалялся от мира. Ему стал привычен этот осьминог, бесцеремонно обосновавшийся в нем и прыскавший на его прошлое транквилизатором чернильного цвета. Мало-помалу первопричина немоты стала ему недоступна, погребенная где-то среди глубоких, спокойных складок молчания как такового.

Когда Кхубчанд, его любимый, слепой, плешивый, писающийся беспородный пес семнадцати лет от роду, решил не откладывать дальше свою горемычную кончину, Эста так ухаживал за ним на последнем, мучительном отрезке пути, словно дело шло о его собственной жизни. В предсмертные месяцы Кхубчанд, чьим наилучшим намерениям мешал осуществиться крайне ненадежный мочевой пузырь, из последних сил волочился к собачьей калитке, висевшей на петлях в нижней ча-

сти двери, что вела на задний двор; толкнув калитку носом, он просовывал наружу только голову и мочился *в доме* неровной, петляющей ярко-желтой струей. После чего с пустым мочевым пузырем и чистой совестью пес бросал на Эсту взгляд своих тускло-зеленых глаз, стоявших как тинистые пруды посреди седой старческой поросли, и ковылял обратно к сырой подстилке, оставляя на полу мокрые следы. Когда умирающий Кхубчанд лежал на своей подстилке, Эста мог видеть окно спальни, отраженное в его гладких багровых глазных яблоках. И небо за окном. А однажды — пролетающую мимо птицу. Чудом показался Эсте, погруженному в запах старых роз, напитанному памятью о переломанном человеке, тот факт, что нечто столь хрупкое, столь невыносимо нежное смогло сохраниться, *имело право* на существование. Птица в полете, отраженная в глазах умирающей собаки. Мысль заставила его громко рассмеяться.

Когда Кхубчанд умер, Эста принялся расхаживать. Он расхаживал без отдыха часами. Поначалу поблизости от дома, но с каждым разом удаляясь все больше и больше.

Люди привыкли видеть его на улицах. Чисто одетый мужчина со спокойной походкой. Его лицо потемнело и обветрилось. Загрубело от солнца. На нем появились морщинки. Эста начал выглядеть более умудренным, чем был на самом деле. Как забредший в город рыбак. Человек, которому ведомы морские тайны.

Теперь, когда его Отправили Назад, Эста расхаживал по Айеменему.

Иногда он бродил по берегам реки, которая пахла фекалиями и купленными на займы от Всемирного банка пестицидами. Почти вся рыба в ней погибла. Уцелевшие экземпляры страдали от плавниковой гнили и были покрыты волдырями.

В другие дни он шел по улице. Мимо новеньких, только что выпеченных, глазированных домиков, построенных на нефтяные деньги медсестрами, каменщиками, электриками и банковскими служащими, которые тяжко и несчастливо трудились в странах Персидского залива. Мимо обиженных старых строений, позеленевших от зависти, укрывшихся в конце своих частных подъездных дорожек под своими частными каучуковыми деревьями. Каждое — пришедшая в упадок феодальная вотчина со своей историей.

Он шел мимо сельской школы, которую его прадед построил для неприкасаемых.

Мимо желтой церкви, где отпевали Софи-моль. Мимо Айеменемского молодежного клуба борьбы кун-фу. Мимо детского сада «Нежные бутоны» (для прикасаемых), мимо торговавшего по карточкам магазина, где можно было купить рис, сахар и бананы, висевшие под крышей желтыми гроздьями. К натянутым веревкам бельевыми прищепками были прикреплены дешевые эротические издания с разнообразными мифическими южноиндийскими секс-монстрами. Журнальчики лениво поворачивались на теплом ветру, соблазняя бесхитростных предъявителей карточек взглядами голых пышнотелых красоток, лежащих в лужах поддельной крови.

Иногда Эста шел мимо типографии «Удача», принадлежавшей пожилому К. Н. М. Пиллею — товарищу Пиллею; раньше там базировалась айеменемская ячейка марксистской партии, проводились полуночные инструктивные собрания, печатались и распространялись брошюры и листовки с зажигательными текстами коммунистических песен. Колыхавшийся над крышей флаг теперь выглядел старым и потрепанным. Кумач выцвел от солнца.

Что касается самого товарища Пиллея, он выходил поутру из дома в старой сероватой майке из эйртекса и мунду[1] из мягкой белой ткани, скульптурно обле-

[1] Му́нду — традиционная одежда наподобие юбки, спускающейся ниже колен. Мунду носят и мужчины, и женщины.

гавшей его мужские части. Он умащал себя нагретым и приперченным кокосовым маслом, втирая его в дряблую стариковскую плоть, которая тянулась, как жевательная резинка. Он жил теперь один. Его жена Кальяни умерла от рака яичников. Его сын Ленин переехал в Дели, где работал подрядчиком, обслуживая иностранные посольства.

Если товарищ Пиллей, когда Эста шел мимо, натирался маслом на свежем воздухе, он не упускал случая поприветствовать проходящего.

— Эста-мон! — кричал он своим высоким пронзительным голосом, теперь, однако, волокнистым и обмахрившимся, как тростниковая дудочка, с которой счистили кожицу. — Доброго утречка! Ежедневная прогулка, да?

Эста шел мимо него — и не грубый, и не вежливый. Просто безмолвный.

Товарищ Пиллей охлопывал себя руками сзади и спереди, стимулируя кровообращение. Ему не ясно было, узнал ли его Эста после стольких лет. Не то чтобы это его особенно заботило. Хотя его роль во всей истории была отнюдь не второстепенной, товарищ Пиллей ни в малейшей степени не считал себя лично виновным в чем бы то ни было. Он списал случившееся по разряду Неизбежных Издержек Взятой Политической Линии. Старая песня насчет леса и щепок. Товарищ К. Н. М. Пиллей был, надо сказать, до мозга костей политиком. Профессиональным лесорубом. Он пробирался по жизни, как хамелеон. Всегда в маске, но всегда якобы открытый. Открытый на словах, но отнюдь не на деле. Без особых потерь сквозь любую заваруху.

Он первым в Айеменеме узнал о возвращении Рахели. Новость не столько встревожила его, сколько возбудила его любопытство. Эста был для товарища Пиллея, можно сказать, чужаком. Его изгнание из Айеменема было стремительным и бесцеремонным, и произошло оно очень давно. Но Рахель товарищ Пиллей знал хорошо. Она росла у него на глазах. Он задумался о том, что побудило ее вернуться. После стольких лет.

До приезда Рахели в голове у Эсты была тишина. Приехав, она принесла с собой шум встречных поездов и мельканье пятен света и тени, словно ты сидишь у окна вагона. Мир, от которого Эста так долго был отгорожен запертой дверью, внезапно хлынул внутрь, и теперь Эста не мог слышать самого себя из-за шума. Поездá. Машины. Музыка. Фондовая биржа. Точно прорвало какую-то дамбу и все понеслось в кружении бешеной воды. Кометы, скрипки, парады, одиночество, облака, бороды, фанатики, списки, флаги, землетрясения, отчаяние — все смешалось в этом свирепом водовороте.

Вот почему Эста, идя по берегу реки, не чувствовал, что на него льет и льет дождь, не чувствовал внезапную дрожь в тельце озябшего щенка, который прибился к нему на время и жался к его ногам, семеня по лужам. Эста шел мимо старого мангустана до конца узкого латеритного мыса, омываемого рекой. Там он сидел на корточках под дождем и раскачивался взад-вперед. Жидкая грязь под его ногами грубо хлюпала. Продрогший щенок трясся — и смотрел.

К тому времени, как Эсту Отправили Назад в Айеменемский Дом, там осталось только два человека: Крошка-кочамма и желчная, раздражительная карлица-кухарка Кочу[1] Мария. Маммачи, бабушка Эсты и Рахели, уже умерла. Чакко уехал жить в Канаду, где без особого успеха торговал индийской стариной.

Теперь о Рахели.

Когда умерла Амму (незадолго до смерти она в последний раз приехала в Ай-

[1] Кочу — маленькая (*малаялам*).

еменем, опухшая от кортизона, издававшая при вдохе и выдохе странный звук, похожий на человеческий крик издали), Рахель поплыла. Из одной школы в другую. Выходные она проводила в Айеменеме, где ее почти напрочь игнорировали Чакко и Маммачи (они обмякли от горя, тяжко осели от утраты, как пара пьяниц за столиком тодди-бара[1]) и где она почти полностью игнорировала Крошку-кочамму. В том, что касалось Рахели, Чакко и Маммачи были мало на что способны. Они заботились о ней материально (еда, одежда, плата за учебу), но были безразличны душевно.

Утрата Софи-моль тихо расхаживала по Айеменемскому Дому в одних носочках. Она пряталась в книжках, в пище. В скрипичном футляре Маммачи. В болячках на икрах у Чакко, которые он постоянно ковырял. В его по-женски дряблых ногах.

Странно, что иногда память о смерти живет намного дольше, чем память о жизни, которую она оборвала. С годами память о Софи-моль (искательнице малых мудростей: *Где умирают старые птицы? Почему умершие не хлопаются с неба нам на головы?* Вестнице жестоких истин: *Вы — целиком черномазые, а я только половинка.* Гуру горя: *Я видела человека, которого сбила машина, у него глаз болтался на нерве, как чертик на ниточке*) постепенно блекла, но Утрата Софи-моль все тучнела и наливалась силой. Она всегда была на виду. Как плод в пору спелости. Нескончаемой спелости. Она была постоянна, как государственная служба. Она вела Рахель сквозь детство (из одной школы в другую) во взрослую жизнь.

Рахель впервые попала в черный список в одиннадцать лет в школе при Назаретском женском монастыре, когда она украшала цветочками свежую коровью лепешку у калитки в садик старшей воспитательницы и была обнаружена за этим занятием. На следующее утро на общем собрании ее заставили найти в Оксфордском словаре английского языка слово «греховность» и вслух прочесть его значение. *Свойство или состояние человека, нарушающего нравственные установления,* — читала Рахель; позади нее шеренгой сидели монашенки с поджатыми губами, впереди колыхалось море хихикающих девичьих лиц. — *Вина перед Господом; моральная ущербность; изначальная испорченность человеческой природы вследствие первородного греха. «Как избранники, так и отверженцы являются в мир в состоянии абсолютной г. и отчуждения от Господа и сами по себе способны только на грех». Дж. Х. Блант.*

Через шесть месяцев ее исключили из-за неоднократных жалоб со стороны старших девочек. Ее обвинили (вполне справедливо) в том, что она пряталась за дверьми и нарочно сталкивалась со входящими старшеклассницами. Допрошенная директрисой (с применением уговоров, побоев, лишения пищи), она наконец созналась, что хотела таким способом выяснить, болят ли у них от столкновения груди. В этом христианском заведении считается, что никаких грудей и в помине нет. Они вроде бы не существуют, а раз так, могут ли они болеть?

Это было первое из трех исключений. Второе — за курение. Третье — за поджог пучка накладных волос старшей воспитательницы, в похищении которого Рахель созналась после допроса с пристрастием.

Во всех школах, где она училась, педагоги отмечали, что она

а) чрезвычайно вежлива,

б) ни с кем не дружит.

Испорченность проявляла себя в учтиво-обособленной форме. Из-за чего данный случай, в один голос говорили они (смакуя свое учительское неодобрение, ощупывая его языком, обсасывая, как леденец), выглядел тем более серьезным.

---

[1] Тодди — разновидность пунша.

Такое впечатление, шептались они между собой, *что она не умеет быть девочкой.*

Они, в общем, были недалеки от истины.

Странным образом результатом взрослого пренебрежения стала душевная свобода.

Никем не наставляемая, Рахель росла как трава. Никто не подыскивал ей мужа. Никто не собирался давать за ней приданое, поэтому на горизонте не маячил принудительный брак.

Так что, если не слишком высовываться, она была свободна для своих личных изысканий. Темы: груди, и сильно ли они болят; накладные пучки, и ярко ли они горят; жизнь, и как ее прожить.

Окончив школу, она сумела поступить в делийский архитектурный колледж средней руки. Не сказать, чтобы она испытывала к архитектуре серьезный интерес. Или даже поверхностное любопытство. Просто получилось так, что она выдержала вступительный экзамен и прошла по конкурсу. На преподавателей произвели впечатление огромные габариты ее не слишком умелых натюрмортов углем. Беспечную размашистость линий они ошибочно приняли за уверенность художника, хотя, по правде говоря, художнической жилки у Рахели не было.

Она проучилась в колледже восемь лет, так и не сумев одолеть пятилетний курс и получить диплом. Плата за обучение была низкая, и наскрести на жизнь было, в общем, нетрудно, если жить в общежитии, питаться в субсидируемой студенческой столовке, ходить на занятия от случая к случаю и работать чертежницей в унылых архитектурных фирмах, эксплуатирующих дешевый труд студентов, на которых, если что не так, всегда можно свалить вину. Других студентов, особенно юношей, пугало своенравие Рахели и ее почти яростное нежелание быть амбициозной. Они обходили ее стороной. Они никогда не приглашали ее в свои милые дома, на свои шумные вечеринки. Даже преподаватели немного побаивались Рахели с ее замысловатыми, непрактичными строительными проектами, представляемыми на дешевой оберточной бумаге, и с ее безразличием к жаркой критике с их стороны.

Время от времени она писала Чакко и Маммачи в Айеменем, но ни разу туда не приехала. Даже на похороны Маммачи. Даже на проводы Чакко, уезжавшего в Канаду.

Как раз во время учебы в архитектурном колледже и случилось у нее знакомство с Ларри Маккаслином, который собирал в Дели материалы для своей докторской диссертации «Энергетическая напряженность в национальной архитектуре». Он приметил Рахель в библиотеке колледжа, а потом, несколько дней спустя, — на рынке Хан-маркет. Она была в джинсах и белой футболке. Кусок старого лоскутного покрывала был накинут на ее плечи, как пелеринка, и застегнут спереди пуговицей. Ее буйные волосы были туго стянуты сзади, чтобы казалось, будто они прямые, хотя прямыми они не были. На одном из крыльев носа у нее поблескивал крохотный брильянтик. У нее были до нелепости красивые ключицы и симпатичная спортивная походка.

Следуй за джазовой мелодией, подумал про себя Ларри Маккаслин и пошел за ней в книжный магазин, где они оба даже не взглянули на книги.

Когда он предложил ей руку и сердце, Рахель облегченно вздохнула, как пассажир, увидевший свободное место в зале ожидания аэропорта. С ощущением: Можно-Наконец-Сесть. Он увез ее с собой в Бостон.

Когда высокий Ларри обнимал жену, прижавшуюся щекой к его сердцу, он мог видеть ее макушку, черную мешанину ее волос. Приложив палец к уголку ее рта, он чувствовал крохотный пульс. Ему нравилось, что он бьется именно здесь. Нра-

вилось само это слабенькое, неуверенное подпрыгиванье прямо под ее кожей. Он трогал это место, вслушиваясь глазами, как нетерпеливый отец, ощущающий толчки ребенка в утробе жены.

Он обнимал ее как дар. Как любовно врученное ему сокровище. Тихое маленькое создание. Невыносимо ценное.

Но когда он лежал с ней, его оскорбляли ее глаза. Они вели себя так, словно принадлежали не ей, а кому-то другому. Постороннему зрителю. Который глядит в окно на морские волны. Или на плывущую по реке лодку. Или на идущего сквозь туман прохожего в шляпе.

Он досадовал, потому что не понимал, что означает этот взгляд. Ему казалось — нечто среднее между бесчувственностью и отчаянием. Он не знал, что есть на свете места — например, страна, в которой родилась Рахель, — где разные виды отчаяния оспаривают между собой первенство. Не знал, что *личное* отчаяние — это еще слабейший его вид. Не знал, как оно бывает, когда личная беда пытается пристроиться под боком у громадной, яростной, кружащейся, несущейся, смехотворной, безумной, невозможной, всеохватной общенациональной беды. Что Большой Бог завывает, как горячий ветер, и требует почтения к себе. Тогда Малый Бог (уютный и сдержанный, домашний и частный) плетется восвояси, ошеломленно посмеиваясь над своей глупой отвагой. Проникшись сознанием собственной несостоятельности, он становится податливым и подлинно бесчувственным. Все можно пережить. Так ли уж много это значит? И чем оно меньше значит, тем оно меньше значит. Не столь уж важно. Потому что случалось и Худшее. В стране, где она родилась, вечно зажатой между проклятьем войны и ужасом мира, Худшее случалось постоянно.

Поэтому Малый Бог смеется пустым фальшивым смехом и удаляется вприпрыжку. Как богатый мальчуган в шортах. Насвистывая, поддавая ногой камешки. Причина его ломкого, нестойкого веселья — в относительной малости его несчастья. Поселяясь в человеческих глазах, он придает им выражение, вызывающее досаду.

То, что Ларри Маккаслин видел в глазах Рахели, не было отчаянием, это был некий оптимизм через силу. И пустота ровно там же, где у Эсты были изъяты слова. Нельзя было требовать, чтобы Ларри это понял. Что опустелость сестры ничем не отличается от немоты брата. Что одно соответствует другому, вкладывается в другое. Как две ложки из одного набора. Как тела любовников.

После того как они развелись, Рахель несколько месяцев работала официанткой в индийском ресторане в Нью-Йорке. А потом несколько лет — ночной кассиршей в пуленепробиваемой кабинке на бензозаправочной станции около Вашингтона, где пьяницы порой блевали в выдвижной ящичек для денег и сутенеры предлагали ей более выгодную работу. Дважды у нее на глазах людей убивали выстрелом в окно машины. Один раз из проезжающего автомобиля выкинули труп с ножом в спине.

Потом Крошка-кочамма написала ей, что Эсту Отправили Назад. Рахель уволилась с бензозаправочной станции и покинула Америку без сожалений. Чтобы вернуться в Айеменем. Туда, где Эста расхаживал под дождем.

В старом доме на пригорке Крошка-кочамма сидела за обеденным столом и счищала склизкую, рыхлую горечь с перезрелого огурца. На ней была обвислая ситцевая длинная ночная рубашка в клеточку с буфами на рукавах и желтыми пятнами от куркумы. Ее крохотные ножки с лакированными ноготками раскачивались под столом, словно она была ребенком на высоком стульчике. Из-за отеков ступни были похожи на маленькие пухлые подушечки. В былые дни, когда в Айеменем

приезжала знакомая или родственница, Крошка-кочамма не упускала случая обратить общее внимание на то, какие большие у гостьи ноги. Попросив разрешения примерить ее туфли, она победно спрашивала: «Видите, как велики?» И обходила в них комнату кругом, чуть поддернув сари, чтобы все могли полюбоваться на ее миниатюрные ножки.

Она трудилась над огурцом с едва скрываемым торжеством. Она была очень довольна тем, что Эста не заговорил с Рахелью. Взглянул на нее и прошел себе мимо. Туда, под дождь. Для него что сестра, что все прочие.

Ей было восемьдесят три года. Глаза за толстыми стеклами очков казались размазанными, как масло.

— Ведь я тебе говорила, — сказала она Рахели. — Чего ты ожидала? Особого отношения? Я же вижу, он повредился умом! Никого больше не узнаёт! На что ты рассчитывала?

Рахель не ответила.

Она ощущала ритм, с которым Эста раскачивался, и холод лившихся на него дождевых струй. Она слышала, как хрипит и шуршит сумятица у него в голове.

Крошка-кочамма посмотрела на Рахель с неудовольствием. Она уже чуть ли не жалела, что написала ей о возвращении Эсты. Но что, с другой стороны, ей оставалось делать? Нести эту ношу до самой кончины? С какой стати? Она ведь за него не в ответе.

Или?

Молчание расположилось между внучатной племянницей и двоюродной бабушкой, как третье лицо. Чужак. Опухший. Ядовитый. Крошка-кочамма напомнила себе, что надо запереть перед сном дверь спальни. Ей трудно было придумать, что еще сказать.

— Как тебе моя стрижка нравится?

Огуречной рукой она дотронулась до своей новой прически. И оставила на волосах яркую каплю горькой слизи.

Рахель и вовсе не знала, о чем говорить. Она смотрела, как Крошка-кочамма чистит огурец. Несколько кусочков желтой кожуры прилипло к груди старухи. Ее крашеные черные как смоль волосы были спутаны, как размотавшийся клубок ниток. На лбу от краски осталась серая полоса, словно вторая, теневая линия волос. Рахель заметила, что она начала пользоваться косметикой. Губная помада. Сурьма. Мазок-другой румян. Но поскольку дом был заперт и мрачен, поскольку она признавала только сорокаваттные лампочки, два ее рта — настоящий и помадный — не вполне совпадали друг с другом.

Ее лицо и плечи стали худее, чем были, и поэтому она казалась уже не столько шарообразной, сколько конической. Обеденный стол, за которым она сидела, скрывал ее необъятной ширины бедра, делая ее фигуру чуть ли не хрупкой. Тусклое освещение столовой стерло морщины с ее лица, из-за чего оно — на странный, впалый манер — помолодело. На ней было множество драгоценностей. Тех, что остались от покойной бабушки Рахели. Она надела их все. Мерцающие кольца. Брильянтовые серьги. Золотые браслеты и плоскую золотую цепочку великолепной работы, которую она время от времени трогала рукой, желая лишний раз убедиться, что она на месте и что она — ее. Ни дать ни взять юная невеста, которая все никак не может поверить своему счастью.

Она проживает жизнь в обратном направлении, подумала Рахель.

Это было удивительно верное наблюдение. Крошка-кочамма и вправду чуть не всю жизнь прожила в обратном направлении. В молодости она отвергла материальный мир, но теперь, в старости, как бы наверстывала упущенное. Она открыла объятия ему, он — ей.

Восемнадцатилетней девушкой Крошка-кочамма влюбилась в отца Маллигана, красивого молодого ирландского монаха, который был на год послан в штат Керала из мадрасской католической семинарии. Он изучал индуистские священные предания, чтобы затем опровергать их со знанием дела.

Каждый четверг утром отец Маллиган приезжал в Айеменем, чтобы нанести визит отцу Крошки-кочаммы, преподобному И. Джону Айпу, который был священником в церкви Святого Фомы[1]. Преподобный Айп был хорошо известен среди местных христиан как человек, удостоившийся личного благословения от Антиохийского патриарха, суверенного главы Сирийской православной церкви. Этот эпизод, можно сказать, вошел в историю Айеменема.

В 1876 году, когда отцу Крошки-кочаммы было семь лет, его отец взял мальчика с собой посмотреть на патриарха, прибывшего в общину сирийских христиан штата Керала. В Кочине они оказались в переднем ряду группы прихожан, внимавших обращению патриарха с западной веранды дома Каллени. Воспользовавшись моментом, отец шепнул сыну на ухо несколько слов и подтолкнул его вперед. Будущий священник сам не свой от страха, балансируя на полуотнявшихся ногах, обслюнявил перепуганными губами кольцо на среднем пальце патриаршей руки. Патриарх вытер кольцо о рукав и благословил ребенка. Даже спустя много лет, когда мальчик вырос и стал преподобным Айпом, его продолжали называть *Пуньян Кунджу* — Благословенный Малыш, — и люди приплывали по реке на лодках издалека, из Аллеппи и Эрнакулама, и привозили детей, чтобы он благословил их.

Хотя отец Маллиган и преподобный Айп были люди разного возраста и принадлежали к разным ветвям христианства, не испытывавшим одна к другой иных чувств, кроме неприязни, два священнослужителя чем-то нравились друг другу, и отца Маллигана часто приглашали в дом Айпа пообедать. Из двоих мужчин только один видел чувственное возбуждение, волной вздымавшееся в стройной девушке, которая вертелась и вертелась около стола, хотя остатки обеда были давно убраны.

Сперва Крошка-кочамма пыталась пленить отца Маллигана еженедельными сеансами показной благотворительности. Утром в четверг, когда отец Маллиган вот-вот должен был появиться, Крошка-кочамма хватала какого-нибудь оборванного деревенского малыша и принудительно мыла его у колодца жестким красным мылом, от которого у него болели рельефно выступающие ребра.

— Доброе утро, святой отец! — кричала, увидев его, Крошка-кочамма, улыбка на лице которой контрастировала с железной хваткой ее рук на худой и скользкой от мыла ручонке мальчугана.

— Доброго вам утра, Крошка! — говорил отец Маллиган, останавливаясь у колодца и складывая свой зонтик.

— Я у вас одну вещь спросить хотела, — говорила Крошка-кочамма. — В Первом Коринфянам, глава десятая, стих двадцать третий, говорится: «Все мне позволительно, но не все полезно». Святой отец, как это Ему может быть все-все-все позволительно? Кое-что или многое — это было бы понятно, но...

Отец Маллиган был не просто польщен чувствами, которые он пробудил в привлекательной девушке, стоявшей перед ним с трепещущими, готовыми к поцелую губами и сияющими угольно-черными глазами. Ведь он тоже был молод и, возможно, чувствовал, что ученые доводы, которыми он рассеивает ее мнимые теологические сомнения, пребывают в полнейшем противоречии с пронзительным обещанием, читаемым ею в его лучистых изумрудных глазах.

Каждый четверг они стояли так у колодца, не обращая внимания на безжалостное полуденное солнце. Молоденькая девушка и неустрашимый иезуит, влекомые

---

[1] Апостол Фома считается основоположником христианства в Индии

друг к другу совершенно нехристианскими чувствами. Использующие Библию как предлог для того, чтобы побыть вместе.

Неизменно посреди их разговора несчастному намыленному ребенку удавалось вывернуться и сбежать, возвращая отца Маллигана к действительности.

— Вот так та́к! Изловить бы постреленка, пока не застудился, — говорил он, потом опять раскрывал свой зонтик и шел дальше в шоколадного цвета рясе и удобных сандалиях, похожий на высоко поднимающего ноги, деловитого верблюда. Сердце молодой Крошки-кочаммы волочилось за ним на привязи, ударяясь о камни и цепляясь за кусты. Всё в синяках и почти разбитое.

Так, четверг за четвергом, прошел год. Наконец отцу Маллигану пришло время возвращаться в Мадрас. Поскольку благотворительность не принесла ощутимых результатов, поколебленная душой Крошка-кочамма обратила свои надежды на вероисповедание.

Проявив упрямую неподатливость (которую в те годы считали в девушке таким же серьезным изъяном, как физическое уродство — скажем, заячья губа или косолапость), Крошка-кочамма бросила вызов религии отцов и стала католичкой. По особому разрешению Ватикана она принесла обеты и стала послушницей в мадрасском женском монастыре. Она рассчитывала, что каким-то образом это даст ей законную возможность быть с отцом Маллиганом. В ее воображении они наедине под сводами неких сумрачных покоев, задрапированных тяжелым бархатом, говорили о теологии. Это был предел ее желаний. О большем она не дерзала помыслить. Просто быть рядом. Так близко, чтобы чувствовать запах его бороды. Видеть, как переплетены грубые нити его сутаны. Любить его, глядя на него, — и только.

Очень быстро она поняла тщетность этих мечтаний. Ей стало ясно, что священниками и епископами монопольно владеют вышестоящие сестры со своими куда более изощренными, чем у нее, теологическими сомнениями и что пройдут годы, прежде чем она сможет хоть сколько-нибудь приблизиться к отцу Маллигану. Она стала томиться в монастыре. Постоянно расчесывая голову под монашеским платом, она заработала аллергическую сыпь. Она видела, что говорит по-английски гораздо лучше, чем все остальные. И это делало ее еще более одинокой.

Не прошло и года после ее поступления в монастырь, как отец начал получать от нее загадочные письма. *Дорогой мой папа, я несказанно счастлива тем, что служу Деве Марии. Но вот Кохинор здесь несчастлива и тоскует по дому. Сегодня, дорогой мой папа, Кохинор после обеда рвало и у нее температура. Дорогой мой папа, монастырская еда не годится для желудка Кохинор, хотя я переношу ее хорошо. Дорогой мой папа, Кохинор сильно огорчена из-за того, что ее семья не понимает ее и не заботится о ее благе...*

Кто такая Кохинор, преподобный И. Джон Айп не знал; он знал только, что так зовется самый большой на тот момент из алмазов мира. Его удивляло, что девушка с мусульманским именем находится в католическом монастыре.

Не его, а мать Крошки-кочаммы в конце концов осенила догадка, что Кохинор — не кто иной, как сама Крошка-кочамма. Мать вспомнила, что несколько лет назад показала дочери копию завещания ее отца (деда Крошки-кочаммы), в котором тот говорил о своих внуках и внучках так: «У меня семь алмазов, один из которых — мой Кохинор». Каждому из семи он оставил немного денег и драгоценностей, но нигде не объяснил, кому именно он дал прозвание Кохинор. Мать Крошки-кочаммы поняла, что без всякой явной на то причины Крошка-кочамма приняла слова деда о Кохинор на свой счёт и теперь, годы спустя, зная, что все письма перед отправкой просматривает Мать Настоятельница, шлет таким способом родным сигнал бедствия.

Преподобный Айп поехал в Мадрас и забрал дочь из монастыря. Она рада была

уехать, но ни в какую не соглашалась вернуться в лоно православной церкви и на всю жизнь осталась католичкой. Преподобный Айп понял, что репутация дочери изрядно подмочена и ей вряд ли удастся выйти замуж. Раз ей не найти мужа, решил он, пусть получает образование. И он отправил ее в Америку, в Рочестерский университет.

Два года спустя Крошка-кочамма вернулась из Рочестера с дипломом специалиста по декоративному садоводству и влюбленная в отца Маллигана сильней, чем когда-либо раньше. От стройной, красивой девушки, которой она раньше была, не осталось и следа. В Рочестере Крошка-кочамма сильно раздалась вширь. Стала, попросту говоря, тучной. Даже Челлаппен, застенчивый маленький портной у моста Чунгам, начал брать с нее за блузки под сари как за длинные рубашки.

Чтобы отвлечь Крошку-кочамму от грустных мыслей, отец предоставил в ее распоряжение садик перед Айеменемским Домом, где она устроила такое растительное буйство, что люди специально приезжали из Коттаяма на него полюбоваться.

Садик, круто огибаемый гравийной подъездной дорожкой, был разбит на округлом склоне пригорка. Крошка-кочамма превратила его в сложный лабиринт из миниатюрных живых изгородей, камней и фантастических фигур. Из цветов она больше всего жаловала антуриум. Anthurium andraeanum. У нее была целая коллекция всевозможных его разновидностей: «Рубрум», «Медовый месяц» и множество японских сортов. Мясистые однолепестковые обвертки соцветий являли разнообразие оттенков от крапчато-черного до кроваво-красного и блестяще-оранжевого. Высокие, усеянные точками соцветия-початки были неизменно желтые. В самом центре садика Крошки-кочаммы среди клумб с каннами и флоксами мраморный херувим изливал бесконечную серебристую струю в крохотный пруд, где цвел единственный голубой лотос. У каждого из четырех углов пруда сидел в ленивой позе розовый гипсовый гномик с румяными щечками и в красной остроконечной шапочке.

Крошка-кочамма проводила в садике все послеполуденное время, одетая в сари и обутая в резиновые сапоги. Ее руки в ярко-оранжевых садовых перчатках бесстрашно орудовали огромным секатором. Как укротительница львов, она усмиряла буйство ползучих растений и приучала к порядку щетинистые кактусы. Она держала в строгости бонсаи — карликовые деревца — и баловала редкие орхидеи. Она бросала вызов климату. Она пыталась выращивать эдельвейсы и китайскую гуайяву.

Каждый вечер она мазала ступни сливками и удаляла на пальчиках ног лишнюю кожицу у основания ногтей.

В последнее время, после полувека упорного, кропотливого возделыванья, декоративный садик стоял заброшенный. Предоставленный самому себе, он стал узловатым и диким — цирк, в котором животные позабыли выученные трюки. Сорняк, называемый «коммунистическая трава» (потому что в штате Керала он так же напорист, как компартия), заглушил экзотические насаждения. Только ползучие растения все росли и росли, как ногти на трупе. Они прорастали сквозь ноздри розовых гипсовых гномиков и расцветали в их полых головах, придавая их лицам удивленно-чихающее выражение.

Причиной этой внезапной, бесцеремонной отставки была новая любовь. Крошка-кочамма установила на крыше Айеменемского Дома антенну-тарелку. Благодаря спутниковому телевидению она, сидя в гостиной, владычествовала над земным шаром. Это породило в Крошке-кочамме невероятное возбуждение, хорошо заметное со стороны. Перемена была не из тех, что происходят постепенно. Она произошла в одночасье. Блондинки, войны, голод, футбол, секс, музыка, государственные перевороты — все это приехало на одном поезде. Выгрузилось одной кучей. Остановилось в одной гостинице. И теперь в Айеменеме, где раньше самым громким

звуком был мелодичный гудок автобуса, она могла, как прислугу, вызвать что угодно: хоть войну, хоть голод, хоть красочную резню, хоть Билла Клинтона. И вот, пока ее декоративный сад глох и умирал, Крошка-кочамма следила за баскетбольными матчами НБА, однодневными состязаниями по крикету и теннисными турнирами из серии «Большой шлем». По будням она смотрела «Дерзких и красивых» и «Санта-Барбару», где ломкие блондинки с накрашенными губами и фиксированными лаком прическами соблазняли андроидов и обороняли свои сексуальные империи. Крошке-кочамме полюбились их переливчатые наряды и находчивые, стервозные реплики. В течение дня отдельные фразы порой всплывали в ее памяти, вызывая у нее ухмылку.

Кухарка Кочу Мария по-прежнему носила тяжелые золотые серьги, безнадежно оттянувшие вниз мочки ее ушей. Она любила смотреть американское спортивное шоу «Борцовская мания», где Верзила Хоган и Мистер Перфект, чьи шеи были толще, чем головы, нещадно мяли и тузили друг друга, одетые в полосатые рейтузы из лайкры. Смех Кочу Марии чуть отдавал жестокостью, как это иногда бывает у маленьких детей.

Весь день они сидели в гостиной — Крошка-кочамма в плантаторском кресле с длинными подлокотниками или в шезлонге (в зависимости от состояния ее ног), Кочу Мария рядом с ней на полу (перескакивая, когда можно, с канала на канал), вместе запертые в шумной тишине телевидения. У одной волосы снежно-белые, у другой крашеные и угольно-черные. Они участвовали во всех конкурсах, пользовались всеми предлагаемыми скидками и в двух случаях заработали призы — футболку и термос, которые Крошка-кочамма хранила в буфете под замком.

Крошка-кочамма любила Айеменемский Дом и лелеяла имущество, доставшееся ей благодаря тому, что она пережила всех остальных. Скрипка Маммачи и подставка для скрипки, буфеты из Ути[1], пластмассовые плетеные кресла, кровати из Дели, венский туалетный столик с потрескавшимися ручками из слоновой кости на выдвижных ящичках. Обеденный стол красного дерева, который сделал Велютта.

Ее пугали транслируемые по Би-би-си кадры войн и голода, на которые она иногда натыкалась, переключая каналы. Старые страхи перед революцией и марксистско-ленинской угрозой вернулись в облике новых телевизионных тревог из-за растущего числа отчаявшихся и обездоленных людей. В этнических чистках, голоде и геноциде она видела прямую угрозу своей мебели.

Двери и окна она всегда держала запертыми, если только ей не нужно было ими пользоваться. Окнами она пользовалась в нескольких целях. Глотнуть Свежего Воздуха. Уплатить За Молоко. Выпустить Залетевшую Осу (за которой Кочу Мария должна была гоняться по всему дому с полотенцем).

Она запирала даже свой жалкий облупившийся холодильник, где хранила недельный запас булочек с кремом, которые Кочу Мария покупала в кондитерской «Бестбейкери» в Коттаяме. И две бутылки с рисовым отваром, который она пила вместо воды. На полочке под морозильником она держала то, что осталось от обеденного сервиза Маммачи с синим рисунком в китайском стиле.

Дюжину ампул инсулина, которую привезла ей Рахель, она положила в отделение для масла и сыра. Она, видимо, считала, что в наши дни даже тот, кто внешне — сама невинность, может оказаться похитителем фарфора, маниакальным пожирателем булочек с кремом или вороватым диабетиком, рыщущим по Айеменему в поисках импортного инсулина.

Она даже близнецам не доверяла. Считала их Способными На Все. На что угодно. *Они даже могут выкрасть обратно свой подарок,* подумала она, и ее больно

[1] Ути (Утакаманд) — курорт в южной Индии.

уколола мысль, что вот она опять рассматривает их как единое целое. Хоть столько уже лет позади. Ни за что не желая впускать прошлое в свое сознание, она тут же поправилась. *Она. Она может выкрасть обратно свой подарок.*

Она взглянула на стоящую у обеденного стола Рахель, и ей привиделась в ней та же уклончивая нездешность, та же способность держаться очень тихо и очень незаметно, которой Эста овладел в совершенстве. Крошка-кочамма была несколько даже напугана неразговорчивостью Рахели.

— Ну так что? — спросила она. Голос прозвучал резко и неуверенно. — Какие у тебя планы? Сколько ты здесь пробудешь? Решила уже?

Рахель попыталась выговорить фразу. Она свалилась с языка исковерканная. Как зазубренный кусок жести. Рахель подошла к окну и открыла его. Чтобы Глотнуть Свежего Воздуха.

— Потом не забудь закрыть, — сказала Крошка-кочамма и заперла лицо на ключ, как дверцу буфета.

Теперь уже в окно нельзя было увидеть реку.

Можно было до тех пор, пока Маммачи не распорядилась сделать заднюю веранду закрытой и установить там первую в Айеменеме скользяще-складную дверь. Выполненные маслом портреты преподобного И. Джона Айпа и Алеюти Аммачи (прадеда и прабабки Эсты и Рахели) перенесли с задней веранды на переднюю.

Там они висели и сейчас, Благословенный Малыш и его жена, по одну и другую сторону от набитой опилками и вставленной в рамку бизоньей головы.

Преподобный Айп улыбался безмятежной прародительской улыбкой уже не реке, а дороге.

У Алеюти Аммачи был более тревожный вид. Словно она хотела обернуться, но не могла. Возможно, ей не так легко, как ему, было оторвать взгляд от реки. Глаза ее смотрели туда же, куда смотрел муж. Но сердцем она смотрела в другую сторону. Ее кунукку — тяжелые, матового золота гроздевые серьги — сильно оттягивали мочки ушей и свисали до плеч. Сквозь ушные отверстия можно было видеть горячую реку и склоненные к ней темные деревья. И рыбаков в лодках. И рыб.

Теперь уже из дома нельзя было увидеть реку, но как морская раковина навсегда сохраняет в себе ощущение моря, так Айеменемский Дом все еще сохранял в себе ощущение реки.

Набегающее, затопляющее, рыбноволнистое.

Стоя с ветром в волосах у открытого окна столовой, Рахель видела, как дождь барабанит по ржавой железной крыше бывшей бабушкиной консервной фабрики.

«Райские соленья и сладости».

Она была расположена между домом и рекой.

Там делали соленья, маринады, фруктовые соки, джемы, карри в порошке и ананасовые компоты. И банановый джем — правда, незаконно, так как УПП (Управление по пищевой промышленности) запретило его на том основании, что, согласно их классификации, это был не джем и не желе. Слишком жидко для желе и слишком густо для джема. Ни то ни се; промежуточная консистенция.

Если следовать их правилам.

Теперь, после многих лет, Рахели казалось, что трудности с классификацией простирались в их семье гораздо дальше, нежели этот вопрос о джеме-желе.

Вероятно, Амму, Эста и она были самыми злостными нарушителями. Но не единственными. Другие тоже нарушали правила. Все их нарушали. Заходили на запретную территорию. Играли в кошки-мышки с законами, определяющими, кого следует любить и как. И насколько сильно. Законами, согласно которым бабушки —

это бабушки, дяди — дяди, матери — матери, двоюродные сестры — двоюродные сестры, джем — джем, а желе — желе.

В их семье дяди становились отцами, матери — любовницами, а двоюродные сестры умирали и лежали в гробу.

В их семье немыслимое становилось мыслимым и невозможное случалось в действительности.

Еще до похорон Софи-моль полицейские нашли Велюттy.

На руках у него была гусиная кожа в тех местах, где их защемили наручниками. Холодными наручниками, от которых шел кислометаллический запах. Как от железных автобусных поручней и ладоней кондуктора.

Когда все было кончено, Крошка-кочамма сказала: «Что посеешь, то и пожнешь». Словно она сама не имела никакого отношения к Посеву и Жатве. Она вернулась к своей вышивке крестиком, семеня миниатюрными ножками. Крохотные пальчики на них никогда не касались пола. Это была ее идея, что Эсту надо Отправить.

Внутри Маргарет-кочаммы горе и ярость из-за смерти дочери лежали свернутые, как злая пружина. Она ничего не говорила, но то и дело, пока не уехала обратно в Англию, принималась лупить Эсту, когда он попадался под руку.

Рахель видела, как Амму пакует вещи Эсты в маленький сундучок.

— Может быть, они правы, — послышался шепот Амму. — Может быть, мальчику нужен Баба.

Рахель видела, какие у нее глаза — мертвые, красные.

Они послали запрос в Хайдарабад Специалистке по Близнецам. Та ответила, что разлучать однояйцовых близнецов было бы нежелательно, а вот двуяйцовые ничем в принципе не отличаются от любых других братьев и сестер, и хотя, конечно, они будут испытывать стресс, как всякие дети из распавшихся семей, этим все и ограничится. Ничего экстраординарного.

И вот Эсту Отправили на поезде, с жестяным сундучком и с бежевыми остроносыми туфлями в рюкзачке защитного цвета. Сначала в Мадрас — первым классом, ночным, Мадрасским Почтовым, — а оттуда в Калькутту с приятелем их отца.

У него была с собой коробка, набитая сандвичами с помидорами. И Орлиная фляжка с орлом. А в голове картины одна хуже другой.

Дождь. Стремительная, чернильная вода. И запах. Тошнотворная сладость. Словно от старых роз принесло ветром.

Но самое худшее — это воспоминание о молодом человеке, у которого был рот старика. Об опухшем лице и сломанной, перевернутой улыбке. О растекающейся прозрачной жидкости, в которой отражалась голая лампочка. О налитом кровью глазе, который открылся, блуждал какое-то время, а потом уставился на него. На Эсту. И что же он, Эста, тогда сделал? Посмотрел на любимое лицо и сказал: Да.

Да, это был он.

Вот оно, слово, до которого не мог добраться осьминог Эсты: *Да.* Как он ни пылесосил — бесполезно. Слово забилось на самое дно какой-то складочки или бороздки, как волосок манго в щель между зубами. Не достать ни в какую.

В чисто практическом смысле, видимо, правильно будет сказать, что все началось с приезда Софи-моль в Айеменем. Наверно, и вправду все может перемениться в один день. И вправду несколько десятков часов могут пустить жизнь по другому руслу. И если так, то эти несколько десятков часов, как останки сгоревшего жилья — оплавленные ходики, опаленная фотография, обугленная мебель, — должны быть извлечены из руин и исследованы. Сохранены. Объяснены.

Мелкие события, обычные предметы, исковерканные и преображенные. Наделенные новым смыслом. Внезапно ставшие сухими костями повести.

Однако, утверждая, что все началось с приезда Софи-моль в Айеменем, мы принимаем лишь одну из возможных точек зрения.

С таким же успехом можно сказать, что на самом деле все началось тысячи лет назад. Задолго до зарождения марксизма. До того, как англичане захватили Малабарский берег, до прихода голландцев, до появления Васко да Гамы, до завоевания Каликута Заморином. До того, как троих убитых португальцами сирийских епископов в пурпурных мантиях нашли плавающими в море со свернувшимися кольцами на груди морскими змеями и застрявшими в бородах устрицами. Можно сказать, что все началось задолго до того, как христианство приплыло на судне и просочилось в Кералу, как чай из чайного пакетика.

Что в действительности все началось, когда были установлены Законы Любви. Законы, определяющие, кого следует любить и как.

И насколько сильно.

Ну, а для практических целей, в нашем безнадежно практическом мире...

2. Бабочка Паппачи

...стоял лазурный день в декабре шестьдесят девятого (тысяча девятьсот в уме). Жизнь семьи незаметно подошла к такому рубежу, когда что-то выталкивает из укрытия ее внутреннее бытие и заставляет его всплыть пузырьком воздуха на поверхность и некоторое время колыхаться там. У всех на виду. В наготе и беспомощности.

Лазурного цвета «плимут», задние крылышки которого сверкали на солнце, ехал в Кочин, проносясь мимо молодых всходов риса и старых каучуковых деревьев. Дальше к востоку на небольшую страну со сходным климатом (те же джунгли, реки, рисовые поля, коммунисты) бомбы сыпались в количестве, позволявшем чуть не всю ее вымостить шестидюймовыми стальными осколками. Здесь, однако, был мир, и семейство ехало в «плимуте», не испытывая ни страха, ни дурных предчувствий.

Раньше «плимут» принадлежал Паппачи, деду Рахели и Эсты. После его смерти автомобиль перешел к Маммачи, их бабушке, и теперь близнецы ехали на нем в Кочин смотреть фильм «Звуки музыки» в третий раз. Они уже знали наизусть все песни.

Потом они должны были переночевать в гостинице «Морская королева», где пахло вчерашней едой. Номера уже были забронированы. На следующий день рано утром им предстояло поехать в Кочинский аэропорт, чтобы встретить Маргарет-кочамму (их английскую тетю, бывшую жену Чакко), которая со своей и Чакко дочерью, их двоюродной сестрой Софи-моль, летела из Лондона встретить в Айеменеме Рождество. Два месяца назад Джо, второй муж Маргарет-кочаммы, погиб в автомобильной катастрофе. Узнав о его смерти, Чакко пригласил их в Айеменем. Невыносимо думать, сказал он, что они будут встречать Рождество в Англии в одиночестве и заброшенности. В доме, полном воспоминаний.

Амму говорила, что Чакко не переставал любить Маргарет-кочамму. Маммачи не соглашалась. Ей хотелось верить, что он не любил ее ни одного дня.

Рахель и Эста никогда не видели Софи-моль. Однако в последнюю неделю они массу всего о ней наслышались. От Крошки-кочаммы, от Кочу Марии и даже от Маммачи. Как и близнецы, ни одна из них ее в глаза не видела, но говорили они

так, словно прекрасно ее знали. В общем, неделя прошла под знаком: *Что Подумает Софи-моль?*

Всю ту неделю Крошка-кочамма неустанно подслушивала разговоры близнецов между собой и, если замечала, что они переходят на малаялам, налагала небольшую пеню, которая удерживалась из их карманных денег. Она заставляла их писать строчки — «штрафные», так она их называла: *Я буду говорить только по-английски. Я буду говорить только по-английски.* Сто раз подряд. Потом она перечеркивала написанное красными чернилами, чтобы ей не подсунули то же самое после новой провинности.

Она репетировала с ними английскую путевую песню для обратной дороги. Они должны были выговаривать слова без ошибок и быть очень внимательными к произношению. Проу Ииз Ноу Шению.

Ра-адуйтесь всегда-а в Го-осподе,
И еще говорю: ра-адуйтесь,
Ра-адуйтесь,
И еще говорю: ра-адуйтесь.

У Эсты полное имя звучало Эстаппен Яко. У Рахели — просто Рахель. До Поры До Времени они жили без фамилии, потому что Амму обдумывала возможность вернуть себе девичью фамилию, хотя говорила, что предоставляемый женщине выбор между фамилиями мужа и отца — это насмешка, а не выбор.

На ногах у Эсты были его бежевые остроносые туфли, на голове — элвисовский зачес. Особый Выходной Зачес. Из песен Элвиса его любимой была «Повеселимся». «Иные любят рок, иные любят ролл, — мурлыкал Эста наедине с собой, бренча на бадминтонной ракетке и кривя губу, как Элвис, — а мне милей всего топтать с девчонкой пол. Повеселимся...»

У Эсты были раскосые сонные глаза, и его новые передние зубы еще не выровнялись. У Рахели новые зубы пока что дремали в деснах, как словечки в авторучке. Всех удивляло, что при всего лишь восемнадцатиминутной разнице в возрасте она так отстала по части передних зубов.

Волосы Рахели взметались с макушки фонтанчиком. Они были стянуты «токийской любовью» — парой шариков на круглой резинке, что не имело отношения ни к любви, ни к Токио. В штате Керала «токийская любовь» выдержала проверку временем, и даже сейчас, если вы попросите ее в любом приличном галантерейном магазине, вас поймут и вы получите желаемое. Пару шариков на круглой резинке.

На руке у Рахели были игрушечные часики с нарисованными стрелками. Без десяти два. Одним из ее желаний было иметь часы, на которых она могла бы ставить время по своему усмотрению (ведь для этого, считала она, Время главным образом и существует). Ее красные пластмассовые солнечные очочки в желтой оправе делали весь мир красным. Амму говорила, что это вредно для глаз, и просила ее надевать их пореже.

Ее Платье Для Аэропорта лежало у Амму в чемодане. Там же — специальные панталончики в тон.

Вел машину Чакко. Он был старше Амму на четыре года. Рахель и Эста не могли называть его *чачен* (старший брат), потому что он тогда называл их *четан* и *чедути* (брат и жена брата). Если они называли его *аммавен* (матушка), он называл их *аппой* и *аммей* (папа и мама). Если они называли его по-английски дядей, он называл их тетями, и это смущало их, когда он делал это При Всех. Поэтому они называли его Чакко.

Комната Чакко была от пола до потолка уставлена книгами. Он все их прочел и цитировал длинными кусками без видимой причины. Во всяком случае, никто не

понимал, зачем он это делает. Например, когда они в тот день выезжали из ворот, крича «До свидания» сидящей на веранде Маммачи, Чакко вдруг сказал: «Нет, Гэтсби себя оправдал под конец; не он, а то, что над ним тяготело, та ядовитая пыль, что вздымалась вокруг его мечты, — вот что заставило меня на время утратить всякий интерес к людским скоротечным печалям и радостям впопыхах»[1].

Все настолько к этому привыкли, что никто уже не переглядывался и не толкал соседа локтем. Чакко окончил Оксфорд, куда ездил как родсовский стипендиат, и ему были позволительны эксцентризм и причуды, которые никому другому не сошли бы с рук.

Он утверждал, что пишет такую Историю Семьи, что Семье придется щедро заплатить ему за отказ от публикации. Амму отвечала, что единственный человек в семье, уязвимый для подобного биографического шантажа, — это сам Чакко.

Это, конечно, было еще тогда. До Ужаса.

В «плимуте» Амму сидела впереди, рядом с Чакко. В том году ей исполнилось двадцать семь, и где-то в глубине живота она носила холодное знание, что жизнь для нее кончена. Ей представился ровно один шанс. Она допустила ошибку. Вышла замуж за кого не надо было.

Амму окончила школу в том же году, когда ее отец ушел на пенсию со своей работы в Дели и переехал с семьей в Айеменем. Паппачи считал, что обучение в колледже — излишняя роскошь для девушки, поэтому Амму волей-неволей пришлось покинуть Дели вместе со всеми. В Айеменеме юная девушка мало чем могла заниматься — разве что помогать матери по хозяйству и ждать брачных предложений. Поскольку у отца Амму не было денег на приличное приданое, предложений не поступало. Так минуло два года. Прошел ее восемнадцатый день рождения. Прошел незамеченным или, по крайней мере, не отмеченным ее родителями. Амму пришла в отчаяние. Целыми днями мечтала о том, как бы ускользнуть из Айеменема, от желчного отца и обиженной, много перестрадавшей матери. Один за другим возникло несколько доморощенных планов спасения. В конце концов один из них сработал. Паппачи отпустил ее на лето к дальней родственнице в Калькутту.

Там на чьей-то свадьбе Амму познакомилась со своим будущим мужем.

Он приехал в отпуск из Ассама, где работал помощником управляющего на чайной плантации. Он происходил из обедневшей семьи заминдаров[2], которая перебралась в Калькутту из Восточной Бенгалии после раздела страны на Индию и Пакистан.

Он был маленького роста, но хорошо сложен. Приятен лицом. Носил старомодные очки, придававшие ему серьезный вид и вступавшие в противоречие с его непринужденным обаянием и детским, но совершенно обезоруживающим юмором. К своим двадцати пяти годам он успел проработать на чайных плантациях шесть лет. Он не кончал колледжа, чем и объяснялось его пристрастие к школьным шуточкам. Он сделал Амму предложение через пять дней после знакомства. Амму не стала притворяться, что влюблена. Просто поразмыслила и согласилась. Лучше что угодно и кто угодно, подумала она, чем возвращение в Айеменем. Она написала родителям, извещая их о своем решении. Они не ответили.

Сыграли пышную калькуттскую свадьбу. Потом, вспоминая тот день, Амму поняла, что причиной лихорадочного блеска в глазах жениха были не любовь и даже не предвкушение плотского блаженства, а примерно восемь больших порций виски. Чистого. Неразбавленного.

Свекор Амму был председателем Железнодорожного совета и обладателем голубой кембриджской боксерской формы. Он был секретарем Бенгальской ассоци-

---

[1] Цитата из романа Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби». Перевод Е. Калашниковой.

[2] Заминдары — землевладельцы, платившие земельный налог английским колониальным властям.

ации боксеров-любителей. Он подарил молодым «фиат», выкрашенный по особому заказу в дымчато-розовый цвет, и после свадьбы укатил в нем сам, погрузив в него все драгоценности и большую часть прочих подношений. Еще до того, как родились двойняшки, он умер на операционном столе во время удаления желчного пузыря. На кремации присутствовали все боксеры Бенгалии. Печальная процессия костлявых щек и сломанных носов.

Когда они с мужем переехали в Ассам, красивая, молодая и дерзкая Амму стала любимицей всего «Плантаторского клуба». Она надевала под сари блузки, оставляющие спину открытой, и носила на цепочке кошелек из серебристой парчи. Она курила длинные сигареты в серебряном мундштуке и научилась выпускать дым безукоризненными кольцами. Ее муж оказался не просто пьющим, но самым настоящим алкоголиком со всей присущей таким людям лживостью и трагическим шармом. Было в нем такое, чего Амму так и не смогла понять. Даже спустя годы после их развода она все удивлялась, почему он так беззастенчиво ей врал, когда в этом не было никакой нужды. *В особенности* когда в этом не было никакой нужды. В разговоре с друзьями он мог распространяться о том, как он любит копченую лососину, хотя Амму знала, что он терпеть ее не может. Или приходил домой из клуба и говорил Амму, что смотрел «Встретимся в Сент-Луисе», хотя на самом деле там показывали «Бронзового ковбоя». Когда она уличала его во лжи, он никогда не извинялся и не оправдывался. Просто хихикал, чем злил Амму настолько, что она сама себе удивлялась.

У Амму пошел девятый месяц беременности, когда началась война с Китаем. Стоял октябрь 1962 года. С чайных плантаций Ассама стали вывозить жен и детей сотрудников. Амму, у которой близились роды, не могла ехать и осталась на месте. В ноябре, после невыносимого путешествия в Шиллонг на тряском автобусе, посреди слухов о китайской оккупации и неизбежном поражении Индии, родились Эста и Рахель. При свете свечей. В родильном доме с затемненными окнами. Они вылезли из нее по-тихому с восемнадцатиминутным интервалом. Парочка маленьких вместо одного большого. Тюленчики-двойняшки, скользкие от материнских соков. Сморщенные от родовой натуги. Прежде чем закрыть глаза и забыться, Амму осмотрела их, ища дефекты.

Она насчитала четыре глаза, четыре уха, два рта, два носа, двадцать пальчиков на руках и двадцать аккуратных ноготков на ногах.

Она не увидела единую сиамскую душу. Она была рада, что они родились. Их отец валялся пьяный на жесткой скамейке в больничном коридоре.

К тому времени как близнецам исполнилось два года, пьянство отца, усугубляемое скукой чайных плантаций, довело его до алкоголического ступора. Целые дни он пролеживал в постели, не выходя на работу. Наконец мистер Холлик, англичанин-управляющий, пригласил его в свое бунгало «потолковать по душам».

Амму сидела на веранде их дома и обреченно ждала возвращения мужа. Она была уверена, что Холлик вызвал его с единственной целью — объявить об увольнении. К ее удивлению, Баба вернулся мрачный, но не отчаявшийся. Мистер Холлик, сказал он, предложил один вариант, и надо его обсудить. Вначале муж говорил несколько неуверенно, избегая ее взгляда, но потом осмелел. С практической точки зрения, сказал он, это предложение выгодно им обоим. И не только им, но и детям, ведь их образование обойдется недешево.

Мистер Холлик говорил с молодым помощником без обиняков. Перечислил жалобы на него от рабочих и от других помощников управляющего.

— Боюсь, у меня нет другого выхода, — сказал он, — кроме как освободить вас от должности.

Он выдержал паузу, сполна используя ее эффект. Подождал, пока сидящий на-

против жалкий человечишка не затрясся. Пока он не захныкал. Тогда Холлик заговорил снова.

— Все-таки один выход, пожалуй, имеется... может, мы и сговоримся по-хорошему. Надо, я считаю, быть оптимистами. Всегда что-то есть в активе. — Холлик прервался, чтобы потребовать черного кофе. — Ведь вы счастливчик, дорогой мой, — прекрасная семья, чудные детишки, обаятельная жена... — Он зажег сигарету и не гасил спичку, пока она не обожгла ему пальцы. — *На редкость* обаятельная жена...

Хныканье смолкло. Карие глаза озадаченно уперлись в зеленые, зловещие, в красных прожилках глаза собеседника. Потягивая кофе, мистер Холлик предложил Баба уехать на время. Взять отпуск. Может быть, и в клинике подлечиться. Пока у него не наступит улучшение. А на период его отсутствия, сказал мистер Холлик, Амму перебралась бы к нему в бунгало, где он «окружит ее заботой».

В тех местах уже бегало несколько оборванных светлокожих детишек, родившихся от мистера Холлика у молоденьких сборщиц чая. На сей раз он впервые попробовал взять чуть повыше.

Амму смотрела, как движутся, формируя слово за словом, мужнины губы. И ничего не отвечала. От ее молчания он сперва почувствовал неловкость, а потом пришел в ярость. Внезапно бросился на нее, схватил ее за волосы, ударил и, лишившись сил, упал в обморок. Амму стащила с полки самую увесистую книгу — атлас мира в издании «Ридерс дайджест» — и принялась лупить его со всего размаху. По голове. По ногам. По плечам и спине. Придя в себя, он пришел в изумление от величины синяков. Он униженно попросил прощения за вспышку гнева и тут же принялся ныть и клянчить, чтобы она помогла ему перевестись в другое место. Это вошло в систему. После пьяного буйства — похмельное нытье. Амму содрогалась от медицинского запаха перегорелого спирта, который шел от его кожи, и от вида засохшей блевотины, облеплявшей по утрам его рот наподобие пирожной корки. Когда в приступах ярости он начал кидаться на детей и в довершение всех бед разразилась война с Пакистаном, Амму бросила мужа и вернулась к неприветливым родителям в Айеменем. Ко всему, от чего она бежала несколько лет назад. С той разницей, что теперь у нее на руках было двое детей. И никаких больше иллюзий.

Паппачи ее рассказу не поверил — не потому, что хорошо думал о ее муже, а потому, что в его представлении англичанин, кто бы он ни был, просто *не мог* возжелать чужую жену.

Амму любила детей — как же иначе, — но их лупоглазая беззащитность, их готовность любить всех подряд, даже тех, кто их не любит, приводила ее в бешенство и порой рождала в ней желание сделать им больно — чтобы предостеречь, чтобы научить.

Словно они держали окно, в которое улетучился отец, открытым для любого желающего — влезай, располагайся.

Двойняшки казались Амму парой озадаченных лягушат, поглощенных друг другом, сцепившихся лапками и вместе прыгающих по шоссе, по которому несутся машины. Без малейшего понятия о том, как автомобиль может обойтись с лягушонком. Амму опекала их яростно. Бдительность напрягала ее, натягивала струной. Чуть что, она отчитывала детей, по малейшему поводу вскидывалась на посторонних в их защиту.

Она понимала, что ее шансы в жизни теперь равны нулю. Ей остается только Айеменем. Передняя веранда и задняя веранда. Горячая река и консервная фабрика.

А на заднем плане — неумолчное, визгливое, скулящее подвывание недоброй молвы.

Амму быстро, уже за первые месяцы после возвращения в родительский дом,

научилась распознавать и презирать уродливый лик сострадания. Пожилые родственницы с волосками на первых подбородках, под которыми колыхались вторые и третьи, наносили краткие визиты в Айеменем, чтобы попечалиться с нею вместе о ее разводе. Они садились напротив, хватали ее за коленку и злорадствовали. Она едва сдерживалась — так ей хотелось их ударить. А еще лучше — открутить им соски. Гаечным ключом. Как Чаплин в «Новых временах».

Когда Амму разглядывала свои свадебные фотографии, ей чудилось, будто на нее смотрит кто-то другой, а не она. Какая-то глупая разукрашенная невеста. Ее шелковое сари цвета солнечного заката переливалось золотом. На каждом пальце — кольцо. Над изогнутыми бровями — белые пятнышки сандаловой пасты. От воспоминаний, рождаемых этими снимками, мягкий рот Амму изгибался в мелкой, горькой усмешке; дело было не столько даже в самой свадьбе, сколько в том, что она позволила так изощренно обрядить себя перед виселицей. Ей виделась в этом такая тщета. Такая нелепость.

Все равно, что полировать дрова.

Она отдала местному ювелиру в переплавку свое массивное обручальное кольцо, и тот сделал из него тоненький браслет со змеиными головками, который она спрятала, чтобы в будущем подарить Рахели.

Амму понимала, что нельзя обойтись совсем без свадьбы. Теоретически — можно, на практике — нет. Но до конца жизни она была сторонницей *скромных* церемоний в *обычной* одежде. Все же не так зловеще, думала она.

Порой, когда по радио звучали любимые песни Амму, что-то сдвигалось у нее внутри. Текучая боль разливалась под кожей, и она, как ведьма, покидала этот мир ради иных, более счастливых краев. В такие дни что-то в нее вселялось, какая-то неукротимость и беспокойство. Словно она на время скидывала моральную ношу, которую подобало нести матери и разведенной жене. Даже походка ее дичала, из материнski-надежной превращалась в иную, размашистую. Она вставляла в прическу цветы, и глаза ее делались таинственными. Она ни с кем не говорила. Часами сидела на берегу реки с маленьким пластмассовым транзистором в форме мандарина. Курила сигареты и окуналась в полуночную реку.

Отчего же Амму становилась такой непредсказуемой? Такой Опасной Бритвой? Оттого, что внутри у нее шла борьба. Смешалось то, чему лучше не смешиваться. Бесконечная нежность матери и безоглядная ярость самоубийцы-бомбометательницы. Вот что возрастало и возрастало в ней, вот что в конце концов заставило ее любить по ночам человека, которого ее дети любили днем. Плавать по ночам в лодке, в которой ее дети плавали днем. В лодке, на которой сидел Эста и которую обнаружила Рахель.

В те дни, когда радио играло любимые песни Амму, домашние побаивались ее. Каким-то образом они чувствовали, что она им неподвластна, что она живет в сумеречном зазоре меж двух миров. Что женщине, на которой они поставили крест, теперь почти нечего терять, и поэтому она может представлять опасность. Так что в те дни, когда радио играло любимые песни Амму — например, «Пусть будет так» битлов, — люди сторонились ее, обходили ее кругами, потому что всем было ясно, что лучше Оставить Ее Так.

А бывали дни, когда от улыбки у нее на щеках появлялись упругие ямочки.

У нее было нежное точеное личико, черные брови, похожие на крылья парящей чайки, маленький прямой нос и светящаяся изнутри кожа орехового цвета. В тот лазурный декабрьский день ветер в машине вызволял и трепал пряди ее буйно-курчавых волос. Блузка без рукавов оставляла открытыми плечи, блестевшие, как дорогое полированное дерево. Иногда она была самой красивой женщиной, какую Эста и Рахель видели в жизни. А иногда не была.

На заднем сиденье «плимута» между Эстой и Рахелью сидела Крошка-кочамма. Бывшая монашенка, а ныне двоюродная бабушка. К ним, к обделенным судьбой, лишенным отца близнецам, она относилась с неприязнью, какую несчастливые люди иногда испытывают к собратьям по несчастью. Мало того, что безотцовщина, еще и дети от смешанного брака, наполовину индусы, с которыми уважающее себя семейство сирийских христиан ни за что не породнится. Она всячески давала им понять, что они (как, впрочем, и она) живут в Айеменемском Доме, принадлежащем их бабушке, только из милости и без всякого на то права. Крошка-кочамма мысленно возмущалась поведением Амму, бунтовавшей против участи, какую она, Крошка-кочамма, смиренно приняла. Участи горемычной безмужней женщины. Печальная Крошка-кочамма, так и не получившая отца Маллигана в мужья. С годами она убедила себя, что их с отцом Маллиганом соединенью помешало лишь *ее* самоотречение, *ее* решимость не преступать границ.

Она всей душой разделяла расхожее мнение, что замужней дочери нет места в доме ее родителей. Что касается *разведенной* дочери, ей, считала Крошка-кочамма, нет места вообще нигде. Что касается *разведенной* дочери, чей брак *не был одобрен* родителями, Крошка-кочамма не находила слов, чтобы выразить свое возмущение. А если к тому же это был *межобщинный* брак, Крошка-кочамма могла только молчаливо содрогаться.

Близнецы были слишком малы, чтобы все это понимать, и случавшиеся у них мгновения высшего счастья — например, когда пойманная ими стрекоза поднимала лапками камешек с подставленной ладони, или когда им разрешали окатить водой свиней, или когда они находили яйцо, еще горячее от наседки, — вызывали неодобрение Крошки-кочаммы. Но самое сильное неодобрение вызывала у нее теплая радость, которую они черпали друг в друге. Она хотела видеть на их лицах некий знак печали. По меньшей мере знак.

На обратном пути из аэропорта Маргарет-кочамма будет сидеть впереди вместе с Чакко, потому что в прошлом она была его женой. Софи-моль сядет между ними. Амму переберется на заднее сиденье.

Будет две фляжки с водой. Для Маргарет-кочаммы и Софи-моль — кипяченая, для всех остальных — из-под крана.

Багаж будет лежать в багажнике.

Рахели нравилось слово «багаж». Гораздо лучше, чем, например, «крепыш». «Крепыш» — ужасное слово. Похоже на имя гномика. Коши Уммен[1] Крепыш — приятный, среднего достатка, богобоязненный гномик с коротенькими ножками и боковым пробором.

На крыше у «плимута» громоздилось квадратное сооружение из четырех обитых жестью кусков фанеры, на каждом из которых стилизованными буквами было выведено: «Райские соленья и сладости». Под каждой надписью были нарисованы банка с фруктовым вареньем-ассорти и банка с пряным соленьем из лайма в растительном масле, и на каждой банке красовалась наклейка с надписью теми же стилизованными буквами: «Райские соленья и сладости». Сбоку от банок перечислялись все райские деликатесы и был нарисован исполнитель танца катхакали[2] с зеленым лицом и в развевающихся одеждах. Вдоль змеящегося нижнего края его волнистых одежд змеилась строка: «Владыки вкусового царства», представлявшая собой непрошеный творческий вклад товарища К. Н. М. Пиллея. Это был букваль-

---

[1] Коши, Уммен — типичные имена сирийских христиан в южной Индии

[2] Катхакали (на языке малаялам буквально: представление рассказа) — традиционное представление национального театра южной Индии на мифологические сюжеты.

ный перевод с малаялам фразы *Руси локатинде Раджаву*, звучавшей чуть менее абсурдно, чем эти самые «Владыки». Как бы то ни было, товарищ Пиллей отпечатал все в таком именно виде, и ни у кого не хватило духу потребовать, чтобы он переделал весь заказ. Поэтому, к сожалению, «Владыки вкусового царства» стали неизменным украшением банок с райской продукцией.

Амму сказала, что танцор катхакали здесь Ни К Селу Ни К Городу, только с толку сбивает. Чакко ответил, что он придает всему Местный Колорит и сослужит продукции хорошую службу, когда она выйдет на Международный Рынок.

Амму сказала, что вид у них с этой рекламой просто смехотворный. Не машина, а цирк передвижной. Да еще с крылышками.

Маммачи начала делать соленья на коммерческой основе вскоре после того, как Паппачи ушел на пенсию с государственной службы в Дели и семья переехала в Айеменем. Коттаямское Библейское общество проводило ярмарку и попросило Маммачи выставить свой знаменитый банановый джем и соленье из молодых манго. Все это мигом было раскуплено, и Маммачи увидела, что спрос превышает предложение. Окрыленная успехом, она продолжала делать соленья и джемы и оглянуться не успела, как оказалась занята по горло. Паппачи, со своей стороны, не знал, как ему справиться с бесчестьем отставки. Он был на семнадцать лет старше Маммачи и вдруг с ужасом понял, что он уже старик, тогда как его жена еще в расцвете сил.

Хотя у Маммачи была коническая роговица и она уже почти ничего не видела, Паппачи не помогал ей готовить соленья, потому что считал такое дело зазорным для бывшего государственного служащего высокого ранга. Он всегда был страшно ревнивым человеком, и ему очень не нравилось, что его жена внезапно оказалась в центре внимания. Он слонялся по территории консервной фабрики в одном из своих безукоризненно сшитых костюмов, уныло петляя меж холмиков красного перца и свежесмолотой желтой куркумы, наблюдая, как Маммачи распоряжается покупкой, взвешиванием, засолкой и сушкой лаймов и молодых манго. Каждый вечер он бил ее латунной цветочной вазой. Побои не были новостью. Новостью была частота, с какой они начали происходить. Однажды Паппачи сломал смычок женины скрипки и бросил его в реку.

Потом на летние каникулы приехал из Оксфорда Чакко. Он превратился в крупного мужчину, и от гребли за Бэллиол-колледж руки у него были тогда крепкие. Через неделю после приезда он увидел, как Паппачи бьет Маммачи у себя в кабинете. Чакко вошел в комнату, схватил Паппачи за руку, в которой тот держал вазу, и заломил ее отцу за спину.

— Чтобы этого никогда больше не было, — сказал он. — Никогда, понял?

До конца дня Паппачи сидел на веранде с каменным лицом и смотрел на декоративный сад, игнорируя тарелки с едой, которые ему подставляла Кочу Мария. Поздно вечером он вошел к себе в кабинет и вынес оттуда любимое свое кресло-качалку красного дерева. Поставив кресло на середину подъездной дорожки, он разбил его в щепу большим разводным ключом. Все это там осталось лежать кучей, освещенное луной, — полированные прутья и деревянные обломки. Он ни разу больше не тронул Маммачи. И до конца своих дней не сказал ей больше ни слова. Когда ему что-нибудь было нужно, он прибегал к посредничеству Кочу Марии или Крошки-кочаммы.

В те вечера, когда ожидались гости, он усаживался на веранде и начинал пришивать к своим рубашкам пуговицы, которых там якобы не хватало, — видите, мол, как она обо мне заботится. В какой-то, пусть и малой, степени ему удалось еще больше дискредитировать в глазах жителей Айеменема образ работающей жены.

У одного старого англичанина в Манаре он купил лазурного цвета «плимут». В Айеменеме часто потом видели, как он важно и неторопливо катит по узкой дороге в широкой машине, элегантный внешне, но весь мокрый от пота под плотным шерстяным костюмом. Ни Маммачи, ни кому-либо другому не разрешалось не только ездить, но даже сидеть в этом автомобиле. «Плимут» был отмщением Паппачи.

В свое время Паппачи был Королевским Энтомологом в Сельскохозяйственном институте. После ухода англичан его должность стала называться «содиректор по энтомологии». За год до отставки его повысили до директорского уровня.

Величайшим разочарованием его жизни было то, что в его честь *не* назвали открытую им ночную бабочку.

Она упала в его коктейль однажды вечером, когда он сидел на веранде гостиницы после долгого дня в поле. Вынимая ее, он обратил внимание на необычную густоту спинных волосков. Он присмотрелся к ней получше. Потом, испытывая растущее воодушевление, обработал ее, обмерил и утром на несколько часов выставил на солнце, чтобы выпарить спирт. После чего первым же поездом вернулся в Дели. Где бабочку ждало таксономическое исследова́ние, а его, как он надеялся, — слава. После шести невыносимых месяцев ожидания энтомологу, к его страшному разочарованию, было сказано, что эта бабочка — всего-навсего незначительная разновидность внутри хорошо известного вида, принадлежащего к тропическому семейству Lymantriidae.

Но настоящий удар он получил двенадцатью годами позже, когда вследствие радикального изменения таксономических концепций специалисты по чешуекрылым решили, что бабочка Паппачи *действительно* является представительницей доселе не известного науке вида и рода. К тому времени, конечно, Паппачи уже вышел на пенсию и обосновался в Айеменеме. Бороться за честь первооткрывателя было уже поздно. Бабочку назвали в честь и. о. директора отдела энтомологии, из молодых да раннего, на которого Паппачи всегда смотрел косо.

В последующие годы, хотя Паппачи уже давно, задолго до открытия им бабочки, был человеком желчным, она, эта бабочка, считалась виновницей всех его приступов хандры и внезапных вспышек ярости. Ее злобный дух — серый, мохнатый, с необычно густыми спинными волосками — обитал в каждом доме, где ему приходилось жить. Он мучил его самого, его детей и детей его детей.

До самой своей кончины, несмотря на удушающую айеменемскую жару, Паппачи неизменно носил хорошо отутюженный костюм-тройку и золотые карманные часы. На его туалетном столике рядом с флакончиком одеколона и серебряной щеткой для волос стояла его фотография в молодости, с гладко зализанными волосами, сделанная в фотоателье в Вене, где он шесть месяцев стажировался прежде, чем получить должность Королевского Энтомолога. Во время их краткого пребывания в Вене Маммачи стала брать свои первые уроки игры на скрипке. Уроки были резко прерваны после того, как Лаунски-Тиффенталь, педагог Маммачи, имел неосторожность сказать Паппачи, что его жена исключительно одарена и, по его мнению, может стать настоящей солисткой.

Маммачи вклеила в семейный фотоальбом вырезку из газеты «Индиан экспресс» с заметкой о смерти Паппачи. Там говорилось:

> Известный энтомолог шри Бенаан Джон Айп, сын покойного священника И. Джона Айпа из Айеменема (прозванного *Пуньян Кунджу*) скончался вчера ночью в больнице общего профиля города Коттаяма от обширного инфаркта. Примерно в 1.05 ночи он почувствовал боль в груди и был немедленно госпитализирован. Смерть наступила в 2.45 ночи. В течение последних шести месяцев состояние здоровья шри Айпа внушало опасения. После него остались жена Сошамма и двое детей.

На похоронах Паппачи его вдова рыдала, и контактные линзы плавали в ее глазах. Амму сказала близнецам, что Маммачи плакала не из-за любви к покойному мужу, а из-за привычки. Она привыкла видеть его слоняющимся вокруг фабрики, привыкла к его побоям. Амму сказала, что человек — это привыкающее животное и что просто невероятно, к чему он ухитряется приспособиться. Стоит посмотреть вокруг, сказала Амму, и увидишь, что избиения латунной вазой — далеко не самое впечатляющее, что есть на свете.

После похорон Маммачи попросила Рахель найти и вынуть у нее из глаз контактные линзы с помощью маленькой оранжевой пипетки, лежавшей в особом футлярчике. Рахель спросила Маммачи, можно ли ей будет, когда Маммачи умрет, взять пипетку себе. Амму тут же вывела ее из комнаты и отшлепала.

— Чтобы я никогда больше не слышала, как ты говоришь человеку про его смерть, — сказала она.

Эста сказал, что Рахель недобрая, что так ей и надо.

Венскую фотографию Паппачи с зализанными волосами вставили в другую рамку и повесили в гостиной.

Он был фотогеничный мужчина, франтоватый и холеный, с довольно крупной для его небольшого роста головой. Наклони он ее — на снимке стал бы заметен уже намечавшийся у него второй подбородок. Поэтому он держал голову достаточно высоко, но не слишком, чтобы не показаться надменным. Его светло-карие глаза глядели любезно, но несколько зловеще, как будто он специально сделал перед аппаратом вежливую мину, размышляя тем временем, как лучше убить собственную жену. Его верхняя губа посередине чуть нависала над нижней, что делало его лицо женственным и словно бы дующимся, как бывает у детей, имеющих привычку сосать пальцы. На подбородке у него была продолговатая выемка, подтверждавшая подозрения о таящейся в нем маниакальной злобе. О некой сдавленной жестокости. На нем были защитного цвета брюки для верховой езды, хотя он ни разу в жизни не садился на лошадь. В его блестящих сапогах отражалась лампа фотографа. На коленях у него покоился хлыст с рукояткой из слоновой кости.

Безмолвная зоркость мужчины на фотографии подспудно охлаждала теплую комнату, в которой она висела.

После смерти Паппачи от него остались сундуки с дорогими костюмами и жестянка из-под конфет, полная запонок, которые Чакко по одной раздал коттаямским таксистам. Они пошли на кольца и брелоки для их незамужних дочек, которым требовалось приданое.

Когда близнецы спросили, что такое запонки, и получили от Амму ответ: «Застежки для манжет», их поразила логика языка, казавшегося до той поры совершенно нелогичным. *Cuff (манжета) + link (застежка) = cufflink (запонка).* Точность и стройность не хуже математической. Эти самые запонки привели их в неумеренный, преувеличенный восторг перед английским языком.

Паппачи, сказала Амму, был неисправимым ЧЧП англичан, что в полном виде звучит «чи-чи поч» и в переводе с хинди буквально означает «выгребатель дерьма». Чакко сказал, что на вежливом языке люди вроде Паппачи называются *англофилами.* Он заставил Рахель и Эсту посмотреть это слово в большом энциклопедическом словаре, изданном «Ридерз дайджест». Там объяснялось: «Лицо, расположенное к англичанам». Затем близнецы должны были найти слово «расположить». Словарь гласил: «1) Разместить в определенном порядке. 2) Добиться благоприятного отношения». Чакко объяснил, что к Паппачи относится второе значение — «добиться благоприятного отношения». Англичане, сказал Чакко, долго били нас и наконец добились от Паппачи и ему подобных благоприятного к себе отношения.

Чакко заявил близнецам, что, как ни тяжело в этом признаваться, все они сплошь англофилы. *Англофильская порода.* Люди, уведенные в ложном направлении, увязшие вне собственной истории и не способные вернуться назад по своим же следам, потому что следы эти стерты. Он сказал, что история похожа на старый дом среди ночи. В котором зажжены все огни. В котором тихо шепчутся предки.

— Чтобы понять историю, — сказал Чакко, — мы должны войти внутрь и прислушаться к тому, что они говорят. Взглянуть на книги и на развешанные по стенам картины. Вдохнуть запахи.

Эста и Рахель были совершенно уверены, что Чакко имеет в виду вполне определенный дом на той стороне реки, посреди заброшенной каучуковой плантации, где они никогда не были. Дом Кари Сайбу — Черного Сахиба[1]. Англичанина, который «отуземился». Который говорил на малаялам и носил мунду. Который был своего рода Курцем[2] Айеменема. Который сделал это место своим Сердцем Тьмы. Он пустил себе пулю в лоб десять лет назад, когда родители мальчика, с которым он жил, забрали его домой и отдали в школу. После самоубийства хозяина его имущество стало предметом длительной тяжбы между поваром Кари Сайбу и его секретарем. Все эти годы дом пустовал. Видели его очень немногие. Близнецы, однако, явственно представляли его себе.

Исторический Дом.

Прохладные каменные полы, тусклые стены и плывущие, качающиеся тени-корабли. Пухлые полупрозрачные ящерицы, живущие позади старых картин; дряхлые предки с восковыми лицами, жесткими безжизненными ногтями на ногах и запахом пожелтевших географических карт изо рта; их бумажные шелестящие шепотки.

— Но войти туда мы не можем, — объяснял Чакко, — потому что дверь заперта. А когда мы заглядываем снаружи в окна, мы видим только тени. А когда мы прислушиваемся, до нас доносится только шепот. И понять, о чем они шепчут, мы не можем, потому что разум наш захлестнула война. Война, которую мы выиграли и проиграли. Самая скверная из войн. Война, которая берет в плен мечты и перекраивает их. Война, которая заставила нас восхищаться нашими поработителями и презирать себя.

— Сказал бы лучше: *жениться* на наших поработительницах, — заметила Амму сухо, имея в виду Маргарет-кочамму. Чакко пропустил шпильку мимо ушей. Он заставил близнецов найти в словаре слово *презирать*. Там объяснялось: *смотреть сверху вниз; относиться пренебрежительно; не уважать.*

Чакко сказал, что в контексте войны, о которой он вел речь, — Войны за Мечты — *презирать* означает и то, и другое, и третье.

— Мы Бывшие Военнопленные, — сказал Чакко. — Нам внушили чужие мечты. Мы не помним родства. Мы плывем без якоря по бурному морю. Ни одна гавань нас не принимает. Нашим печалям вечно не хватает глубины. Нашим радостям — высоты. Нашим мечтам — размаха. Нашим жизням — весомости. Чтобы иметь какой-либо смысл.

Потом, чтобы Эста и Рахель учились видеть все в мудром свете исторической перспективы (хотя в последующие недели именно мудрости будет катастрофически не хватать самому Чакко), он рассказал им про Землю-Женщину. Вообразите, потребовал он, что Земля, которой на самом деле четыре миллиарда шестьсот миллионов лет, — это сорокашестилетняя женщина, ровесница, скажем, Алеяммы, вашей учительницы языка малаялам. Вся жизнь Земли-Женщины ушла на то, чтобы она приобрела свой теперешний вид. Чтобы разверзлись океаны. Чтобы воздвиг-

---

[1] Сахиб — господин (обращение к иностранцу в колониальной Индии).

[2] Курц — персонаж романа Дж. Конрада «Сердце тьмы» (1902), образованный человек, жестоко правивший туземцами в отдаленном уголке Африки

лись горы. Земле-Женщине было одиннадцать лет, сказал Чакко, когда появились первые одноклеточные организмы. Первые животные — черви, медузы и подобные им существа — возникли, когда ей было сорок. Всего восемь месяцев назад, когда ей уже стукнуло сорок пять, по земле еще бродили динозавры.

— Вся известная нам человеческая цивилизация, — сказал Чакко близнецам, — длится не более *двух часов.* Примерно столько же, сколько мы тратим на поездку из Айеменема в Кочин.

Проникаешься благоговением и смирением, сказал Чакко (*благоговение* — смешное слово, подумала Рахель, — *бла-бла-бла, го-го-го...*), когда думаешь, что вся современная история — с ее Мировыми Войнами, Войнами за Мечты, Высадками На Луне, с ее наукой, литературой, философией, стремлением к познанию — длится не дольше, чем один вдох Земли-Женщины.

— А мы с вами, милые мои, сколько мы живем и сколько еще проживем, длимся не дольше, чем блик в ее мерцающих глазах, — торжественно сказал Чакко, лежа на кровати и уставив взгляд в потолок.

Когда Чакко был в таком настроении, он говорил своим Читающим Вслух голосом. Его комната начинала походить на церковь. Ему не важно было, слушают его или нет. А если слушали, ему не важно было, понимают его или нет. Амму в таких случаях говорила, что он Поехал в Оксфорд.

Потом, в свете того, что случилось, *мерцающих* казалось совершенно не тем словом, какое могло передать выражение глаз Земли-Женщины. *Мерцающих* — богатое, царское слово.

Хотя рассказ о Земле-Женщине произвел на близнецов впечатление, гораздо сильнее их заинтриговал — потому что был гораздо ближе — Исторический Дом. Они часто о нем думали. О доме на той стороне реки.

Мрачно высящемся в Сердце Тьмы.

О доме, куда они не могли войти, полном шепотков, которых они не могли понять.

Они не знали тогда, что вскоре *войдут* в этот дом. Что, переправившись через реку, они будут там, где им не положено быть, с человеком, которого им не положено любить. Что на задней веранде их круглым, как блюдца, глазам будет явлена история.

В том возрасте, когда другие дети получают знания другого рода, Эста и Рахель узнали, как история добивается от людей своего и взыскивает долги с тех, кто нарушает ее законы. Они услышали ее удары. Почуяли ее тошнотворный запах, которого им не суждено было забыть.

Запах истории.

Словно от старых роз принесло ветром.

Теперь она неистребимо будет таиться в самом обыденном. В вешалках для одежды. В помидорах. В плоских пятнах гудрона на шоссе. В оттенках некоторых цветов. В ресторанных блюдцах. В бессловесности. И в опустелости глаз.

Взрослея, они будут пытаться найти способы жить с тем, что случилось. Они будут убеждать себя, что в масштабах геологических эпох это было незначительное происшествие. Длившееся гораздо меньше, чем один вдох Земли-Женщины. Что случалось и Худшее. Что Худшее случалось постоянно. Но успокоения эти мысли не принесут.

Чакко сказал, что просмотр «Звуков музыки» — это продолжительное упражнение в англофилии. Амму ответила:

— Да ладно тебе, этот фильм смотрят по всему миру. Это Международный Лидер Проката.

— И тем не менее, дорогая моя, — сказал Чакко своим Читающим Вслух голосом. — Тем. Не. Менее.

Маммачи часто повторяла, что Чакко всерьез можно считать одним из умнейших людей Индии. «Кто это сказал? — спрашивала ее Амму. — На чем ты основываешься?» Маммачи приводила слова одного из оксфордских «донов» (переданные ей самим Чакко) о том, что, по его мнению, Чакко — выдающаяся личность и он вполне мог бы стать премьер-министром.

На что Амму всегда отвечала: «Ха! Ха! Ха!» — прямо как персонажи комиксов.

Она говорила, что

а) если человек просиживал штаны в Оксфорде, это еще не значит, что он поумнел;

б) чтобы стать хорошим премьер-министром, ума недостаточно;

в) если он не может безубыточно управлять даже консервной фабрикой, как он собирается управлять целой страной?

И самое главное:

г) все индийские матери свихнуты на своих сыновьях и поэтому не в состоянии трезво оценить их способности.

Чакко в ответ говорил, что

а) он не *просиживал штаны,* а *учился* в Оксфорде.

И

б) не просто *учился,* а *прошел полный курс.*

— Вот именно, курс, — отвечала на это Амму. — Курс носом в землю. Как у твоих любимых самолетиков.

Амму утверждала, что о способностях Чакко лучше всего говорит печальная, но совершенно предсказуемая судьба собираемых им авиамоделей.

Раз в месяц (кроме периода муссонных дождей) Чакко получал экспресс-почтой коробку. В ней неизменно находился набор для авиамоделирования. На то, чтобы собрать самолетик с крохотным бензобаком, моторчиком и пропеллером, у Чакко обычно уходило дней восемь-десять. Закончив работу, он брал Эсту и Рахель в наттакомские рисовые поля, чтобы ассистировали при запуске. Полет никогда не продолжался больше минуты. Из месяца в месяц тщательно собираемые Чакко летательные аппараты пикировали в зеленую слякоть рисовых полей, после чего Эста и Рахель, как хорошо натасканные ретриверы, кидались за обломками.

Хвост, бензобак, крыло.

Раненая машина.

Комната Чакко была полна сломанных самолетиков. Каждый месяц приходил новый набор. Чакко никогда не возлагал вину за падения на поставщиков.

После смерти Паппачи Чакко ушел с преподавательской должности в Мадрасском христианском колледже и приехал в Айеменем с Веслом из Бэллиол-колледжа и с мечтаниями о судьбе Консервного Барона. Он употребил свои пенсионный и страховой фонды на покупку машины «бхарат» для закрывания банок. Его весло, на котором золотыми буквами были написаны фамилии товарищей по команде, теперь висело на железных кольцах на стене фабрики.

До приезда Чакко фабрика была маленьким, но доходным предприятием. Маммачи хозяйничала там, как на большой кухне. Чакко зарегистрировал фабрику как товарищество и уведомил Маммачи, что отныне она пассивный партнер. Он закупил оборудование (машины для изготовления и запайки жестянок, котлы и плиты для варки) и нанял новых работников. Почти сразу денежные дела стали ухудшаться; Чакко искусственно держал предприятие на плаву за счет сумасбродных зай-

мов, которые он брал в банках под залог принадлежавших семье рисовых полей в окрестностях Айеменема. Хотя Амму отдавала фабрике не меньше сил, чем Чакко, он, имея дело с инспекторами и сантехниками, всегда говорил: *мое* предприятие, *мои* ананасы, *мои* соленья. Формально он был прав, потому что Амму как дочь не имела никаких прав на собственность.

Чакко сказал Рахели и Эсте, что Амму лишена Места Под Солнцем.

— Спасибо нашему замечательному обществу с его поганым мужским шовинизмом, — сказала Амму. А Чакко на это:

— Что твое — то мое, а что мое — то опять же мое.

У него был удивительно визгливый смех для мужчины его роста и толщины. Смеясь, он вроде бы не двигался и в то же время весь трясся.

До приезда Чакко в Айеменем фабрика Маммачи не имела названия. Ее соленья и джемы были для всех просто «молодыми манго Соши», «банановыми джемами Соши». Соша — это было уменьшительное имя Маммачи. Сошамма.

Не кто иной, как Чакко, дал фабрике название «Райские соленья и сладости» и заказал типографии товарища К. Н. М. Пиллея соответствующие наклейки. Поначалу он хотел, чтобы это были «Дионисийские соленья и сладости», но все воспротивились, сказав, что «Дионисийские», в отличие от «Райских», никому не понятно и не связано с местными представлениями. (Предложение товарища Пиллея — «Парашурамские соленья»[1] — было отклонено по противоположной причине: слишком уж сильная связь с местными представлениями.)

Не кому иному, как Чакко, принадлежала идея установить на крыше «плимута» разрисованные рекламные щиты.

Теперь, по дороге в Кочин, они тряслись и грохотали, как будто хотели свалиться.

Около Вайкома они остановились, чтобы купить веревку и укрепить их получше. Это задержало их еще на двадцать минут. Рахель забеспокоилась: как бы они не опоздали на «Звуки музыки».

Потом, уже недалеко от Кочина, когда перед ними вдруг опустилась красно-белая рука шлагбаума, Рахель подумала, что причина — именно ее надежда проскочить это место.

Она еще не научилась обуздывать свои Надежды. Эста сказал, что это Недобрый Знак.

Теперь они уже точно не успевали на начало фильма. Когда Джули Эндрюс возникает сперва пятнышком на холме, потом приближается, приближается и вырастает во весь экран, а голос ее — как холодная вода, дыхание — как сладкая мята.

На красно-белой руке была белая надпись СТОП на красной дощечке.

— ПОТС, — сказала Рахель.

На желтом щите было написано красным: ИНДИЕЦ, ПОКУПАЙ ИНДИЙСКОЕ.

— ЕОКСЙИДНИ ЙАПУКОП, ЦЕИДНИ, — сказал Эста.

Близнецы рано начали читать. Они быстро одолели «Старого пса Тома, Джанет и Джона» и «Книжки Рональда Ридаута». По вечерам Амму читала им вслух «Книгу джунглей» Киплинга:

День пятится прочь, спускается ночь
На крыльях нетопыря...

---

[1] Парашурама — одна из аватар (т.е. воплощений) бога Вишну в индуистской мифологии. Миссия Парашурамы на земле состояла в свержении тирании кшатриев (военной знати), что могло быть привлекательно для коммуниста Пиллея.

Пушок у них на руках вставал дыбом, золотясь в свете лампы на ночном столике. Амму рычала, изображая Шер-Хана, и скулила, изображая Маугли.

— *«Захотим, захотим»! Какое мне дело? Клянусь буйволом, которого я убил, долго мне еще стоять, уткнувшись носом в ваше собачье логово, и ждать того, что мне полагается по праву? Это говорю я, Шер-Хан!*[1]

— *А отвечаю я, Ракша (Демон),* — громко кричали близнецы. Не совсем одновременно, но почти.

— *Человечий детеныш мой, Лангри, и останется у меня! Его никто не убьет. Он будет жить и охотиться вместе со Стаей и бегать вместе со Стаей! Берегись, охотник за голыми детенышами, рыбоед, убийца лягушек, — придет время, он поохотится за тобой!*

Крошка-кочамма, отвечавшая за их формальное образование, прочла им шекспировскую «Бурю» в пересказе Чарльза и Мэри Лэм.

— *Буду я среди лугов,* — твердили потом Эста и Рахель, — *пить, как пчелы, сок цветов*[2].

Поэтому, когда мисс Миттен, миссионерка из Австралии и знакомая Крошки-кочаммы, подарила, приехав в Айеменем, Эсте и Рахели детскую книжонку — «Приключения белочки Сюзи», — они были оскорблены до глубины души. Сперва они прочли ее как положено. Однако потом, когда они вслух прочли ее, произнося слова задом наперед, мисс Миттен, принадлежавшая к секте «заново рожденных христиан», сказала, что они ее Чуточку Огорчили.

— *яинечюлкирП икчолеб изюС. ыджандО миннесев морту акчолеб изюС...*

Они продемонстрировали мисс Миттен, что *малаялам* (если вставить лишнее «а») и *Аргентина манит негра* читаются туда и сюда одинаково. Но ее это не позабавило, и оказалось, что она даже не знает, что такое малаялам. Они объяснили ей, что это язык, на котором говорят в штате Керала. Она сказала, что у нее создалось представление, будто он называется «керальский». Эста, который страшно невзлюбил мисс Миттен, ответил, что это, по его мнению, Глупейшее Представление.

Мисс Миттен пожаловалась Крошке-кочамме как на грубость Эсты, так и на их чтение задом наперед. Она сказала Крошке-кочамме, что увидела в их глазах лик сатаны. *Кил ынатас.*

Им пришлось писать: *Я не буду читать задом наперед. Я не буду читать задом наперед.* И так сто раз. Слева направо, как положено.

Через несколько месяцев, вернувшись к себе в Хобарт, мисс Миттен погибла. Она попала под молоковоз, переходя дорогу около крикетной площадки. Близнецы увидели руку возмездия в том, что молоковоз давал *задний ход.*

По обе стороны железнодорожных путей стали скапливаться легковушки и автобусы. «Скорая помощь» с надписью «Больница Святого Сердца» была полна людей, ехавших на свадьбу. Лицо невесты, которая смотрела наружу в заднее окно, частично заслонял большой обшарпанный красный крест.

У всех автобусов были девичьи имена. Люсикутти, Молликутти, Бина-моль. «Моль» означает на малаялам «девочка», «мон» — «мальчик»; «кутти» — уменьшительный суффикс. «Бина-моль» была полна паломников с выбритыми в Тирупати[3] головами. В окне автобуса Рахель видела шеренгу гладких голов, а чуть пони-

---

[1] Здесь и ниже «Книга джунглей» Р. Киплинга цитируется в переводе Н. Дарузес.
[2] «Буря», акт V, сцена 1, перевод Мих. Донского.
[3] Тирупати — крупнейший центр индуизма в штате Андхра-Прадеш.

же, на равном расстоянии один от другого, — подтеки рвоты. Рвота вообще внушала ей немалое любопытство. Ее никогда не рвало. Ни разу в жизни. А вот с Эстой это случалось, и тогда его кожа становилась горячей и блестящей, глаза — беспомощными и прекрасными, и Амму любила его больше обычного. Чакко говорил, что Эста и Рахель — до неприличия здоровые дети. И Софи-моль тоже. По его словам, они не пострадали от Инбридинга[1], в отличие от большинства сирийских христиан. И парсов.

Маммачи на это отвечала, что ее внук и внучка пострадали от чего-то гораздо худшего, чем Инбридинг. Она имела в виду развод родителей. Выходило, что люди должны выбирать из двух зол: либо Инбридинг, либо Развод.

Рахель не знала точно, от какого зла она пострадала, но иногда на всякий случай делала перед зеркалом печальное лицо и вздыхала.

— *То, что я делаю сегодня, неизмеримо лучше всего, что я когда-либо делал*, — говорила она горестно. Рахель, она же Сидни Картон, она же Чарльз Дарней, произносила эти слова перед казнью на гильотине в диккенсовской «Повести о двух городах», адаптированной для детской серии «Иллюстрированная классика».

Она удивленно задумалась о том, почему лысых паломников рвало так единообразно, и о том, как это происходило во времени, — единым оркестровым порывом (возможно, под музыку, под ритм автобусного бхаджана[2]) или раздельно, по очереди.

Вначале, когда шлагбаум только закрылся, Воздух был полон нетерпеливого пыхтенья работающих вхолостую моторов. Но когда человек, обслуживающий переезд, вышел из будочки на своих гнущихся в обратную сторону ногах и, проковыляв к чайному лотку, дал тем самым понять, что ждать придется долго, водители стали глушить моторы и вылезать из машин, чтобы размяться.

Небрежным кивком заспанной, скучающей головы Шлагбаумное Божество заставило материализоваться перебинтованных нищих и людей с подносами, торгующих ломтиками кокосовой мякоти и гороховыми лепешками на банановых листьях. Еще холодными напитками. Кока-колой, фантой, «розовым молоком».

У окна их машины появился прокаженный в грязных бинтах.

— Ненатуральный цвет, — сказала Амму, имея в виду подозрительно яркую кровь на повязках.

— Поздравляю, — отозвался Чакко. — Подлинно буржуазное высказывание.

Амму улыбнулась, и они пожали друг другу руки, точно она и вправду получила от него документ, удостоверяющий ее Подлинную-Преподлинную Буржуазность. Такие моменты близнецы ценили и нанизывали их, как драгоценные бусины, на нить своего (честно говоря, довольно реденького) ожерелья.

Рахель и Эста прижали носы к окошкам «плимута». Томящиеся зефирины, а позади них — смутно различимые дети. «Нет», — жестко и непререкаемо сказала Амму.

Чакко зажег сигарету «чарминар». Сделал глубокую затяжку, потом снял с языка попавшую на него крошку табака.

В салоне «плимута» Рахели не так-то просто было взглянуть на Эсту, потому что Крошка-кочамма возвышалась между ними как холм. Амму специально рассаживала их, чтобы они не дрались. Когда у них происходили ссоры, Эста обзывал Рахель Мушкой Дрозофилой. Рахель дразнила его Элвисом-Пелвисом[3] и вихляво плясала перед ним, чем приводила его в бешенство. Из-за примерного равенства

---

[1] Инбридинг — получение потомства от родственных особей.

[2] Бхаджан — индуистский религиозный гимн.

[3] Так прозвали знаменитого американского эстрадного певца Элвиса Пресли (1935-1977), намекая на его движения тазом во время выступлений («pelvis» в ряде европейских языков означает «таз»).

сил бой, когда им случалось драться всерьез, длился до бесконечности, и все, что неудачно стояло, — пепельницы, графины, настольные лампы — разбивалось или непоправимо ломалось.

Крошка-кочамма держалась за спинку переднего сиденья обеими руками. Во время езды жир на них колыхался, как тяжкое от влаги белье на ветру. Теперь же он свисал кожистым занавесом, отделяя Эсту от Рахели.

Со стороны Эсты у дороги стояла чайная палатка, где, помимо чая, торговали лежалым и засиженным мухами глюкозным печеньем в коробках из мутного стекла. Продавали газированный лимонад в толстых бутылках с голубыми мраморными затычками, чтобы не выходил газ. Унылая надпись на красном ящике со льдом гласила: *С кока-колой дела пойдут лучше.*

На каменном дорожном указателе, скрестив ноги и безупречно держа равновесие, сидел Мурлидха́ран, псих этого переезда. Его мужские органы свисали вниз, указывая на надпись:

КОЧИН
23

На Мурлидхаране не было ничего, кроме высокого пластикового пакета, водруженного кем-то ему на голову наподобие прозрачного поварского колпака. Сквозь пакет видна была местность — мутная, кухонная, но все же доступная зрению. Мурлидхаран не смог бы снять пакет, даже если бы захотел, потому что у него не было рук. Их оторвало в Сингапуре в сорок втором, всего через несколько дней после того, как он, сбежав из дому, вступил в ряды действующей «Индийской национальной армии»[1]. После установления независимости он получил удостоверение «ветерана освободительной борьбы 1-й группы» и документ о пожизненном праве бесплатного железнодорожного проезда в первом классе. Все это он потерял (вместе с рассудком) и теперь уже не мог жить в поездах и станционных залах ожидания. У Мурлидхарана не было дома, и следовательно, ему нечего было запирать, однако старые ключи висели у него на бечевке, аккуратно обвязанной вокруг талии. Поблескивающая связка. Его ум был полон шкафчиков, где хранились тайные радости.

Будильник. Красный автомобиль с музыкальным гудком. Красная кружка для ванной комнаты. Жена с брильянтом. Чемоданчик с важными бумагами. Возвращение домой после работы в фирме. «Мне очень жаль, полковник Сабхапати, но это мое последнее слово». И хрустящие банановые чипсы для детишек.

Он смотрел на приходящие и уходящие поезда. И пересчитывал ключи.

Он смотрел на приходящие и уходящие правительства. И пересчитывал ключи.

Он смотрел на смутно различимых детей с томящимися носами-зефиринами за стеклами автомобилей.

Мимо его окна тащились бездомные, беспомощные, больные, нищие и увечные. Он знай себе пересчитывал ключи.

Ведь мало ли, когда какой шкафчик вдруг понадобится открыть. Со свалявшимися волосами и глазами-окнами он сидел на раскаленном камне и был рад возможности иногда отвлечься. Пересчитать и перепроверить ключи.

Счет — хорошо.

Оцепенение — еще лучше.

Считая, Мурлидхаран шевелил губами и явственно произносил слова.

Оннер.

Рендер.

---

[1] «Индийская национальная армия», которой командовал Субхас Чандра Бос, была создана в 1942 г. в Сингапуре в основном из военнопленных индийцев и воевала в Бирме против Англии на стороне Японии.

Муннер[1].

Эста заметил, что на голове у него волосы седые и курчавые, под оставшимися от рук буграми — черные, лохматые и неспокойные от ветра, в промежности — черные и жесткие. У одного человека три сорта волос. Эста задумался, как такое возможно. Он не знал, кого спросить.

Рахель до того переполнилась Ожиданием, что готова была лопнуть. Она посмотрела на свои часики. Без десяти два. Она думала про Джули Эндрюс и Кристофера Пламмера, целовавшихся наклонно, чтобы не столкнуться носами. Ей было неясно, всегда ли влюбленные так целуются. Она не знала, кого спросить.

Какой-то гул стал надвигаться издалека на застрявший транспорт и наконец накрыл его с головой. Водители, вышедшие было размять ноги, вернулись по машинам и захлопнули за собой дверцы. Нищих и торговцев как ветром сдуло. Пара минут — и дорога была пуста. Остался один Мурлидхаран. По-прежнему жарил задницу на раскаленном камне. Ощущая разве что слабое любопытство, но никак не тревогу.

Шум, гомон. И полицейские свистки.

Позади ожидающих, накапливающихся машин возникла людская колонна: красные флаги, плакаты и нарастающий гул.

— Поднимите стекла, — сказал Чакко. — И спокойно. Они нам ничего не сделают.

— Может, с ними пойдешь, а, товарищ? — спросила его Амму. — А я за руль сяду.

Чакко ничего не ответил. Под жировой подушечкой у него на подбородке напрягся мускул. Он выкинул в окно сигарету и поднял стекло.

Чакко называл себя марксистом. Он приглашал к себе в комнату хорошеньких работниц семейной фабрики и под предлогом разъяснения прав трудящихся и законов о профсоюзах безобразно с ними заигрывал. Он называл каждую товарищем и требовал, чтобы они называли его так же (они в ответ хихикали). К их изумлению и к смятению Маммачи, он сажал их с собой за стол и поил чаем.

Один раз он даже свозил нескольких в Аллеппи, в профсоюзный лекторий. Туда — автобусом, обратно — на лодке. Девушки вернулись довольные, со стеклянными браслетами на запястьях и цветами в волосах.

Амму сказала, что все это фальшь и показуха. Избалованный барин решил поиграться в «товарищей». Оксфордская аватара старой доброй заминдарской ментальности: помещик, навязывающий свою благосклонность зависимым от него женщинам.

Когда демонстранты приблизились, Амму подняла свое стекло. Эста — свое. Рахель — свое (не без труда, потому что от рукоятки отвалилась черная пупочка).

Вдруг лазурного цвета «плимут» стал выглядеть на узкой выщербленной дороге неуместно роскошным и дородным. Словно протискивающаяся коридором пышнотелая дама. Словно Крошка-кочамма в церкви, прокладывающая себе путь к хлебу и вину.

— Смотрите вниз! — сказала Крошка-кочамма, когда передние ряды демонстрантов поравнялись с машиной. — Не встречайтесь с ними взглядом. Это их больше всего провоцирует.

Сбоку у нее на шее дергался пульс.

Мигом дорогу затопила громадная толпа. Автомобили стали островами в людском потоке. В воздухе было красно от флагов, которые наклонялись и выпрямля-

---

[1] Оннер, рендер, муннер — один, два, три (*малаялам*).

лись вновь, когда люди подныривали под шлагбаум и перекатывались через железнодорожные пути алой волной.

Тысячи голосов слились над замершим транспортом в один Шумовой Зонтик.

— *Инкилаб зиндабад! Тожилали экта зиндабад!* Да здравствует революция! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Даже Чакко не мог удовлетворительно объяснить, почему коммунистическая партия была в штате Керала намного популярнее, чем в остальной Индии, за исключением разве что Бенгалии.

На этот счет существовало несколько теорий. Согласно одной из них причиной было большое количество христиан в этом штате. Двадцать процентов населения Кералы составляли сирийские христиане, считавшие, что происходят от ста брахманов, которых обратил в христианство апостол Фома, отправившийся на Восток после Воскресения Христова. В структуре сознания, как утверждали сторонники этой довольно примитивной теории, марксизм просто занял место христианства. Если Бога заменить Марксом, сатану — буржуазией, рай — бесклассовым обществом, церковь — партией, то цель и характер путешествия останутся прежними. Гонка с препятствиями, в конце которой обещан приз. В то время как индуистскому уму нужна более замысловатая перестройка.

Главная неувязка этой теории заключалась в том, что в штате Керала сирийские христиане большей частью были зажиточными землевладельцами (или, скажем, владельцами консервных фабрик), для которых коммунизм был хуже смерти. Они всегда голосовали за Национальный конгресс.

Другая теория объясняла популярность коммунистов сравнительно высоким уровнем грамотности в штате. Так-то оно так, однако высокий уровень грамотности скорее можно считать *следствием* коммунистической пропаганды.

Секрет заключался в том, что коммунизм проник в Кералу тихой сапой. Как реформистское движение, никогда реально не ставившее под вопрос традиционные ценности разделенного на касты, чрезвычайно консервативного общества. Марксисты работали *внутри* сложившейся системы, бросая ей вызов на словах, но отнюдь не на деле. Они предлагали некий революционный коктейль. Хмельную смесь из восточного марксизма и ортодоксального индуизма, слегка облагороженную демократией.

Чакко еще в юности был обращен в коммунистическую веру и, хотя не состоял в партии формально, во всех исторических перипетиях оставался ее убежденным сторонником.

Он был студентом Делийского университета во время эйфории 1957 года, когда коммунисты выиграли выборы в законодательное собрание штата и Неру предложил им сформировать правительство. Премьер-министром первого в мире демократически избранного коммунистического правительства стал кумир Чакко — товарищ Э. М. Ш. Намбудирипад, пламенный брахман-первосвященник керальских марксистов. Внезапно коммунисты оказались в странном — недоброжелатели говорили, нелепом — положении: им приходилось одновременно быть властью и призывать к революции. О том, как это совместить, товарищ Э. М. Ш. Намбудирипад рассказал в книге, где изгалагась разработанная им теория. Чакко изучал его «Мирный переход к коммунизму» со всей юной одержимостью и безоговорочным одобрением слепого приверженца. Там подробно разъяснялось, как правительство товарища Э. М. Ш. Намбудирипада намерено провести земельные реформы, нейтрализовать полицию, подчинить себе судебную систему и «Ограничить Вмешательство Реакционного Антинародного Конгрессистского Центрального Правительства».

Увы, и года не прошло, как Мирный этап Мирного Перехода кончился.

Каждое утро за завтраком Королевский Энтомолог изводил своего неуступчи-

вого сына-марксиста. Читая вслух газетные сообщения о беспорядках, забастовках и жестоких полицейских расправах

— Ну что, Карл Маркс? — издевательски спрашивал Паппачи, когда Чакко садился за стол. — Как прикажешь быть с этой студенческой швалью? Опять, черт бы их драл, агитируют против нашенского Народного Правительства. Может, поубивать всех, и дело с концом? Ведь они же не Народ — так, студентишки.

За два последующих года политический конфликт, подогреваемый партией Конгресса и церковью, перерос в анархию. Когда Чакко получил степень бакалавра гуманитарных наук и отправился в Оксфорд за новой степенью, штат Керала балансировал на грани гражданской войны. Неру распустил коммунистическое правительство и назначил новые выборы. К власти вернулась партия Конгресса.

Только в 1967 году — почти ровно через десять лет после первой победы коммунистов — партия товарища Э. М. Ш. Намбудирипада вновь пришла к власти. На этот раз в составе коалиции двух ныне отдельных партий — Коммунистической партии Индии и Коммунистической партии Индии (марксистской). КПИ и КПИ(м).

Паппачи к тому времени уже умер. Чакко развелся. «Райским соленьям» было семь лет.

Штат Керала еле брел, пораженный засухой из-за недостаточно обильных муссонных дождей. Люди умирали. Борьба с голодом должна была стать первоочередной задачей любого правительства.

Во время своего второго правления товарищ Э. М. Ш. уже осторожнее проводил в жизнь план Мирного Перехода. Этим он навлек на себя неудовольствие Коммунистической партии Китая. Его обвинили в «парламентском кретинизме» и в том, что он, «бросая людям подачки, затуманивает Народное Сознание и отвлекает людей от Революции».

Пекин переключил свое покровительственное внимание на недавно возникшую воинственную фракцию КПИ(м) — на так называемых наксалитов, которые подняли в бенгальском селении Наксалбари вооруженное восстание. Они сколотили из крестьян боевые отряды, экспроприировали землю, изгнали ее владельцев и учредили Народные Суды для разбора дел Классовых Врагов. Движение наксалитов распространилось по всей стране, сея ужас в буржуазных сердцах.

В Керале наксалиты вдохнули струю возбуждения и паники в атмосферу, и без того насыщенную страхом. На севере штата начались убийства. В мае того года газеты поместили размытую фотографию казненного землевладельца из Пальгхата, которого привязали к фонарному столбу и обезглавили. Его голова лежала боком поодаль от тела в темной луже — то ли водяной, то ли кровавой. Трудно было определить по черно-белому снимку. К тому же темноватому из-за предутренних сумерек.

Его открытые глаза выражали удивление.

Товарищ Э. М. Ш. Намбудирипад («Трусливый Пес, Советский Прихвостень») исключил наксалитов из партии и продолжал обуздывать народный гнев, вводя его в парламентское русло.

Демонстрация, настигшая лазурного цвета «плимут» в тот лазурный декабрьский день, была частью этой политики. Она была организована Марксистским Профсоюзным Объединением Траванкура-Кочина. А в Тривандраме, главном городе штата, другие демонстранты должны были пройти к Секретариату и вручить петицию с Народными Требованиями самому товарищу Э. М. Ш. Оркестр обращается к своему дирижеру. Требования заключались в том, чтобы батраки на рисовых полях, работающие одиннадцать с половиной часов в день — с семи утра до шести тридцати вечера, — получили часовой обеденный перерыв. Чтобы женщинам платили в день не рупию двадцать пять пайс, а три рупии; мужчинам — не две рупии пятьде-

сят пайс, а четыре рупии пятьдесят пайс. И чтобы к именам неприкасаемых перестали добавлять обозначения каст. То есть чтобы их называли не Ачу-парейян, Келан-параван, Куттан-пулайян[1], а просто Ачу, Келан, Куттан.

Кардамонные Короли, Кофейные Графы, Каучуковые Бароны — приятели еще с пансионских лет, — приехав из своих уединенных, разбросанных поместий, потягивали в Мореходном клубе холодное пиво. Поднимали стаканы. «То, что зовем мы розой...»[2] — говорили они и сдавленно посмеивались, маскируя подступающую панику.

Колонна демонстрантов состояла из партийных активистов, студентов, батраков и рабочих. Прикасаемых и не-. Они несли на плечах тяжелый сосуд старинного гнева, подожженного от нового фитиля. В этом гневе чувствовался нынешний, наксалитский привкус.

Сквозь стекло «плимута» Рахель видела глазами, что из всех слов, какие звучат, самое громкое — *зиндабад,* да здравствует. Что, когда оно звучит, на шеях у людей взбухают жилы. И что руки, в которых люди держат флаги и плакаты, узловаты и напряженны.

В салоне «плимута» было тихо и жарко.

Страх Крошки-кочаммы лежал на полу машины, как сырой и липкий окурок сигары. И это было только начало. С годами страх, разросшись, поглотил ее всю. Заставил ее запирать двери и окна. Наградил ее двумя линиями волос и двумя ртами. Он, этот страх, был тоже старинным, из рода в род. Страх лишиться имущества.

Она пыталась считать зеленые бусины четок, но не могла сосредоточиться. Чья-то открытая ладонь ударила по окну машины.

Стиснутый кулак шарахнул по раскаленному лазурному капоту. Он с лязгом откинулся. Теперь «плимут» выглядел как нескладный голубой зверь в зоопарке, выпрашивающий у людей еду.

Хоть булочку.

Хоть бананчик.

Удар другого стиснутого кулака — и капот захлопнулся. Чакко приспустил свое стекло и крикнул тому, кто это сделал:

— Спасибо, *кето*[3]*!* Большое спасибо!

— Зря заискиваешь, товарищ, — заметила Амму. — Это же вышло случайно. Не хотел он тебе помогать. Откуда он мог знать, что в этой старой машине бьется пламенное марксистское сердце?

— Амму, — сказал Чакко ровным и нарочито небрежным голосом, — когда ты наконец перестанешь всюду соваться со своим отжившим цинизмом?

Салон машины, как губка, стал напитываться молчанием. Слово «отжившим» садануло, как нож по мякоти. С просверком солнца и судорожным вздохом. Вот в чем беда с близкими родственниками. Как врачи-извращенцы, они знают, где самые больные места.

Тут-то Рахель и увидела Велютту. Велютту, сына Ве́лья Па́пана. Велютту, своего лучшего друга. Он вышагивал с красным флагом. В мунду и белой рубашке, со взбухшими гневными жилами на шее. Обычно он ходил без рубашки.

---

[1] Парейян (барабанщик, кожевник), параван (рыбак), пулайян (стиральщик) — обозначения низших каст внутри сословия неприкасаемых.

[2] Здесь иронически переосмыслены слова шекспировской Джульетты: «Что в имени? То, что зовем мы розой, / И под другим названьем сохраняло б / Свой сладкий запах!» (акт II, сцена 2). Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

[3] Друг (*малаялам*).

Рахель мигом опустила стекло.

— Велютта! Велютта! — закричала она ему.

Он замер на секунду, держа в руках флаг, вслушиваясь. Знакомый голос звучал там, где он никак не ожидал его услышать. Рахель, вскочив на сиденье машины, торчала из окна «плимута», как гибкий вертлявый рог машиноподобного травоядного. Со стянутым «токийской любовью» фонтанчиком, в красных пластмассовых солнечных очочках в желтой оправе.

— Велютта! *Ивидай*[1]*!* Велютта! — У нее напряженное тоже выступили жилы.

Он двинулся вбок и мгновенно исчез — нырнул в гневный поток.

В машине Амму резко обернулась, и в глазах у нее был гнев. Она шлепнула Рахель по икрам, потому что все прочее было за окном. Внутри остались только икры да коричневые ступни в сандалиях «бата».

— Как ты себя ведешь! — сказала Амму.

Крошка-кочамма втащила Рахель обратно, и сиденье, когда та опустилась на него, издало удивленный вздох. Они не поняли, решила Рахель.

— Там Велютта! — объяснила она с улыбкой. — У него флаг!

Флаг в ее представлении был вещью замечательной. Тем, что пристало держать хорошему другу.

— Ты глупая, непослушная девчонка! — сказала Амму.

Ее неожиданная злость пригвоздила Рахель к сиденью. Она была озадачена. Почему Амму так разгневалась? Из-за чего?

— Он же *правда* там! — сказала Рахель.

— Замолчи! — крикнула на нее Амму.

Рахель увидела, что на лбу Амму и над ее верхней губой выступил пот, что глаза ее стали твердыми, как мраморные шарики. Как глаза Паппачи на снимке из венского фотоателье. (Бабочка Паппачи нет-нет да и шелестнет крылышками в крови у его детей!)

Крошка-кочамма подняла опущенное Рахелью стекло.

Много лет спустя прохладным осенним утром, когда Рахель ехала в воскресном поезде от нью-йоркского вокзала Гранд-сентрал до пригородной станции Кротон, это вдруг пришло ей на память. Какое у Амму было лицо. Неприкаянный кусочек головоломки-паззла. Вопросительный знак, странствующий по книжным страницам и не способный найти себе место в конце предложения.

Эта мраморная твердость в глазах Амму. Блеск пота над ее верхней губой. И холодок внезапного обиженного молчания.

Что все это значило?

Воскресный поезд был почти пуст. Через проход от Рахели женщина с усиками и шелушащейся кожей на щеках отхаркивала мокроту в бумажные фунтики, которые делала из воскресных газет, кипой лежавших у нее на коленях. Сверточки, которые у нее получались, она выкладывала аккуратными рядами на пустое сиденье напротив, словно для продажи. За этим занятием она болтала сама с собой приятным, успокаивающим голосом.

Память была похожа на эту женщину в поезде. Безумна в том, как она перебирала в своей кладовке темные вещицы и выхватывала самое неожиданное — беглый взгляд, ощущение. Запах дыма. Автомобильные «дворники». Мраморные материнские глаза. И совершенно разумна в том, как она оставляла огромные области затемненными. Невспомянутыми.

Вид помешанной попутчицы успокаивал Рахель. Загонял ее глубже в сумас-

---

[1] Сюда, ко мне (*малаялам*).

шедшую утробу Нью-Йорка. Уводил от тех, куда более ужасных вещей, что преследовали ее. *Кислометаллический запах, как от стальных автобусных поручней, и запах от ладоней кондуктора, который только что за них держался. Молодой человек, у которого был рот старика.*

Выйдя из поезда, она увидела поблескивающий Гудзон и деревья, окрашенные в красно-коричневые осенние цвета. Прохлада чувствовалась лишь намеком.

— Два берега твоей реки... — сказал ей Ларри Маккаслин и мягко положил ладонь на ее протестующе напрягшуюся, прохладную под хлопчатобумажной маечкой грудь. Он удивился тому, что Рахель не улыбнулась.

А она удивилась тому, что все ее воспоминания о доме окрашены в цвета темной, просмоленной лодочной древесины и пустых сердцевин огненных язычков, мерцающих в медных светильниках.

Да, это был Велютта.

Уж в этом-то Рахель была уверена. Что она его видела. Что он видел ее. Она узнала бы его где угодно, когда угодно. Если бы на нем не было рубашки, она узнала бы его даже со спины. Ей ли не помнить его спину, его плечи. На которых он ее носил. Она даже сосчитать не могла, сколько раз. На спине у него было светло-коричневое родимое пятно, похожее на остроконечный сухой лист. Он говорил, что это Лист Удачи, что он приносит муссонные дожди, когда наступает их время. Коричневый лист на черной спине. Осенний лист в ночи.

Лист удачи, который ему не помог.

Он был столяром, хотя это не было ему на роду написано.

Его звали Велютта (что на малаялам означает белый, бледный) из-за черной-пречерной кожи. Его отец Велья Папан был из касты параванов. Он добывал и продавал пальмовый сок. Один глаз у него был стеклянный. Однажды, когда он обтесывал молотком кусок гранита, отскочивший осколок пропорол ему левый глаз.

Мальчиком Велютта приносил с отцом к заднему крыльцу Айеменемского Дома кокосовые орехи, которые они собирали с приусадебных пальм. Паппачи не разрешал параванам входить в дом. И никто не разрешал. Им нельзя было касаться того, чего касались прикасаемые. Индусы высших каст и христиане высших каст. Мамачи рассказывала Эсте и Рахели, что у нее на памяти, во времена ее детства, параваны должны были пятиться назад, заметая веником собственные следы, чтобы брахманы или сирийские христиане случайно не осквернили себя, наступив на отпечаток параванской ноги. В те годы параванам, как и другим неприкасаемым, нельзя было ходить по общественным дорогам, покрывать одеждой верхнюю часть тела, пользоваться зонтами. Разговаривая, они обязаны были загораживать ладонями рты, оберегая собеседников от своего нечистого дыхания.

Когда на Малабарский берег явились британцы, некоторые из параванов, пелайянов и пулайянов (в их числе Келан, дед Велютты) обратились в христианство и перешли в лоно англиканской церкви, чтобы избавиться от проклятья неприкасаемости. В качестве дополнительного стимула они получали понемногу еды и денег. За это их прозвали «рисовыми христианами». Очень быстро им стало ясно, что они попали из огня да в полымя. Им устроили особые церкви, где особые священники служили особые службы. Им благосклонно разрешили иметь своего, отдельного парию-епископа. После объявления независимости оказалось, что на них не распространяются правительственные льготы — как, например, гарантии занятости или банковские ссуды под низкий процент, — потому что формально, на бумаге они были христиане и, следовательно, вне всяких каст. Это походило на заметание собственных следов без веника. Или даже на запрет оставлять следы вообще.

То, что у маленького Велютты чрезвычайно умелые руки, первая заметила Маммачи в один из своих приездов из Дели, на время избавлявших ее от Королевской Энтомологии. Велютте было тогда одиннадцать, на три года меньше, чем Амму. Он был прямо-таки маленьким волшебником. Из высушенных пальмовых веток он мастерил замысловатые игрушки — крохотные ветряные мельнички, погремушки, шкатулки; из веток кассавы он вырезал красивые лодочки, из скорлупок ореха кешью делал статуэтки. Он дарил свои изделия Амму, держа их на раскрытой ладони (так он был приучен), чтобы она могла брать их, не касаясь его кожи. Хотя он был моложе ее, он называл ее Аммукутти — маленькая Амму. Маммачи уговорила Велья Папана отдать его в школу для неприкасаемых, которую основал Пуньян Кунджу, ее свекор.

Когда Велютте было четырнадцать лет, в Коттаям приехал Иоганн Кляйн, столяр из баварской гильдии краснодеревщиков; он три года проработал в христианской миссии, где у него была мастерская для обучения столярному делу. Каждый день после школы Велютта ехал на автобусе в Коттаям, где работал с Кляйном дотемна. К шестнадцати годам Велютта окончил среднюю школу и стал профессиональным столяром. Он приобрел весь необходимый инструмент и чисто немецкую ремесленную смекалку. Для Маммачи он сделал из красного дерева обеденный стол в стиле «баухауз» и дюжину стульев, а из более светлой древесины джекфрута — традиционный баварский шезлонг. Для ежегодных рождественских представлений Крошки-кочаммы он смастерил несколько пар ангельских крыльев с каркасами из проволоки и ремешками на манер рюкзаков; еще картонные облака, чтобы из них мог являться архангел Гавриил, и разборные ясли. Когда необъяснимым образом иссякла серебристая струя, испускаемая ее садовым херувимом, именно доктор Велютта привел его выделительную систему в порядок.

Велютта умел не только столярничать, но и обращаться с техникой. Маммачи не раз говорила (вот она, непостижимая логика прикасаемых), что, не будь он параваном, он мог бы стать инженером. Он чинил радиоприемники, часы, водяные насосы. На его попечении были канализация и электропроводка Айеменемского Дома.

Когда Маммачи решила забрать стенкой заднюю веранду, не кто иной, как Велютта, разработал и смастерил скользяще-складную дверь, подобные которой захотели потом иметь чуть ли не все жители Айеменема.

Велютта лучше, чем кто-либо другой, разбирался в оборудовании их фабрики.

Когда Чакко ушел со своей мадрасской работы и вернулся в Айеменем с машиной «бхарат» для закрывания банок, не кто иной, как Велютта, смонтировал ее и пустил в ход. Велютта поддерживал в рабочем состоянии новую машину для изготовления жестянок и автомат для резки ананасов. Он же смазывал водяной насос и дизельный движок. Он же сделал крытые алюминиевым листом разделочные столы, удобные для мытья; он же соорудил варочные печи для фруктов.

А вот Велья Папан, отец Велютты, был параван старого образца. Он хорошо помнил Времена, Когда Пятились Назад, и его благодарность Маммачи и ее родственникам за все, что они для него сделали, была широка и глубока, словно река в половодье. Когда случилась беда с осколком гранита, Маммачи купила ему стеклянный глаз. За много лет он так и не отдал ей долг, и хотя этого, он знал, от него и не ждали, понимая, что таких денег у него никогда не будет, все же он постоянно чувствовал, что глаз не его. Благодарность заставляла его спину гнуться, рот — растягиваться в улыбке.

Велья Папан боялся за своего младшего сына. Что именно его страшило, он не смог бы сказать. Не какие-либо его слова. И не дела. Это были не столько сами слова, сколько то, *как* он их произносил. Не столько сами дела, сколько то, *как* он их совершал.

Скорее всего — просто недостаток надлежащей робости. Непозволительная уверенность в себе. Проявлявшаяся в его походке. В том, как он держал голову. В спокойствии, с каким он высказывал суждения, даже если его не спрашивали. В спокойствии, с каким он без тени вызова мог пренебречь чужим суждением.

Хотя в прикасаемом эти черты были бы вполне приемлемы и, возможно, даже желательны, Велья Папан опасался, что в параване их могут счесть (и сочтут, и *правильно сделают*, что сочтут) наглостью.

Велья Папан пытался предостеречь Велютту. Но поскольку он не умел объяснить, что именно его беспокоит, Велютта превратно понял его бестолковую тревогу. Ему показалось, будто отец завидует его природному таланту и ранней выучке. Продиктованная добрыми намерениями забота Велья Папана быстро выродилась в придирки и перепалки, и отношения между отцом и сыном стали натянутыми. Велютта, к немалому смятению своей матери, стал все меньше бывать дома. Работал допоздна. Ловил в реке рыбу и жарил ее на костре. Спал на берегу под открытым небом.

Потом в один прекрасный день он исчез. Четыре года о нем ничего не было известно. Прошел, правда, слух, что он работает в Тривандраме на строительстве здания Управления по социальной защите и жилищному строительству. А позднее — неизбежный слух, что он стал наксалитом. Что он побывал в тюрьме. Кто-то якобы видел его в Колламе.

Когда его мать Челла умерла от туберкулеза, разыскать его не было никакой возможности. Потом его старший брат Куттаппен упал с кокосовой пальмы и повредил себе позвоночник. Его парализовало, и он не мог больше работать. Велютта узнал об этом только год спустя.

С тех пор как он вернулся в Айеменем, прошло пять месяцев. Он никому не рассказывал, где был и чем занимался.

Маммачи вновь наняла Велютту на свою фабрику столярничать, плотничать и поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Это вызвало сильное недовольство других (прикасаемых) работников и работниц, считавших, что параванам *не положено* этим заниматься. И, разумеется, беглых параванов *не положено* снова брать на службу.

Чтобы остальным не было так обидно, Маммачи платила Велютте, которого никакой другой хозяин на такую работу не взял бы, меньше, чем получал бы столяр из прикасаемых, но больше, чем зарабатывали параваны. В дом Маммачи его не приглашала (за исключением тех случаев, когда надо было что-нибудь починить или наладить). Он, считала она, должен быть доволен уже тем, что ему позволено находиться на территории фабрики и касаться того, чего касаются прикасаемые. Она говорила, что для паравана это немалое достижение.

За годы отсутствия Велютта нисколько не растерял ни своей сообразительности, ни уверенности в себе. Велья Папан теперь боялся за него еще больше, чем прежде. Но сдерживался. Помалкивал.

Помалкивал до тех пор, пока Ужас не взял над ним власть. Пока он не увидел, как ночь за ночью реку пересекает маленькая лодчонка. Пока не увидел, как она возвращается на рассвете. Пока не увидел, чего касался его неприкасаемый сын. И не просто касался.

Куда входил.

Чем обладал.

Когда Ужас взял над ним власть, Велья Папан пошел к Маммачи. Заемным глазом он смотрел прямо перед собой. Живым глазом он плакал. Одна щека у него блестела от слез. Другая оставалась сухой. Головой своей он мотал из стороны в сторону, пока Маммачи не велела ему перестать. Тело его сотрясалось, как у больного

малярией. Маммачи велела ему перестать, но он не мог, потому что страх не подчиняется повелениям. Даже страх паравана. Велья Папан рассказал Маммачи о том, что увидел. Он принялся молить Господа о прощении за то, что взрастил чудовище. Он вызвался пойти и убить сына голыми руками. Разрушить то, что сам создал.

На шум из соседней комнаты вышла Крошка-кочамма. Узнав, в чем дело, она увидела впереди Тяготы и Муки и тайно, в глубине души, возрадовалась.

— *Как она запах-то могла терпеть?* — сказала она среди прочего. — *Ты ведь чувствовала, они все до одного пахнут, параваны эти.*

И театрально содрогнулась, как девочка, которую насильно потчуют шпинатом. Параванскому запаху она предпочитала ирландско-иезуитский.

Даже и сравнивать нечего.

Велютта, Велья Папан и Куттаппен жили в маленькой хижине из латерита чуть вниз по реке от Айеменемского Дома. Эстаппен и Рахель в три минуты добегали туда сквозь строй кокосовых пальм. Когда Велютта исчез, они только приехали в Айеменем с Амму и были слишком малы, чтобы его запомнить. Но за те месяцы, что прошли после его возвращения, они успели с ним накрепко подружиться. Им не разрешали к нему ходить, но они все равно ходили. И часами сидели у него в хижине на корточках — скрюченные знаки препинания в стружечном океане, — не уставая удивляться, как это он всегда заранее знает, какие гладкие формы таит в себе грубый кусок дерева. Они любили смотреть, как в руках у Велютты древесина мягчеет, делается податливой, как пластилин. Он учил их пользоваться рубанком. В погожие дни хижина пахла солнцем и свежими стружками. И еще красным рыбным карри с черными финиками. Самым лучшим, считал Эста, рыбным карри на всем белом свете.

Не кто иной, как Велютта, сделал для Рахели самую счастливую в ее жизни удочку и научил их с Эстой рыбачить.

И в тот лазурный декабрьский день он *правда* был там с красным флагом, это его она увидела сквозь свои красные солнечные очочки в колонне демонстрантов у железнодорожного переезда около Кочина.

Стальные сверла полицейских свистков дырявили Шумовой Зонтик. Сквозь лохматые дыры в нем Рахель видела клочки красного неба. В красном небе реяли, высматривая крыс, горячие красные коршуны. В их желтых глазах с кожистыми веками была дорога и движущиеся в колонне красные флаги. И белая рубашка на черной спине с родимым пятном.

В колонне.

В складках шейного жира у Крошки-кочаммы ужас, пот и тальковая присыпка перемешались в розовато-лиловую пасту. В уголках рта выступила белесая слюна. В одном из демонстрантов ей привиделся наксалит по имени Раджан, чью фотографию она видела в газетах и который, по слухам, подался из Пальгхата на юг. Ей почудилось, что он посмотрел прямо ей в глаза.

Мужчина с красным флагом и похожим на узел лицом открыл незапертую автомобильную дверцу, у которой сидела Рахель. Проем наполнился людьми, остановившимися поглазеть.

— Потеем, малышка? — незло спросил ее на малаялам человек-узел. Потом зло: — А сказала бы папочке, пусть раскошелится на кондиционер! — И, придя в восторг от своего остроумия и умения высказаться впопад, он радостно взвизгнул. Рахель улыбнулась ему, довольная тем, что Чакко приняли за ее отца. Как будто у них нормальная семья.

— Не отвечай! — хрипло прошептала Крошка-кочамма. — Смотри вниз! Никуда больше!

Мужчина с флагом переключил внимание на нее. Она сидела, уставившись в пол машины. Как робкая испуганная невеста, которую выдают замуж за незнакомца.

— Здравствуй, сестричка, — старательно сказал мужчина по-английски. — Твое имя, пожалуйста.

Не получив от Крошки-кочаммы ответа, он оглянулся на дружков.

— У нее имени нет — видали?

— Может, назовем ее Модаляли Мариякутти? — хихикая, предложил один. «Модаляли» означает на малаялам «хозяйка», «хозяин»; «Мариякутти» — «маленькая Мария».

— A, B, C, D, X, Y, Z, — сказал другой неизвестно почему.

Все больше студентов останавливалось у машины. Головы у них были обвязаны от солнца носовыми платками или бомбейскими полотенцами с набивным рисунком. Они походили на статистов, сбежавших из южноиндийской версии «Последнего путешествия Синдбада».

Человек-узел вручил Крошке-кочамме свой красный флаг.

— Вот, — сказал он. — Держи.

По-прежнему не глядя на него, Крошка-кочамма взяла флаг.

— Помахай, — приказал он.

Ей пришлось помахать. Выбора у нее не было. От флага шел магазинный запах новой материи. Несмятой и пыльной. Махая, она как бы и не махала в то же время.

— Теперь скажи: *инкилаб зиндабад.*

— *Инкилаб зиндабад,* — прошептала Крошка-кочамма.

— Вот умница.

Толпа дружно захохотала. Раздался резкий свисток.

— Ну хорошо, — сказал мужчина Крошке-кочамме по-английски, словно они заключили удачную сделку. — Пока-пока!

Он с силой захлопнул лазурную дверь. Крошка-кочамма колыхнулась. Толпа, собравшаяся у машины, рассосалась — люди двинулись дальше.

Крошка-кочамма скатала красный флаг и положила его на полочку под задним окном. Четки сунула обратно в блузку, где они обычно хранились промеж ее дынь. Спасая остатки достоинства, она стала суетливо-деятельной.

Когда прошли последние демонстранты, Чакко сказал, что теперь можно открыть окна.

— Ты уверена, что это был он? — обратился Чакко к Рахели.

— Кто? — спросила она, вдруг насторожившись.

— Ты уверена, что это был Велютта?

— Мммм... — замялась Рахель, выгадывая время, пытаясь расшифровать мысленные сигналы, которые бешено слал ей Эста.

— Я спрашиваю, ты уверена, что человек, которого ты видела, был Велютта? — в третий раз задал ей вопрос Чакко.

— Ммм... ннда... нн... ннпочти, — проговорила Рахель.

— Ты почти уверена? — спросил Чакко.

— Нет... это был почти Велютта, — сказала Рахель. — Он почти был на него похож...

— То есть ты *не* уверена?

— Почти не. — Рахель бросила косой взгляд на Эсту в надежде на одобрение.

— Наверняка это был он, — сказала Крошка-кочамма. — Тривандрам его таким сделал. Их всех туда тянет, а возвращаются они бог знает какие важные.

Ее проницательность не произвела ни на кого особенного впечатления.

— Нам следовало бы приглядеть за ним, — сказала Крошка-кочамма. — Как бы он не затеял на фабрике профсоюзную возню... Я уже кое-что замечала, гру-

бость иной раз, неблагодарность... На днях я попросила его натаскать мне камней для альпийской горки, так он...

— Я видел Велютту дома сегодня утром, — бодро вставил Эста. — Как это мог быть он сейчас?

— Ради его же блага, — мрачно проговорила Крошка-кочамма, — я хочу надеяться, что его тут нет. А ты, Эстаппен, не перебивай взрослых.

Она была раздосадована тем, что никто не спросил ее, что такое альпийская горка.

В последующие дни вся ярость Крошки-кочаммы сконцентрировалась на Велютте, которого она прилюдно ругала. Она оттачивала эту ярость, словно карандаш. Велютта в ее представлении сделался ответствен за всю демонстрацию. Он был человеком, который заставил ее махать марксистским флагом. И человеком, который окрестил ее Модаляли Мариякутти. И всеми людьми, которые смеялись над ней.

Она прониклась к нему ненавистью.

Рахель видела по наклону головы Амму, что она еще сердится. Рахель посмотрела на свои часики. Без десяти два. А поезда нет как нет. Она легла подбородком на подоконник дверцы. Она отчетливо ощущала давивший на кожу серый матерчатый хрящ, куда утапливалось стекло. Она сняла солнечные очочки, чтобы получше рассмотреть расплющенную на дороге лягушку. Она была настолько мертвая и настолько плоская, что казалась не лягушкой даже, а пятном на дороге в форме лягушки. Рахель задумалась о том, не превратилась ли мисс Миттен, когда ее убил молоковоз, в пятно, имеющее форму мисс Миттен.

С убежденностью, какую дает глубокая вера, Велья Папан говорил близнецам, что на свете не существует черных кошек. Он утверждал, что это всего лишь черные кошачьи дыры в мироздании.

На дороге было множество пятен.

Плоские мисс-миттенские пятна в мироздании.

Плоские лягушачьи пятна в мироздании.

Плоские вороньи пятна от ворон, пытавшихся есть плоские лягушачьи пятна в мироздании.

Плоские пятна от собак, пытавшихся есть плоские вороньи пятна в мироздании.

Перья. Манго. Плевки.

Всю дорогу до Кочина.

Солнце светило сквозь окно «плимута» прямо на Рахель. Она закрыла глаза и принялась светить ему навстречу. За опущенными веками глазам все равно было ярко и жарко. Небо было оранжевым, а кокосовые пальмы превратились в хищные морские актинии, норовящие поймать щупальцами и съесть беззащитное облачко. По небу проплыла прозрачная пятнистая змея с раздвоенным языком. За ней — прозрачный римский воин на пятнистой лошади. Рассматривая изображения римских воинов в комиксах, Рахель удивлялась тому, что, уделяя так много внимания броне и шлемам, они оставляли ноги совершенно голыми. Это, считала она, глупо до невозможности. По причине погоды и по другим причинам.

Амму рассказывала им про Юлия Цезаря — как его заколол в здании Сената его лучший друг Брут. Как Цезарь рухнул на пол, пораженный в спину кинжалами, и воскликнул: «Et tu? Brute?[1] — Так падай, Цезарь».

— О чем это говорит? — спросила Амму и сама же ответила: — О том, что никому нельзя доверять. Ни матери, ни отцу, ни брату, ни мужу, ни лучшему другу. Никому.

---

[1] И ты? Брут? (*лат.*) Вся цитата (в слегка измененном виде) взята из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (акт III, сцена 1).

Что касается детей, то она (когда они поинтересовались) сказала, что это будет видно. Что Эста, к примеру, вполне может, когда вырастет, заразиться Поганым Мужским Шовинизмом.

По ночам Эста иногда вставал на кровати, завернувшись в простыню, и с возгласом «Et tu? Brute? — Так падай, Цезарь!» валился плашмя, не подгибая колен, словно заколотый. Кочу Мария, спавшая на полу на коврике, грозилась пожаловаться Маммачи.

— Пускай мамаша тебя к отцу отправит, — говорила она. — Там ломай кровати сколько душе угодно. А тутошние кровати не твои. И дом не твой.

Эста воскресал из мертвых, вставал на кровати во весь рост, провозглашал: «Et tu? Кочу Мария? — Так падай, Эста!» — и умирал вновь.

Кочу Мария была убеждена, что Et tu — английское ругательство, и ждала удобного случая, чтобы рассказать обо всем Маммачи.

У женщины в соседней машине на губах были крошки от печенья. Ее муж зажег сытую смявшуюся сигарету. Он выдул из ноздрей два дымных клыка и на миг сделался похож на дикого кабана. Миссис Кабан спросила Рахель, как ее зовут, специальным Детским Голосочком.

Рахель проигнорировала ее, и сам собой у нее выдулся слюнной пузырь.

Амму терпеть не могла слюнных пузырей. Она говорила, что они напоминают ей Баба. Их отца. Она говорила, что он постоянно выдувал слюну пузырями и тряс ногой. По ее словам, аристократы так себя не ведут — только канцеляристы.

Аристократы — это люди, которые не выдувают слюну пузырями и не трясут ногами. И не гогочут.

Амму говорила, что Баба часто вел себя так, словно был канцеляристом, хотя он им не был.

Когда Эста и Рахель оставались одни, они иногда играли в канцеляристов. Они выдували слюну пузырями, трясли ногами и гоготали, как гуси. Им вспоминался отец, с которым они жили между войнами. Как-то раз он дал им попробовать дымящуюся сигарету и рассердился из-за того, что они обмусолили ее и обслюнявили весь фильтр.

— Это вам, на хрен, не конфета! — сказал он, злой не на шутку.

Злость его они хорошо помнили. И злость Амму. Они помнили, как родители гоняли их однажды по комнате, словно бильярдные шары: от Амму — к Баба — к Амму — к Баба. Амму все время отталкивала Эсту: «Оставь одного себе. Я не потяну двоих». Позже, когда Эста спросил об этом Амму, она обняла его и велела не воображать себе всяких глупостей.

На единственной фотографии отца, какую они видели (Амму только раз дала им взглянуть на нее), он был в белой рубашке и в очках. Он выглядел симпатичным, аккуратным крикетистом. Одной рукой он придерживал Эсту, сидящего у него на плечах. Улыбающийся Эста опустил подбородок отцу на голову. Другой рукой Баба поднял и притиснул к себе Рахель. Та выглядела обиженной и дрыгала в воздухе малышовыми ножками. Их черно-белые щеки кто-то разрисовал розовым.

Амму сказала, что он взял их на руки только ради снимка и что даже в ту минуту он был настолько пьян, что она боялась, как бы он их не уронил. Она стояла совсем рядом, чуть-чуть за краем карточки, готовая, если что, подхватить их. Тем не менее Эста и Рахель считали, что, если бы не щеки, это была бы отличная фотография.

— Прекрати сейчас же! — крикнула Амму, да так громко, что Мурлидхаран, который спрыгнул со своего дорожного указателя и двинулся было к «плимуту» в желании заглянуть внутрь, попятился, суматошно задергав обрубками рук.

— Что? — спросила Рахель, хотя мгновенно поняла что. Слюнной пузырь. — Извини, Амму.

— Извиненьями не воскресишь мертвеца, — вставил Эста.

— Ну нельзя же! — сказал Чакко. — Нельзя диктовать человеку, что ему делать и чего не делать с его собственной слюной!

— А ты не вмешивайся, — отрезала Амму.

— Это ей напоминает кое о чем, — объяснил дяде проницательный Эста.

Рахель надела солнечные очки. Мир окрасился в злой цвет.

— Сними немедленно свои нелепые очки! — приказала Амму.

Рахель сняла немедленно свои нелепые очки.

— Ты обращаешься с ними как фашистка, — сказал Чакко. — Перестань, Бога ради! Даже у детей есть свои права.

— Не произноси имени Господа напрасно, — сказала Крошка-кочамма.

— А я и не напрасно, — возразил Чакко. — Очень веская была причина.

— Хватит выставлять себя Детским Спасителем! — сказала Амму. — Дойдет до дела, ты и пальцем ради них не шевельнешь. И ради меня тоже.

— А я должен? — спросил Чакко. — С какой стати ты *мне* предлагаешь за них отвечать?

Он сказал, что Амму, Эста и Рахель — жернова у него на шее.

У Рахели ноги с задней стороны сделались мокрые от пота. Ей стало скользко на обитом дерматином сиденье «плимута». О жерновах они с Эстой кое-что знали. В «Мятеже на «Баунти» людей, которые умирали на корабле, заворачивали в белые простыни и кидали за борт, привязав к шее жернов, чтобы труп канул на дно. Эста не мог понять, как они решали перед отплытием, сколько жерновов требуется взять с собой.

Эста уронил голову на колени.

И испортил себе зачес.

Шум дальнего поезда начал подниматься, как пар, от заляпанного лягушками шоссе. Листья ямса по обе стороны железнодорожных путей закивали в единодушном согласии. *Дадададада.*

Бритые паломники в «Бина-моль» затянули очередной бхаджан.

— Эти индусы, я вам скажу, — промолвила Крошка-кочамма с благочестивой брезгливостью. — Для них не существует ничего *личного.*

— А еще они рогатые и чешуйчатые, — съязвил Чакко. — И я слыхал, что детки их вылупляются из яиц.

У Рахели на лбу было две выпуклости, и Эста сказал, что они превратятся в рога. По крайней мере одна, потому что Рахель наполовину индуска. Она не догадалась поинтересоваться насчет *его* рогов. Ведь что будет у Нее, то непременно будет и у Него.

Шумно вломился поезд, неся над собой столб черного плотного дыма. Общим счетом тридцать два вагончика, и в дверных проемах было полно молодых людей со шлемистыми прическами, ехавших на Край Света посмотреть на тех, кто свалился с Края. Они валились с него и сами, если, заглядывая вниз, слишком сильно тянули шеи. Летели в темную крутящуюся воронку, и прически их выворачивались наизнанку.

Поезд прошел настолько быстро, что непонятно было, почему такой малости надо было ждать так долго. Листья ямса, которым пора уже было успокоиться, все кивали и кивали, выражая полнейшее, безоговорочное согласие.

Прозрачная вуаль угольной пыли медленно опустилась вниз, как грязное благословение, и нежно окутала неподвижные машины.

Чакко запустил мотор «плимута». Крошка-кочамма решила изобразить веселье. Она завела песню:

Мерный бой
Часов в прихожей
Нагонял тоску.
Вдруг из детской
Птичий голос
Прокричал...

Она посмотрела на Эсту и Рахель, ожидая от них *Ку-ку.*

Они молчали.

Начал дуть путевой ветерок. Мимо окон пошли мелькать деревья и телефонные столбы. Неподвижные птицы отъезжали назад на скользящих проводах, как невостребованный багаж на ленте в аэропорту.

Бледная, рыхлая дневная луна ехала по небу в одном направлении с ними. Огромная, как брюхо надувшегося пивом мужчины.

3. Большой человек — Лалтайн, маленький человек — Момбатти

Грязь взяла Айеменемский Дом в кольцо осады, как средневековая армия — вражеский замок. Она лезла в любую щелочку, она висела на оконных стеклах.

В заварочных чайниках звенели комары. В пустых вазах лежали трупики насекомых.

Ноги липли к полу. Белые некогда стены стали неравномерно-серыми. Латунные дверные петли и ручки потускнели, сделались жирными на ощупь. В отверстиях редко используемых электрических розеток набралась какая-то дрянь. Лампочки были покрыты маслянистой пленкой. Во всем доме блестели только гигантские тараканы, сновавшие туда-сюда, как чистенькие киношники на съемочной площадке.

Крошка-кочамма давно уже перестала все это замечать. Кочу Мария, которая замечала все, перестала утруждать себя.

В складках и прорехах гнилой обивки шезлонга, в котором сидела Крошка-кочамма, было полно раздавленных арахисовых скорлупок.

В одном из бессознательных проявлений демократии, внушенной телевидением, служанка и госпожа слепо тянулись за орехами в общую для обеих миску. Кочу Мария кидала их себе в рот. Крошка-кочамма — деликатно *клала.*

В программе «Лучшее из Донахью» собравшимся в студии зрителям показали видеосюжет, в котором чернокожий уличный музыкант пел «Где-то над радугой»[1] на платформе метро. Он пел с искренним чувством, как будто действительно верил в слова песни. Крошка-кочамма вторила ему, и ее обычно тонкий и дрожащий голосок стал неожиданно густым из-за арахисовой слюны. Она улыбалась, радуясь тому, что вспоминает слова. Кочу Мария посмотрела на нее как на сумасшедшую и зачерпнула больше орехов, чем ей полагалось. Когда певец брал высокую ноту (на слоге «то» в «где-то»), он запрокидывал голову, и его складчато-розовое нёбо заполняло весь экран. Его лохмотья подошли бы и рок-звезде, но неполный комплект зубов и нездоровая кожа говорили об отчаянной, полной лишений жизни. Когда подъезжал или отъезжал поезд, что происходило часто, он должен был прекращать пение.

Потом в студии вспыхнул свет, и зрители увидели рядом с Донахью певца живьем, в условленный момент подхватившего мелодию в точности с того места,

[1] Песня из американского музыкального фильма «Волшебник из страны Оз», исполненная в нем актрисой Джуди Гарленд.

где на пленке она оборвалась из-за поезда, — расчетливо достигнутая, трогательная победа Песни над Подземкой.

Вновь остановиться, не допев, артисту пришлось в тот момент, когда Фил Донахью обнял его одной рукой за плечи и сказал: «Спасибо вам. Спасибо вам большое».

Быть прерванным Филом Донахью — это, конечно, совсем не то, что быть прерванным грохотом подземки. Это удовольствие. Это честь.

Зрители в студии захлопали, изображая сопереживание.

Уличный певец сиял от телевизионного счастья, и на несколько секунд обездоленность отступила, села в дальний ряд. Спеть в шоу Донахью — это была его мечта, сказал он, не понимая, что у него только что отобрали и это тоже.

Мечты бывают побольше и поменьше. «Большой человек — Лалтайн-сахиб, маленький человек — Момбатти», — говорил о людских мечтах старый носильщик из Бихара, которого неизменно, год за годом, видел на вокзале Эста, когда ездил с классом на экскурсии.

Большой человек — Фонарь. Маленький человек — Сальная Свечка.

Большому человеку — юпитеры, следовало ему добавить. *Маленькому человеку — платформа метро.*

Педагоги торговались с ним, пока он, пошатываясь, трусил следом, навьюченный ученическим багажом; его кривые ноги кривились все сильней, и злые школьники передразнивали его походку. Они прозвали его Яйца-в-скобках.

Крохотному человечку — варикозные вены, упускал он случай сказать, ковыляя восвояси с половиной, если не меньше, от того, что запрашивал, а значит, с десятой долей, если не меньше, от того, что заслуживал.

Дождь перестал. Серое небо створожилось, тучи сгустились в небольшие комки, как наполнитель некачественного матраса.

Эстаппен появился в дверях кухни, мокрый (и более умудренный на вид, чем был на самом деле). Высокая трава позади него сверкала. Щенок стоял на крыльце рядом с ним. Дождевые капли стекали по изогнутому дну ржавого желоба на краю крыши, как блестящие костяшки счетов.

Крошка-кочамма оторвалась от экрана.

— А вот и он, — объявила она Рахели, не сочтя нужным понизить голос. — Теперь смотри. Он ничего не скажет. Пройдет *прямо* к себе в комнату. Сейчас увидишь!

Щенок решил воспользоваться моментом и прошмыгнуть в дом. Кочу Мария яростно застучала ладонями по полу с криком:

— Пшел! Пшел! *Пода патти!*[1]

Щенок не стал искушать судьбу. По-видимому, это было ему не впервой.

— Смотри! — сказала Крошка-кочамма. Она явно была возбуждена. — Пройдет *прямо* к себе в комнату и начнет стирать одежду. Он страшный чистюля... и *ни слова* не скажет!

Она выглядела как хранитель охотничьих угодий, указывающий на зверя в траве. Гордый своим умением предугадывать его маневры. До тонкостей знающий его повадки и уловки.

Волосы у Эсты налипли на голову отдельными прядями, похожими на лепестки перевернутого цветка. Между ними светились клинья белой кожи. Вода ручейками стекала по лицу и шее. Он прошел к себе в комнату.

Голова Крошки-кочаммы облеклась злорадным нимбом.

---

[1] Пошел вон (*малаялам*).

— Видела? — сказала она.

Кочу Мария, пользуясь случаем, сменила канал, чтобы урвать хоть чуточку от «Первоклассных тел».

Рахель последовала за Эстой в его комнату. Которая была комнатой Амму. Когда-то.

Комната исправно хранила его секреты. Не выдавала ничего. Не проговаривалась ни мятой, скомканной постелью, ни небрежно скинутой с ноги туфлей, ни висящим на спинке стула мокрым полотенцем. Ни полупрочитанной книгой. Комната походила на больничную палату сразу после ухода нянечки. Пол был чистый, стены белые. Шкаф закрыт. Туфли стояли ровненько. Корзина для мусора была пуста.

Навязчивая идея чистоты была единственным различаемым в Эсте положительным проявлением воли. Единственным слабым указанием на то, что он, может быть, не вовсе лишен Желания Жить. Еле слышным шепотком отказа довольствоваться чужими объедками. У окна, придвинутая к стене, стояла гладильная доска с утюгом. Ворох смятой, сморщенной одежды ждал утюжки.

Тишина висела в воздухе, как тайная утрата.

Ужасные призраки дорогих сердцу игрушек гроздьями висели на лопастях потолочного вентилятора. Катапульта. Сувенирный коала австралийской авиакомпании (подарок мисс Миттен) с разболтавшимися глазками-пуговками. Надувной гусенок (которого прожгла полицейская сигарета). Две шариковые ручки с безмолвными улицами и курсирующими взад и вперед красными лондонскими автобусами внутри.

Эста открыл кран, и вода забарабанила в пластмассовое ведро. Он разделся в ярко освещенной ванной. Выпростал ноги из пропитанных водой джинсов. Тяжелых и плотных. Темно-синих. Не желавших слезать. Стягивая через голову футболку цвета давленой клубники, он поднял перекрещенные руки — гладкие, худощавые, мускулистые. Он не слыхал шагов подошедшей к двери сестры.

Рахель увидела, как его живот втянулся, а грудная клетка выпятилась вперед, когда он отлеплял мокрую футболку от мокрой, медового цвета кожи. Лицо, шея и треугольная впадина у основания горла были у него темней, чем остальное. Его руки тоже были двухцветные. Бледней, где их закрывали короткие рукава футболки. Темно-коричневый человек в медовой одежде. Шоколад с примесью кофе. Выпуклые скулы и загнанные глаза. Рыбак в белой кафельной ванной, которому ведомы морские тайны.

Увидел ли он ее? Он и вправду сумасшедший? Понял ли он, кто это?

Они никогда не испытывали друг перед другом телесного стыда, но ведь они до сих пор не видели друг друга в возрасте, когда людям знаком стыд.

Теперь они видели друг друга. В возрасте.

В возрасте.

В жизнесмертном.

Забавно само по себе звучит: *в возрасте*, подумала Рахель и повторила мысленно: *в возрасте.*

Рахель, стоящая в двери ванной. Узкобедрая. («Ей как пить дать понадобится кесарево!» — сказал ее мужу какой-то поддатый гинеколог, когда они однажды рассчитывались у бензоколонки.) На выцветшей футболке — ящерица поверх географической карты. Длинные буйные волосы, чуть отливающие темной рыжиной, тянули своевольные пальцы к ее талии. На одном из крыльев носа поблескивал брильянт. Иногда. А иногда нет. На запястье тоненькой полоской оранжевого огня

горел золотой змеиноголовый браслет. Две шепчущиеся о чем-то худощавые змейки, голова к голове. Переплавленное материнское обручальное кольцо. Пушок умерял угловатость ее тонких рук.

На первый взгляд она могла показаться новым воплощением своей матери. Те же выпуклые скулы. Те же упругие ямочки, когда она улыбалась. Но она была выше, суше, угловатей, чем Амму. Возможно, не столь привлекательна для тех, кому нравится в женщинах округлость и мягкость линий. Но что было у нее несравнимо красивей — это глаза. Большие. Светящиеся. *В них утонешь, пожалуй,* сказал себе Ларри Маккаслин и убедился потом на собственном опыте, что был прав.

Рахель искала в наготе брата признаки себя самой. В форме колен. В изгибе стопы. В покатости плеч. В том, как он держал согнутую в локте руку. В том, как оттопыривались у концов ногти у него на ногах. В скульптурных симметричных выемках на его крепких красивых ягодицах. Тугих, как сливы. Мужские ягодицы никогда не взрослеют. Как школьные ранцы, они мгновенно вызывают в памяти детство. На руке — две блестящие, как монеты, отметины прививок. У нее они были на бедре.

Девочкам всегда делают на бедре, говорила когда-то Амму.

Рахель смотрела на Эсту с тем любопытством, с каким мать смотрит на своего раздетого ребенка. С каким сестра смотрит на брата. С каким женщина — на мужчину. С каким близнец — на близнеца.

Она пустила все эти пробные шары одновременно.

Он был нагой чужак, с которым она встретилась случайно. Он был тот, кого она знала еще до начала Жизни. Тот, кто показал ей влажный путь через милое материнское устье.

Оба полюса были невыносимы в их раздельности. В их противостоянии.

На мочке уха у Эсты повисла дождевая капля. Большая, отливающая серебром, как тяжелая бусина ртути. Она потянулась к ней. Тронула ее. Взяла ее себе.

Эста не смотрел на нее. Он еще глубже ушел в немоту. Словно его тело обладало способностью утаскивать свои восприятия (узловатые, клубневидные) внутрь, подальше от кожного покрова, в некие недоступные убежища.

Тишина подобрала юбки и скользнула, как Человек-паук[1], вверх по гладкой стене ванной.

Эста положил свою мокрую одежду в ведро и начал стирать ее ярко-синим крошащимся мылом.

4. Кино «Абхилаш»

«Абхилаш» хвалился тем, что он — первый в штате Керала широкоэкранный кинотеатр для показа фильмов на 70-миллиметровой пленке по системе «синемаскоп». Чтобы подчеркнуть этот факт, фасад здания сделали цементной копией большого вогнутого экрана. Поверху (цементные буквы, неоновые огни) шла надпись «Абхилаш» на английском и малаялам.

Туалеты в кинотеатре назывались ЕГО КОМНАТА и ЕЕ КОМНАТА. В ЕЕ КОМНАТУ пошли Амму, Рахель и Крошка-кочамма. В ЕГО КОМНАТУ Эста должен был идти один, потому что Чакко отправился в гостиницу «Морская королева» проверить, все ли в порядке с бронью.

— Справишься? — обеспокоенно спросила Амму.

Эста кивнул.

---

[1] Человек-паук (Спайдермен) — герой фильмов и комиксов, обладающий невероятной способностью взбираться на отвесные стены.

Через красную пластиковую дверь, которая потом медленно закрылась сама, Рахель последовала за Амму и Крошкой-кочаммой в ЕЕ КОМНАТУ. Входя, оглянулась и помахала отделенному от нее квадратами гладкомасленого мраморного пола Эсте Одному (с расческой) в бежевых остроносых туфлях. Эста ждал в грязном мраморном вестибюле под неприветливыми взглядами зеркал, пока сестра не скрылась за красной дверью. Потом повернулся и тихо вошел в ЕГО КОМНАТУ.

В ЕЕ КОМНАТЕ Амму сказала, что Рахель должна пописать не садясь. Амму не раз говорила, что Общественные Унитазы всегда очень Грязные. Как Деньги. Мало ли кто до них дотрагивается. Прокаженные. Мясники. Автомеханики. (Гной. Кровь. Машинное масло.)

Однажды в мясном магазине, куда Кочу Мария взяла ее с собой, Рахель заметила, что к зеленой бумажке в пять рупий, которую им дали сдачи, прилип крохотный кусочек красного мяса. Кочу Мария смахнула его большим пальцем. От мясного сока остался красный след. Она сунула бумажку себе за лифчик. Кровные денежки, пахнущие мясом.

Рахель была слишком мала ростом, чтобы самой присесть, не касаясь унитаза, поэтому Амму и Крошка-кочамма подхватили ее под коленки и стали держать. Ее ступни в сандалиях «бата» косолапо смотрели внутрь. Полет со спущенными трусиками. В первую секунду ничего не получилось, и Рахель посмотрела на мать и двоюродную бабушку, нарисовав в обоих глазах по капризному (и как же мы будем?) вопросительному знаку.

— Давай, давай, — сказала Амму. — Пссс...

Пссс — звуки Маленького Дела. Ммммм — Звуки Муузыки.

Рахель хихикнула. Амму хихикнула. Крошка-кочамма хихикнула. Когда забрызгало, они изменили ее положение в воздухе. Рахель осталась невозмутима. Она кончила, и Амму промокнула ее туалетной бумагой.

— Ты или я теперь? — спросила у Амму Крошка-кочамма.

— Все равно, — ответила Амму. — Давай ты. Я после.

Рахель взяла у нее сумочку. Крошка-кочамма задрала свое мятое сари. Рахель засмотрелась на необъятные ноги своей двоюродной бабушки. (Через несколько лет во время урока истории — *У императора Бабура лицо было мучнистого цвета, и ноги его напоминали колонны* — перед ней мелькнет эта сцена. Крошка-кочамма, нависшая над общественным унитазом, как большая птица. Просвечивающие голени, оплетенные голубыми бугристыми венами. Толстые коленки с выемками. На них волосы. Жалко ее маленькие ступни — какой груз им приходится выдерживать!) Крошка-кочамма медлила всего какую-то дольку секундочки. Голова выброшена вперед. Глупая улыбка. Грудь свисает чуть не до полу. Дыни в блузке. Зад кверху и от. Когда пошло журчать и бурлить, она стала прислушиваться глазами. Желтый говорливый поток в горной долине.

Рахели все это нравилось. Что она держит сумочку. Что все писают друг перед другом. По-семейному. Она тогда еще не знала, как драгоценно это ощущение. *По-семейному.* Они никогда больше не будут вместе вот так. Амму, Крошка-кочамма и она.

Когда Крошка-кочамма кончила, Рахель посмотрела на свои часики.

— Как ты долго, Крошка-кочамма, — сказала она. — Уже без десяти два.

Чуш-чуш-чуши (подумала Рахель),
Три женщины в ду́ше,
Одна летунья, две копуши[1].

[1] Переделка английского детского стишка.

Она вообразила, что Копуша — это чье-то имя. Копуша Курьен. Копушакутти. Копуша-моль. Копуша-кочамма.

Копушакутти. Летун Вергиз. И Курьякоз. Три перхотных братца.

Амму сделала свои дела шепоточком. На стенку унитаза, чтобы ничего не было слышно. Твердость Паппачи ушла из ее глаз, и теперь это опять были глазки Амму. На лице у нее была улыбка с большими ямочками, и она как будто больше не сердилась. Ни из-за Велютты, ни из-за слюнного пузыря.

Это был Добрый Знак.

В ЕГО КОМНАТЕ Эсте Одному нужно было пописать в писсуар на сигаретные окурки и нафталиновые шарики. Пописать в унитаз было бы Поражением. Пописать в писсуар ему не хватало роста. Требовалось Подножье. Он стал искать Подножья и нашел их в углу ЕГО КОМНАТЫ. Грязную метлу и бутылку из-под сока, до половины заполненную молочного вида жидкостью (фенилом) с какими-то черными чаинками. Еще раскисшую швабру и две ржавые жестянки ни с чем. Когда-то раньше там могли быть Райские Соленья. Или Сладости. Ломтики ананаса в сиропе. А может, кружочки. Ананасовые кружочки. Эста Один, честь которого была спасена бабушкиными консервами, расположил ржавые жестянки ни с чем перед писсуаром. Потом встал на них, одной ногой на каждую, и аккуратно пописал, почти не вихляя. Как Мужчина. Окурки из влажных превратились в мокрые и кружащиеся. Труднозажигаемые. Кончив, Эста переставил жестянки к умывальнику с зеркалом. Он вымыл руки и смочил волосы. Потом, маленький из-за расчески Амму, которая была велика для него, тщательно восстановил свой зачес. Пригладил назад, потом кинул вперед и закрутил самые кончики вбок. Положил расческу в карман, сошел с жестянок и положил их обратно к бутылке, швабре и метле. Отвесил им поклон. Всей честной компании. Бутылке, метле, жестянкам и раскисшей швабре.

— Поклон, — сказал он и улыбнулся, потому что, когда он был совсем маленький, он думал, что, если ты кланяешься, ты непременно должен сказать: «Поклон». Что иначе поклона не будет. «Поклон, Эста», — подсказывали ему. Он кланялся и говорил: «Поклон», после чего все смеялись и переглядывались, а он не понимал почему.

Эста Один с неровными зубками.

В вестибюле он подождал мать, сестру и двоюродную бабушку. Когда они вышли, Амму спросила:

— Все в порядке, Эстаппен?

— В порядке, — ответил Эста и кивнул осторожно, чтобы сохранить зачес.

В порядке? В порядке. Он положил расческу обратно к ней в сумочку. Амму вдруг ощутила прилив нежности к своему сдержанному, полному достоинства малышу в бежевых остроносых туфлях, который только что справился с первым в своей жизни взрослым заданием. Она провела любящей рукой по его волосам. И испортила ему зачес.

Служитель с металлическим Батареечным Фонариком сказал, что надо торопиться, потому что картина уже началась. Им со всех ног следовало бежать вверх по красным ступенькам, устланным старым красным ковром. По красной лестнице с красными пятнами плевков[1] у красного края. Фонарный Служитель подоткнул левой рукой мунду себе под пах, собравши в кулак пучок складок. И устремился вверх, напрягая под волосатой ходкой кожей пушечные ядра икр. Фонарик он держал в правой. Он забегал вперед мысленно.

— Началось-то порядком уже, — сказал он.

То есть они пропустили начало. Пропустили подъем складчатого бархатного

[1] В Индии многие жуют бетель, окрашивающий слюну в красный цвет.

занавеса при свете сросшихся в желтые гроздья электрических лампочек. Медленно вверх, а музыка, наверно, была — «Слоненок идет» из «Хатари». Или «Марш полковника Боги».

Амму держала за руку Эсту. Крошка-кочамма, одолевая ступеньку за ступенькой, держала Рахель. Нагруженная своими дынями, Крошка-кочамма не признавалась себе, что ей хочется на фильм. Она предпочитала думать, что идет исключительно ради детей. В уме она аккуратно, деловито вела учет по двум позициям: «Что я сделала для ближних» и «Чего ближние не сделали для меня».

Ей больше всего нравились монастырские сцены вначале, и она надеялась, что они еще не кончились. Амму объясняла Эсте и Рахели, что людям обычно нравится то, с чем они могут *Отождествиться.* Рахели хотелось Отождествиться с Кристофером Пламмером, игравшим капитана фон Траппа. А вот Чакко ни в какую не желал с ним Отождествляться и называл его «капитан фон Трёп».

Рахель была как бешеный комарик на поводке. Летучий. Невесомый. Две ступеньки вверх. Две вниз. Одна вверх. Пять маршей красной лестницы, пока Крошка-кочамма поднималась на один.

Я Попай морячок, бум-бум
Я росточком не высок. бум-бум
Я Попай, я моряк,

Дверь открыл и — бряк.

Я моряк, я Попай бум-бум

Две вверх. Две вниз. Одна вверх. Прыг, прыг.

— Рахель, — сказала Амму, — ты, кажется, не усвоила Урок. Ведь не усвоила?

Урок был такой: *Возбуждение Всегда Кончается Слезами.* Бум-бум.

Они вошли в фойе Яруса Принцессы[1]. Миновали Подкрепительный Прилавок, где ждала апельсиновая газировка. Где ждала лимонная газировка. Апельсиновая слишком апельсиновая. Лимонная слишком лимонная. Шоколад слишком размякший.

Фонарный Служитель открыл тяжелую дверь Яруса Принцессы и впустил их в шелестяще-веерную, хрустяще-арахисовую темноту. Где пахло людским дыханием и маслом для волос. Еще старыми коврами. Где стоял волшебный запах «Звуков музыки», который Рахель помнила и которым дорожила. Запахи, как музыка, долго держат воспоминания. Глубоко вдохнув, она закупорила аромат зала себе на будущее.

Хранителем билетов был Эста. Малыш-Морячок. *Я Попай* бум-бум. *Дверь открыл* бум-бум.

Фонарный Служитель посветил на розовые билетики. Ряд J. Места 17, 18, 19, 20. Эста, Амму, Рахель, Крошка-кочамма. Они начали протискиваться мимо недовольных зрителей, которые, давая им проход, убирали ноги кто вправо, кто влево. Сиденья были складные. Крошка-кочамма держала сиденье Рахели, пока она забиралась. Но поскольку Рахель была легкая, стул сложился сандвичем, начинкой которого была она, и она стала смотреть в промежуток между своими коленками. Две коленки и фонтанчик. Более умный и солидный Эста аккуратно сел на краешек.

По бокам экрана, где не было картины, шевелились тени от вееров.

Прощай, фонарик. Здравствуй, Международный Лидер Проката.

---

[1] Так в некоторых индийских кинотеатрах называются самые дорогие места.

Вместе с чистым, печальным звуком церковных колоколов камера взмыла в лазурное (цвета «плимута») австрийское небо.

Далеко внизу, на земле, во дворе аббатства, на булыжнике играло солнце. Монашенки шли через двор. Как неспешные сигары. Тихие монашенки тихо скапливались вокруг Матери Настоятельницы, которая никогда не читала их писем. Она притягивала их, как хлебная корочка — муравьев. Сигары вокруг Сигарной Королевы. Никаких тебе волосатых коленок. Никаких дынь в блузках. От их дыхания веет мятой. Они жаловались Матери Настоятельнице. Сладкозвучно жаловались на Джули Эндрюс, которая все еще была там, на холмах, где пела: «Вновь сердце волнуют мне музыки звуки», и, конечно, опять опоздала на мессу.

Взбирается на дерево,
Царапает колено[1], —

мелодично ябедничали монашенки.

Рвет платье о сучок,
А по дороге к мессе
Кружится, как волчок...

Люди в зале начали оборачиваться.

— Тссс! — шипели они.

Тсс! Тсс! Тсс!

Под шапочкой монашеской
В кудряшках голова,
И ей порядки наши — трын-трава!

Был голос, звучавший не из картины. Он выводил чисто и верно, рассекая шелестяще-веерную, хрустяще-арахисовую темноту. Среди публики затесалась монашенка. Головы поворачивались, как бутылочные крышечки. Черноволосые затылки превращались в лица, на которых имелись усы и рты. Шипящие рты с акульими зубами. Частыми-частыми. Как зубья расчески.

— Тссс! — сказали они хором.

Пел не кто иной, как Эста. Монашенка с зачесом. Элвис-Пелвис-Монашенка. Он не мог ничего с собой поделать.

— Выведите его! — сказала Публика, разглядев, кто поет.

Замолчать, или Выведут. Выведут, или Замолчать.

Публика была Большое Существо. Эста был Маленькое Существо. С билетами.

— Эста, замолЧИ бога ради! — яростно прошептала Амму.

Эста замолЧАЛ бога ради. Усы и рты отвернулись от него. Но потом нежданно-негаданно песня пришла опять, и Эста был бессилен.

— Амму, можно я выйду, там допою? — спросил Эста (не дожидаясь затрещины от Амму). — После песни вернусь.

— Только не думай, что я буду ходить с тобой взад-вперед, — сказала Амму. — Ты всех нас позоришь.

Но Эста не мог с собой совладать. Он встал и двинулся к выходу. Мимо сердитой Амму. Мимо Рахели, глазеющей в междуколенный промежуток. Мимо Крошки-кочаммы. Мимо Публики, которой опять пришлось убирать ноги. Ктовправоктовлево. Надпись ВЫХОД над дверью горела красным. Хорошо, что не ВЫВОД.

В фойе ждала апельсиновая газировка. Ждала лимонная газировка. Ждал размякший шоколад. Ждали обитые ярко-синим дерматином автомобильные диваны. Ждали афиши, молча кричавшие: «Скоро!»

---

[1] Здесь и далее строки песен из фильма «Звуки музыки» в переводе М. Загота.

Эста Один сел на обитый ярко-синим дерматином автомобильный диван в фойе Яруса Принцессы в кинотеатре «Абхилаш». Сел и запел. Голосом монашенки, чистым, как родниковая вода.

Но как заставить нам ее
На месте постоять?

Проснулся Газировщик за Подкрепительным Прилавком, дремавший в ожидании конца сеанса на составленных вместе табуретках. Разлепив глаза, он увидел Эсту Одного в бежевых остроносых туфлях. С испорченным зачесом. Газировщик стал вытирать мраморный прилавок тряпкой грязного цвета. Он ждал. Ждал и вытирал. Вытирал и ждал. И смотрел на поющего Эсту.

Волна, лизнув песок, уходит вспять.
Как поступить, что сделать нам с Мари-и-ей?

— Эй! *Эда чéрукка!*[1] — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик хриплым со сна голосом. — Распелся, чтоб тебя.

— Как на ладони лучик удержать? —

выводил Эста.

— Эй! — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик. — Слышь ты, у меня Время Отдыха, ясно? Скоро опять работать, там не поспишь. Мне твои песни английские даром не нужны, так что кончай давай.

Его золотые наручные часы были еле видны из-под курчавых зарослей на запястье. Его золотая цепочка была еле видна из-под зарослей на груди. Его белая териленовая рубашка была расстегнута до того места, где начинал выпячиваться живот. Он казался хмурым медведем, нацепившим на себя драгоценности. За спиной у него были зеркала, в которые люди могли глядеться, покупая себе еду и холодное питье. Подправить зачес, подколоть пучок. Зеркала смотрели на Эсту.

— Я могу Письменную Жалобу на тебя подать, — сказал Эсте Газировщик. — Как тебе это понравится? Письменная Жалоба?

Эста прекратил пение и встал, чтобы вернуться в зал.

— Ты так и так меня на ноги поднял, — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик, — ты меня разбудил в мое Время Отдыха, ты меня *побеспокоил*, так что подойди-ка сюда и возьми хоть что-нибудь попить. А то некрасиво получается.

У него было небритое лицо с тяжелым двойным подбородком. Его зубы, похожие на желтые фортепьянные клавиши, пялились на маленького Элвиса-Пелвиса.

— Нет, спасибо, — вежливо отказался Элвис. — Мои родные будут волноваться. И у меня кончились карманные деньги.

— Карманные-шарманные, — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик, продолжая пялиться зубами. — Сперва поет по-английски, а теперь еще карманные-шарманные! Ты откуда такой? С луны?

Эста повернулся, чтобы уйти.

— Куда? — резко остановил его Апельсиново-Лимонный Газировщик. — Куда торопишься? — спросил он чуть мягче. — Я, кажется, вопрос тебе задал.

Его желтые зубы были магнитами. Они смотрели, улыбались, пели, пахли, двигались. Они гипнотизировали.

— Я спрашиваю, ты откуда взялся? — сказал он, плетя свою гадкую сеть.

— Из Айеменема, — объяснил Эста. — Я живу в Айеменеме. Моя бабушка там делает Райские Соленья и Сладости. Она Пассивный Партнер.

— Пассивный? — переспросил Апельсиново-Лимонный Газировщик. — А чем

---

[1] Эй, мальчик! (*малаялам*).

с ней занимается Активный Партнер? — Он засмеялся гадким смехом, которого Эста не понял. — Ничего. Вырастешь — поймешь.

— Иди сюда, попей, — сказал он. — Бесплатный Освежающий Напиток. Иди, не бойся. Расскажешь мне про бабушку свою.

Эста подошел. Желтые зубы манили.

— Сюда. За прилавок, — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик. Он понизил голос до шепота. — Это будет наш секрет, потому что напитки запрещены до перерыва. Это Нарушение Распорядка Работы.

— Подсудное дело, — добавил он, помолчав.

Эста зашел за Подкрепительный Прилавок, чтобы взять Бесплатный Освежающий Напиток. Там он увидел три высокие табуретки, составленные в ряд, чтобы Апельсиново-Лимонный Газировщик мог поспать. Вытертое, блестящее от многодневного сидения дерево.

— Возьми-ка в руку, будь добр, — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик, подавая Эсте свой член, прикрытый набедренной повязкой из мягкого белого муслина. — Сейчас дам попить. Апельсиновый? Лимонный?

Эста взял в руку, потому что иначе нельзя было.

— Апельсиновый? Лимонный? — повторил Газировщик. — Апельсиноволимонный?

— Лимонный, пожалуйста, — сказал Эста вежливо.

Он получил холодную бутылку и соломинку. Бутылку он держал в одной руке, член — в другой. Твердый, горячий, пульсирующий. Не какой-то там лучик.

Апельсиново-Лимонный Газировщик накрыл руку Эсты своей. Ноготь на большом пальце был у него длинный, как у женщины. Он стал двигать рукой Эсты вверх-вниз. Сначала медленно. Потом быстро.

Лимонный напиток был холодный и сладкий. Член был горячий и твердый.

Зубные клавиши пялились.

— Значит, у твоей бабушки фабрика? — спросил Апельсиново-Лимонный Газировщик. — Что за фабрика?

— Разная продукция, — сказал Эста, не глядя никуда, мусоля во рту соломинку. — Соки, соленья, джемы, карри в порошке. Ананасовые кружочки.

— Здорово, — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик. — Просто отлично.

Его рука крепче сдавила руку Эсты. Мясистая и потная. Всё быстрей, без остановки.

Быстро быстро ходом
Перед всем народом,
Быстренько, как можешь,
И еще быстрей.

По размякшей бумажной соломинке (сильно сплюснутой во рту от слюны и страха) поднималась жидкая лимонная сладость. Дуя через соломинку (в то время, как та его рука двигалась), Эста впускал в бутылку пузыри. Липко-сладкие лимонные пузыри в напитке, который он не мог пить. Он составлял в голове полный список бабушкиной продукции.

СОЛЕНЬЯ, МАРИНАДЫ	*СОКИ*	*ДЖЕМЫ*
Манго	*Апельсиновый*	*Банановый*
Перец зеленый	*Виноградный*	*Ассорти*
Тыква горькая	*Ананасовый*	*Мармелад грейпфрутовый*
Чеснок Манго		
Лайм соленый		

Потом хрящетинистое лицо скривилось, и рука Эсты стала мокро-горяче-липкой. На ней был яичный белок. Белый. От яйца всмятку.

Лимонный напиток был холодный и сладкий. Член был мягкий и дряблый, как пустой кожаный кошелек. Своей тряпкой грязного цвета Газировщик вытер ту руку Эсты.

— Ну, допивай, — сказал он и ласково шлепнул Эсту по заднице. Тугие сливы в обтягивающих брючках. И бежевые остроносые туфли. — А то нехорошо. Сколько бедных, которым не на что поесть и попить. Тебе везет, богатенькому, у тебя есть карманные-шарманные, и бабушка оставит тебе фабрику в наследство. Ты должен Сказать Спасибо за такую жизнь: ни забот ни хлопот. Допивай.

И тогда за Подкрепительным Прилавком в фойе Яруса Принцессы кинотеатра «Абхилаш», первым в штате Керала показывающего фильмы на 70-миллиметровой пленке по системе «синемаскоп», Эстаппен Яко допил бесплатную бутылку шипучего, пахнущего лимоном страха. Слишком сладкого, слишком лимонного, слишком холодного. Шибающего в нос. Скоро он получит новую порцию того же самого (бесплатного, шипучего, шибающего). Но пока ему рано об этом знать. Он держит липкую Ту Руку на отлете.

Чтобы ни к чему не притрагиваться.

Когда Эста допил, Апельсиново-Лимонный Газировщик сказал:

— Кончил? Умничка.

Он забрал пустую бутылку и сплющенную соломинку и отправил Эсту обратно на «Звуки музыки».

Эста осторожно пронес Ту Руку (ладонью кверху, словно держа воображаемый апельсин) сквозь пахнущую маслом для волос темноту. Он протиснулся мимо Публики (убиравшей ноги ктовправоктовлево), мимо Крошки-кочаммы, мимо Рахели (всё еще с задранными коленками), мимо Амму (все еще сердитой). Эста сел, по-прежнему держа на весу свой липкий апельсин.

А на экране был капитан фон Трапп. Кристофер Пламмер. Высокомерный. Сухой. Рот как щелочка. Стальное сверло полицейского свистка. Капитан, у которого семеро детей. Чистеньких детишек, похожих на пачку мятных жвачек. Он любил их, хотя делал вид, что не любит. Еще как любил. Он любил ее (Джули Эндрюс), она любила его, они любили детей, дети любили их. Они все любили друг друга. Дети были чистенькие, беленькие, и спали они на перинах из гагачьего пуха. Га. Га. Чьего.

Около дома, где они жили, было озеро и сад, а в доме была широкая лестница, белые двери, белые оконные рамы и занавески с цветочками.

Чистенькие беленькие дети, даже те, кто постарше, боялись грозы. Чтобы их успокоить, Джули Эндрюс укладывала их всех в свою чистенькую постельку и пела им чистенькую песенку о том, что ей нравилось. А нравилось ей вот что:

1) девочки в белых платьицах с голубыми сатиновыми ленточками,
2) дикие гуси в полете с лунным светом на крыльях,
3) ярко начищенные медные котлы,
4) дверные колокольчики, санные бубенчики, шницель с лапшой
5) и т. д.

И тогда в головах у одной двуяйцовой парочки, сидящей среди публики в кинотеатре «Абхилаш», возникли некоторые вопросы, требующие ответа, как-то:

а) *А трясет ли ногой капитан фон Трапп?*

Нет, не трясет.

б) *А выдувает ли капитан фон Трапп слюну пузырями? Да или нет?*

Нет, никоим образом.

в) *А гогочет ли он?*

И не думает.

Ах, капитан фон Трапп, капитан фон Трапп, смогли бы вы полюбить малыша с апельсином в руке, сидящего в полном запахов зале?

Он только что держал в руке *су-су* Апельсиново-Лимонного Газировщика, но все-таки смогли бы вы его полюбить?

А его сестричку-двойняшку? С задранными коленками, фонтанчиком и «токийской любовью»? Смогли бы вы полюбить ее тоже?

У капитана фон Траппа имелись кое-какие встречные вопросы.

а) *А какие они дети? Чистенькие? Беленькие?*

Нет. *(А вот Софи-моль — да.)*

б) *А выдувают ли они слюну пузырями?*

Да. *(А вот Софи-моль — нет.)*

в) *А трясут ли они ногами? Как канцеляристы?*

Да. *(А вот Софи-моль — нет.)*

г) *А держали ли они в руке, вместе или поодиночке, су-су чужого человека?*

Н... ннда. *(А вот Софи-моль — нет.)*

— В таком случае извините, — сказал капитан фон Трапп. — Об этом не может быть и речи. Я не могу их любить. Я не могу быть их Баба. Нет-нет.

Капитан фон Трапп не смог бы.

Эста уронил голову на колени.

— В чем дело? — спросила Амму. — Если ты опять решил кукситься, поедешь домой. Сядь прямо, пожалуйста. И смотри. Для этого тебя сюда привели.

Допивай.

Смотри фильм.

Сколько бедных, которым не на что.

Везет богатенькому. Ни забот ни хлопот.

Эста сел прямо и стал смотреть. Живот подступил к горлу. Вздымающееся, кренящееся, тинисто-зеленое, набухающе-водное, морское, плывущее, бездонно-тяжелодонное ощущение.

— Амму, — позвал он.

— Ну ЧТО еще? — Шипящее, хлещущее ЧТО.

— Мне рвотно, — сказал Эста.

— Просто подташнивает или хочется? — Голос Амму стал озабоченным.

— Не знаю.

— Давай выйдем, попробуешь, — сказала Амму. — Тебе полегчает.

— Давай, — сказал Эста.

Давай? Давай.

— Куда это вы? — поинтересовалась Крошка-кочамма.

— Эста попробует облегчить желудок, — объяснила Амму.

— Куда это вы? — спросила Рахель.

— Мне рвотно, — сказал Эста.

— Можно я выйду посмотрю?

— Нет, — сказала Амму.

Опять мимо Публики (ноги ктовправоктовлево). Тогда — чтобы петь. Теперь — чтобы попробовать облегчить желудок. На выход через ВЫХОД. За дверью, в мраморном фойе, Апельсиново-Лимонный Газировщик ел конфету. Она ходила по его щеке желваком. Он издавал мягкие сосущие звуки, как вытекающая из умывальника вода. На прилавке валялась зеленая обертка с надписью «Парри»[1]. Он мог есть конфеты бесплатно. У него было несколько тускло-прозрачных емкостей с

[1] Торговая сеть в южной Индии.

разными конфетами. Он вытирал мраморный прилавок тряпкой грязного цвета, которую держал волосатой, опоясанной часами рукой. Когда он увидел светящуюся женщину с полированными плечами, ведущую за руку мальчика, по его лицу пробежала тень. Потом он улыбнулся своей клавишной улыбкой.

— На выход, так рано? — спросил он.

У Эсты уже началась отрыжка. Амму ввела его, как слепого, в ЕЕ умывальную комнату Яруса Принцессы.

Он повис в воздухе, стиснутый между нечистым умывальником и телом Амму. С болтающимися ногами. На умывальнике имелись железные краны и ржавые пятна. Еще там была коричневая паутинная сеть тоненьких трещин, похожая на карту большого, замысловатого города.

Эсту сотрясали спазмы, но наружу ничего не выходило. Только мысли. Они выплывали из него и вплывали обратно. Амму не могла их видеть. Они нависали над Умывальным Городом, как дождевые тучи. Но умывальный люд — мужчины, женщины — занимался своими обычными умывальными делами. Взад-вперед сновали умывальные машины и умывальные автобусы. Умывальная Жизнь продолжалась.

— Нет? — спросила Амму.

— Нет, — ответил Эста.

Нет? Нет.

— Тогда умой лицо, — сказала Амму. — От воды всегда лучше. Умой лицо, а потом пойдешь выпьешь лимонной газировки.

Эста умыл лицо, и руки, и лицо, и руки. Его ресницы намокли и слиплись.

Апельсиново-Лимонный Газировщик сложил зеленую конфетную обертку и пригладил сгиб остроконечным ногтем большого пальца. Потом прихлопнул муху свернутым в трубку журналом. Аккуратно смахнул ее с прилавка на пол. Там она лежала на спинке и дрыгала слабенькими ножками.

— Милый какой, — сказал он Амму. — Поет — заслушаешься.

— Мой сын, — сказала Амму.

— Правда? — удивился Апельсиново-Лимонный Газировщик и уставился на Амму зубами. — Уже? Вы такая молоденькая!

— Ему что-то нехорошо, — сказала Амму. — Я думаю, от холодного питья полегчает.

— Конечно, — сказал Газировщик. — Конечноконечно. Апельсинлимон? Лимонапельсин?

Страшные, мерзостные слова.

— Спасибо, мне не хочется. — Эста поглядел на Амму. Тинисто-зеленый, плывущий, бездонно-тяжелодонный.

— А вам? — обратился к Амму Апельсиново-Лимонный Газировщик. — Кокаколафанта? Мороженое? Розовое молоко?

— Нет. Мне ничего. Спасибо, — сказала Амму. Светящаяся женщина с упругими ямочками.

— Вот, — сказал Газировщик, протягивая горсть конфет, как щедрая стюардесса. — Пусть ваш маленький мон полакомится.

— Спасибо, мне не хочется, — сказал Эста, глядя на Амму.

— Возьми, Эста, — сказала Амму. — Не обижай.

Эста взял.

— Скажи Спасибо, — сказала Амму.

— Спасибо, — сказал Эста. (За конфеты, за белый яичный белок.)

— Не стоит благодарности, — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик по-английски.

— Да! — сказал он. — Мон говорит, вы из Айеменема?

— Да, — ответила Амму.

— Я там часто бываю, — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик. — У жены там родня. Я знаю, где ваша фабрика. Райские Соленья, да? Это он мне сказал. Ваш мон.

Он знал, где найти Эсту. Вот что означали его слова. Предостережение.

Амму видела, какие у сына глаза — блестящие, как горячечные пуговицы.

— Надо идти. А то как бы не заболел. Завтра его двоюродная сестра приезжает, — объяснила она Дяденьке. И потом мимоходом добавила: — Из Лондона.

— Из Лондона? — Глаза Дяденьки засветились новым уважением. К лондонским связям их семьи.

— Эста, побудь здесь с Дяденькой. Я приведу Крошку-кочамму и Рахель, — сказала Амму.

— Иди сюда, — сказал Дяденька. — Иди, посидишь со мной на высокой табуреточке.

— Нет, Амму! Нет, Амму, нет! Я с тобой!

Амму, удивленная пронзительной настоятельностью в голосе обычно тихого сына, извинилась перед Апельсиново-Лимонным Дяденькой.

— Он что-то сам не свой сегодня. Ладно, Эстаппен, пошли.

Темнота с ее запахом. Тени от вееров. Затылки. Шеи. Воротнички. Волосы. Пучки. Косы. Конские хвосты.

Фонтанчик, стянутый «токийской любовью». Маленькая девочка и бывшая монашенка.

Семеро мятных детей капитана фон Траппа уже приняли мятную ванну и теперь стояли с приглаженными волосами, выстроившись в мятную шеренгу, и послушными мятными голосами пели для женщины, на которой капитан едва не женился. Для блондинки Баронессы, сиявшей, как бриллиант.

Вновь сердце волнуют
мне музыки звуки...

— Нам надо идти, — сказала Амму Крошке-кочамме и Рахели.

— Но как же, Амму! — сказала Рахель. — Ведь Главного еще не было! Он даже ее не *поцеловал!* Он еще не порвал гитлеровский флаг! Их еще не *предал* почтальон Рольф!

— Эста нездоров, — сказала Амму. — Пошли!

— Еще даже не приходили нацистские солдаты!

— Пошли, — сказала Амму. — Вставайте!

— Они еще даже не спели «Высоко на холме козопас»!

— Эста должен быть здоровым, чтобы встретить Софи-моль, — сказала Крошка-кочамма.

— Ничего он не должен, — сказала Рахель, правда, себе большей частью.

— Что ты сказала? — спросила Крошка-кочамма, уловив общий смысл, а не сами слова.

— Ничего, — сказала Рахель.

— Не думай, что я не слышала, — сказала Крошка-кочамма.

Снаружи Дяденька переставлял свои тускло-прозрачные емкости. Он вытирал тряпкой грязного цвета мокрые пятна круглой формы, оставленные ими на его мраморном Подкрепительном Прилавке. Он готовился к Перерыву. Он был Чистеньким Апельсиново-Лимонным Дяденькой. В его медвежьем теле билось сердце стюардессы.

— Ухóдите все-таки? — спросил он.

— Да, — сказала Амму. — Где тут можно взять такси?

— За ворота, вперед по улице, там налево, — ответил он, глядя на Рахель. — А я и не знал, что у вас есть еще маленькая моль. — Он протянул еще одну конфету. — Возьми, моль, это тебе.

— Возьми мои! — быстро сказал Эста, не желая, чтобы Рахель туда шла.

Но Рахель уже двинулась к Газировщику. Когда она приблизилась, он улыбнулся ей, и что-то в этой клавишной улыбке, в неотпускающей хватке этого взгляда заставило ее отпрянуть. Это было самое отвратительное, что она в жизни видела. Она обернулась, чтобы найти глазами Эсту.

Она пошла назад, подальше от волосатого человека.

Эста вдавил ей в руку свои конфеты «Парри», и она почувствовала горячечный жар его пальцев, чьи кончики были холодны, как смерть.

— Будь здоров, мон, — сказал Эсте Дяденька. — Когда-нибудь увидимся в Айеменеме.

Так что опять красные ступеньки. На этот раз Рахель тормозила. *Тише-тише, я копуша.* Тонна кирпичей на поводке.

— А он симпатяга, этот Апельсинщик-Лимонщик, — сказала Амму.

— *Чи!*[1] — сказала Крошка-кочамма.

— Я и подумать не могла, что он так мило поведет себя с Эстой, — сказала Амму.

— Ну и вышла бы за него замуж, — дерзко сказала Рахель.

На красной лестнице остановилось время. Эста остановился. Крошка-кочамма остановилась.

— Рахель, — сказала Амму.

Рахель окаменела. Она горчайше пожалела о сказанном. Она не понимала, откуда взялись эти слова. Ей не верилось, что они могли в ней быть. Но вот они вылетели и назад уже не вернутся. Теперь они околачивались на красной лестнице, как канцеляристы в учреждении. Одни стояли, другие сидели и трясли ногами.

— Рахель, — сказала Амму. — Ты понимаешь, что ты сейчас сделала?

На Амму смотрели испуганные глаза и фонтанчик.

— Не бойся. Я тебя не съем, — сказала Амму. — Ты мне только ответь. Да или нет?

— Что? — произнесла Рахель самым крохотным голоском, какой у нее был.

— Понимаешь, что ты сейчас сделала? — повторила Амму.

На Амму смотрели испуганные глаза и фонтанчик.

— Знаешь, что происходит с людьми, когда ты их ранишь? — сказала Амму. — Когда ты их ранишь, они начинают любить тебя меньше. Вот к чему приводят неразумные слова. К тому, что люди начинают любить тебя чуть меньше.

Холодная ночная бабочка с необычно густыми спинными волосками тихонько опустилась на сердце Рахели. Там, где его коснулись ледяные лапки, вскочили пупырышки гусиной кожи. Шесть пупырышков на ее неразумном сердце.

Чуть меньше Амму любит ее теперь.

За ворота, вперед по улице и налево. Стоянка такси. Раненая мать, бывшая монашенка, один горячий ребенок и один холодный. Шесть пупырышков и одна ночная бабочка.

В такси пахло спаньем. Старой скатанной тканью. Сырыми полотенцами. Подмышками. Оно, помимо прочего, служило шоферу жилищем. Он там обитал. Это было единственное место, где он мог копить свои запахи. Сиденья были мертвы.

---

[1] Тьфу! (*малаялам*).

Выпотрошены. На заднем желтая губка вылезла из-под обивки и подрагивала, напоминая раздувшуюся печень больного желтухой. В повадках шофера сквозила зверьковая верткость мелкого грызуна. У него был крючковатый римский нос и маленькие усики. Он был такой малорослый, что на дорогу ему приходилось смотреть сквозь баранку. Встречным, наверно, казалось, что такси едет с пассажирами, но без водителя. Шофер гнал машину быстро, желчно, кидаясь в просветы, выталкивая других с полос. Ускоряясь на «зебрах». Игнорируя светофоры.

— Вам бы подушку какую-нибудь подложить, — сказала Крошка-кочамма самым дружелюбным из своих голосов. — Лучше было бы видно.

— Вам бы сидеть и помалкивать, сестрица, — сказал шофер самым недружелюбным из своих голосов.

Когда проезжали мимо моря, казавшегося чернильным, Эста высунул из окна голову. Он ощущал на вкус горячий, соленый морской воздух. Он чувствовал, как вздыбились от ветра его волосы. Он знал, что, если Амму станет известно про него и Апельсиново-Лимонного Газировщика, она и его, Эсту, будет любить меньше. Намного-намного меньше. Его желудок был полон стыдной коловоротной взбухающей карусельной тошноты. Он тосковал по реке. Потому что от воды всегда лучше.

Мимо окон такси неслась клейкая неоновая ночь. В машине было жарко и тихо. Крошка-кочамма раскраснелась и была возбуждена. Ей очень приятно было сознавать, что напряженность возникла не по ее вине. Каждый раз, когда на мостовой показывалась дворняга, шофер всерьез пытался ее задавить.

Ночная бабочка на сердце у Рахели повела бархатными крылышками, и Рахель почувствовала, что холод заползает ей в кости.

На стоянке у гостиницы «Морская королева» лазурного цвета «плимут» шушукался и перефыркивался с другими, меньшими машинами. *Шу-шу, фырь-фырь.* Пышная дама в гостях у дамочек поскромнее. Так и чешут крылышками.

— Номера 313 и 327, — сказал портье за столиком. — Без кондиционеров. По две односпальные кровати. Лифт на ремонте.

Коридорный, который провожал их наверх, не был мальчиком и не имел колокольчика, хоть и звался по-английски bellboy[1]. Глаза у него были тусклые, и на его поношенной темно-бордовой куртке не хватало двух пуговиц. Из-под нее виднелась грязноватая рубашка. Глупую гостиничную фуражку ему приходилось носить набекрень, и тугой пластиковый ремешок сильно врезался в дряблую кожу под подбородком. То, что старика заставляли носить фуражку набекрень и менять очертания, которые хотел принять свисающий с его подбородка возраст, казалось ненужной жестокостью.

Опять подниматься по красным ступеням. Словно за ними всюду теперь следовал киношный красный ковер. Магический ковер-самолет.

Чакко сидел у себя в номере. Был застигнут за пиршеством. Жареная курица, картофельные чипсы, куриный бульон со сладкой кукурузой, две хрустящие лепешки-паратхи и ванильное мороженое с шоколадным соусом. Соус в отдельном соусничке. Чакко много раз говорил: если уж умирать, то от обжорства. Маммачи считала, что это верный признак загнанного внутрь неблагополучия. Чакко утверждал, что ничего подобного. Он говорил, что это Чистейшая Жадность.

Чакко удивился, что они заявились так рано, но виду не подал. Продолжал есть как ни в чем не бывало.

Первоначально предполагалось, что Эста будет спать в номере у Чакко, а Рахель — у Амму и Крошки-кочаммы. Но теперь, поскольку Эста был нездоров и

[1] Коридорный (bell — колокольчик, boy — мальчик).

произошло перераспределение Любви (Амму любила ее чуть меньше), Рахели предстояло ночевать у Чакко, а Эсте — у Амму и Крошки-кочаммы.

Амму вынула из чемодана пижамку и зубную щетку Рахели и положила их на ее кровать.

— Вот, — сказала Амму.

Чемодан закрылся с двумя щелчками.

Щелк. И щелк.

— Амму, — сказала Рахель, — давай я не буду ужинать в наказание.

Ей очень хотелось быть наказанной. Без ужина, зато любовь Амму в полном объеме.

— Как хочешь, — сказала Амму. — Но я советую тебе поесть. Как ты иначе вырастешь? Может быть, Чакко поделится с тобой курицей.

— Кто знает, кто знает, — сказал Чакко.

— А какое тогда будет наказание? — спросила Рахель. — Ты меня не наказала никак!

— Иные поступки сами в себе содержат наказание, — сказала Крошка-кочамма. Точно задачку объяснила, которую Рахель не могла решить.

Иные поступки сами в себе содержат наказание. Как спальни со встроенными шкафами. Им всем, и довольно скоро, предстояло узнать о наказаниях кое-что новое. Что они бывают разных размеров. Иные такие необъятные, что похожи на шкафы со встроенными спальнями. В них можно провести всю жизнь, бродя по темным полкам.

Крошка-кочамма поцеловала Рахель перед сном, и от этого у нее на щеке осталось немножко слюны. Она вытерла щеку плечом.

— Спокойной Ночи Приятных Снов, — сказала Амму. Но она сказала это спиной. Ее уже не было.

— Спокойной ночи, — сказал Эста, которому было тошно и не до любви к сестре.

Рахель Одна смотрела на удаляющиеся по коридору привидения — неслышные, но плотные. Два больших и одно маленькое, в бежевых остроносых туфлях. Красный ковер поглощал звуки их шагов.

Рахель стояла в дверном проеме гостиничного номера, полная печали.

В ней была печаль из-за приезда Софи-моль. Печаль из-за того, что Амму любит ее чуть меньше. И печаль из-за неизвестной обиды, которую нанес Эсте в кинотеатре «Абхилаш» Апельсиново-Лимонный Газировщик.

Кусачий ветер обдувал ее сухие, больные глаза.

Чакко отложил ей на блюдечко куриную ножку и немного чипсов.

— Не хочу, спасибо, — сказала Рахель, потому что надеялась своим собственным наказанием отвести наказание, наложенное Амму.

— Как насчет мороженого с шоколадным соусом? — спросил Чакко.

— Не хочу, спасибо, — ответила Рахель.

— Вольному воля, — сказал Чакко. — Но ты не знаешь, от чего отказываешься.

Он доел всю курицу, потом разделался с мороженым.

Рахель переоделась в пижамку.

— Только не говори мне, прошу тебя, за что тебя наказали, — предупредил Чакко. — Слышать не могу просто. — Кусочком паратхи он выбирал из соусничка остатки шоколадного соуса. Обычная его противная услада напоследок. — Ну, так что это было? Расчесала до крови комариный укус? Не сказала спасибо таксисту?

— Нет, я гораздо хуже поступила, — сказала Рахель, лояльная к Амму.

— Не говори, — сказал Чакко. — Не хочу ничего знать.

Он позвонил обслуге, после чего пришел утомленный посыльный забрать та-

релки и кости. Чакко попытался поймать запахи ужина, но они убежали и спрятались в дряблых коричневых гостиничных занавесках.

Не евшая племянница и наевшийся дядя вместе почистили зубы в ванной гостиницы «Морская королева». Она — одинокий коротышка-арестант в полосатой пижамке и со стянутым «токийской любовью» фонтанчиком. Он — в трусах и хлопчатобумажной майке. Туго обтягивая, подобно второй коже, его круглый живот, майка облегченно ослабевала над пупочной лункой.

Когда Рахель, держа пенистую зубную щетку в неподвижности, стала водить по ней зубами, он не сказал, чтобы она перестала.

Он же не был фашистом.

Они по очереди набирали воду и сплевывали. Рахель тщательно изучала белую пену от пасты «бинака», стекавшую по стенке умывальника: ей хотелось увидеть все, что можно было увидеть.

Какие краски, какие странные существа изверглись из щелочек между ее зубами?

Ничего такого. Ничего необычного. Только пузыри от «бинаки».

Чакко выключил Большой Свет.

Улегшись в кровать, Рахель сняла «токийскую любовь» и положила ее рядом с солнечными очочками. Фонтанчик немного осел, хоть и продолжал топорщиться.

Чакко лежал на другой кровати в пятне света от маленькой лампы. Толстый человек на темной сцене. Он приподнялся на локте и потянулся к рубашке, которая лежала, скомканная, в ногах кровати. Вынул из нагрудного кармана бумажник и стал разглядывать фотографию Софи-моль, которую Маргарет-кочамма прислала ему два года назад.

Рахель смотрела на него, и ее холодная ночная бабочка вновь повела крылышками. Медленно расправила. Медленно сложила. Лениво смаргивающие глаза хищницы.

Простыни были шершавые, но чистые.

Чакко закрыл бумажник и погасил лампу. Закурил на сон грядущий «чарминар» и стал думать, как выглядит его дочка сейчас. Девять лет. Когда он видел ее в последний раз, она была красной и сморщенной. Скорее зверьком, нежели человеком. Тремя неделями раньше Маргарет, его жена, его единственная любовь, с плачем рассказала ему про Джо.

Маргарет сказала Чакко, что не может с ним больше жить. Что ей нужен простор для самой себя. Как будто Чакко клал свою одежду на ее полки в шкафу. Что, вполне вероятно, он делал — это было в его характере.

Она попросила его дать ей развод.

В последние мучительные ночи перед отъездом он поднимался с кровати и смотрел с фонариком в руке на свою спящую дочь. Желая изучить ее. Запечатлеть в мозгу. Чтобы потом, вызывая в памяти ее образ, быть уверенным, что он точен. Он запоминал коричневый пушок на ее мягком темени. Форму ее поджатых, беспрестанно движущихся губ. Ступни с крохотными пальчиками. Намек на родимое пятнышко. Вдруг он поймал себя на том, что невольно ищет в ребенке черты Джо. Девочка ухватывала ручонкой его указательный палец, а он болезненно длил при шарящем свете фонарика этот сумасшедший, завистливый, вороватый осмотр. Ее пупок, как увенчанный куполом монумент, высился на сытом сатиновом холме животика. Припав ухом к младенческому брюшку, Чакко зачарованно вслушивался в перекличку внутренних органов. Во все концы шли урчащие депеши. Юные органы приспосабливались друг к другу. Новое правительство налаживало власть на местах. Устанавливало разделение труда, решало, кому что поручить.

От нее пахло молоком и мочой. Чакко не понимал, каким образом существо столь маленькое и неопределенное, столь смазанное в проявлениях внешнего сходства могло так властно распоряжаться вниманием, любовью, *душевным здоровьем* взрослого мужчины.

Уезжал он с ощущением, что из него вырвана какая-то часть. Весомая часть.

Но теперь Джо не было на свете. Погиб в автомобильной катастрофе. Оставив по себе дыру в мироздании, имеющую форму Джо.

На фотографии Софи-моль было семь лет. Она вся была бело-голубая. Губки розовые, и никакого даже намека на сирийское православие. Хотя Маммачи, вглядываясь в снимок, упорно утверждала, что у девочки нос Паппачи.

— Чакко, — подала голос Рахель со своей темной кровати. — Можно задать тебе вопрос?

— Хоть два, — сказал Чакко.

— Чакко, ты любишь Софи-моль Больше Всех На Свете?

— Она моя дочь, — сказал Чакко.

Рахель обдумала его ответ.

— Чакко, люди *обязательно* должны любить своих детей Больше Всех На Свете?

— Закона такого нет, — сказал Чакко. — Но обычно так бывает.

— Чакко, вот если, например, — сказала Рахель, — просто *например*, может так когда-нибудь получиться, что Амму полюбит Софи-моль больше, чем нас с Эстой? Или что ты полюбишь меня больше, чем Софи-моль? Просто *например?*

— В Человеческой Природе возможно все, — сказал Чакко своим Читающим Вслух голосом. Обращаясь теперь только к темноте, вдруг позабыв про свою маленькую племянницу с фонтанчиком волос на голове. — Любовь. Безумие. Надежда. Бесконечная Радость.

Из четырех вещей, Возможных В Человеческой Природе, самой печальной показалась Рахели *Бесконечная Радость.* Может быть, из-за тона, которым Чакко это произнес.

Бесконечная Радость. Звучащая по-церковному гулко. Можно подумать, кто-то радостно лишился конечностей.

Холодная ночная бабочка приподняла холодную лапку.

Сигаретный дым вился в ночи. Толстый мужчина и маленькая девочка молча лежали без сна.

Проснувшись в другом номере за несколько дверей от них, Эста услышал храп своей двоюродной бабушки.

Амму спала и выглядела красивой в ребристой синеве уличного света, проникавшего сквозь ребристо-синее решетчатое окно. Она улыбалась сонной улыбкой, грезя о дельфинах в ребристо-синей глубине. В этой улыбке не было ни малейшего намека на то, что под ней тикает готовая взорваться бомба.

Эста Один заплетающейся походкой прошел в ванную. Там его вырвало прозрачной, горькой, лимонной, искрящейся, шипучей жидкостью. Едкое послевкусие от первой встречи Маленького Существа со Страхом. Бум-бум.

Эсте немного полегчало. Он обулся в туфли, вышел из номера, двинулся с волочащимися шнурками по коридору и, дойдя до двери Рахели, тихо стал за ней.

Рахель влезла на стул и отперла ему дверь.

Чакко не задался вопросом, как она почувствовала, что Эста стоит за дверью. Он успел привыкнуть к некоторым странностям этих детей.

Лежа на узкой гостиничной кровати, как кит на отмели, он вяло размышлял о том, действительно ли в толпе демонстрантов был Велютта. Чакко склонен был считать, что Рахель обозналась. Велютте было что терять. Он был параван с перспекти-

вой. Чакко размышлял, стал ли Велютта полноправным членом марксистской партии. И виделся ли он в последнее время с товарищем К. Н. М. Пиллеем.

Несколько месяцев назад политические амбиции товарища Пиллея получили неожиданную подпитку. Два местных активиста, товарищ Дж. Каттукаран и товарищ Гухан Менон, были исключены из партии по подозрению в симпатиях к наксалитам. Одного из них — товарища Гухана Менона — прочили до этого в партийные кандидаты на дополнительных выборах от Коттаямского округа в законодательное собрание штата, назначенных на март будущего года. Его исключение из партии создало вакуум, желающих заполнить который набралось немало. Одним из них был товарищ К. Н. М. Пиллей.

Товарищ Пиллей стал присматриваться к делам на фабрике «Райские соленья» с интересом запасного игрока, жаждущего выйти на футбольное поле. Новый профсоюз, пусть даже маленький, мог бы стать для него идеальным началом пути, ведущего в законодательное собрание.

До той поры игра в «товарищей» (по выражению Амму) велась в «Райских соленьях» только в нерабочее время и была вполне безобидной. Но всем (кроме Чакко) было ясно, что если бы эта игра пошла не на шутку, если бы дирижерская палочка была выхвачена из рук Чакко, то дела на фабрике, и без того погрязшей в долгах, стали бы совсем плохи.

Поскольку с финансами было туго, персонал получал меньше установленного профсоюзом минимума. Указал на это работникам, разумеется, сам Чакко, пообещав, что, как только положение выправится, ставки будут пересмотрены. Он был убежден, что пользуется доверием людей, и считал, что всерьез печется об их благе.

Но был человек, который думал иначе. Вечером, после конца смены, товарищ К. Н. М. Пиллей подстерегал работников «Райских солений» и заводил их к себе в типографию. Своим пронзительным, как тростниковая дудочка, голосом он агитировал за дело революции. В своих речах он умно смешивал насущные вопросы местной жизни с пышной маоистской риторикой, которая звучала на малаялам еще пышнее.

— Трудящиеся всего мира, — свиристел он, — будьте бесстрашны, боритесь до конца, не отступайте перед трудностями, сомкните ряды. Тогда мы повсюду установим Народовластие. Кровососы всех мастей будут уничтожены. Требуйте соблюдения ваших неотъемлемых прав. Ежегодная премия. Пенсионный фонд. Страхование от несчастных случаев.

Поскольку эти речи отчасти были репетициями будущих выступлений, когда аудиторией депутата законодательного собрания товарища Пиллея станут миллионы, они странновато звучали в смысле ритма и напора. Его голос, раздаваясь в тесной и жаркой каморке, пропахшей типографской краской, вмещал в себя зеленые рисовые поля, синее небо и реющие в нем красные флаги.

Товарищ К. Н. М. Пиллей никогда не выступал против Чакко открыто. Упоминая о нем в своих речах, он неизменно лишал его всех и всяческих человеческих черт и представлял абстрактным элементом некой всеохватной схемы. Теоретической единицей. Пешкой в чудовищном буржуазном заговоре против Революции. Он обозначал Чакко словом «администрация» и никогда не произносил его имени. Как будто Чакко был не один человек, а много. Это разграничение человека и функции, во-первых, было верно тактически и, во-вторых, успокаивало совесть товарища Пиллея, когда он думал о своих личных деловых отношениях с Чакко. Контракт на печатание наклеек для «Райских солений» приносил ему доход, в котором он остро нуждался. Он говорил себе, что Чакко-клиент и Чакко-администрация — это разные люди. Не имеющие, конечно, никакого отношения к Чакко-товарищу.

Единственной помехой планам товарища К. Н. М. Пиллея был Велютта. Из всех работников «Райских солений» только он был полноправным членом партии, и лучше бы он им не был. Пиллей понимал, что другие — прикасаемые — работники не любят Велютту по своим причинам, идущим из глубокой древности. Товарищ Пиллей тщательно обходил эту складочку, дожидаясь возможности разутюжить ее.

Он постоянно разговаривал с персоналом фабрики. Он считал необходимым точно знать, что там происходит. Он высмеивал людей за то, что они согласны на такую зарплату в то время, как у власти находится *их собственное* Народное Правительство.

Когда бухгалтер Пунначен, который каждое утро читал Маммачи газеты, принес весть, что среди работников пошли разговоры о том, чтобы потребовать прибавки, Маммачи пришла в ярость.

— Скажи им, чтоб газеты читали. Голод надвигается. Работы нигде нет. Люди умирают голодной смертью. Пусть скажут спасибо, что хоть как-то устроены.

Когда на фабрике происходило что-то мало-мальски серьезное, сообщали об этом ей, Маммачи, а отнюдь не Чакко. Ведь Маммачи вполне укладывалась в традиционную схему. Она была Модаляли, Хозяйка. Она играла предписанную ей роль. Ее реакции, при всей их жесткости, были ясными и предсказуемыми. В отличие от нее, Чакко — хоть он и был Главой Семьи, хоть он и говорил: «*Мои* соленья, *мой* джем, *мое* карри» — смущал всех и размывал линию фронта своей постоянной сменой костюмов.

Маммачи пыталась предостеречь Чакко. Он выслушивал ее, но слова ее не доходили до него по-настоящему. Поэтому, оставаясь глухим к зачаточному ропоту недовольства на предприятии «Райские соленья», Чакко по-прежнему играл в «товарищей» и репетировал революцию.

В ту ночь, лежа на узкой гостиничной кровати, он сонно размышлял о том, как бы ему опередить товарища Пиллея и объединить свой персонал в некий частный профсоюз. Он бы проводил у них выборы. Заставлял их голосовать. Они бы сменяли друг друга на выборных должностях. Он ухмыльнулся, представив себе переговоры за круглым столом с товарищем Сумати или, еще лучше, с товарищем Люсикутти, у которой волосы гораздо пышнее.

Его мысли вернулись к Маргарет-кочамме и Софи-моль. Ему до того стянуло грудь жестокими ремнями любви, что трудно стало дышать. Он лежал без сна и считал часы до отъезда в аэропорт.

На другой кровати спали, обхватив друг друга руками, его племянник и племянница. Горячий близнец и холодный близнец. Он и Она. Мы и Нас. Не сказать, чтобы совершенно нечувствительные к предвестникам беды и всего, что ждало своего часа.

Им снилась их река.

И наклоненные к ней пальмы, глядящие очами кокосов на скользящие мимо лодки. Утром вверх по течению. Вечером вниз по течению. И глухой печальный стук бамбуковых шестов, ударяющихся о темные, просмоленные лодочные борта.

Она теплая, эта вода. Серо-зеленая. Как волнистый шелк.

В ней рыбы.

В ней деревья и небо.

А ночами в ней — расколотая желтая луна.

Устав от ожидания, запахи ужина выбрались из занавесок и выскользнули через окна «Морской королевы» наружу, чтобы плясать до утра над пахнущей ужином морской ширью.

Было без десяти два ночи.

5. Божья страна

Много лет спустя река встретила вернувшуюся Рахель загробной улыбкой оголенного черепа, дырами на месте зубов и вялым шевеленьем руки, приподнятой с больничной кровати.

Две вещи произошло.

Река обмелела. И Рахель стала взрослой.

Ради голосов влиятельного рисоводческого лобби ниже по течению была выстроена плотина, регулирующая приток соленой воды из лагун, соединенных с Аравийским морем. Это позволило снимать вместо одного по два урожая в год. За добавочный рис расплатились рекой.

Хотя стоял июнь и шли дожди, она теперь была лишь ненамного полноводней дренажной канавы. Тонкая, утомленно колышущаяся лента мутной воды меж глинистых берегов, кое-где украшенная косыми продолговатыми блестками мертвой рыбы. Реку заполонили водоросли — разросшиеся, извивающиеся под водой густыми пучками бурых щупалец. По ней ходили взад-вперед бронзовокрылые яканы. Безошибочно шагали с растения на растение длиннопалыми лапками.

Было время, она внушала страх. Меняла жизнь людей. Но теперь зубы у нее выпали, сила иссякла. Теперь это была медленно движущаяся слякотно-зеленая полоса, сносящая в море пахучий мусор. Яркие пластиковые пакеты гордо плыли по вязкой травянистой глади, как летучие цветы субтропиков.

Каменные ступени, что когда-то вели купальщиков к воде, а Рыболовный Люд к рыбалке, теперь полностью обнажились и вели из ниоткуда в никуда — нелепый висячий монумент, увековечивающий ничто. В щелях между камнями рос папоротник.

На той стороне реки крутые глинистые берега продолжались глинобитными стенами низеньких лачуг. Дети выставляли зады за обрыв и испражнялись с высоты в чавкающий топкий ил оголенного речного дна. Самые маленькие украшали береговые откосы жиденькими, горчичного цвета подтеками. Вечером вода, поднявшись, забирала дневные дары и уносила их в море, оставляя позади себя пышные разводы белой пены. Выше по течению чистые матери стирали одежду и мыли горшки в неосквернённых фабричных стоках. Люди купались. Их намыленные отсеченные торсы возвышались над зыбкой зеленой лентой, как темные каменные бюсты.

В жаркие дни запах фекалий поднимался от реки и накрывал Айеменем, точно широкополой шляпой.

Чуть дальше от берега на той стороне было Сердце Тьмы, которое переоборудовали под пятизвездочную гостиницу.

К Историческому Дому (где когда-то шептались предки с жесткими одеревенелыми ногтями на ногах и запахом географических карт изо рта) теперь нельзя было подойти со стороны реки. Он повернулся к Айеменему спиной. Отдыхающих доставляли в гостиницу по лагунам прямо из Кочина. Они приезжали на быстроходном катере, за которым шли под углом две пенистые волны и оставалась радужная пленка бензина.

Вид из окон гостиницы открывался сказочный, но около нее вода тоже была мутная и отравленная. Вдоль берега стояли плакаты со стилизованно-каллиграфическими надписями: «Купаться запрещено». Была построена высокая стена, чтобы не видно было трущоб и чтобы они не вползали в имение Кари Сайбу. С запахом, правда, бороться было труднее.

Но для купанья в гостинице имелся бассейн. А для подкрепления сил в ее меню — испеченный в тандуре свежий морской лещ и блинчики «сюзет».

Деревья по-прежнему были зелеными, небо — синим, и это что-нибудь да зна-

чило. И Гостиничные Люди вовсю рекламировали свой неблагоуханный рай — «Божью страну», как они именовали его в своих буклетах, — потому что они знали, эти мудрые Гостиничные Люди, что к запаху, как и к чужой бедности, привыкают. Это вопрос дисциплины. Который решается Аккуратностью и Кондиционированием Воздуха. Ничем больше.

Дом Кари Сайбу был отремонтирован и покрашен. Он стал центром затейливого комплекса, изрезанного искусственными каналами, через которые были перекинуты мостики. На воде покачивались лодочки. Вокруг старого бунгало колониальной эпохи с его широкой верандой и дорическими колоннами появились деревянные строения поменьше и постарше — родовые дома, купленные хозяевами гостиницы у старинных семейств и пересаженные сюда, в Сердце Тьмы. Этакие Исторические Игрушки для богатых туристов. Как снопы, приснившиеся библейскому Иосифу, как индийцы-просители на приеме у английского судьи, старые дома, обступившие Исторический Дом, взирали на него с подобострастием. Гостиница называлась «Наследие».

Гостиничные Люди любили рассказывать отдыхающим о том, что самое старое из этих деревянных строений с его обшитой панелями неприступной кладовкой, где мог поместиться годовой запас риса для небольшой армии, — это родовой дом самого товарища Э. М. Ш. Намбудирипада, «Мао Цзэдуна Кералы», как объясняли непосвященным. Мебель и старинные вещицы, проданные вместе с домом, были выставлены на всеобщее обозрение. Тростниковый зонтик, плетеная кушетка. Деревянный сундук для приданого. Объяснительные таблички гласили: «Традиционный керальский зонтик», «Традиционный сундук для приданого».

Итак, обе они — История и Словесность — оказались на службе у коммерции. Карл Маркс и Курц взялись за руки и встали у причала, чтобы приветствовать богатых гостей.

Дом товарища Намбудирипада стал гостиничной столовой, где не вполне еще загорелые туристы в купальных костюмах пили прямо из скорлупы нежное кокосовое молоко и где старые коммунисты, одетые в яркие народные костюмы, разносили подносы с напитками, придав туловищу легкий почтительный наклон.

По вечерам ради Местного Колорита перед отдыхающими выступали с усеченным представлением танцоры катхакали. «Их внимания надолго не хватает», — объясняли танцорам Гостиничные Люди. Поэтому древние повести сжимались и обрубались. Шестичасовая классика превращалась в двадцатиминутный скетч.

Представление давалось у плавательного бассейна. Пока барабанщики били в барабаны и танцоры исполняли свой танец, отдыхающие с детишками плескались в воде. Пока Кунти открывала Карне на речном берегу тайну его рождения, влюбленные натирали друг друга кремом для загара. Пока ведьма Путана поила младенца Кришну своим отравленным молоком, пока Бхима потрошил Духшасану и омывал волосы Драупади в его крови, папаши играли в сублимированно-эротические игры со своими подросшими дочками.

Заднюю веранду Исторического Дома (где орудовал отряд прикасаемых полицейских, где был прожжен надувной гусенок) забрали стенкой, и там была устроена просторная гостиничная кухня. Ничего более серьезного, чем шашлык и заварной карамельный крем, теперь там не затевалось. Весь Ужас остался в прошлом. Его перекрыли ароматы готовки. Его заглушили голоса поваров. И веселый стук-стук-стук ножей, мелко рубящих имбирь и чеснок. И звуки, сопровождающие потрошение небольших млекопитающих — свиней, коз. Или резку мяса. Или чистку рыбы.

Одна вещица лежала там, погребенная в земле. Под травой. Под июньскими ливнями — вот уже двадцать три года.

Сущая мелочь.

Без которой мир запросто обойдется.

Детские наручные пластмассовые часики с нарисованными стрелками.

Показывающими без десяти два.

За Рахелью увязалась ватага ребят.

— Эй, ты, хиппушка, — закричали они, припозднившись на двадцать пять лет. — Кактебязвать?

Кто-то из них кинул в нее камешек, и ее детство пустилось наутек, размахивая худыми ручонками.

На обратном пути Рахель, обогнув Айеменемский Дом, вышла на главную улицу. Здесь тоже людские жилища выросли, как грибы, и лишь из-за того, что они лепились под деревьями и к ним от улицы вели только узенькие непроезжие тропки, Айеменем еще сохранял остатки прежнего сельского облика. По числу жителей он уже стал небольшим городом. За нежной завесой зелени таилась упругая людская масса, готовая выплеснуться по первому же сигналу. Чтобы забить до смерти неосторожного шофера автобуса. Чтобы разбить ветровое стекло машины, осмелившейся ехать здесь в день забастовки, объявленной оппозицией. Чтобы украсть у Крошки-кочаммы ее импортный инсулин и ее булочки с кремом, проделавшие дальний путь из коттаямской кондитерской «Бестбейкери».

Товарищ К. Н. М. Пиллей, хозяин типографии «Удача», стоял у забора и разговаривал с соседом. Товарищ Пиллей скрестил руки на груди и крепко, с видом собственника обхватил пальцами свои подмышки, словно кто-то только что попросил их у него взаймы и получил отказ. Сосед за забором с напускным интересом перебирал фотографии, которые вынул из прозрачного пакетика. Большей частью они изображали сына товарища К. Н. М. Пиллея по имени Ленин, который жил в Дели и руководил малярными, сантехническими и электротехническими работами в посольствах Нидерландов и Германии. Чтобы у клиентов не возникало опасений по поводу его политических пристрастий, он слегка переименовал себя. Левин — вот как он теперь себя называл. П. Левин.

Рахель попыталась пройти незамеченной. Глупо с ее стороны было на это рассчитывать.

— *Айо*, Рахель-моль! — прокричал К. Н. М. Пиллей, мигом узнав ее. — *Оркуннилей?* Помните? Дядю-Товарища?

— *Уувер,* — сказала Рахель. — Да, конечно.

Еще бы она не помнила.

Его вопрос и ее ответ были всего-навсего данью вежливости. Оба они знали, что есть вещи, которые можно забыть. И что есть вещи, которых забыть нельзя; которые восседают на пыльных полках, как чучела птиц со злобными, глядящими вбок глазами.

— Да-а! — сказал по-английски товарищ Пиллей. — Вы, думается, в Амайрике сейчас?

— Нет, — сказала Рахель. — Я здесь.

— Это понятно. — В его голосе прозвучала легкая досада. — Но вообще-то в Амайрике, нет?

Товарищ Пиллей расплел руки. Его соски уставились на Рахель поверх сплошного забора, как печальные глаза сенбернара.

— Узнал? — спросил товарищ Пиллей соседа с фотографиями, указывая на Рахель движением подбородка.

Нет, он не узнал.

— Дочка дочки старой кочаммы из «Райских солений», — объяснил товарищ Пиллей.

Сосед выглядел озадаченно. Он, видно, был приезжий. И не любитель соленний. Тогда товарищ Пиллей зашел с другой стороны.

— Пуньян Кунджу? — спросил он. В небесах мгновенным видением возник Антиохийский патриарх и исчез, шевельнув иссохшей рукой.

Человеку с фотографиями что-то наконец стало ясно. Он энергично закивал.

— Теперь дальше: Пуньяна Кунджу сын? Бенаан Джон Айп? Который в Дели жил? — продолжал товарищ Пиллей.

— *Уувер, уувер, уувер*, — сказал сосед.

— Дочка дочки его — вот. В Амайрике сейчас.

Сосед кивал и кивал, разобравшись в родословной Рахели.

— *Уувер, уувер, уувер*. В Амайрике, да? Скажите пожалуйста. — Его голос выражал не сомнение, а чистое восхищение.

Ему смутно вспоминался какой-то скандал. Подробности он забыл, но вроде бы там был секс и была чья-то смерть. Об этом писали в газетах. После короткой паузы и еще одной серии мелких кивков сосед вернул товарищу Пиллею пакетик с фотографиями.

— Ну, бывай, товарищ, мне пора-пора.

Ему надо было успеть на автобус.

— Да-а! — Еще шире стала улыбка товарища Пиллея, когда он смог, не отвлекаясь, направить на Рахель прожектор своего внимания. Десны у него были необычайно розовые — награда за пожизненное бескомпромиссное вегетарианство. Он был из тех мужчин, которых трудно представить себе мальчиками. Тем более младенцами. Он выглядел так, словно *родился* человеком среднего возраста. С залысинами.

— А супруг? — поинтересовался он.

— Не приехал.

— Фото не привезли?

— Нет.

— А звать как?

— Ларри. Лоуренс.

— *Уувер.* Лоуренс. — Товарищ Пиллей кивнул, словно он очень одобрял это имя. Словно, будь у него возможность, он сам бы его взял.

— Потомство имеется?

— Нет, — сказала Рахель.

— Решили обождать? Или уже в проекте?

— Нет.

— Уж одного-то обязательно. Мальчика девочку. Все равно, — сказал товарищ Пиллей. — Двое — это сложней, конечно.

— Мы развелись и вместе не живем, — сказала Рахель, надеясь шокировать его, чтобы он замолчал.

— Не живете? — Его голос взмыл до такого писклявого регистра, что лопнул на вопросительном знаке. Прозвучало так, будто развод равнозначен смерти.

— Это чрезвычайно прискорбно, — сказал он, когда голос к нему вернулся. Почему-то его потянуло на не свойственный ему книжный язык. — Чрез-чрезвычайно.

Товарищу Пиллею пришла в голову мысль, что это поколение, наверно, расплачивается за буржуазное загнивание отцов и дедов.

Один спятил. Другая не живет. И, похоже, бесплодная.

Так, может быть, *вот она,* подлинная революция? Христианская буржуазия своим ходом начала саморазрушаться.

Товарищ Пиллей понизил голос, как будто не хотел, чтобы их подслушали, хотя поблизости никого не было.

— А мон? — спросил он заговорщическим шепотом. — Он-то как?

— Нормально, — сказала Рахель. — Очень хорошо.

Куда уж лучше. Плоский весь, медового цвета. Стирает свою одежду крошащимся мылом.

— *Айо паавам*, — прошептал товарищ Пиллей, и его соски потупили взор, выражая притворное сочувствие. — Вот бедняга.

Рахель не понимала, чего он добивается, расспрашивая ее с такой дотошностью и совершенно игнорируя ее ответы. Правды от нее он не ждет, это ясно, но почему он даже притвориться не считает нужным?

— А Ленин в Дели теперь, — сменил тему товарищ Пиллей, не в силах больше сдерживаться. — Работает с иностранными посольствами. Вот!

Он протянул Рахели целлофановый пакетик. Фотографии большей частью изображали Ленина и его семейство. Его жену, его ребенка, его новый мотороллер «бадж». На одном снимке Ленину пожимал руку очень розовощекий, очень хорошо одетый господин.

— Германский первый секретарь, — сказал товарищ Пиллей.

У Ленина и его жены на фотографиях был довольный вид. Вполне верилось, что у них в гостиной стоит новый холодильник и они уплатили первый взнос за муниципальную квартиру.

Рахель помнила эпизод, благодаря которому Ленин стал для них с Эстой Реальным Лицом и они перестали думать о нем просто как о складке на сари его матери. Им с Эстой было пять лет, Ленину, наверно, три или четыре. Они повстречались с ним в клинике доктора Вергиза Вергиза, ведущего коттаямского Педиатра и Ощупывателя Мам. Рахель была там с Амму и Эстой, который настоял, чтобы его взяли тоже. Ленин был со своей матерью Кальяни. Рахель и Ленин жаловались на одно и то же — на Посторонний Предмет в Носу. Теперь это казалось ей необычайным совпадением, но тогда почему-то нет. Странным образом политика сказалась даже на выборе предметов, которые дети решили запихнуть себе в носы. Она — внучка Королевского Энтомолога, он — сын партийного работника от сохи. Поэтому ей — стеклянная бусина, ему — зеленая горошина.

Приемная была полна народу.

Из-за врачебной занавески доносились тихие зловещие голоса, прерываемые воем несчастных детей. Доносилось звяканье стекла о металл, шепоток и булькание кипящей воды. Один мальчик теребил висящую на стене деревянную табличку «Доктор (не) принимает», поворачивая ее так и сяк. Младенец, у которого был жар, икал у материнской груди. Медленный потолочный вентилятор резал душный, насыщенный испугом воздух бесконечной спиралью, которая спускалась к полу, неторопливо завиваясь, словно кожура одной нескончаемой картофелины.

Журналов не читал никто.

В проеме двери, которая вела прямо на улицу, колыхалась куцая занавеска, за которой стоял неумолчный шарк-шарк бестелесных ног в туфлях и сандалиях. Шумный, беспечный мир Тех, У Кого В Носу Ничего Нет.

Амму и Кальяни обменялись детьми. Их заставили задрать носы, запрокинуть головы и повернуться к свету на случай, если чужая мать вдруг увидит то, что упустила своя. Из этого ничего не вышло, и Ленин, расцветкой одежды похожий на такси (желтая рубашка, черные эластичные шорты), вновь обрел материнский нейлоновый подол и свою пачку жвачек. Он сидел на цветочках ее сари и с этой неуязвимой позиции силы бесстрастно смотрел на происходящее. Он до отказа засунул

указательный палец в незанятую ноздрю и шумно дышал ртом. У него был аккуратный косой пробор. Волосы его лоснились от аюрведического масла. Жвачку ему разрешено было *держать* до встречи с врачом и жевать после. В мире все было нормально. Наверно, он был слишком мал, чтобы сообразить, что Атмосфера В Приемной плюс Крики Из-за Занавески призваны усиливать Здоровый Страх перед доктором В. В.

Крыса, у которой на плечах дыбилась шерсть, деловито курсировала между кабинетом врача и нижним отделением стоявшего в приемной шкафа.

Медсестра входила в кабинет и выходила оттуда, отодвигая потрепанную занавеску. Она орудовала странными предметами. Крохотной пробиркой. Стеклянным прямоугольничком с размазанной по нему кровью. Склянкой с яркой, подсвеченной сзади мочой. Подносом из нержавейки с прокипяченными иглами. Волосы у нее на ногах были прижаты к коже полупрозрачными белыми чулками и напоминали витую проволоку. Каблуки ее обшарпанных белых туфель были стоптаны с внутренней стороны, из-за чего ее ноги заваливались навстречу друг дружке. Блестящие черные шпильки, похожие на распрямленных змеек, прижимали к ее маслянистой голове крахмальный медсестринский колпак.

Можно было подумать, что ее очки снабжены фильтрами против крыс. Она не замечала крысу со вздыбленной на плечах шерстью, даже если та пробегала совсем близко от ее ног. Она выкликала имена низким голосом, похожим на мужской: «А. Нинан... С. Кусумалата... Б. В. Рошини... Н. Амбади». Ей нипочем был тревожный, завивающийся спиралью воздух.

Глаза Эсты были не глаза, а испуганные блюдца. Его гипнотизировала табличка «Доктор (не) принимает».

Рахель захлестнула волна паники.

— Амму, давай еще раз попробуем.

Одной рукой Амму поддерживала под затылок запрокинутую голову Рахели. Обернутым в платок большим пальцем другой руки она зажимала пустую ноздрю. Вся приемная смотрела на Рахель. Настал решающий миг в ее жизни. На лице у Эсты была великая готовность сморкаться вместе с ней. Он наморщил лоб и вобрал в себя как можно больше воздуху.

Рахель призвала на помощь все свои силы. *Миленький Господи, молю тебя, пусть она выйдет.* Из пальцев ног, из глубин сердца она погнала воздух в материнский платок.

И в сгустке слизи и облегчения она выскочила. Маленькая розовато-лиловая бусина в блестящей полужидкой оправе. Горделивая, как жемчужина в устричной мякоти. Собравшиеся вокруг дети восхищенно смотрели на нее. А вот мальчик, который играл с табличкой, исполнился презрения.

— Подумаешь, я бы это запросто! — заявил он.

— Только попробуй, я тебя *так* взгрею, — сказала его мать.

— Мисс Рахель! — выкрикнула медсестра и оглядела приемную.

— Она вышла! — сказала ей Амму. — Вышла у нее. — Она подняла повыше свой смятый платок.

Медсестра не поняла, что она говорит.

— Все в порядке. Мы уходим, — сказала Амму. — Вышла бусина у нее.

— Следующий, — сказала медсестра и прикрыла глаза под крысиными фильтрами. («Бывает», — подумала она.) — С. В. С. Куруп!

Презрительно глядевший мальчик поднял вой, когда мать повела его в кабинет врача.

Рахель и Эста покинули клинику триумфаторами. Маленький Ленин остался дожидаться, пока доктор Вергиз Вергиз прозондирует его ноздрю своими холодными

стальными инструментами и прозондирует его мать иными, более мягкими орудиями.

Тогда — не то, что теперь.

Теперь у него дом и мотороллер «баджадж». Жена и *потомство.*

Рахель вернула товарищу Пиллею пакетик с фотографиями и двинулась было дальше.

— Еще только одну минуточку, — сказал товарищ Пиллей. Он навязывался ей из-за забора, как эксгибиционист. Завлекающий людей своими сосками и заставляющий их рассматривать фотографии сына. Перелистав пачку карточек (своего рода краткую фотолениниану), он протянул ей последнюю. — *Оркуннундо?*

Старый черно-белый снимок. Чакко сделал его фотоаппаратом «роллифлекс», который Маргарет-кочамма привезла ему в подарок на то Рождество. На фотографии были все четверо. Ленин, Эста, Софи-моль и она сама стояли на передней веранде Айеменемского Дома. Позади них с потолка гроздьями свисали рождественские украшения Крошки-кочаммы. К лампочке была привязана картонная звезда. Ленин, Рахель и Эста напоминали испуганных зверьков, застигнутых на дороге светом автомобильных фар. Коленки сведены вместе, руки вытянуты по швам, на лицах застывшие улыбки, туловища повернуты к фотоаппарату. Как будто стоять вполоборота — уже грех.

Только Софи-моль с небрежной дерзостью представительницы Первого Мира выставила себя перед фотоаппаратом биологического отца во всем блеске. Веки она вывернула наизнанку, из-за чего ее глаза стали похожи на сосудисто-розовые лепестки плоти (серые на черно-белом снимке). Изо рта у нее торчали большие накладные зубы, вырезанные из желтой корки сладкого лимона. На кончик языка, просунутого сквозь зубной капкан, был надет серебряный наперсток Маммачи (она умыкнула его в первый же день и клятвенно пообещала, что все каникулы будет пить только из наперстка). В обеих руках она держала горящие свечи. Одна брючина ее хлопчатобумажных брючек клеш была закатана, и на голой костлявой коленке красовалась нарисованная рожица. За несколько минут до того, как был сделан снимок, она терпеливо втолковывала Эсте и Рахели (отметая все свидетельства о противоположном: фотографии, воспоминания), что, по всей вероятности, они ублюдки, и объясняла, что именно означает это слово. За этим следовало подробное, хоть и не вполне точное описание полового акта: «Вот как они делают. Ложатся...»

Это было за несколько дней до ее смерти.

Софи-моль.

Которая из наперстка пила.

Которая в гробу крутилась.

Она прилетела рейсом Бомбей — Кочин. В шляпке и брючках клеш, Любимая с самого Начала.

6. Кочинские кенгуру

В аэропорту Кочина на Рахели были новенькие, по-магазинному свежие панталончики в горошек. Репетиции были позади. Настал День Спектакля. Кульминация недели, прошедшей под девизом: *Что Подумает Софи-моль?*

Утром в гостинице «Морская королева» Амму, которой всю ночь снились дельфины и синяя глубина, помогла Рахели надеть пенистое Платье Для Аэропорта. Это был один из обескураживающих сбоев вкуса, какие иногда случались у Амму: жесткое облако желтых немнущихся кружев с крохотными серебряными блестка-

ми и бантами на плечах. Оборчатый низ был для пышности подшит клеенкой. Рахель не была уверена в том, что платье хорошо подходит к ее солнечным очкам.

Амму, нагнувшись, держала перед ней новенькие панталончики в тон платью. Рахель, положив руки на плечи Амму, влезла в них (левая ножка, правая ножка) и поцеловала Амму в обе ямочки (левая щечка, правая щечка). Резинка легонько щелкнула ее по животу.

— Спасибо тебе, Амму, — сказала Рахель.

— За что спасибо? — спросила Амму.

— За новое платье и панталончики, — сказала Рахель.

Амму улыбнулась.

— Носи на здоровье, доченька, — сказала она, но печальным голосом.

Носи на здоровье, доченька.

Ночная бабочка на сердце у Рахели подняла мохнатую лапку. Потом опустила. Маленькая лапка была холодная. *Чуть меньше мама любит меня теперь.*

В номере «Морской королевы» пахло яичницей и фильтрованным кофе.

Когда пошли к машине, Эсте доверили Орлиную фляжку-термос с водой из-под крана. Рахели доверили Орлиную фляжку-термос с кипяченой водой. На обеих фляжках были изображены Термосные Орлы, расправившие крылья и держащие в когтях земной шар. Близнецы верили, что днем Термосные Орлы смотрят на мир, а ночью совершают облет своих фляжек. Бесшумно, как совы, с лунным светом на крыльях.

На Эсте были черные брючки в обтяжку и красная рубашка с длинными рукавами и остроконечным воротничком. Его зачес выглядел новеньким и наивным. Словно сильно взбитый яичный белок.

Эста — надо признать, не без основания — сказал, что у Рахели в платье для аэропорта очень глупый вид. Рахель дала ему шлепка, и он ей за это тоже.

В аэропорту они друг с другом не разговаривали.

Чакко, обычно носивший мунду, теперь обрядился в смешной тесный костюм и лучезарную улыбку. Амму поправила ему галстук, который странно отвалился набок. Он словно бы отяжелел, этот галстук, от сытного завтрака.

— Что это вдруг стряслось с нашим Человеком Масс? — спросила Амму.

Но она спросила это с ямочками на щеках, потому что Чакко был такой переполненный. Такой счастливый-рассчастливый.

Чакко не стал давать ей шлепка.

И она ему, естественно, тоже.

У цветочницы в «Морской королеве» Чакко купил две красные розы и теперь держал их бережно.

По-толстячьи.

Благоговейно.

Сувенирный магазин в аэропорту, принадлежавший Туристической корпорации штата Керала, был забит рекламными махараджами авиакомпании «Эйр Индия» (мал ср бол), слонами из сандалового дерева (мал ср бол) и масками танцоров катхакали, сделанными из папье-маше (мал ср бол). В воздухе висели назойливые запахи сандалового дерева и хлопчатобумажных подмышек (мал ср бол).

В Зале Прибытия стояли четыре цементных кенгуру в натуральную величину с цементными сумками, на которых было написано: ДЛЯ МУСОРА. Вместо цементных детенышей в этих сумках были сигаретные окурки, горелые спички, крышечки от бутылок, арахисовая скорлупа, смятые бумажные стаканчики и тараканы.

Животы у всех кенгуру были, как свежими ранами, испещрены красными бетельными плевками.

У Кенгуру Аэропорта были улыбающиеся красные рты.

И уши с розовыми ободками.

Вид у каждой из них был такой, словно нажмешь, и она скажет «Ма-ма» пустым батареечным голосом.

Когда самолет Софи-моль появился в лазурном бомбейско-кочинском небе, толпа, озабоченная тем, чтобы не пропустить ничего из всего, стала напирать на железное ограждение.

Зал Прибытия превратился в пресс любви и нетерпения: ведь рейсом Бомбей-Кочин прибывали на родину все Заграничные Возвращенцы.

Их встречали целыми семьями. Съезжались со всего штата Керала. Долгими тряскими автобусами. Из Ранни, из Кумили, из Вижинджама, из Ужавура. Некоторые ночевали в аэропорту, у них была с собой еда. А на обратный путь — тапиоковые чипсы и вареный рис со сладкими плодами хлебного дерева.

Явились все: глухие бабушки, страдающие артритом сварливые дедушки, чахнущие жены, полные интриг дядюшки, детишки с поносом. Прежние невесты — желая напомнить о себе. Муж учительницы — все еще в ожидании саудовской визы. Сёстры мужа учительницы — все еще в ожидании приданого. Беременная жена электрика.

— Всё шваль, уборщики, — мрачно сказала Крошка-кочамма и отвернулась, чтобы не видеть, как одна мамаша, не желая уступать Хорошее Место у самого ограждения, всунула в пустую бутылку отросточек своего ошалевшего сынишки, который тем временем улыбался и махал ручкой теснящимся вокруг людям.

— Псссс, — шипела мамаша. Сначала упрашивающе, потом яростно. Но мальчик, видно, решил, что он Римский Папа. Он улыбался и махал ручкой, улыбался и махал ручкой. С отросточком в бутылочке.

— Помните, что вы сейчас Представители Индии, — сказала Крошка-кочамма Рахели и Эсте. — От вас зависит их Первое Впечатление о нашей стране.

Чрезвычайные и Полномочные Двуяйцевые Представители. Его Превосходительство Э(лвис) Пелвис и Ее Превосходительство М(ушка) Дрозофила.

Рахель в стоящем колом кружевном платье, со стянутым «токийской любовью» фонтанчиком на голове выглядела устрашающе-безвкусной Феей Аэропорта. Взрослые затолкали ее потными бедрами (это повторится еще раз на отпевании в желтой церкви) и жестким, сумрачным рвением. На сердце у нее была дедушкина ночная бабочка. Рахель отвернулась от орущей стальной птицы в лазурном небе, в брюхе у которой сидела ее двоюродная сестра, и вот какое увидела зрелище: цементный марш красноротых, рубиново-улыбчатых кенгуру через зал аэропорта.

С пятки на носок.
С пятки на носок.

Длинные лапы-плоскостопы.

Сумки-урны с мусором.

Самая маленькая вытянула шею, как люди в английских фильмах, ослабляющие галстук после рабочего дня. Средняя рылась у себя в сумке, выискивая длинный окурок, чтобы подымить. Нашла старый орех в тускло-прозрачном пакете. Разгрызла его передними зубами, как грызун. Самая большая раскачивала стоячий щит с надписью: «Туристская корпорация штата Керала поздравляет вас с прибытием» и с нарисованным танцором катхакали, делающим намасте — приветственный жест. Другой щит, который некому было раскачивать, гласил: «меувтстевирП сав в юарк йетсонярп».

Рахель-Представительница тут же стала протискиваться сквозь давку к брату и со-Представителю.

Эста, смотри! Эста, смотри, что там!

Эста-Представитель не стал оборачиваться. Не стал, потому что не хотел. Он стоял и смотрел на размашистое приземление. На ремешке через плечо Орлиная фляжка с водой из-под крана, в животе бездонно-тяжелодонное ощущение: Апельсиново-Лимонный Газировщик знает, где его найти. На фабрике в Айеменеме. На берегу реки Миначал.

Амму смотрела сумочкой.

Чакко — розами.

Крошка-кочамма — выпирающей на шее бородавкой.

Наконец начали выходить бомбейско-кочинские пассажиры. Из прохлады в жару. По дороге в Зал Прибытия мятые люди сами собой разглаживались.

Вот они — Заграничные Возвращенцы в костюмах, не требующих утюжки, и радужных солнечных очках. Несущие в своих аристократических чемоданах все, что поможет покончить со злой нуждой. Цементные крыши для домишек, крытых пальмовым листом, и газовые колонки для родительских ванных комнат. Канализационные трубы и отстойники. Юбки-макси и туфли на каблуке. Рукава с буфами и губную помаду. Электрические миксеры и вспышки для фотоаппаратов. Ключи, чтобы пересчитывать, и шкафчики, чтобы отпирать-запирать. Вот они — изголодавшиеся по маниоке и рыбной похлебке с рисом. Вот они — истосковавшиеся по родне, которая вся здесь, испытывающие к ней любовь, чуть подкрашенную стыдом из-за того, что она такая... ну... неотесанная, что ли. *Ну разве можно так одеваться? Наверняка у них есть дома что-нибудь поприличней. И почему у всех малаяли такие скверные зубы?*

А сам аэропорт! Больше смахивает на заштатную автобусную станцию. Эти птичьи какашки на стенах! Эти плевки на кенгуру!

Ох-ох-ох. И куда же она, Индия наша, катится?

И когда поездки в долгих тряских автобусах и ночевки в аэропорту сталкивались с любовью, чуть подкрашенной стыдом, возникали маленькие трещинки, которые будут расти и расти, пока наконец незаметно для себя Заграничные Возвращенцы с их перекроенными мечтами не окажутся за дверью Исторического Дома.

И вот, среди не требующих утюжки костюмов и новеньких чемоданов, Софимоль.

Которая будет из наперстка пить.

Которая будет в гробу крутиться.

Она шла от самолета с запахом Лондона в волосах. Желтые раструбы брючек клеш трепались вокруг ее лодыжек. Длинные волосы лились из-под соломенной шляпки. Одна рука в руке у матери. Другой она размахивала, как солдат в строю: лев-прав-лев-прав...

Бойкая
Девчонка я,
Стройная
И тонкая,
Голосочек,
Как у пташки,
А на голове
Кудряшки (лев-прав).
Бойкая...

Маргарет-кочамма велела ей Прекратить Это.

И она Прекратила Это.

— Видишь ее, Рахель? — спросила Амму.

Она обернулась и увидела, что ее обряженная в новенькие панталончики дочь поглощена беседой с цементными сумчатыми. Тогда она пошла и привела ее, ругая. Чакко сказал, что он не может посадить Рахель на плечи, потому что он уже кое-что держит в руке. Две розы красные.

По-толстячьи.

Благоговейно.

Когда Софи-моль вошла в Зал Прибытия, Рахель, не в силах справиться с волнением и неприязнью к двоюродной сестре, крепко ущипнула Эсту. Защемила его кожу между ногтями двух пальцев. В ответ Эста сделал ей Китайский Браслетик, взявшись обеими руками за ее запястье и крутанув в разные стороны. Запястье стало гореть, на нем выступила полоса. Лизнув руку, Рахель почувствовала соль. От слюны запястью стало прохладней и лучше.

Амму ничего не заметила.

Из-за железного ограждения, которое отделяло Встречающих от Встречаемых, Душинечающих от Душинечаемых, Чакко, весь переполненный, сияя сквозь тесный костюм и отвалившийся набок галстук, поклонился новообретенной дочери и бывшей жене.

— Поклон, — произнес Эста в уме.

— Приветствую вас, милые дамы, — сказал Чакко своим Читающим Вслух голосом (тем самым, каким он ночью проговорил: *Любовь. Безумие. Надежда. Бесконечная Радость.*) — Как перенесли путешествие?

В воздухе теснилось множество Мыслей и Невысказанных Слов. Но в такие минуты вслух произносятся только Мелочи. Крупное таится внутри молчком.

— Скажи: здравствуйте, рада познакомиться, — велела дочери Маргарет-кочамма.

— Здравствуйте, рада познакомиться, — сказала Софи-моль сквозь железное ограждение, обращаясь ко всем одновременно.

— Одна — тебе, одна — тебе, — сказал Чакко красными розами.

— А спасибо? — напомнила дочери Маргарет-кочамма.

— А спасибо? — сказала Софи-моль, глядя на Чакко и передразнивая материнский вопросительный знак.

Маргарет-кочамма легонько тряхнула ее, наказывая за невежливость.

— Не за что, — сказал Чакко. — Теперь давайте я всех со всеми познакомлю.

— И дальше, скорей ради посторонних глаз и ушей, потому что Маргарет-кочамму представлять, в общем-то, нужды не было: — Моя жена Маргарет.

Маргарет-кочамма улыбнулась и махнула на него розой. *Бывшая жена, Чакко!* Эти слова она произнесла одними губами, без голоса.

Все видели, что Чакко горд и счастлив из-за того, что у него была такая жена. Белая. В цветастом ситцевом платье, с гладкими ногами под ним. С коричневыми спинными веснушками. И с ручными веснушками.

Но воздух вокруг нее был какой-то печальный. Сквозь улыбку в ее глазах свежей, яркой синевой просвечивало Горе. Из-за ужасной автомобильной аварии. Из-за дыры в мироздании, имеющей форму Джо.

— Здравствуйте все, — сказала она. — Мне кажется, я уже много лет вас знаю.

А я вас нет.

— Моя дочь Софи, — сказал Чакко и засмеялся коротким нервным смешком, вдруг испугавшись, что Маргарет-кочамма скажет: «Бывшая дочь». Но она не сказала. Его смешок легко было понять. Не то что смех Апельсиново-Лимонного Газировщика.

— Драст, — сказала Софи-моль.

Она была выше Эсты. И вообще крупнее. Глаза у нее были голубо-серо-голубые. Ее бледная кожа цветом напоминала пляжный песок. Но волосы под шляпкой были красивые, насыщенного каштанового цвета. И бесспорно (да, бесспорно!) внутри ее носа ждал своего часа нос Паппачи. Скрытый нос Королевского Энтомолога. Нос исследователя бабочек. При ней была ее любимая стильная сумочка, сделанная в Англии.

— Амму, моя сестра, — сказал Чакко.

Амму сказала взрослое «здравствуйте» Маргарет-кочамме и детское «здравствуй-здравствуй» Софи-моль. Рахель смотрела во все глаза, пытаясь измерить величину любви Амму к Софи-моль, — но безуспешно.

Как внезапный ветер, через Зал Прибытия покатился смех. Этим же рейсом прилетел Адур Баси — любимейший, популярнейший комический актер малаяльского кино. Отягощенный большим количеством мелких неудобных пакетов и бестактным восхищением окружающих, он счел своим долгом немножко им подыграть. Роняя то один пакет, то другой, он приговаривал: *Энде Деивомай! Ии садханангал!* О Господи! Труды мои праведные!

Эста громко, восторженно засмеялся.

— Амму, гляди! Адур Баси все роняет! — сказал он. — Он вещи свои не может донести!

— Он делает это нарочно, — сказала Крошка-кочамма со странным новым британским акцентом. — Не смотри на него.

— Он играет в кино, — объяснила она Маргарет-кочамме и Софи-моль, и прозвучало это так, будто Кино — игрушка, в которую Адур Баси сейчас играет. — Просто пытается привлечь внимание, — сказала Крошка-кочамма и отвернулась, решительно отказывая ему во всяком внимании.

Но Крошка-кочамма ошиблась. Адур Баси не пытался привлечь внимание. Он всего-навсего пытался заслужить внимание, которое уже привлек.

— Крошка, моя тетушка, — сказал Чакко.

Софи-моль была озадачена. Она посмотрела на Крошку-кочамму удивленно округлившимися глазами. Если крошкой называют теленка или щенка — это еще понятно. Ну, медвежонка. (Вскоре она покажет Рахели крошечного летучего мышонка.) Но крошка-тетушка — это уж извините.

Крошка-кочамма сказала: «Здравствуйте, Маргарет» и «Здравствуй, Софи-моль». Софи-моль, сказала она, такая красивая, что напоминает ей эльфа. Ариэля.

— Знаешь, кто такой Ариэль? — спросила Крошка-кочамма у Софи-моль. — Ариэль в «Буре»?

Софи-моль сказала, что нет.

— «Буду я среди лугов»? — спросила Крошка-кочамма.

Софи-моль сказала, что нет.

— «Пить, как пчелы, сок цветов»?

Софи-моль сказала, что нет.

— В «Буре» Шекспира? — не унималась Крошка-кочамма.

Все это, конечно, главным образом для того, чтобы предъявить Маргарет-кочамме свою визитную карточку. Чтобы отделить себя от Уборщиков.

— Хвастается, — шепнул Представитель Э. Пелвис на ухо со-Представительнице М. Дрозофиле. Рахель-Представительница прыснула, запустив в жаркий воздух аэропорта зелено-голубой (цвета джекфрутовой мухи) пузырь смеха. «Пффт!» — такой был звук.

Крошка-кочамма все видела и отметила про себя, что зачинщиком был Эста.

— Переходим к Наиважнейшим Персонам, — объявил Чакко (по-прежнему Читающим Вслух голосом). — Мой племянник Эстаппен.

— Наш Элвис Пресли, — сказала в отместку Крошка-кочамма. — Мы тут, боюсь, немного отстали от времени. — Все посмотрели на Эсту и засмеялись.

Злость поползла вверх от подошв бежевых остроносых туфель Эсты-Представителя, обволокла его сердце и там остановилась.

— Здравствуй, Эстаппен, — сказала Маргарет-кочамма. — How do you do?

— Спасибохорошо, — сумрачно ответил Эста.

— Эста, — сказала Амму ласково, — когда с тобой здороваются и говорят: «How do you do?», ты должен в ответ повторить: «How do you do?» Не «Спасибо, хорошо». Ну-ка давай, скажи: «How do you do?»

Эста-Представитель смотрел на Амму.

— Мы тебя слушаем, — сказала Амму. — «How do you do?» В сонных глазах Эсты было упрямство. Амму сказала на малаялам:

— Ты слышал, что тебе сказано?

Эста-Представитель чувствовал взгляд голубо-серо-голубых глаз и видел нос Королевского Энтомолога. Он не мог найти в себе никакого «How do you do?».

— Эстаппен! — сказала Амму. Злость поползла по ней вверх, обволокла ее сердце и там остановилась. Злость, куда более Злая, чем ей следовало быть. Амму унижало это прилюдное неповиновение в зоне ее юрисдикции. Она-то рассчитывала, что все пройдет гладко. Что ее дети не ударят в грязь лицом в Индо-Британском Конкурсе Поведения.

Чакко сказал Амму на малаялам:

— Прошу тебя. Потом. Не сейчас.

Злыми, не отпускающими Эсту глазами Амму сказала:

— *Ладно. Потом.*

И это ее Потом стало ужасным, грозным, гусино-пупырышным словом.

Потт. Томм.

Как глухой глубокий колокол в замшелом колодце. Подрагивающие, мохнатые звуки. Похожие на лапки ночной бабочки.

Спектакль не удался. Как не удаются соленья в муссонную сырость.

— И моя племянница, — сказал Чакко. — Рахель, где ты там?

Он оглянулся и не увидел ее. Рахель-Представительница, не способная совладать с качелями перемен в своей жизни, завернулась, как сосиска, в грязную занавеску зала ожидания и не хотела разворачиваться. Маленькая сосиска в сандалиях «бата».

— Не смотрите на нее, — сказала Амму. — Она просто пытается привлечь внимание.

Амму тоже ошиблась. Рахели всего-навсего хотелось не привлекать внимания, которого она заслуживала.

— Здравствуй, Рахель, — сказала Маргарет-кочамма грязной занавеске.

— How do you do? — промямлила занавеска в ответ.

— Может быть, выйдешь, дашь взглянуть на себя? — сказала Маргарет-кочамма добреньким голоском учительницы (похожим на голос мисс Миттен до того, как она увидела в их глазах лик сатаны).

Рахель-Представительница все никак не выпутывалась из занавески, потому что не могла. А не могла потому, что не могла, и дело с концом. Потому, что Все Пошло Не Так. И скоро для них с Эстой настанет Потт Томм.

С его мохнатыми ночными бабочками и холодными мотыльками. С его глухими глубокими колоколами. С его мшистой тьмой.

Где живет Сипуха.

Грязная занавеска зала ожидания дарила великий покой и защиту.

— Не смотрите на нее, — сказала Амму и улыбнулась натянутой неулыбчатой улыбкой.

На уме у Рахели были сплошь жернова с голубо-серо-голубыми глазами.

Амму любит ее еще меньше теперь. А что касается Чакко, у него уже явно Дошло До Дела.

— А вот и багаж! — бодро сказал Чакко. Довольный возможностью уйти.

— Пошли, Софи родненькая, принесем ваши чемоданы.

Софи родненькая.

Эста смотрел, как они идут вдоль заграждения и как толпа перед ними раздается в стороны, устрашенная костюмом Чакко, его съехавшим набок галстуком и его переполненным видом. Из-за своего живота Чакко всегда ходил так, словно в гору поднимался. Оптимистически одолевал крутые, скользкие житейские склоны. Он шел по одну сторону заграждения, Маргарет-кочамма и Софи-моль — по другую.

Софи родненькая.

Сидящий Человек в фуражке и погонах, также устрашенный костюмом Чакко и его съехавшим набок галстуком, пустил его в багажную секцию.

Когда между ними уже не осталось заграждения, Чакко поцеловал Маргарет-кочамму, а потом поднял в воздух Софи-моль.

— Когда я это сделал в последний раз, я получил в награду мокрую рубашку, — со смехом сказал Чакко. Он тискал ее, и тискал, и тискал. Он целовал ее голубо-серо-голубые глаза, ее нос энтомолога, ее каштановые волосы под шляпкой.

Наконец Софи-моль сказала ему:

— Эммм... можно тебя попросить? Ты меня не опустишь? А то... эммм... я както не привыкла.

И Чакко опустил ее.

Эста-Представитель видел (упрямыми глазами), что костюм Чакко вдруг стал свободней, не такой переполненный.

А здесь, у окна с грязной занавеской, пока Чакко забирал багаж, Потт Томм превратилось в Сейчас.

Эста видел, как шейная бородавка Крошки-кочаммы облизнулась и бурно запульсировала, предвкушая поживу. *Раз — двaa, раз — двaa.* Она меняла окраску, как хамелеон: раз — зелень, раз — черная синь, раз — горчичная желть.

Будем из чашек
Кушать близняшек.

— Так, — сказала Амму. — Вы меня довели. Что один, что другая. А ну вылезай, Рахель!

Завернутая в занавеску, Рахель закрыла глаза, и ей примечталась зеленая река, глубоководные тихоплавающие рыбы и прозрачные крылышки стрекоз (которые могут смотреть назад) на ярком солнце. Ей примечталась самая счастливая в ее жизни удочка, которую сделал Велютта. Желтое бамбуковое удилище и поплавок, нырявший всякий раз, как глупая рыба проявляла любопытство. Рахели примечтался Велютта, и она захотела, чтобы он был сейчас здесь.

Потом Эста развернул ее. На нее глазели цементные кенгуру.

Амму посмотрела на них. В Воздухе было очень тихо, если не считать биения шейной бородавки Крошки-кочаммы.

— Ну, — сказала Амму.

Это был вопрос, и еще какой. Ну?

Ответа на него не было.

Эста-Представитель опустил глаза и увидел свои ступни (откуда по его телу ползла вверх злость), обутые в бежевые остроносые туфли. Рахель-Представительница опустила глаза и увидела пальцы своих ног в сандалиях «бата», пытающиеся

оторваться. Дергающиеся в желании пристроиться к другим каким-нибудь ступням. Она ничего не могла с ними поделать. Скоро она останется без пальцев ног и будет ходить перебинтованная, как прокаженный у железнодорожного переезда.

— Если вы когда-нибудь, — сказала Амму, — вы поняли меня? КОГДА-НИБУДЬ еще ослушаетесь меня Публично, я пошлю вас в такое место, где вы у меня как миленькие исправитесь. Это, надеюсь, ясно?

Когда Амму сердилась всерьез, она говорила: Как Миленькие. Близнецам представлялся глубокий колодец, где миловались миленькие мертвецы.

— Это. Надеюсь. Ясно? — повторила Амму.

На нее смотрели испуганные глаза и фонтанчик.

На нее смотрели сонные глаза и наивный зачес.

Две головы кивнули три раза.

Да. Это. Ясно.

Но Крошка-кочамма не хотела дать столь многообещающей ситуации выдохнуться. Она мотнула головой.

— Если бы! — сказала она.

Если бы!

Амму повернула к ней голову, и в этом повороте был вопрос.

— Без толку, — сказала Крошка-кочамма. — Они хитрые. Грубые. Лживые. Они становятся неуправляемы. Они тебя не слушаются.

Амму опять повернулась к Эсте и Рахели, и ее глаза были хмурыми алмазами.

— Все говорят: детям нужен Баба. А я отвечаю: нет. Моим детям — нет. Знаете почему?

Две головы кивнули.

— Почему? Я слушаю, — сказала Амму.

Не совсем, но почти одновременно Эстаппен и Рахель ответили:

— Потому что ты наша Амму и наш Баба, и ты любишь нас Вдвойне.

— Больше чем Вдвойне, — сказала Амму. — Поэтому запомните мои слова хорошенько. Человеческие чувства драгоценны. И когда вы Публично меня не слушаетесь, у людей создается неверное впечатление.

— Тоже мне Представители! — сказала Крошка-кочамма.

Представитель Э. Пелвис и Представитель М. Дрозофила повесили головы.

— И еще одно, Рахель, — сказала Амму. — Пора наконец усвоить разницу между ЧИСТЫМ и ГРЯЗНЫМ. Тем более в этой стране.

Рахель-Представительница опустила глаза.

— Платье у тебя — было — ЧИСТОЕ, — сказала Амму. — Эта занавеска — ГРЯЗНАЯ. Эти кенгуру — ГРЯЗНЫЕ. Руки твои — ГРЯЗНЫЕ.

Рахель испугало, как Амму повышала голос, говоря ЧИСТОЕ и ГРЯЗНОЕ. Словно она обращалась к глухому человеку.

— Теперь я хочу, чтобы вы пошли и поздоровались *как следует*, — сказала Амму. — Могу я на это рассчитывать?

Две головы кивнули два раза.

Эста-Представитель и Рахель-Представитель двинулись к Софи-моль.

— Ты думаешь, куда людей посылают Как Миленьких исправляться? — шепотом спросил Эста у Рахели.

— К Государству, — прошептала Рахель в ответ, потому что она знала.

— How do you do? — сказал Эста, обращаясь к Софи-моль, и достаточно громко, чтобы Амму слышала.

— Как индусики в аду, — прошептала ему Софи-моль. Она узнала эту шуточку в школе от одноклассника-пакистанца.

Эста посмотрел на Амму.

Глаза Амму сказали: *Не Обращай Внимания, Делай Сам, Как Надо.*

По дороге через стоянку машин у аэропорта Жара заползла к ним под одежду и увлажнила новенькие панталончики. Отстав от взрослых, дети виляли между машинами.

— Ваша шлепает вас? — спросила Софи-моль.

Рахель и Эста промолчали, не зная, к чему она гнет.

— Моя шлепает, — приглашающе сказала Софи-моль. — Моя даже Лупит.

— Наша нет, — лояльно сказал Эста.

— Везет, — сказала Софи-моль.

Везет богатенькому. Есть карманные-шарманные, и бабушка оставит фабрику в наследство. Ни забот, ни хлопот.

Они прошли мимо однодневной предупредительной голодной забастовки, организованной профсоюзом рабочих аэропорта. И мимо людей, глядящих на однодневную предупредительную голодную забастовку.

И мимо людей, глядящих на людей, глядящих на людей.

Маленькая жестяная табличка на толстом стволе баньяна гласила: «Доктор Р. А. Дост. Венерические болезни и сексуальные расстройства».

— Кого ты любишь Больше Всех На Свете? — спросила Рахель у Софи-моль.

— Джо, — ответила Софи-моль без колебаний. — Моего папу. Он умер два месяца назад. Мы сюда приехали Оправляться От Удара.

— Твой папа ведь Чакко, — сказал Эста.

— Нет, он только мой *родной* папа, — сказала Софи-моль. — А папа у меня — Джо. Он никогда не шлепает. Вообще никогда.

— Как он может шлепать, если он умер? — спросил рассудительный Эста.

— А ваш-то папа где? — поинтересовалась Софи-моль.

— Он... — Рахель беспомощно посмотрела на Эсту.

— ...не здесь, — сказал Эста.

— Хочешь знать мой список? — спросила Рахель.

— Давай, — сказала Софи-моль.

Этот «список» был попыткой упорядочить хаос. Рахель постоянно пересматривала его, разрываясь между любовью и долгом. Ее подлинных чувств, разумеется, он не отражал.

— Сначала Амму и Чакко, — сказала Рахель. — Потом Маммачи...

— Наша бабушка, — разъяснил Эста.

— Ее больше, чем брата? — спросила Софи-моль.

— Мы не в счет, — сказала Рахель. — К тому же он может еще заразиться. Так Амму говорит.

— Как это? Чем заразиться? — спросила Софи-моль.

— Поганым Мужским Шовинизмом, — ответила Рахель.

— Это вряд ли, — сказал Эста.

— Так, значит, после Маммачи идет Велютта, потом...

— Кто такой Велютта? — поинтересовалась Софи-моль.

— Человек, которого мы любим, — сказала Рахель. — А после Велютты — ты.

— Я? За что меня-то? — спросила Софи-моль.

— За то, что мы двоюродные. Поэтому мне полагается, — благонравно ответила Рахель.

— Ты не видела меня даже, — сказала Софи-моль. — И я-то тебя не люблю.

— Полюбишь, когда мы лучше познакомимся, — уверенно сказала Рахель.

— Сомневаюсь, — сказал Эста.

— А почему? — спросила Софи-моль.

— Так, — сказал Эста. — И к тому же она почти наверняка будет лилипуткой. Как будто любить лилипутку — дело совершенно немыслимое.

— А вот и не буду, — сказала Рахель.

— А вот и будешь, — сказал Эста.

— Не буду.

— Будешь.

— Не буду.

— Будешь. Мы с ней близнецы, — сказал Эста, чтобы Софи-моль было понятно, — и посмотри, насколько она ниже меня.

Рахель послушно сделала глубокий вдох, выпятила грудь и встала с Эстой спина к спине на стоянке машин у аэропорта, чтобы Софи-моль видела, насколько она ниже его.

— Может быть, ты будешь карлицей, — предположила Софи-моль. — Это выше, чем лилипутка, и ниже, чем... Человеческая Женщина.

Молчание было насыщено сомнениями по поводу этого компромисса.

Из дверей Зала Прибытия сумрачная красноротая фигура кенгуру помахала цементной лапой только Рахели. Цементные поцелуи, жужжа, понеслись по воздуху, как маленькие вертолетики.

— А вы умеете ходить, как манекенщицы? — поинтересовалась Софи-моль.

— Нет. Мы в Индии так не ходим, — сказал Эста-Представитель.

— А мы в Англии еще как ходим, — сказала Софи-моль. — Все модели так ходят. В телевизоре. Вот, смотрите — это проще простого.

И вся троица, возглавляемая Софи-моль, двинулась через стоянку машин у аэропорта, покачиваясь на манер лучших манекенщиц. Орлиные фляжки-термосы и английская стильная сумочка елозили по их бедрам. Влажные гномики шли, высоко задрав носы.

За ними следовали тени. Серебристые самолетики в голубом церковном небе, похожие на бабочек в луче света.

Лазурный «плимут», снабженный крылышками, приберег для Софи-моль улыбочку. Хромированно-бамперную акулью улыбочку.

Автомобильную улыбочку «Райских солений».

Увидев на крыше «плимута» нарисованные банки и список райских продуктов, Маргарет-кочамма воскликнула:

— Боже мой! Я словно в рекламу попала!

Она все время приговаривала: Боже мой!

Боже мой! Боже мой боже!

— А я и не знала, что вы делаете ананасовые кружочки! — сказала она. — Софи, ты ведь любишь ананасы, правда, скажи?

— Иногда люблю, — сказала Софи. — А иногда нет.

Маргарет-кочамма забралась в рекламу со всеми своими спинными и ручными веснушками, с цветастым платьем и гладкими ногами под ним.

Софи-моль села впереди между Чакко и Маргарет-кочаммой. Сзади из-за спинки сиденья виднелась только ее шляпка. А все потому, что она их дочь.

Рахель и Эста сели сзади.

Багаж был в багажнике.

«Багаж» — отличное слово. «Крепыш» — ужасное слово.

Около Эттуманура они проехали мимо мертвого храмового слона, убитого током от упавшего на дорогу высоковольтного провода. Ликвидацией туши распоряжался инженер от муниципалитета. Работать надо было аккуратно, потому что их действия должны были стать образцом для всех будущих Муниципальных Ликвидаций

Туш Толстокожих Животных. Дело требовало серьезного подхода. Стояла пожарная машина, стояло несколько смущенных пожарников. Муниципальный служащий стоял с какими-то бумагами и очень много кричал. Стояла тележка с мороженым, рядом кто-то продавал арахис в узеньких бумажных конусах, хитро свернутых так, что в них помещалось не больше восьми-девяти орехов.

— Глядите, мертвый слон, — сказала Софи-моль.

Чакко остановился, чтобы спросить, уж не их ли это знакомец Кочу Томбан (Маленький Бивень), слон из Айеменемского храма, которого раз в месяц приводили к Айеменемскому Дому за кокосовым орехом. Ответили, что нет.

С облегчением узнав, что это чужак, они поехали дальше.

— Слава бхогу, — сказал Эста с акцентом.

— *Слава богу*, Эста, — поправила его Крошка-кочамма.

По дороге Софи-моль научилась чувствовать первые признаки приближающейся вони сырого каучука и держать ноздри зажатыми еще долго после того, как везущий его грузовик проезжал мимо.

Крошка-кочамма предложила запеть путевую песню.

Эсте и Рахели пришлось выводить ее по-английски старательными голосами. Живо и беззаботно. Так, словно их не заставляли репетировать ее целую неделю. Представителя Э. Пелвиса и Представителя М. Дрозофилу.

Ра-адуйтесь всегда-а в Го-осподе,
И еще говорю: ра-адуйтесь.

Их Проу Ииз Ноу Шение было превосходно.

«Плимут» несся сквозь зеленый полуденный зной, рекламируя соленья щитами на крыше и лазурное небо крылышками.

Подъезжая к Айеменему, они налетели на бабочку салатового цвета (или, может быть, она на них налетела).

7. Тетради «Грамота»

В кабинете Паппачи наколотые дневные и ночные бабочки рассыпались, оголив пронзившие их некогда злые клинки, на маленькие кучки радужной пыли, запорошившей дно стеклянных демонстрационных ящиков. Пахло грибковой гнилью и затхлой заброшенностью. На торчавшем из стены деревянном штыре висел старый ядовито-зеленый хулахуп, похожий на огромный, списанный за ненадобностью нимб. По подоконнику колонной маршировали блестящие черные муравьи, выпятив зады, как семенящий кордебалет в мюзикле Басби Беркли[1]. Эффектно подсвеченные ярким солнцем. Полированные и красивые.

Рахель (встав на табуретку, поставленную на стол) рылась в книжном шкафу с грязными, помутневшими стеклянными дверцами. На пыльном полу ясно были видны следы ее босых ног. Они вели от двери к столу (который она пододвинула к шкафу), потом к табуретке (которую она принесла к столу и водрузила на него). Она что-то искала. Ее жизнь теперь обрела очертания. Под глазами у нее были полумесяцы, на горизонте — ватага троллей.

Кожаные переплеты стоявших на верхней полке томов «Сокровищницы насекомых Индии» отделились от самих книг и пошли волнами, сделавшись похожими на кровельный шифер. Чешуйницы прогрызали в толще страниц туннели, переходя

[1] Басби Беркли — режиссер голливудских мюзиклов в 30-е годы.

по своему произволу от вида к виду, превращая упорядоченную информацию в желтые кружева.

Рахель пошарила за шеренгой книг и достала спрятанные мелочи.

Две раковины: одну гладкую и одну зазубренную.

Пластмассовую коробочку из-под контактных линз. Оранжевую пипетку.

Серебряное распятие на нитке с бусинами. Четки Крошки-кочаммы.

Она подняла их на свет. Каждая жадная бусина ухватила свою дольку солнца.

На солнечный прямоугольник, протянувшийся по полу кабинета, упала тень. Рахель повернулась к двери вместе с ниткой светлячков.

— Представляешь. До сих пор тут. Я стащила. После того как тебя Отправили.

Слово выскользнуло очень легко. *Отправили.* Как будто в этом состояло предназначение близнецов. Чтобы их отправляли туда-сюда. Как бандероли.

Эста не поднял глаз. Его голова была полна поездов. Он заслонял свет, падавший в дверной проем. Дыра в мироздании, имеющая форму Эсты.

На что-то еще натолкнулись озадаченные пальцы Рахели за шеренгой книг. Еще одна сорока-воровка поступила так же, как она. Рахель вытащила находку и стерла с нее пыль рукавом блузки. Это был плоский полиэтиленовый пакет, заклеенный скотчем. Внутри виднелся листок белой бумаги с надписью: *Эстаппен и Рахель.* Почерком Амму.

В пакете лежали четыре потрепанные тетради. На обложках стояло: *ГРАМОТА. Тетрадь для письма.* Чуть ниже: *Имя..... Фамилия..... Школа..... Колледж..... Класс..... Предмет.....* На двух было написано ее имя, на двух других — имя Эсты.

В конце одной тетради на внутренней стороне обложки что-то было написано детским почерком. Вымученные очертания букв и неравные пробелы между словами были заряжены борьбой с неровистым и диким карандашом. Мысль как таковая была, напротив, ясна, как стекло: *Я злой на мисс Миттен и пантолоньчики у ней РВАННЫЕ.*

На передней стороне обложки Эста стер обслюнявленным пальцем свою фамилию, содрав заодно изрядный слой бумаги. Поверх получившейся грязи он написал карандашом: *Не-который.* Эстаппен Не-который. (До Поры До Времени у него не было фамилии, потому что Амму колебалась в выборе между фамилиями мужа и отца.) После слова *Класс* было написано: *6 лет.* После слова *Предмет* было написано: *Сочиненье.*

Рахель села на табуретку, которая стояла на столе, и положила ногу на ногу.

— Эстаппен Не-который, — сказала она. Потом открыла тетрадь и начала читать вслух.

Когда Улис пришол домой его сын пришол и сказал отец я думал ты никогда не придешь. там было много принцев и все хотели в жены Пени Лопу, но Пени Лопа сказала выйду за того кто стрелит через двенацать колец. и никто не смох. а улис пришол во дворец одетый совсем как нищий и сказал можно я попробую. все смеялись над ним и сказали если мы не смогли ты не сможешь. сын улиса сказал пусь попробует и он взял лук и стрелил через 12 колец.

Дальше шла работа над ошибками предыдущего урока.

Ferus	Ученый	Никакой	Вагоны	Мост	Носильщик	Пристегнутый
Ferus	*Ученый*	*Никокой*	*Вагоны*	*Мост*	*Носильщик*	*Пристегнытуй*
Ferus	*Ученый*	*никокой*				
Ferus	*Учоный*	*Никакой*				

Голос Рахели стал по краям подкручиваться смехом.

— «Безопасность Прежде Всего», — провозгласила она. Вдоль всей страницы Амму провела сверху вниз волнистую красную линию и написала: *Поля? И впредь, пожалуйста, слитным почерком!*

Когда мы в городе идем по улице, — писал осторожный Эста, — *мы должны всегда ити по тротуару. Кто идет по тротуару, там нет транспорта и не апасно, но на мостовой ездит много быстрых машин которые могут збить людей и ты станешь дурачком или калекой. Если ты сломал голову или позвоночник это очень плохо. полиция легурирует транспорт так, что не будет очень много инвалидов, лежачих в больнице. Когда мы выходим из автобуса нам надо сначала спросить кондуктора а то мы получим увечие и врачам будет работа. Шофером быть очень апасно. Его семья всегда очень волнуется потому что шоферу лехко погибнуть.*

— Жуткий ребенок, — сказала Рахель Эсте. Когда она переворачивала страницу, что-то залезло ей в горло, вытащило ее голос, встряхнуло и вернуло на место уже без смешливых краешков. Следующее сочиненье Эсты называлось «Маленькая Амму».

Слитным почерком. С сильно закрученными хвостиками у некоторых заглавных. Тень в дверном проеме стояла очень тихо.

В суботу мы поехали в Коттаям в книжный магазин купить подарок Амму потому что ее деньрождение 17 ноября. Мы купили ей дневник. Мы спрятали его в шкаф и потом стал вечер. Потом мы сказали хочешь посмотреть подарок она сказала да очень хочу. и мы написали на бумаге Маленькой Амму с Любовью от Эсты и Рахели и мы дали все это Амму и она сказала что это очень славный подарок какраз какой я хотела и потом мы говорили про все и про дневник потом мы ее поцеловали и пошли спать.

Мы говорили немножко потом заснули. Нам снился маленький сон.

Потом я проснулса и хотел очень пить и пошел к Амму и сказал хочу пить. Амму дала мне воду и я пошел спать но Амму сказала поспи у меня. И я лег у Амму сзади и мы говорили а потом я заснул. А потом я проснулса и мы еще говорили а потом был у нас ночной пир. Мы ели апельсин пили кофе и ели банан. Потом пришла Рахель и мы ели еще два банана а потом поцеловали Амму потому что уже настал деньрождение и мы спели ей песенку. Утром Амму подорила нам новую одежду Рахель была махарани а я был Маленький Неру.

Амму исправила грамматические ошибки и написала внизу: *Когда я говорю с кем-то, перебить меня ты можешь, только если это очень важно. В этом случае ты должен вначале извиниться, не то ты будешь очень строго наказан. Пожалуйста, доделай все исправления.*

Маленькая Амму.

Которая *своих* исправлений так и не доделала.

Которой пришлось собрать пожитки и уехать. Потому что у нее не было Места Под Солнцем. Потому что Чакко сказал, что она достаточно уже наразрушалась.

Которая потом иногда приезжала в Айеменем, мучимая астмой, издающая при вдохе и выдохе странный звук, похожий на человеческий крик издали.

Эста ее такой не видел.

Безумной. Больной. Несчастной.

Когда Амму приехала в Айеменем в последний раз, Рахель только что исклю-

чили из школы при Назаретском женском монастыре за то, что она украшала цветами коровьи лепешки и толкала старшеклассниц. Амму только что лишилась последней из своих должностей — портье в дешевой гостинице, — потому что болела и пропускала много рабочих дней. Начальство объяснило ей, что они не могут ее держать. Им нужен портье покрепче.

В последний свой приезд Амму провела утро в комнате у Рахели. На остатки жалкого жалованья она купила дочери маленькие подарочки, которые дала ей завернутыми в грубую бумагу с наклеенными сверху цветными сердечками. Пакетик конфеток для бросающих курить, жестяной пенал «фантом» и книжку «Пол Баньян» из детской серии «Иллюстрированная классика». Все это подошло бы семилетней, а Рахели было уже почти одиннадцать. Словно Амму верила, что если она не будет мириться с ходом времени, если она всей душой будет желать, чтобы для ее близнецов оно стояло на месте, то оно не посмеет ослушаться. Словно простой силы воли было достаточно, чтобы задержать взросление ее детей до той поры, когда она сможет с ними воссоединиться. Тогда они начнут с того места, где все оборвалось. Опять с семи лет. Амму сказала Рахели, что купила Эсте такую же книжечку, но подержит ее у себя до тех пор, пока не получит новую работу и не будет получать столько, что сможет снять комнату, где они будут жить все втроем. Тогда она поедет в Калькутту и привезет оттуда Эсту, после чего он получит свою книжечку. Это время уже не за горами, сказала Амму. В сущности, это может произойти со дня на день. С жильем проблем скоро не будет. Она сказала, что подала заявление, чтобы ее взяли на работу в ООН, и они будут жить в Гааге, где за ними будет присматривать голландская няня. С другой стороны, сказала Амму, может быть, лучше будет остаться в Индии и сделать то, о чем она давно мечтала, — открыть школу. Нелегко, конечно, выбирать между педагогической деятельностью и работой в ООН, но не надо забывать, что сама возможность выбора — это уже огромное преимущество.

Но До Поры До Времени, сказала она, пока решение еще не принято, она подержит подарки для Эсты у себя.

Все утро Амму говорила не закрывая рта. Она задавала Рахели вопросы, но не позволяла ей отвечать. Когда Рахель пыталась что-то сказать, Амму перебивала ее новым соображением или вопросом. Ее, казалось, ужасала возможность услышать от дочери что-нибудь взрослое, из-за чего Замерзшее Время растаяло бы. Страх сделал ее разговорчивой. Своей болтовней она держала его на расстоянии.

Она была опухшая от кортизона, с лунообразным лицом, совсем не та стройная мама, какую Рахель помнила. На раздавшихся щеках кожа была туго натянута и похожа на глянцевитую рубцовую ткань, какая получается на месте прививки. Когда она улыбалась, ямочки у нее на щеках выглядели так, словно им больно. Ее курчавые волосы утратили блеск и свисали по обе стороны опухшего лица, как вялая занавеска. В потертой сумочке она носила стеклянный ингалятор, где хранилось ее дыхание. Бурые пары́. За каждый глоток воздуха ей надо было сражаться со стальной пятерней, сдавливавшей ее легкие. Рахель смотрела, как дышит мать. При каждом вдохе впадины над ее ключицами становились обрывистыми и наполнялись тенью.

Амму сплюнула в платок сгусток мокроты и показала Рахели.

— Всегда надо проверять, — хрипло прошептала она, как будто мокрота — контрольная по арифметике, которую надо проглядеть еще раз прежде, чем сдавать. — Если белая, значит, еще не созрела. Если желтая и с тухлым запахом, значит, созрела и пора было отхаркивать. Мокрота — она как плод. Бывает спелая, бывает нет. Надо уметь различать.

За обедом она рыгала, как шоферюга, и извинялась низким неестественным голосом. Рахель заметила, что из бровей у нее торчат новые, толстые волоски —

длинные, словно щупальца. Амму улыбнулась, почувствовав тишину за столом, когда она стала есть жареную рыбу прямо с хребта. Она сказала, что чувствует себя дорожным знаком, на который гадят птицы. В глазах у нее был странный лихорадочный блеск.

Маммачи спросила, не пьяна ли она, и попросила ее впредь навещать Рахель пореже.

Амму встала из-за стола и вышла, не сказав ни слова. Даже не попрощавшись.

— Пойди проводи ее, — сказал Чакко Рахели.

Рахель прикинулась, что не слышала. Она продолжала есть рыбу. Она вспомнила про мокроту, и ее чуть не стошнило. В эту минуту она ненавидела мать. *Ненавидела.*

Больше они не встречались.

Амму умерла в грязном номере гостиницы «Бхарат» в Аллеппи, где пыталась устроиться на секретарскую работу. Она умерла в одиночестве. Все ее предсмертное общество составлял шумный потолочный вентилятор, и не было рядом Эсты, чтобы лечь сзади и говорить с ней. Ей был тридцать один год. Не старость, не молодость — жизнесмертный возраст.

Она проснулась ночью, спасаясь от хорошо знакомого, часто повторяющегося сна, в котором, щелкая ножницами, к ней шли полицейские, чтобы остричь ей волосы. В Коттаяме так поступали с проститутками, пойманными на базаре, — метили их, чтобы все знали, кто они такие. *Вешья.* Чтобы новые полицейские, совершая обход, сразу видели добычу. Амму всегда замечала их на базаре, женщин с пустыми глазами и насильно выбритыми головами, в краю, где непременным признаком добропорядочности считаются длинные умащенные волосы.

Проснувшись той ночью в гостинице, Амму села в чужой кровати в чужой комнате в чужом городе. Она не понимала, где находится, и не узнавала ничего вокруг. Знакомым был только страх. Человек в ее груди кричал криком. Стальная пятерня на этот раз так и не ослабила хватку. В обрывистые впадины над ее ключицами слетелись летучие мыши.

Утром ее увидел уборщик. Он выключил вентилятор.

Под одним глазом у нее был большой синий мешок, раздувшийся, как пузырь. Словно этот глаз пытался дышать, помогая легким. Около полуночи человек, живший в ее груди и кричавший оттуда, умолк. Бригада муравьев степенно вынесла в щель под дверью труп таракана, показывая, как надлежит поступать с трупами.

Церковь отказалась хоронить Амму. На то был ряд причин. Поэтому Чакко нанял микроавтобус, чтобы отвезти тело в электрокрематорий. Тело завернули в грязную простыню и положили на носилки. Рахели показалось, что Амму выглядит как римский сенатор. «Et tu, Амму!» — подумала она и улыбнулась, вспомнив Эсту.

Странно было ехать по людным солнечным улицам с мертвым римским сенатором на полу микроавтобуса. От этого синее небо сделалось еще синей. За окнами автобуса люди, словно картонные марионетки, шли по своим марионеточным делам. Настоящая жизнь была здесь, в автобусе. Потому что здесь была настоящая смерть. Из-за дорожных толчков и сотрясений тело Амму моталось и в конце концов съехало с носилок. Голова ударилась о железный болт в полу. Амму не вздрогнула и не проснулась. У Рахели шумело в голове, и до конца дня Чакко приходилось кричать, если он хотел, чтобы она его услышала.

Крематорий был такой же запущенный и обшарпанный, как железнодорожный вокзал, только тут было малолюдно. Ни поездов, ни толп. Тут сжигали нищих, одиночек и тех, кто умирал в полицейских камерах. Тех, у кого перед смертью не было рядом никого, чтобы лечь сзади и говорить. Когда подошла очередь Амму, Чакко

крепко сжал руку Рахели. Она не хотела, чтобы ее держали за руку. От жара крематория рука была потная и скользкая, и Рахель ее выдернула. Никого из родственников больше не было.

Стальная дверца печи поехала вверх, и приглушенный гул вечного огня превратился в красный раскаленный рев. Жар метнулся на них голодным зверем. Ее Амму скормили ему. Ее волосы, кожу, улыбку. Ее голос. То, как она брала в помощники Киплинга, чтобы любить своих близнецов на сон грядущий: «Мы одной крови — вы и я». Ее поцелуи перед сном. То, как она пальцами одной руки ухватывала лицо ребенка (сплюснутые щечки, рыбий ротик), а другой делала ему пробор и причесывала его. То, как она, нагнувшись, держала перед Рахелью панталончики. *Левая ножка, правая ножка.* Все это скормили зверю, и он остался доволен.

Она была их Амму и их Баба, и она любила их Вдвойне.

Дверца печи с лязгом захлопнулась. Плакать никто не плакал.

Служащий крематория отлучился выпить чаю, и его не было двадцать минут. Именно столько времени Чакко и Рахель ждали розовой квитанции, по которой им предстояло получить останки Амму. Ее прах. Крупу ее измельченных костей. Зубы ее потухшей улыбки. Всю ее целиком, всыпанную в маленький глиняный горшок. Квитанция № Q498673.

Рахель спросила Чакко, как служащие крематория определяют, где чей пепел. Чакко сказал, что, видимо, у них есть способ.

Если бы Эста был с ними, квитанцию дали бы ему на хранение. Он ведь был прирожденный Архивариус. Хранитель автобусных билетов, банковских квитанций, магазинных чеков, корешков чековых книжек. Малыш-Морячок. Дверь открыл бум-бум.

Но Эсты с ними не было. Все решили, что так лучше. Ему просто потом напишем. Маммачи сказала, чтобы Рахель тоже написала. Только вот что́ писать? *Дорогой Эста, как ты поживаешь? У меня все хорошо. Вчера умерла Амму.*

Рахель так и не написала ему. Есть вещи, которых не делают. Разве пишут письма частям своего тела? Своим ступням, волосам? Сердцу?

В кабинете Паппачи Рахель (не старая, не молодая), с пылью от пола на босых ногах, подняла глаза от тетради «Грамота» и увидела, что Эстаппен Не-который ушел.

Она встала с табуретки, слезла со стола и вышла на веранду.

Она увидела спину выходящего из ворот Эсты.

Было позднее утро, и вот-вот должен был хлынуть ливень. В последние предождевые минуты странного, контрастного, свирепого света зелень полыхала неистово.

Вдалеке прокукарекал петух, и его голос раздвоился. Как подошва, отрывающаяся от старой туфли.

Рахель стояла с потрепанными тетрадями «Грамота» в руке. На передней веранде старого дома, под бизоньей головой с глазами-пуговками, где много лет назад, в день приезда Софи-моль, был разыгран спектакль «Добро пожаловать домой».

Все может перемениться в один день.

8. Добро пожаловать домой

Дом этот, Айеменемский Дом, выглядел величественно, но отчужденно. Словно он не хотел иметь ничего общего с живущими в нем людьми. Он был похож на старика, что глядит слезящимися глазами на игру детей и видит лишь бренную быстротечность в их пронзительном возбуждении и безоглядной поглощенности жизнью.

Крутая черепичная крыша от старости и дождей потемнела и покрылась мхом. Во фронтоны были вделаны деревянные треугольники с затейливой резьбой, и свет, косо падавший сквозь них на пол, рисовал странные фигуры. Волчьи. Цветочные. Ящеричные. Дружно меняющиеся по мере движения солнца. Пунктуально гибнущие на закате.

Входная дверь имела не две, а четыре створки из обшитого панелями тикового дерева, так что в старину дама могла, оставив нижнюю половину закрытой, облокотиться на планочку посередине и вволю торговаться с продавцом мелкого товара, не показывая ему себя ниже талии. Теоретически можно было купить ковер или браслет, стоя с одетым верхом и голым низом. Теоретически.

От подъездной дорожки к передней веранде вели девять крутых ступеней. Высота придавала веранде достоинство сценической площадки, и все, что на ней происходило, приобретало дух и значительность театрального действа. Веранда смотрела на декоративный сад Крошки-кочаммы; гравийная подъездная дорожка, огибая его, полого шла вверх от подножья небольшого пригорка, на котором стоял дом.

Это была глубокая веранда, прохладная даже в полдень, когда солнце жарило вовсю.

Когда заливали красноцементный пол, в него ушли белки примерно от девятисот яиц. Он потребовал отменной шлифовки.

Под набитой опилками бизоньей головой с глазами-пуговками, висящей между портретами прародителей, в низком плетеном кресле за плетеным столом сидела Маммачи; перед ней на столе стояла зеленая стеклянная ваза с единственной пурпурной орхидеей на изящно изогнутом стебле.

День был тихий и жаркий. В Воздухе висело ожидание.

Под подбородком у Маммачи поблескивала скрипка. Оправа черных раскосых светонепроницаемых очков Маммачи была по моде пятидесятых украшена по углам стразами. Одета она была в накрахмаленное и надушенное сари. Кремовое с золотом. В ушах миниатюрными люстрами сверкали бриллиантовые серьги. Кольца с рубинами были слишком широки для истончившихся пальцев. Ее бледная нежная кожа была, как пенка на остывающем молоке, подернута рябью мелких морщин и усыпана крохотными красными родинками. Она была на редкость красива. Стара, необычайна, царственна.

Слепая вдовствующая Мать Семейства со скрипкой.

В более молодые годы Маммачи, проявляя предвидение и усердие, собирала все волосы, которые у нее падали, в маленькую вышитую сумочку, которая лежала у нее на туалетном столике. Когда их накопилось много, она наполнила ими сеточку и получившийся накладной пучок держала запертым вместе со своими драгоценностями. Несколько лет тому назад, когда ее волосы начали серебриться и истончаться, она, чтобы добавить им пышности, стала пришпиливать черный как смоль пучок к своей маленькой седой голове. По ее понятиям это было вполне допустимо, раз волосы ее собственные. По вечерам, сняв пучок, она разрешала внуку и внучке заплетать оставшиеся волосы в тугую, масленую, седую косичку, закрепляемую на конце резинкой. Один заплетал, другой считал ее неисчислимые родинки. На следующий вечер они менялись.

На коже головы у Маммачи, аккуратно прикрытые редкими волосами, имелись выпуклые полумесяцы. То были шрамы от старых побоев супружеских времен. Шрамы от латунной вазы.

Она играла медленную часть из первой сюиты «Музыки на воде» Генделя. Под защитой раскосых очков бесполезные ее глаза были закрыты, но она видела музыку, источаемую скрипкой и вьющуюся, как дым, в жарком воздухе.

Внутренность ее головы была комнатой в солнечный день с плотно задернутыми шторами на окнах.

Она играла, и ей вспоминалась ее первая промышленная партия солений. Какая это была красота! Закрытые банки она расставила на столике у изголовья своей кровати, чтобы, проснувшись утром, первым делом их потрогать. Спать она легла рано, но чуть за полночь проснулась. Ее тревожные пальцы потянулись к банкам и вернулись влажные от растительного масла. Банки стояли в масляной луже. Масло было повсюду. Под термосом. Под настольной Библией. Растеклось по всему туалетному столику. Соленые манго впитали в себя масло и расширились, из-за чего банки потекли.

Маммачи взялась за книгу «Домашнее консервирование», которую купил ей Чакко, но не нашла в ней ответа. Потом продиктовала письмо к родственнику Аннаммы Чанди, который был региональным управляющим фирмы «Падма пиклс» в Бомбее. Он посоветовал увеличить концентрацию консерванта и соли. Это улучшило дело, но не решило проблему полностью. Даже сейчас, спустя годы, банки с «райскими соленьями» немного подтекали. Почти незаметно, но все же подтекали, и после долгой транспортировки наклейки становились маслеными и прозрачными. Содержимое банок по-прежнему было чуть солоней, чем хотелось бы.

Маммачи задумалась, освоит ли она когда-нибудь в совершенстве искусство консервирования и понравится ли Софи-моль ее охлажденный виноградный сок. Темно-красная жидкость в стакане со льдом.

Потом пришла мысль о Маргарет-кочамме, и томные, текучие генделевские звуки вдруг сделались злыми и резкими.

Маммачи никогда не видела Маргарет-кочамму. Но презирать презирала. *Дочка лавочника* — вот по какому разряду проходила в представлении Маммачи бывшая жена ее сына. Так уж был устроен мир Маммачи. Если ее приглашали в Коттаям на свадьбу, она там только и делала, что шептала на ухо тому или той, с кем она приехала: «Дед невесты со стороны матери столярничал у моего отца. Кунджукутти Ипен? Сестра его прабабки была простой акушеркой в Тривандраме. Семья моего мужа владела всем этим холмом».

Без сомнения, Маммачи презирала бы Маргарет-кочамму, даже если бы та была наследницей английского трона. Не только ее плебейское происхождение отвращало от нее Маммачи. Она ненавидела Маргарет-кочамму за то, что Чакко на ней женился. За то, что она с ним разошлась. Но еще больше ненавидела бы, если бы она с ним осталась.

В тот день, когда Чакко не позволил Паппачи избить ее (и тому пришлось довольствоваться убиением кресла), Маммачи собрала свой супружеский багаж и полностью препоручила его заботам Чакко. С той поры он стал вместилищем всех ее женских чувств. Ее Мужчиной. Ее Единственной Любовью.

Она знала о его вольных отношениях с работницами фабрики, но с какого-то момента это перестало причинять ей боль. Когда однажды Крошка-кочамма заговорила на эту тему, Маммачи напряглась и поджала губы.

— Мужчина имеет свои Мужские Потребности, — сказала она строгим тоном.

Как ни странно, Крошка-кочамма приняла это объяснение, и загадочная, подспудно волнующая категория Мужских Потребностей получила в Айеменемском Доме негласное право на существование. Ни Маммачи, ни Крошка-кочамма не видели противоречия между марксистским сознанием Чакко и его феодальным либидо. Их тревожили только наксалиты: они, как было известно, заставляли мужчин из Хороших Семей жениться на служанках, которых они обрюхатили. Разумеется, им и в голову не могло прийти, с какой стороны прилетит снаряд, когда он *действительно* прилетит, чтобы навеки погубить Доброе Имя семьи.

По указанию Маммачи в комнату Чакко, расположенную в восточной части дома, был сделан отдельный вход, чтобы объекты его Потребностей не шастали где

не надо. Она тайком совала им деньги, чтобы они не роптали. Деньги они брали, потому что нуждались. У них были маленькие дети и престарелые родители. Или мужья, которые просаживали все деньги в тодди-барах. Эта система устраивала Маммачи, поскольку, согласно ее понятиям, плата *проясняет* ситуацию. Отделяет Секс от Любви. Потребности от Чувств.

Маргарет-кочамма, однако, была другого поля ягода. Не имея возможности узнать наверняка (хотя один раз она заставила-таки Кочу Марию исследовать простыни на предмет пятен), Маммачи могла только надеяться, что Маргарет-кочамма не намерена возобновлять интимных отношений с Чакко. Пока Маргарет-кочамма была в Айеменеме, Маммачи пыталась воздействовать на ее не поддающиеся иным воздействиям чувства, засовывая деньги в карманы платьев, которые Маргарет-кочамма бросала в ящик для грязной одежды. Маргарет-кочамма ни разу ничего не вернула — просто потому, что ни разу ничего не нашла. Дхоби Аниян аккуратно вытряхивал карманы и брал деньги себе как законный приварок. Маммачи, в общем-то, знала об этом, но предпочитала истолковывать молчание Маргарет-кочамы как тихое согласие на плату за услуги, которые, как чудилось Маммачи, она оказывала ее сыну.

Так что Маммачи имела удовольствие считать Маргарет-кочамму еще одной потаскушкой, дхоби Аниян был рад регулярному приварку, а Маргарет-кочамма, разумеется, пребывала обо всем этом в полнейшем неведении.

С навеса над колодцем, взмахнув ржаво-красными крыльями, подала голос лохматая кукушка.

Ворона украла кусочек мыла, и он стал пузыриться у нее в клюве.

Стоя на цыпочках в сумрачной дымной кухне, Кочу Мария покрывала глазурью высокий двухпалубный ДОБРОПОЖАЛОВАТЕЛЬНЫЙ торт. Хотя женщины, исповедовавшие сирийское православие, тогда в основном уже носили сари, на Кочу Марии была ее белая, без единого пятнышка блузка-чатта вполрукава с острым вырезом на шее и белое мунду, сзади похожее на складчатый тканевый веер. Большая часть этого веера была, правда, скрыта под нелепейшим оборчатым фартуком в бело-голубую клетку, который Кочу Мария по настоянию Маммачи должна была носить дома.

У нее были короткие и толстые предплечья, пальцы, похожие на сосиски, и широкий мясистый нос с ноздрями-раструбами. От носа к бокам подбородка спускались две глубокие складки, создавая подобие обезьяньей мордочки, резко отделенной от остальной части лица. Голова у нее была непропорционально большая. Вся она была похожа на зародыш из биолаборатории, убежавший из банки с формалином и с годами только потолстевший и заматеревший.

Влажные денежные купюры она засовывала себе за лифчик, которым туго стягивала и уплощала свою нехристианскую грудь. В ушах у нее были тяжелые золотые серьги кунукку. Мочки сильно вытянулись и петлями болтались по бокам шеи; серьги облепили их гроздьями, как веселые дети в хороводе. Правая мочка один раз у нее порвалась, и ее сшил доктор Вергиз Вергиз. Кочу Мария и помыслить не могла о том, чтобы перестать носить свои кунукку, потому что как тогда люди узнают, что, несмотря на низкую должность кухарки (семьдесят пять рупий в месяц), она настоящая сирийская христианка, последовательница апостола Фомы? Не из парейянов-пулайянов-параванов. Нет, она прикасаемая, христианка высшей касты, из тех людей, в кого христианство просочилось, как чай из чайного пакетика. Уж лучше сшить лишний раз порванные мочки.

В ту пору Кочу Мария еще не свела знакомство со спавшей внутри нее теленаркоманкой. С фанаткой Верзилы Хогана. Она еще в глаза не видела телевизора.

Она и не поверила бы, что такое существует. Если бы ее стали в этом убеждать, Кочу Мария решила бы, что над ней издеваются. К людским россказням о том, что творится на белом свете, Кочу Мария относилась с опаской. Рассказчикам, считала она, нужно только одно: выставить на посмешище ее необразованность и (в прошлом) легковерие. Последовательно идя против своей натуры, Кочу Мария теперь вообще мало чему верила. Несколько месяцев назад, в июле, когда Рахель сказала ей, что американский астронавт Нил Армстронг разгуливал по луне, она саркастически рассмеялась и заявила в ответ, что малаяльский акробат О. Мутачен ходил колесом по солнцу. С карандашами в носу. Так и быть, она готова была согласиться, что американцы *существуют*, хотя ни одного из них она живьем не видела. Она даже готова была согласиться, что кто-то может откликаться на нелепое имя Нил Армстронг. Но прогулки по луне? Нет уж, увольте. И ни капельки ее не убеждали смазанные серые фотографии в газете «Малаяла манорама», которую она не могла прочесть.

Она по-прежнему была уверена, что, сказав свое «Et tu? Кочу Мария?», Эста обругал ее по-английски. Она думала, что это значит что-нибудь вроде «Кочу Мария, черная уродина». Она затаила обиду и ждала удобного момента, чтобы на него пожаловаться.

Она кончила глазировать высокий торт. Потом запрокинула голову и выдавила остатки глазури себе на язык. Бесконечные кольца коричневой зубной пасты на розовый язык Кочу Марии. Когда Маммачи позвала ее с веранды («Кочу Мария! Я слышу машину!»), рот ее был полон глазури и она не могла ответить. Проглотив, она пробежала языком по зубам, после чего, подняв его к нёбу, несколько раз причмокнула, словно съела что-то кислое.

Отдаленные лазурные автомобильные звуки (мимо автобусной остановки, мимо школы, мимо желтой церкви и вверх по ухабистой красной дороге, проложенной среди каучуковых деревьев) отозвались в тусклых, закопченных помещениях «Райских солений» шепотом и шелестом.

Засолка, маринование, выжимание сока, резка, кипячение, помешивание, растирание, сушка, взвешивание, закрывание банок — все это разом прекратилось.

— *Чакко саар ванну*[1], — ветерком пронеслась новость. Ножи перестали стучать. Плоды остались лежать недорезанными на огромных стальных противнях. Брошенные горькие тыквы, одинокие половинки ананасов. Напальчники из цветной резины (яркие, веселые, как толстокожие презервативы) были сняты. Просоленные, промаринованные руки были вымыты и вытерты о ярко-синие передники. Выбившиеся пряди волос были водворены обратно под белые головные платки. Мунду, подоткнутые под передники, были расправлены. Хлопнули, сами собой закрываясь на пружинах, сетчатые фабричные двери.

И у подъездной дорожки, подле старого колодца, в тени тамаринда выстроилась поглазеть из зеленого зноя молчаливая армия синих передников.

Платки и передники смотрелись как скопление праздничных бело-синих флагов.

Ачу, Джоз, Яко, Аниян, Елейян, Куттан, Виджаян, Вава, Джой, Сумати, Аммаль, Аннамма, Канакамма, Латта, Сушила, Виджаямма, Джолликутти, Молликутти, Люсикутти, Бина-моль (девушки с автобусными именами). Первые еле слышные ропоты недовольства под толстым слоем лояльности.

Лазурный «плимут» повернул в ворота и захрустел по гравийной подъездной дорожке, давя мелкие ракушки и тревожа красновато-желтую гальку. Из него вывалились дети.

---

[1] Господин Чакко приехал (*малаялам*).

Пришедший в негодность фонтанчик.

Слипшийся зачес.

Мятые брючки клеш и любимая стильная сумочка. Полусонные из-за часовых поясов. Потом взрослые с распухшими щиколотками. Неповоротливые из-за долгого сидения.

— Вы здесь? — спросила Маммачи, повернув свои раскосые темные очки в сторону новых звуков — дверцехлопательных, ногоразминательных. Она опустила скрипку.

— Маммачи! — крикнула Рахель своей красивой слепой бабушке. — Эсту вырвало! Прямо во время «Звуков музыки»! И мы...

Амму мягко прикоснулась к дочери. Тронула ее плечо рукой. И это означало: «Тсс...» Рахель посмотрела вокруг и увидела, что находится посреди Спектакля. В котором ей была отведена всего лишь маленькая роль.

Она была частью ландшафта. Цветком, может быть. Или деревцем.

Персонажем из толпы. Городским Людом.

Никто с Рахелью не поздоровался. Даже Синяя Армия в зеленом зное.

— Где она? — спросила Маммачи у автомобильных звуков. — Где моя Софи-моль? Подойди сюда, дай поглядеть на тебя.

Пока она говорила, Мелодия Ожидания, висевшая над ней мерцающим балдахином храмового слона, стала тихо крошиться и осыпаться мягкой пылью.

В костюме под названием «Что это вдруг стряслось с нашим Человеком Масс?» и хорошо покушавшем галстуке Чакко триумфально взошел с Маргарет-кочаммой и Софи-моль по лестнице из девяти красных ступеней, словно это были его трофеи. которые он только что выиграл в теннис.

И вновь произносились только Мелочи. Крупное таилось внутри молчком.

— Здравствуйте, Маммачи, — сказала Маргарет-кочамма добреньким голоском учительницы (которая, впрочем, иногда шлепает). — Спасибо, что согласились нас принять. Нам очень нужно было сменить обстановку.

Маммачи уловила запах простеньких духов, подкисленный по краям самолетно-дорожным потом (у нее-то хранился в сейфе флакончик «диора» в зеленом футлярчике из мягкой кожи).

Маргарет-кочамма взяла Маммачи за руку. Пальцы у той были мягкие, кольца с рубинами — жесткие.

— Здравствуйте, Маргарет, — сказала Маммачи (и не грубо, и не вежливо), не снимая своих темных очков. — Добро пожаловать в Айеменем. Жаль, что я вас не вижу. Вы знаете, что я практически слепа.

Она говорила неторопливо, размеренно.

— Может быть, это и к лучшему даже, — сказала Маргарет-кочамма. — Я сейчас, наверно, ужасно выгляжу.

Она неуверенно засмеялась, не зная, хорошо ли ответила.

— Глупости, — сказал Чакко. Он повернулся к Маммачи с гордой улыбкой на лице, которой она не могла видеть. — Она такая же прелестная, как была всегда.

— Я глубоко опечалена вестью о... Джо, — сказала Маммачи. Голос у нее был опечаленный, но не слишком. Чуть-чуть.

В память о Джо воцарилось короткое молчание.

— Где же моя Софи-моль? — спросила Маммачи. — Подойди сюда, дай бабушке поглядеть на тебя.

Софи-моль подвели к Маммачи. Маммачи запрокинула свои темные очки вверх, на темя. Они уставились раскосыми кошачьими глазами на ветхую бизонью голову. Ветхий бизон сказал: «Нет. Вы обознались». На ветхобизоньем языке.

Даже после пересадки роговицы Маммачи различала только свет и тень. Если

кто-то стоял в дверях, ей видно было, что кто-то стоит в дверях. Но кто именно — неизвестно. Она могла прочитать чек, квитанцию или купюру, только поднеся бумагу вплотную к себе, к самым ресницам. Тогда она держала ее неподвижно и перемещала только глаз, поворачивая его от слова к слову.

Рахель — Городской Люд (в фейном платьице) смотрела, как Маммачи, взявши Софи-моль за голову, приближает ее к себе, чтобы рассмотреть. Чтобы прочитать ее, как чек. Чтобы проверить ее, как денежную купюру. Лучшим своим глазом Маммачи увидела каштановые волосы (н... нпочти русые), изгиб пухловеснушчатых щек (нннн... почти румяных), голубо-серо-голубые глаза.

— Нос Паппачи, — сказала Маммачи. — Скажи мне, ты хорошенькая? — спросила она Софи-моль.

— Да, — ответила Софи-моль.

— Высокая?

— Высокая для моего возраста, — сказала Софи-моль.

— Очень высокая, — сказала Крошка-кочамма. — Гораздо выше Эсты.

— Она старше, — сказала Амму.

— И все-таки... — сказала Крошка-кочамма.

Чуть поодаль меж каучуковых деревьев шел, срезая угол, Велютта. Голый выше пояса. На плече — моток изолированного электропровода. Синее с черным ситцевое мунду нетуго поддернуто выше колен. На спине — лист удачи с дерева родимых пятен (приносящий муссонные дожди, когда наступает их время). Его осенний лист в ночи.

Не успел он выйти из рощи и ступить на дорожку, как Рахель заметила его, выскользнула из Спектакля и побежала к нему.

Амму это видела.

Она подглядела, как вне сцены они исполняют свой прихотливый Приветственный Ритуал. Велютта сделал книксен, как он был научен, взявшись за мунду, словно за юбочку, на манер английской молочницы из «Баллады о королевском бутерброде»[1]. Рахель поклонилась (и сказала: «Поклон»). Потом они сцепились мизинцами и потрясли руками с серьезным видом банкиров, заключающих сделку.

Амму подглядела, как в темной зелени деревьев с пятнами солнца Велютта поднял ее дочь без малейшего усилия, словно она была надувным ребенком, сделанным из воздуха. Когда он подкинул ее и вновь поймал, Амму увидела на лице Рахели высшее наслаждение летучего детства.

Она подглядела, как мышцы на животе у Велютты напряглись под кожей и сделались рельефными, как дольки на плитке шоколада. Она подивилась телесной перемене в нем — тихому превращению плоскогрудого подросткового тела в тело мужчины. Крепкое, хорошо очерченное. Тело пловца. Тело столяра и плотника. Блестящее, как дорогое полированное дерево.

У него были выпуклые скулы и белозубая, внезапная улыбка.

Именно эта улыбка заставила Амму вспомнить его в мальчишеском возрасте. Как он помогал Велья Папану считать кокосовые орехи. Как подавал ей маленькие подарки собственного изготовления, держа их на раскрытой ладони, чтобы она могла брать их, не касаясь его кожи. Лодочки, шкатулки, ветряные мельнички. Как называл ее Аммукутти. Маленькая Амму. Хотя сам был гораздо меньше, чем она. Глядя на него теперь, она поймала себя на мысли, что мужчина, которым он стал, имеет очень мало общего с мальчиком, которым он был. Улыбка была чуть ли не единственным, что он взял с собой из детства в зрелость.

---

[1] Так называется детское стихотворение английского писателя А. А. Милна (1882 — 1956).

Вдруг Амму захотелось, чтобы человек, которого Рахель заметила в толпе демонстрантов, действительно оказался Велюттой. Чтобы это был его флаг и его гневный кулак. Чтобы в нем под безукоризненной маской приветливости жил и дышал гнев против самодовольного, упорядоченного мира, вызывавшего ее ярость.

Ей захотелось, чтобы это был он.

Она подивилась телесной непринужденности его общения с Рахелью. Подивилась тому, что ее дочь, оказывается, обладала скрытым миром, из которого *она* была исключена напрочь. Осязательным миром улыбок и смеха, в котором ей, матери, не было места. Амму смутно почувствовала, что ее мысли приобрели нежно-лиловатый оттенок зависти. Она не позволила себе задуматься о том, кому же она завидует. Мужчине или девочке. Или, может быть, самому этому миру сцепленных пальцев и внезапных улыбок.

Мужчина в тени каучуковых деревьев, на котором танцевали солнечные монетки, повернул голову, не опуская ее дочь на землю, и встретился взглядом с Амму. Столетия вместились в один неуловимый миг. История дала промашку, была поймана врасплох. Сброшена, как старая змеиная кожа. Отметины, рубцы, шрамы от былых войн и от времен, когда пятились назад, — все это упало с нею на землю. Осталась некая аура, свечение, вполне доступное восприятию, столь же зримое, как вода в реке или солнце в небе. Столь же ощутимое, как зной жаркого дня или подергивание рыбы на тугой леске. До того очевидное, что никто его не заметил.

В этот миг Велютта повернул голову и увидел то, чего не видел раньше. То, что не попадало в его поле зрения, ограниченное шорами истории.

Самое простое.

Например, то, что мать Рахели — женщина.

Что, когда она улыбается, на щеках у нее возникают упругие ямочки и разглаживаются лишь много позже того, как улыбка уходит из глаз. Что ее коричневые руки округлы, крепки и прекрасны. Что плечи ее светятся, а глаза смотрят в какую-то даль. Что, даря ей подарки, ему больше не нужно держать их на раскрытой ладони, чтобы она могла брать их, не касаясь его кожи. Лодочки и шкатулки. Ветряные мельнички. И еще он увидел, что не всегда он должен быть дарителем, а она получателем подарков. Что у нее тоже кое-что для него припасено.

Знание вошло в него мягко и коротко, как лезвие ножа. Горячее и холодное разом. Это длилось ровно один миг.

Амму увидела, что он увидел. И отвернулась. Он тоже. Демоны истории вновь пришли по их душу. Чтобы облечь их в старую, покрытую шрамами кожу и отвести туда, где им надлежит быть. Где властвуют Законы Любви, определяющие, кого следует любить. И как. И насколько сильно.

Амму двинулась к веранде, где шел Спектакль. Она дрожала внутри.

Велютта посмотрел на Представителя М. Дрозофилу в его руках. Он поставил Рахель на землю. Он тоже дрожал.

— Батюшки! — сказал он, глядя на ее нелепое пенистое платье. — Какой наряд! Замуж выходим?

Руки Рахели метнулись ему под мышки и принялись безжалостно его щекотать. *Иккили, иккили, иккили!* Защекочу!

— А я тебя вчера видела.

— Где? — Велютта сделал удивленный голос.

— Врун, — сказала Рахель. — Врун и притворщик. Видела, видела я тебя. Ты был коммунист, у тебя рубашка была и флаг. Ты посмотрел на меня и отвернулся.

— *Айо каштам*, — сказал Велютта. — Разве я мог бы так? Ну скажи мне, разве Велютта мог бы так? Это, наверно, был мой Потерявшийся Брат-Близнец.

— Что еще за Брат-Близнец?

— Урумбан-дурачок... Который в Кочине живет.

— Какой такой Урумбан? — Потом она увидела искорку. — Врун! Никакого у тебя нет близнеца! Не Урумбан это был! Это был *ты!*

Велютта засмеялся. У него был заразительный смех, которому он отдавался весь.

— Это не я был, — сказал он. — Я лежал больной в постели.

— А сам улыбаешься! — сказала Рахель. — Значит, это был ты. Улыбка означает: «Это был я».

— По-английски только, — возразил Велютта. — А на малаялам она означает: «Это был не я». Так меня в школе учили.

Секунду-другую Рахель это переваривала. Потом опять принялась за щекотку. *Иккили, иккили, иккили!*

Все еще смеясь, Велютта стал вглядываться в Спектакль, чтобы увидеть Софи.

— Где же наша Софи-моль? Хочется посмотреть. Вы ее привезли, не забыли?

— Не смотри туда, — настойчиво сказала Рахель.

Она влезла на цементный парапет, отделявший каучуковые деревья от подъездной дорожки, и закрыла глаза Велютты ладонями.

— Почему? — спросил Велютта.

— Потому, — сказала Рахель. — Не хочу, чтобы ты смотрел.

— А где Эста-мон? — спросил Велютта, которого оседлал Представитель (скрывающийся под личиной Мушки Дрозофилы, скрывающейся под личиной Феи Аэропорта), обхватив ногами его талию и залепив ему глаза потными ладошками. — Что-то я его не видел.

— А мы его в Кочине продали, — беззаботно сказала Рахель. — Обменяли на пакет риса. И фонарик.

Жесткие кружевные цветы немнущегося платья впечатались в спину Велютты. Кружевные цветы с листом удачи на черной спине.

Когда Рахель стала всматриваться в Спектакль, ища Эсту, она увидела, что его нет.

А там, в Спектакле, появилась Кочу Мария — низенькая позади высокого торта.

— Вот он торт, — сказала она Маммачи чуть громковато.

Кочу Мария всегда обращалась к Маммачи чуть громковато, потому что, по ее мнению, кто плохо видит, у того и с другими органами чувств не все ладно.

— *Кандо*, Кочу Мария? — спросила Маммачи. — Видишь ты нашу Софи-моль?

— *Канду*, кочамма, — сказала Кочу Мария громко-громко. — Вижу.

Она улыбнулась Софи широко-широко. Она была одного с ней роста. Ниже, чем должна быть сирийская христианка, несмотря на все усилия.

— Личико беленькое, в маму, — сказала Кочу Мария.

— У нее нос Паппачи, — настаивала Маммачи.

— Насчет этого не скажу, но красотулечка она хоть куда, — прокричала Кочу Мария. — *Сундарикутти*. Ангелочек.

У ангелочков беленькие личики цвета пляжного песка, и одеваются они в брючки клеш.

У чертенят коричневые рожицы грязного цвета, одеваются они Феями Аэропорта, а на лбу у них видны выпуклости, которые могут превратиться в рога. На макушке фонтанчики, стянутые «токийской любовью». Они имеют скверную привычку читать задом наперед.

А в глазах у них, если вглядеться, можно увидеть лик сатаны.

Кочу Мария взяла обе руки Софи в свои кверху ладонями, поднесла их к лицу и сделала глубокий вдох.

— Что это она? — спросила Софи, чьи нежные лондонские ладошки утонули в мозолистых айеменемских лапах. — Кто она такая и зачем она нюхает мои руки?

— Она кухарка, — объяснил Чакко. — Это она так тебя целует.

— Целует? — переспросила Софи недоверчиво, но с интересом.

— Изумительно! — сказала Маргарет-кочамма. — Она принюхивается к тебе. А между мужчинами и женщинами такое тоже бывает?

Она покраснела, потому что вовсе не хотела произнести двусмысленность. Смущенная дыра в мироздании, имеющая форму учительницы.

— Сплошь и рядом! — сказала Амму, и прозвучало это не иронической ремаркой вполголоса, как она хотела, а несколько громче. — Как, по-вашему, мы делаем детей?

Чакко не стал давать ей шлепка.

И она ему поэтому тоже.

Но Ожидающий Воздух сделался Злым.

— Тебе следует извиниться перед моей женой, Амму, — сказал Чакко с поскровительственным, собственническим видом (рассчитывая, что Маргарет-кочамма не возразит: «Бывшей женой, Чакко!» — и не станет махать на него розой).

— Нет-нет-нет! — сказала Маргарет-кочамма. — Это я виновата! Я не хотела, чтобы так прозвучало... я просто хотела сказать... что нам немножко в диковинку...

— Это был совершенно законный вопрос, — сказал Чакко. — И я считаю, что Амму должна попросить прощения.

— Предлагаешь изображать дерьмовое занюханное племя, которое только что сподобилось быть открытым? — спросила Амму.

— Боже мой! — воскликнула Маргарет-кочамма.

В злой тишине Спектакля (на глазах у Синей Армии в зеленом зное) Амму вернулась к «плимуту», вынула свой чемодан, громко хлопнула дверцей и прошла к себе в комнату, сияя плечами. Заставив всех удивляться, где это она набралась такого нахальства.

Сказать по правде, удивляться было чему.

Ведь Амму не так была воспитана, и книг таких не читала, и с людьми такими не водилась, чтобы набраться этого извне.

Из такого она была теста, вот и все.

Девочкой она очень быстро потеряла интерес к историям о Папе Медведе и Маме Медведице, которые ей давали читать. В ее версии Папа Медведь бил Маму Медведицу латунной вазой. Мама Медведица терпела побои с немой покорностью.

Подрастая, Амму смотрела, как ее отец плетет свою отвратительную сеть. С гостями он был само обаяние, сама светскость, а если они были европейцами, его манеры становились почти заискивающими — именно почти. Он жертвовал деньги сиротским приютам и лепрозориям. Он шлифовал свой показной облик утонченного, щедрого, добродетельного мужчины. Но наедине с женой и детьми он превращался в грубое чудовище, полное гнусных подозрений и зловредной хитрости. Он бил их и унижал, а потом им приходилось выслушивать хвалебно-завистливые речи знакомых и родственников о том, какой замечательный им достался муж и отец.

Холодными зимними вечерами в Дели Амму, бывало, пряталась в окружавшей дом живой изгороди (не дай Бог увидят люди из Хороших Семей), потому что Паппачи пришел с работы не в духе, поколотил их с Маммачи и выставил обеих из дома.

В один такой вечер девятилетняя Амму, сидя с матерью в кустах, видела в освещенных окнах опрятную фигуру отца, переходящего из комнаты в комнату. Не удовлетворенный избиением жены и дочери (Чакко учился в школе-интернате), он

срывал занавески, пинал ногами мебель, разнес вдребезги настольную лампу. Через час после того, как свет везде погас, маленькая Амму, несмотря на просьбы испуганной Маммачи, проникла в дом через вентиляционный люк, чтобы спасти свои новые резиновые сапожки, которых ей было жальче всего. Положив их в бумажный пакет, она прокралась с ними обратно в гостиную, и тут свет внезапно зажегся.

Паппачи все это время сидел в своем кресле-качалке красного дерева и бесшумно раскачивался в темноте. Поймав ее, он не стал ничего говорить. Он выпорол ее хлыстом с рукояткой из слоновой кости (тем самым, что покоился у него на коленях на фотографии в его кабинете). Амму не плакала. Кончив порку, он велел ей принести из швейного ящика Маммачи фестонные ножницы. На глазах у Амму Королевский Энтомолог изрезал материнскими фестонными ножницами ее новые резиновые сапожки. Черная резина ложилась на пол узкими полосками. Ножницы деловито щелкали по-ножничному. Амму не обращала внимания на искаженное испугом лицо матери, появившееся в окне. Чтобы располосовать до конца ее любимые сапожки, отцу понадобилось десять минут. После того как последний завиток резины оказался на полу, Паппачи смотрел на Амму холодными, пустыми глазами и раскачивался, раскачивался, раскачивался. Окруженный хаосом перекрученных резиновых змей.

Став еще старше, Амму научилась жить бок о бок с этой холодной, расчетливой жестокостью. В ней развилось надменное ощущение несправедливости и безоглядное упрямство, какими Маленькое Существо приучается отвечать на многолетние обиды со стороны Большого Существа. Она не считала нужным делать что-либо во избежание ссор и столкновений. Создавалось впечатление, что она их ищет — может быть, даже получает от них удовольствие.

— Ушла? — спросила Маммачи обступившую ее тишину.

— Ушла, — громко сказала Кочу Мария.

— А у вас в Индии можно говорить «дерьмовое»? — спросила Софи-моль.

— Кто так сказал? — спросил Чакко.

— Она сказала, — ответила Софи-моль. — Тетя Амму. Она сказала: «дерьмовое занюханное племя».

— Разрежь торт и раздай всем по куску, — сказала Маммачи.

— А у нас в Англии нельзя, — сказала Софи-моль, обращаясь к Чакко.

— Что нельзя? — спросил Чакко.

— Говорить слово на букву «д», — сказала Софи-моль.

Маммачи слепо вперилась в сияющий день.

— Все здесь? — спросила она.

— *Уувер*, кочамма, — отозвалась из зеленого зноя Синяя Армия. — Мы все здесь.

Вне Спектакля Рахель сказала Велютте:

— А мы-то не здесь, правда? Мы не Участвуем.

— Истинная Правда, — сказал Велютта. — Мы не Участвуем. Но вот что я хочу знать: где наш Эстапаппичачен Куттаппен Питер-мон?

И от этих слов родился восторженный, задыхающийся танец, танец Румпельштильцхена[1] среди каучуковых деревьев:

О Эстапаппичачен Куттаппен Питер-мон!
Куда исчез, куда делся он?

[1] Румпельштильцхен — гном из немецких народных сказок.

Потом Румпельштильцхен уступил место Багряному Цветку[1]:

Ищут его на земле и в воде,
Французики ищут его везде.
Где он скрылся, куда он залег,
Наш Эстаппен — Багряный Цветок?

Кочу Мария вырезала из торта пробный кусок и дала Маммачи.

— Всем по такому, — распорядилась Маммачи, легонько ощупав кусок пальцами в рубиновых кольцах, чтобы проверить, не слишком ли он велик.

Кочу Мария напилила торт дальше с великой возней и мазней, громко дыша ртом, словно резала жареного барашка. Куски она выкладывала на большой серебряный поднос. Маммачи заиграла на скрипке добропожаловательную мелодию. Приторную, шоколадную мелодию. Липко-сладкую, тягуче-коричневую. Шоколадные волны, лижущие шоколадный берег.

Посреди мелодии Чакко возвысил голос над шоколадными звуками.

— Мама! — сказал он (Читающим Вслух голосом). — Мама! Достаточно! Больше не надо!

Маммачи прекратила игру и повернула голову в сторону Чакко, держа в руке застывший смычок.

— Достаточно? Ты считаешь, достаточно, Чакко?

— Более чем достаточно, — сказал Чакко.

— Достаточно так достаточно, — пробормотала Маммачи сама себе. — Я, пожалуй, закончу. — Как будто это вдруг пришло в голову ей самой.

Она убрала инструмент в черный футляр, имеющий форму скрипки. Он закрылся, как чемодан. Замкнув в себе музыку.

Щелк. И щелк.

Маммачи опустила на место свои темные очки. Вновь плотно задернула шторы от светлого дня.

Амму вышла из дома и позвала Рахель.

— Рахель! У тебя мертвый час! Ешь быстрее свой торт и приходи!

Сердце Рахели упало. Она ненавидела Мертвый Час.

Амму вернулась в дом.

Велютта спустил Рахель на землю, и теперь она потерянно стояла у подъездной дорожки, на границе Спектакля, а на горизонте разрастался противный Мертвый Час.

— И перестань фамильярничать с этим человеком! — сказала Рахели Крошка-кочамма.

— Фамильярничать? — переспросила Маммачи. — Это о ком, Чакко? Кто фамильярничает?

— Рахель, — сказала Крошка-кочамма.

— Кому она фамильярничает?

— Не кому, а с кем, — поправил мать Чакко.

— Хорошо, *с кем* она фамильярничает? — спросила Маммачи.

— С твоим любимчиком Велюттой, с кем же еще, — сказала Крошка-кочамма, а потом, обращаясь к Чакко: — Спроси-ка его, где он вчера был. Хватит ходить вокруг да около.

— Не сейчас, — сказал Чакко.

— Что это значит — фамильярничает? — спросила Софи-моль свою мать, но та не ответила.

---

[1] «Багряный Цветок» («The Scarlet Pimpernel») — в одноименном романе английской писательницы баронессы Оркси (1865—1947) тайный союз неуловимых англичан, спасавших невинных людей от террора во время Великой французской революции.

— Велютта? Он здесь? Велютта, ты здесь? — обратилась Маммачи к Дневному Пространству.

— *Уувер*, кочамма. — Он выступил из тени деревьев и вошел внутрь Спектакля.

— Ты выяснил, в чем дело? — спросила Маммачи.

— Прокладка нижнего клапана, — ответил Велютта. — Я заменил. Теперь все в исправности.

— Тогда запускай, — сказала Маммачи. — Бак совсем опустел.

— Этот человек нас погубит, — сказала Крошка-кочамма. Не потому, что была ясновидящей и ее вдруг посетило пророческое видение. Нет, просто из неприязни к нему. Все пропустили ее предсказание мимо ушей.

— Попомните мои слова, — сказала она с горечью.

— Видала какая? — сказала Кочу Мария, подойдя к Рахели с тортом на подносе. Это она про Софи-моль. — Будет взрослая, она будет наша кочамма, она нам жалованье повысит и всем подарит нейлоновые сари для Онама[1].

Кочу Мария коллекционировала сари, хотя никогда их не надевала и, скорее всего, не собиралась.

— Ну и что? — сказала Рахель. — Меня уже тут не будет, я в Африку уеду.

— В Африку? — фыркнула Кочу Мария. — В Африке сплошь комары и черномазые уроды.

— Это ты уродина, — сказала Рахель и добавила (по-английски): — Глупая коротышка!

— Что ты сказала? — с угрозой спросила Кочу Мария. — А молчи, не говори. Я и так знаю. Я слышала. Все скажу Маммачи. Погоди у меня!

Рахель повернулась и пошла к старому колодцу, где, если поискать, всегда можно было найти муравьев для расправы. Красные муравьи, когда она их давила, портили воздух, как люди. Кочу Мария двинулась за ней с тортом на подносе.

Рахель сказала, что не хочет этого дурацкого торта.

— *Кушумби*, — сказала Кочу Мария. — Завистница. Такие прямо в ад попадают.

— Это кто завистница?

— А не знаю. Сама себе ответь, — сказала Кочу Мария: оборчатый фартук, ядовитое сердце.

Рахель надела свои солнечные очочки и посмотрела сквозь них на Спектакль. Все окрасилось в Злой цвет. Софи-моль, стоявшая между Маргарет-кочаммой и Чакко, выглядела так, словно напрашивалась на шлепок. Рахель обнаружила целую вереницу жирных муравьев. Они направлялись в церковь. Все до одного в красном. Их следовало убить прежде, чем они туда доберутся. Раздавить и размазать камнем. Вонючим муравьям в церковь хода нет.

Расставаясь с жизнью, муравьи слабо похрустывали. Словно эльф кушал поджаренный хлеб или сухое печенье.

Муравьиная Церковь будет стоять пустая, и Муравьиный Епископ напрасно будет ждать в смешном своем Муравьино-Епископском облачении, махая серебряным кадилом. Никто к нему не придет.

Прождав достаточно долго по Муравьиным часам, он смешно нахмурит свой Муравьино-Епископский лоб и печально покачает головой. Он поглядит на яркие Муравьиные витражи, а когда кончит на них глядеть, запрет церковь огромным ключом, и там станет темно. Потом пойдет домой к жене, и у них будет Муравьиный Мертвый Час.

---

[1] Онам — праздник сбора урожая.

Софи-моль в шляпке и брючках клеш, Любимая с самого Начала, пошла наружу из Спектакля посмотреть, что Рахель делает позади колодца. Но Спектакль пошел вместе с ней. Она двигалась — он двигался. Она стояла — он стоял. За ней следовали умиленные улыбки. Кочу Мария убрала поднос с наклонного пути своей обожающей улыбки, когда Софи присела на корточки, ступив в приколодезную слякоть (желтые раструбы ее брючек стали при этом мокрыми и грязными).

Софи-моль обследовала вонючее побоище с врачебной отрешенностью. По каменной кладке была размазана красная плоть, две-три ножки еще слабо шевелились.

Кочу Мария смотрела крошками торта.

Умиленные Улыбки смотрели Умиленно.

Двоюродные Сестрички Вместе Играются.

Милые такие.

Одна пляжно-песчаная.

Другая коричневая.

Одна Любимая.

Другая Любимая Чуть Меньше.

— Давай одного в живых оставим, чтобы ему было одиноко, — предложила Софи-моль.

Рахель проигнорировала ее предложение и убила всех. Потом — в своем пенистом Платье Для Аэропорта, панталончиках в тон (уже, правда, не абсолютно новеньких) и солнечных очочках не в тон — повернулась и убежала. Исчезла в зеленом зное.

Умиленные Улыбки не выпустили Софи-моль из своего прожекторного пятна, решив, видимо, что милые двоюродные сестрички играют в прятки, как часто делают милые двоюродные сестрички.

9. Госпожа Пиллей, госпожа Ипен, госпожа Раджагопалан

От древесной листвы вечер настоялся, как чай. Длинные гребенки пальмовых листьев темнели, понуро клонясь, на фоне муссонного неба. Оранжевое солнце скользило сквозь их неровные, бессильно цепляющие зубья.

Эскадрилья летучих мышей стремительно прочертила сумерки.

В заброшенном декоративном саду Рахель под взглядами ленивых гномиков и неприкаянного херувима присела на корточки у заросшего пруда и смотрела, как жабы прыгают с одного тинистого камня на другой. Прекрасно-Безобразные Жабы.

Склизкие. Бородавчатые. Горластые.

В них томятся несчастные нецелованные принцы. Пожива для змей, затаившихся в длинной июньской траве. Шуршание. Бросок. И некому больше прыгать с одного тинистого камня на другой. И некому больше ждать заветного поцелуя.

С того дня, как она приехала, это был первый вечер без дождя.

В Вашингтоне, думала Рахель, *я бы ехала сейчас на работу. Автобус. Уличные огни. Автомобильные выхлопы. Беглые пятна людского дыхания на пуленепробиваемом стекле моей кабинки. Звон монет, толкаемых ко мне на металлическом подносике. Денежный запах от моих пальцев. Пунктуальный пьяница с трезвыми глазами, появляющийся ровно в десять вечера: «Эй, ты! Чернявочка! Как насчет отсосать?»*

У нее было семьсот долларов денег. И золотой змеиноголовый браслет. Но Крошка-кочамма уже поинтересовалась, какие у нее планы. Сколько она еще пробудет, что собирается делать с Эстой.

Планов у нее не было никаких.

Ровно никаких.

И никакого Места Под Солнцем.

Она оглянулась на большую, темную, двускатную дыру в мироздании, имеющую форму дома, и вообразила, что живет в серебристой тарелке, которую установила на крыше Крошка-кочамма. На вид в тарелке должно было хватить места, чтобы устроить там жилье. Несомненно, она была больше, чем многие людские обиталища. Больше, к примеру, чем каморка Кочу Марии.

Если они с Эстой улягутся там спать, свернувшись вместе калачиками, как два зародыша в неглубокой стальной матке, что будут делать Верзила Хоган и Бам Бам Бигелоу? Куда они подадутся, если тарелка будет занята? Скользнут ли через трубу в дом, на экран телевизора и в жизнь Крошки-кочаммы? Вылезут ли из старой печи с возгласом «Йеэээ!», во всей красе своих мышц и полосатых костюмов? А Тощие Люди — беженцы и жертвы голода — протиснутся ли они сквозь щели под дверьми? Просочится ли Геноцид между черепицами крыши?

Небо кишело телевидением. Надень специальные очки — и увидишь, как все это, кружась, опускается с неба среди летучих мышей и перелетных птиц: блондинки, войны, голод, деликатесы, государственные перевороты, фиксированные лаком прически. Новые образцы нагрудных украшений. Как все это, скользя, снижается над Айеменемом парашютным десантом. Образуя в небе подвижные фигуры. Колеса. Ветряные мельницы. Раскрывающиеся и закрывающиеся цветы.

Йеэээ!

Рахель опять стала смотреть на жаб.

Толстые. Желтые. С одного тинистого камня на другой. Она мягко тронула одну рукой. Та подняла веки. Со смешным самоуверенным видом.

Мигательная перепонка, вдруг вспомнила Рахель. Они с Эстой целый день однажды это твердили. Она, Эста и Софи-моль.

Перепонка
ерепонка
репонка
епонка
понка
онка
нка
ка
а

В тот день они были, все трое, одеты в сари (старые, разорванные напополам), и Эста был главным костюмером-гримером. Он сделал для Софи-моль складочки веером. Расправил как положено паллу — конец сари, перекидывающийся через плечо, — сначала Рахели, потом себе. У каждого был прилеплен бинди — налобный кружок. Стараясь смыть взятую у Амму без спроса краску для век, они только размазали ее вокруг глаз и в целом выглядели как три енотика, пытающихся выдать себя за индусских дам. Это было примерно через неделю после приезда Софи-моль. И примерно за неделю до ее смерти. Пока что она последовательно вела свою линию под неусыпным наблюдением близнецов и опрокинула все их ожидания.

Она:

а) сообщила Чакко, что, хотя он ее Биологический Отец, она любит его меньше, чем Джо (что оставляло его свободным для роли подставного отца некой пары жаждущих его внимания двуяйцевых персон, хоть он к этой роли и не стремился);

б) отвергла предложение Маммачи о том, чтобы ей заменить Эсту и Рахель на обоих привилегированных постах и стать заплетательницей ночной косички Маммачи и счетчицей ее родинок;

в) самое важное: проницательно уловила преобладающее настроение и не просто отвергла, а отвергла решительно и крайне грубо все заигрывания Крошки-кочаммы и все ее мелкие соблазнения.

Мало того — ей, как выяснилось, не были чужды человеческие слабости. Вернувшись однажды домой после тайной вылазки на берег реки (куда они Софи-моль не взяли), они обнаружили ее горько плачущей на самом верху Травяного Завитка в саду Крошки-кочаммы — ей, как она сама призналась, «было одиноко». На следующий день Эста и Рахель взяли ее с собой к Велютте.

Они пошли к нему, одетые в сари, неуклюже ковыляя по красной глине и высокой траве (*Перепонка ерепонка понка онка нка ка а*) и, придя, представились госпожой Пиллей, госпожой Ипен и госпожой Раджагопалан. Велютта представился сам и представил своего парализованного брата Куттаппена (который, правда, крепко спал). Он приветствовал их со всем возможным почтением. Он называл каждую из них кочаммой и угощал свежим кокосовым молоком. Он поговорил с ними о погоде. О реке. О том, что, по его мнению, кокосовые пальмы год от года становятся все более низкорослыми. Как и айеменемские дамы. Он представил их своей сердитой курице. Он показал им свой столярный инструмент и вырезал им из дерева три маленькие ложки.

Только теперь — много лет спустя — Рахель задним умом взрослого человека распознала изящество этого жеста. Зрелый мужчина принимает у себя дома троих енотиков, обращается с ними как с настоящими дамами. Инстинктивно подыгрывает им в их детском заговоре, боясь разрушить его взрослой беспечностью. Или слащавостью.

Ведь ничего не стоит погубить игру. Порвать ниточку мысли. Разбить фрагмент сновидения, бережно носимый повсюду, как фарфоровая вещица.

Позволить этому быть, уберечь это, как Велютта, — дело куда более трудное.

За три дня до Ужаса он позволил им покрасить ему ногти красным лаком «кьютекс», который Амму купила и забраковала. В таком виде застала его История, когда явилась к ним на заднюю веранду. Столяр с лакированными ногтями. Отряд Прикасаемых Полицейских расхохотался от этого зрелища.

— Ну и ну, — сказал один. — Из этих, из бисексов, что ли?

Другой поднял башмак с забившейся в бороздку подошвы многоножкой. Темно-ржаво-коричневой. Многоногой.

С плеча херувима соскользнула последняя полоска света. Ночь проглотила сад. Целиком, не жуя. Как питон. В доме зажглось электричество.

Рахели виден был Эста, сидящий у себя в комнате на опрятной кровати. Он смотрел в темноту сквозь зарешеченное окно. Он не мог видеть Рахель, сидящую за окном во мраке, вглядывающуюся в свет.

Актер и актриса, безвыходно запертые в невнятной пьесе без всякого намека на сюжет и содержание. Кое-как бредущие сквозь назначенные роли, баюкающие чью-то чужую печаль. Горюющие чьим-то чужим горем.

И почему-то неспособные сменить пьесу. Или купить по сходной цене какое-нибудь обычное успокоение у профессионального заклинателя бесов, который усадил бы обоих перед собой и сказал на один из многих ладов: «На вас нет греха. Грех — на других. Вы были малые дети. Вы не могли ни на что повлиять. Вы жертвы, а не преступники».

Это помогло бы, если бы они были способны на эту переправу. Если бы они могли, пусть на время, облечься в трагические одежды жертвенности. Если бы они сумели подобрать себе маску и проникнуться гневом из-за случившегося. Потребовать возмещения. Тогда, наверно, в конце концов им удалось бы заклясть мучившие их воспоминания.

Но гнев был им недоступен, и никакую маску нельзя было надеть на То, что каждый из них держал в липкой Той Руке, как воображаемый апельсин. Который некуда было положить. Который никому нельзя было передать, потому что он и так был не их. Им оставалось только его держать. Бережно и вечно.

Эстаппен и Рахель знали, что преступников в тот день (не считая их самих) было несколько. Но жертва только одна. С ногтями кроваво-красного цвета и коричневым листом на спине, приносящим муссонные дожди, когда наступает их время.

Этот человек оставил по себе дыру в мироздании, сквозь которую расплавленным варом полился мрак. Сквозь которую за ним последовала их мать, даже не обернувшись помахать на прощание. Она оставила их кружиться сорванными с якоря кораблями во тьме, лишенной тверди.

Прошли часы, и взошедшая луна заставила угрюмого питона отрыгнуть проглоченное. Вновь возник сад. Вернулся целиком. И сидящая в нем Рахель.

Ветер подул с другой стороны и принес ей стук барабанов. Как дар. Как обещание сказки. *Когда-то в стародавние времена,* говорили они, *жили-были...*

Рахель подняла голову и вслушалась.

Тихими ночами звук ченды — большого барабана, — возвещавший представление катхакали, был слышен за километр от Айеменемского храма.

Рахель пошла. Ее потянуло воспоминание о крутой крыше и белых стенах. О медных светильниках и темной, просмоленной древесине. Она пошла в надежде повидать старого слона, которого не убило током на шоссе Коттаям — Кочин. Завернув на кухню, она взяла там кокосовый орех.

Выходя, она заметила, что одна из сетчатых дверей фабрики сорвалась с петель и стояла, прислоненная к дверному косяку. Она отодвинула ее и вошла внутрь. Воздух был тяжелый от влаги, сырой настолько, что в нем впору было плавать рыбам.

Пол под ногами был скользким от муссонной плесени. Маленький летучий мышонок в тревоге метался между стропилами крыши.

Смутно видневшиеся во тьме приземистые цементные чаны для солений придавали фабрике вид склепа для цилиндрических мертвецов.

Бренные останки Райских солений и сладостей.

Здесь много лет назад, в день приезда Софи-моль, Представитель Э. Пелвис мешал в котле алый джем и думал Две Думы. Здесь красный секрет, похожий на молодой плод манго, был законсервирован, закрыт крышкой и убран.

Что верно, то верно. Все может перемениться в один день.

10. Река в лодке

Пока на передней веранде шел Спектакль под названием «Добро пожаловать домой» и Кочу Мария раздавала куски торта Синей Армии в зеленом зное, Представитель Э. Пелвис / Б. Цветок (с зачесом, в бежевых остроносых туфлях) толкнул сетчатую дверь и вошел в сырое, остро пахнущее помещение «Райских солений». Он двинулся мимо больших цементных чанов, желая найти место, чтобы там Подумать Думу. Сипуха Уза, которая жила на почерневшей балке около слухового

окна (и время от времени вносила лепту в букет некоторых видов Райской продукции), смотрела, как он идет.

Мимо плавающих в рассоле желтых лаймов, которые время от времени надо прокалывать (а также мимо черных грибковых островов, похожих на оборчатые шампиньонные шляпки в прозрачном бульоне).

Мимо зеленых манго — вскрытых, начиненных куркумой с молотым перцем и связанных в гроздья бечевкой (их можно не трогать какое-то время).

Мимо стеклянных, закупоренных пробками емкостей с уксусом.

Мимо полок с пектином и консервантами.

Мимо противней с горькой тыквой, на которых лежали ножи и цветные напальчники.

Мимо джутовых мешков, до отказа набитых чесноком и мелкими луковицами.

Мимо холмиков свежего зеленого зернистого перца.

Мимо кучи банановой кожуры на полу (свиньям на обед).

Мимо шкафа с наклейками.

Мимо клея.

Мимо клеевой кисточки.

Мимо железного корыта с пустыми банками, плавающими в мыльных пузырях.

Мимо лимонного сока.

Мимо виноградного сока.

И обратно.

В помещении было темно, свет попадал туда только сквозь мятую сетку дверей и — узким пыльным лучом, которого Уза не любила, — сквозь слуховое окно. От запаха уксуса и асафетиды у Эсты засвербело в носу, но это было привычное ощущение, оно ему даже нравилось. Для Думы он выбрал себе место между стеной и закопченным железным котлом, где потихоньку остывал только что (незаконно) сваренный банановый джем.

Он был еще горячий, и на его клейкой алой поверхности медленно умирала пышная розовая пена. Маленькие банановые пузырьки тонули в джеме, и некому было прийти им на помощь.

В любую минуту мог войти Апельсиново-Лимонный Газировщик. Сядет на кочинско-коттаямский автобус — и вот вам, пожалуйста. Амму предложит ему чашку чаю. Или ананасовый сок. Со льдом. Желтый, в стакане.

Длинной железной мешалкой Эста принялся мешать густой свежеприготовленный джем.

Умирающая пена образовывала умирающие пенные фигуры.

Вот ворона с раздавленным крылом.

Вот скрюченная куриная лапа.

Вот Сипуха (не Уза) захлебывается в трясине джема.

Безысходное кружение.

И некому прийти на помощь.

Мешая густой джем, Эста думал Две Думы, и Думы эти были такие:

а) *С Кем Угодно может случиться Что Угодно;*

и поэтому нужно по-скаутски

б) *Быть Готовым.*

Подумав эти думы, Эста Один обрадовался своей смышлености.

Крутя горячий пурпурный джем, Эста сделался Волшебником Мешалки с испорченным зачесом и неровными зубками, а потом он сделался Ведьмами из «Макбета».

Пламя, прядай, клокочи! Прей, банан! Котел, урчи![1]

Амму разрешила Эсте переписать рецепт банановго джема Маммачи в новую тетрадь для рецептов, черную с белым корешком.

Остро сознавая ответственность задачи, Эста употребил оба своих лучших почерка.

Джем банановый (его *старым* лучшим почерком)

Размять спелые банананы. Залить водой до ровной поверхности и кипятить на очень сильном огне, пока плоды не станут мягкими.

Отжать сок через крупноячеистую марлю.

Взвесить равное количество сахара и держать на готове.

Кипятить сок, пока он не станет ярко-красным и примерно половина не выпарится.

Подготовить желатин (пектин).

Пропорция 1:5.

Например: 4 чайные ложки пектина на 20 чайных ложек сахара.

Эста всегда представлял себе Пектин младшим из троих братьев с молотками. Пектин, Гектин и Авденаго. Он воображал, как они под дождем, в густеющих сумерках строят деревянный корабль. Словно сыновья Ноя. Он ясно видел их внутренним взором. Они спешили изо всех сил. Стук молотков отдавался глухим эхом под нависающим предгрозовым небом. А чуть поодаль, в джунглях, подсвеченные зловещим предгрозовым светом, выстроились парами животные:

Он-она.

Он-она.

Он-она.

Он-она.

А близнецам вход воспрещен.

Остаток рецепта был написан новым лучшим почерком Эсты. Угловатым, остреньким. С наклоном назад, словно буквам не хотелось соединяться в слова, а словам не хотелось составлять фразы:

Добавить пектин к концентрированному соку.

Кипятить в течении нескольких (5) минут на сильном ровномерном огне.

Всыпать сахар. Кипятить до начала загустевания.

Медленно охлодить.

Надеюс вам понравится этот рецепт.

Помимо ошибок в правописании, последняя строчка — *Надеюс вам понравится этот рецепт* — была единственным личным вкладом Эсты в первоначальный текст.

Постепенно, пока Эста мешал, банановый джем густел и остывал — и вдруг от его бежевых остроносых туфель сама собой поднялась Дума Номер Три.

Дума Номер Три была такая:

в) *Лодка.*

---

[1] Видоизмененная цитата из шекспировского «Макбета» (акт IV, сцена 1). Перевод Ю. Корнеева.

Лодка, чтобы переправиться через реку. На Аккара — на Тот Берег. Лодка, чтобы перевезти Провизию. Спички. Одежду. Кастрюли и сковородки. Все нужное, чего не переправишь просто так, вплавь.

Пушок на руках у Эсты встал дыбом. Помешивание джема превратилось в лодочную греблю. Круг за кругом превратился во вперед-назад. Через клейкую алую реку. Фабрика наполнилась песней онамских лодочных гонок[1]: *Тай-тай-така-тай-тай-томе!*

Энда да корангача, чанди итра тенджаду?
(Эй, Обезьян, чего приуныл, чего такой красный зад?)
Пандишль тооран поляпполь нераккамуттири неранги няан.
(Я по мадрасским сортирам ходил и жизни теперь не рад.)

Поверх не слишком учтивых вопросов и ответов лодочной песни в фабричное помещение влетел голос Рахели:

— Эста! Эста! Эста!

Эста не отвечал. Он шепотом вмешивал в густой джем припев лодочной песни:

Тейоме
Титоме
Тарака
Титоме
Тем

Сетчатая дверь скрипнула, и вместе с солнцем внутрь заглянула Фея Аэропорта с зачатками рогов и в пластмассовых солнечных очочках с желтой оправой. Фабрика была окрашена в Злой цвет. Соленые лаймы были красны. Молодые манго были красны. Шкаф с наклейками был красен. Узкий пыльный луч, которого Уза не любила, был красен.

Сетчатая дверь закрылась.

Рахель стояла в пустом фабричном помещении со своим Фонтанчиком, стянутым «токийской любовью». До нее доносился голос монашенки, поющей лодочную песню. Чистое сопрано, плывущее над уксусными парами и чанами для солений.

Она увидела Эсту, склонившегося над алым варевом в черном котле.

— Чего тебе? — спросил Эста, не поднимая головы.

— Ничего, — сказала Рахель.

— Тогда зачем пришла?

Рахель ничего не ответила. Наступила короткая, враждебная тишина.

— Почему ты гребешь джем? — спросила Рахель.

— Индия — Свободная Страна, — ответил Эста.

С этим не поспоришь.

Индия — Свободная Страна.

Хочешь — делай соль[2]. Хочешь — греби джем.

В любую минуту в сетчатую дверь может войти Апельсиново-Лимонный Газировщик.

Запросто.

И Амму угостит его ананасовым соком. Со льдом.

Рахель села на бортик цементного чана (оборки пенистых, подшитых клеенкой кружев нежно окунулись в манговый рассол) и стала примерять резиновые напаль-

---

[1] Во время праздника Онам проходят состязания по гребле на очень длинных лодках.

[2] Намек на «Соляной марш», организованный Махатмой Ганди в 1930 г. в знак протеста против монополии английских колониальных властей на соль.

чники. Три большие мухи яростно атаковали сетчатые двери, желая попасть внутрь. Сипуха Уза смотрела на пахнущую соленьями тишину, которая растекалась между близнецами, как синяк.

Пальцы у Рахели были: Желтый, Зеленый, Синий, Красный, Желтый.

Эста мешал джем.

Рахель встала, чтобы идти. Ей был положен Мертвый Час.

— Ты куда собралась?

— Так, кой-куда.

Рахель сняла новые пальцы и вернула себе свои старые, пальчного цвета. Не желтые, не зеленые, не синие, не красные. Не желтые.

— А я собираюсь на Аккара, — сказал Эста. Не поднимая головы. — В Исторический Дом.

Рахель остановилась и повернулась к нему, и на сердце у нее блеклая ночная бабочка с необычно густыми спинными волосками повела хищными крылышками.

Медленно расправила.

Медленно сложила.

— Почему? — спросила Рахель.

— Потому что с Кем Угодно может случиться Что Угодно, — ответил Эста. — И нужно Быть Готовым.

С этим не поспоришь.

К дому Кари Сайбу никто теперь не ходил. Велья Папан говорил, что он был последним, кто к нему приближался. Он утверждал, что в доме нечисто. Он рассказал близнецам о своей встрече с призраком Кари Сайбу. Это случилось два года назад. Он переплыл реку, чтобы найти на той стороне мускатное дерево, набрать с него орехов и растолочь их со свежим чесноком в пасту для жены Челлы, умиравшей от туберкулеза. Вдруг он почуял сигарный дымок (запах он узнал мгновенно, потому что Паппачи курил тот же самый сорт). Велья Папан обернулся и метнул в запах серпом. Серп пригвоздил призрака к стволу каучукового дерева, и, если верить Велья Папану, он так там и стоит. Пригвожденный запах, сочащийся прозрачной янтарной кровью и молящий о сигаре.

Велья Папан не нашел там мускатного дерева, и ему пришлось купить себе новый серп. Но зато он мог гордиться тем, что его молниеносная реакция (хотя один глаз у него был заемный) и самообладание положили конец злобным шатаниям призрака-педофила.

Лишь бы только никто не поддался на его уловки и не освободил его, дав ему сигару.

О чем Велья Папан (знавший почти все на свете) не догадывался — это что дом Кари Сайбу есть не что иное, как Исторический Дом (двери которого заперты, а окна открыты). Что в нем предки с запахом старых географических карт изо рта и жесткими безжизненными ногтями на ногах шепчутся с ящерицами на стене. Что на задней веранде этого дома История будет диктовать свои условия и взыскивать долги. Что неплатеж поведет к тяжелым последствиям. Что в тот день, который История изберет для сведения счетов, Эста получит на хранение квитанцию за уплаченный Велюттой долг.

Велья Папан не имел понятия о том, что Кари Сайбу и есть тот самый, кто берет в плен мечты и перекраивает их. Что он выковыривает их из душ у людей, случающихся поблизости, как дети выковыривают ягодки из пирога. Что самые лакомые для него мечты, которые ему слаще всего будет перекроить, — это нежные юные мечты одной двуяйцовой парочки.

Если бы только знал он, несчастный старый Велья Папан, что Исторический Дом сделает его своим посланцем, что именно *его* слезы запустят колеса Ужаса, — не

расхаживал бы он тогда гоголем по айеменемскому базару, не хвастался бы тем, как переплыл реку, держа во рту серп (кислый вкус металла на языке). Как на секунду положил его на землю, встав на колени, чтобы смыть речной песок с заемного глаза (река иногда, особенно в дождливые месяцы, несла много песчаной мути), — и вдруг почуял сигарный дымок. Как схватил серп, мгновенно обернулся и проткнул запах, навеки пригвоздив призрака к дереву. И все это — одним плавным, мощным движением.

А когда он наконец понял свою роль в Планах Истории, поздно было уже идти обратно по собственным следам. Он сам стер их с лица земли. Пятясь назад с веником в руке.

Тишина вновь облегла близнецов, заполонив помещение фабрики. Но на сей раз это была другая тишина. Тишина старой реки. Тишина Рыболовного Люда и русалок с восковыми лицами.

— Но коммунисты в призраков не верят, — сказал Эста, как будто не было никакой паузы, как будто все это время они обсуждали возможные решения проблемы призраков. Их разговоры были как горные ручейки: они то журчали поверху, то уходили под камни. Иногда они были слышны со стороны. А иногда нет.

— Мы что, коммунистами станем? — спросила Рахель.

— Может быть, и придется.

Практичный наш Эста.

Дожевывающие торт голоса и приближающиеся шаги Синей Армии заставили товарищей закрыть секрет крышкой.

Он был законсервирован, закрыт крышкой и убран. Красный, похожий на молодой плод манго секрет в чане. Под контролем Сипухи.

Была выработана и утверждена Красная Программа Действий:

Товарищу Рахели — идти на Мертвый Час и лежать, бодрствуя, до тех пор, пока Амму не заснет.

Товарищу Эсте — разыскать флаг (которым заставили помахать Крошку-кочамму) и дожидаться товарища Рахель у реки, где им обоим надлежит быть

б) *готовыми к тому, чтобы быть готовыми к тому, чтобы быть готовыми.*

Детское немнущееся фейное платьице (частично просоленное) одиноко стояло само собой посреди сумрачной спальни Амму.

Снаружи Воздух был Чуток, Ярок и Жарок. Рахель лежала рядом с Амму в панталончиках для аэропорта в тон платью и напряженно бодрствовала. Ей виден был отпечатавшийся на щеке Амму цветочный узор с вышитого синим крестиком покрывала. Ей слышен был вышитый синим крестиком день.

Медленный потолочный вентилятор. Солнце за шторами.

Желтая оса, зло бьющаяся в стекло с желтым своим осиным *дзззз.*

Недоверчиво смаргивающая ящерица.

Высоко ступающие цыплята во дворе.

Потрескиванье солнца, сушащего белье. Жестко морщащего белые простыни. Прожаривающего накрахмаленные сари. Кремовые с золотом.

Красные муравьи на желтых камнях.

Жаркая корова, которой жарко. *Ммууу.* Вдалеке.

И запах хитрого английского призрака, пригвожденного серпом к стволу каучукового дерева и вежливенько выпрашивающего сигару.

— Эммм... можно вас на минуточку? Не найдется ли у вас случайно... эммм... одной сигарки, всего одной?

Добреньким учительским голоском.

Боже мой!

И дожидающийся ее Эста. У реки. Под мангустаном, который привез из Мандалая и посадил преподобный И. Джон Айп.

А на чем же там Эста сидит?

На чем они всегда там сидят под мангустаном. На чем-то сером и старом. Покрытом лишайником и мхом, обросшем по кругу папоротником. На том, что хочет присвоить земля. Не на бревне. Не на камне...

Еще не додумав мысль, Рахель уже встала и побежала.

Через кухню, мимо крепко спящей Кочу Марии. Толстоморщинистой, похожей на случайно завалившегося здесь носорога в оборчатом фартуке.

Мимо фабрики.

Босиком неуклюже сквозь зеленый зной, а следом — желтая оса.

Товарищ Эста был на месте. Под мангустаном. Перед ним был красный флаг, воткнутый в землю. Передвижная Республика. Близнецовая Революция с Зачесом.

А на чем же он там сидел?

На чем-то замшелом, обросшем папоротником.

Постучать — отзовется гулко, как пустое внутри.

Тишина пикировала, и взмывала, и ныряла, и петляла восьмерками.

Зависшие на солнце стрекозы в брильянтах были похожи на пронзительные детские голоса.

Пальцы палечного цвета сражались с папоротниками, отодвигали камни, расчищали край. Потом потная борьба за щель, чтобы подлезть рукой, ухватиться. Потом Три, Четыре и...

Все может перемениться в один день.

Да, это была лодка. Маленькое деревянное суденышко — *валлом.*

Лодка, на которой сидел Эста и которую обнаружила Рахель.

Лодка, на которой Амму стала плавать на ту сторону реки. Чтобы любить по ночам человека, которого ее дети любили днем.

Лодка была такая старая, что еще чуть-чуть — и пустила бы корни.

Старое серое лодочное растение с лодочными цветами и лодочными плодами. А под ним — пятно увядшей травы в форме лодки. И подлодочный мирок — семенящий, разбегающийся по сторонам.

Темный, сухой и прохладный. Лишенный крова теперь. И слепой.

Белые термиты по пути на работу.

Белые божьи коровки по пути домой.

Белые жуки, зарывающиеся в землю от света.

Белые кузнечики со скрипочками белого дерева.

Белая печальная музыка.

Белая оса. Неживая.

Белохрупкая змеиная кожа, сохранившаяся в темноте, рассыпалась на солнце.

Но сгодится ли он им, этот маленький валлом? Не слишком ли он старый? Не слишком ли мертвый? Одолеет ли он путь до Аккара?

Двуяйцевые близнецы посмотрели на свою реку.

Миначал.

Серо-зеленая. В ней рыбы. В ней деревья и небо. А ночами в ней расколотая желтая луна.

Когда Паппачи был еще мальчиком, в грозу туда рухнул старый тамаринд. Он был в реке и сейчас. Гладкий ствол без коры, до черноты напитавшийся зеленой водой. Неплавучий плавник.

На первую треть своей ширины река была их другом. Пока не начиналась Са-

мая Глубина. Близнецам были привычны скользкие каменные ступени (числом тринадцать), после которых начинался вязкий ил. Им были привычны водоросли, которые во второй половине дня пригоняло из комаракомских лагун. Им была привычна мелкая рыбешка. Плоская бестолковая паллати, серебристый параль, хитрый усатый кури, изредка каримин — «черная рыба».

Здесь Чакко научил их плавать (плескаться без поддержки вокруг обширного дядиного живота). Здесь им открылось вольное блаженство подводного выпускания газов.

Здесь они научились удить рыбу. Насаживать свивающихся кольцами лиловых земляных червей на крючки удочек, которые Велютта делал им из гибких стеблей желтого бамбука.

Здесь они усвоили науку Молчания (подобно детям Рыболовного Люда) и овладели сверкающим языком стрекоз.

Здесь они научились Ждать. И Смотреть. И думать думы, не говоря о них вслух. И молниеносно двигаться, когда дольчатое желтое удилище вдруг выгнется пружинистой дугой.

Так что первую треть русла они знали хорошо. Остальные две трети — хуже.

На второй трети была Самая Глубина. Течение там было быстрое и отчетливое (в сторону океана во время отлива, в обратную сторону во время прилива, когда подпирала вода из лагун).

Последняя треть снова была мелкая. С мутной, бурой водой. Сплошь водоросли, стремительные угри и медленный ил, ползущий между пальцами ног, как зубная паста.

Близнецы плавали теперь, как утки, и под надзором Чакко несколько раз уже переплывали реку туда и обратно — возвращались полузадохшиеся и косоглазые от напряжения, сжимая в руках камешки или веточки с Того Берега как вещественные доказательства победы. Но, как бы то ни было, середина почтенной реки и Тот ее Берег — это были не те места, где детям можно Болтаться, Плескаться и Учиться Новому. Эста и Рахель относились ко второй трети и третьей трети Миначала с уважением, которого эта река заслуживала. Тем не менее переплыть ее труда не составляло. Переправиться на лодке с Вещами (нужными для того, чтобы быть *б) готовыми к тому, чтобы быть готовыми к тому, чтобы быть готовыми*) — дело другое.

Они посмотрели через реку глазами Старой Лодки. С того места, где они стояли, Исторический Дом не был виден. Это был всего лишь сгусток тьмы за болотом, в сердце заброшенной каучуковой плантации, откуда, то взбухая, то опадая, шел стрекот сверчков.

Эста и Рахель подняли нетяжелую лодку и снесли к воде. Вид у нее был удивленный, как у седой рыбы, всплывшей из глубины. Много лет жившей без солнца. Лодку надо было отскоблить и почистить, и, может быть, ничего больше.

Два счастливых сердца взвились в лазурное небо цветными воздушными змеями. Но тут же с медленным зеленым шепотом река (в которой рыбы, в которой деревья и небо) заструилась внутрь.

Старая лодка тихо затонула и легла на шестую ступеньку.

И двуяйцовые сердца затонули следом и легли ступенькой выше.

Глубоководные рыбы прикрыли рты плавниками и бесшумно засмеялись, глядя на потеху.

Белая лодочная паучиха всплыла вместе с рекой в лодке, недолго поборолась и утонула. Ее белая яйцевая камера преждевременно лопнула, и сотня крохотных паучков (слишком легких, чтобы утонуть, слишком маленьких, чтобы плыть) усеяла зеленую речную гладь прежде, чем отправиться с водой к океану. А там — на Мадагаскар, чтобы основать новый род Малаяльских Плавучих Пауков.

Чуть погодя близнецы одновременно, будто сговорившись (хотя они не сговаривались), начали мыть лодку в реке. Счищать паутину, землю, мох и лишайник. Покончив с этим, они перевернули суденышко и водрузили себе на головы. Как общую шляпу, с которой капало. Эста выдрал из земли красный флаг.

Маленькая процессия (флаг, оса и лодка-на-ножках) двинулась через кусты привычной тропинкой. Минуя крапивные заросли, обходя стороной знакомые рытвины и муравейники. Она обогнула глубокий обрывистый карьер, где раньше добывали латерит, а теперь был застойный пруд с отвесными оранжевыми берегами и густой, вязкой водой, покрытой слоем ярко-зеленой тины. Предательская изумрудная лужайка, где плодились комары и жирели рыбы, которых невозможно было поймать.

Тропинка, шедшая вдоль реки, выводила к небольшой травянистой поляне, плотно окруженной деревьями — кокосовыми пальмами, орехом кешью, манго, билимби. На краю поляны, спиной к реке, стояла низенькая хижина с обмазанными глиной стенами из оранжевого латерита и крышей из пальмовых листьев, которая свисала чуть не до самой земли, словно прислушиваясь к ее тайному шепоту. Приземистые стены хижины были одного цвета с почвой, на которой она стояла, и, казалось, выросли из посаженного в эту почву строительного семени — сначала вертикальные земляные ребра, потом все остальное. В маленьком переднем дворике, обнесенном плетнем из пальмовых листьев, росли три лохматых банана.

Лодка-на-ножках подошла к хижине. На стене у двери висела незажженная масляная лампа, и позади нее кусок стены был черный от сажи. Дверь была приоткрыта. Внутри было темно. На пороге показалась черная курица. Потом вернулась в хижину, совершенно безразличная к лодочным посещениям.

Велютты дома не было. Велья Папана тоже. Но кто-то все-таки был.

Из хижины вылетал мужской голос и отдавался одиноким эхом в кругу поляны.

Голос все время выкрикивал одно и то же, от раза к разу переходя в более высокий, более истерический регистр. Это было обращение к гуайяве, грозившей уронить свой переспелый плод и перепачкать землю:

Па пера-пера-пера-пераккa
(Госпожа гугга-гуг-гуг-гуайява,)
Энда парамбиль тоораллей.
(Не надо гадить здесь у меня.)
Четенде парамбиль тоорикко,
(Можешь гадить по соседству, у моего брата,)
Па пера-пера-пера-пераккa.
(Госпожа гугга-гуг-гуг-гуайява.)

Кричал Куттаппен, старший брат Велютты. Ниже пояса он был парализован. День за днем, месяц за месяцем, пока брат был в отлучке, а отец работал, Куттаппен лежал на спине и смотрел, как его молодость, фланируя, идет себе мимо, даже не останавливаясь, чтобы поздороваться с ним. Дни напролет он лежал, слушая тишину плотно стоящих деревьев, в обществе одной лишь высокомерной черной курицы. Он тосковал по Челле, своей матери, которая умерла в том же углу комнаты, где лежал теперь он. Она умерла кашляющей, харкающей, мучительной, мокротной смертью. Куттаппен помнил, что ступни ее умерли задолго до того, как она умерла вся. Он видел тогда, что кожа на них сделалась серой и безжизненной. В страхе он смотрел, как смерть медленно поднимается по ее телу. Теперь Куттаппен бдительно, с возрастающим ужасом следил за своими собственными онемелыми ногами. Время от времени он с надеждой тыкал в них палкой, которая стояла у него в углу на случай, если в дом заползет змея. Ноги у него совсем ничего не чувствовали, и только зрение убеждало его в том, что они по-прежнему соединены с телом и по-прежнему принадлежат ему.

После смерти Челлы его переместили в ее угол, бывший в представлении Куттаппена тем углом, который Смерть облюбовала для своих смертных дел. Один угол для стряпни, один для одежды, один для скатанных постелей, один для умирания.

Он размышлял о том, долго ли ему предстоит умирать и что делают с остальными углами люди, у которых в доме их больше, чем четыре. Значит, у них есть выбор, в каком углу умирать?

Он предполагал — и не без основания, — что после смерти матери он теперь первый на очереди. Он увидит, что ошибся. Скоро увидит. Очень скоро.

Иногда (по привычке, от тоски по Челле) Куттаппен кашлял, подражая материнскому кашлю, и верхняя часть его тела дергалась, как только что пойманная рыба. Нижняя часть его тела лежала как свинцовая, словно она принадлежала кому-то другому. Какому-то мертвецу, чей дух был уловлен и не мог высвободиться.

В отличие от Велютты, Куттаппен был хороший, спокойный параван. Он не умел ни читать, ни писать. Он лежал на своей жесткой постели, и сыпавшаяся сверху труха смешивалась с его потом. Иногда вместе с ней падали муравьи и другие насекомые. В скверные дни оранжевые стены брались за руки, наклонялись над ним, вглядывались в него, как зловредные врачи, и неспешно, неумолимо выдавливали воздух у него из груди, заставляя его кричать. Порой они вдруг отпускали его по своей прихоти, и комната, где он лежал в ничтожестве, раздавалась во все стороны, становилась устрашающе огромной. Тогда он тоже кричал.

Безумие маячило совсем рядом, как услужливый официант в дорогом ресторане (зажечь сигаретку, наполнить бокал). Куттаппен с завистью думал о сумасшедших, которые могут ходить. У него не было сомнений в выгодности сделки: душевное здоровье в обмен на ходячие ноги.

Близнецы со стуком опустили лодку на землю, и голос в хижине мигом умолк.

Куттаппен никого не ждал.

Эста и Рахель толкнули дверь и вошли. Даже им, таким маленьким, пришлось немножко нагнуться, чтобы не удариться о притолоку. Оса осталась ждать снаружи и села на лампу.

— Это мы.

В комнате было темно и чисто. Она пахла рыбным карри и древесным дымом. Ко всем предметам, как легкая лихорадка, прилип зной. Но глиняный пол под босыми ногами Рахели был прохладен. Постели Велютты и Велья Папана были скатаны и прислонены к стене. На веревке сохло белье. На низко повешенной деревянной кухонной полке теснились терракотовые горшки с крышками, половники из кокосовой скорлупы и три обколотые глазированные тарелки с темно-синими ободками. Взрослый человек мог стоять выпрямившись посреди комнаты, но ближе к стенам — уже нет. Другая низенькая дверь вела на задний двор, где тоже росли бананы, а за ними сквозь листву поблескивала река. На заднем дворе была столярная мастерская.

Здесь не было ни ключей, ни запирающихся шкафчиков.

Черная курица вышла в заднюю дверь и принялась бесцельно скрести землю двора, где ветер шелестел светлыми кудрями стружек. Если судить по ее виду, ее тут держали на железной диете — крючки, гвозди, шурупы и старые гайки.

— *Айо!*[1] *Мон! Моль!* Вы что думаете? Что Куттаппен уже не человек, а чурка? — произнес затрудненный, обескровленный голос.

Глаза близнецов не сразу привыкли к темноте. Постепенно она рассеялась, и возник Куттаппен на своем ложе — блестящий от пота джинн полумрака. Белки его глаз были темно-желтые. Подошвы его ступней (мягкие от долгого лежания) тор-

[1] Эй! (*малаялам*).

чали из-под простыни, укрывавшей ноги. Даже и теперь они были бледно-оранжевые из-за многолетнего хождения по красной глине. На щиколотках у него были серые мозоли от канатов, которыми парараны обвязывают ноги, когда залезают на кокосовые пальмы.

На стене за его головой висел календарь с благостным Иисусом, у которого были волосы мышиного цвета, помада на губах, румяна на щеках и яркое, украшенное драгоценными камнями сердце, пылающее сквозь одежду. Нижняя часть календаря (где были дни) походила на многослойную юбку. Иисус в мини. Двенадцать юбочек на двенадцать месяцев в году. Ни один не оторван.

Были здесь и другие вещи из Айеменемского Дома — одни подаренные, другие извлеченные из мусорного ящика. Богатые вещи в бедной лачуге. Неработающие часы, жестяное ведро с цветочным рисунком для ненужных бумаг. Старые сапоги Паппачи для верховой езды (коричневые, с зеленой плесенью), из которых так и не были вынуты сапожные колодки. Жестянки из-под печенья с роскошными изображениями английских замков и дам с турнюрами и пышными прическами.

Рядом с Иисусом висела цветная картинка, которую Крошка-кочамма забраковала из-за масляного пятна. Она изображала пишущую письмо светловолосую девочку со слезами на щечках. Подпись гласила: «Пишу, чтобы сказать: тоскую о тебе». Казалось, что ее только постригли и это ее срезанные кудряшки шелестят у Велютты на заднем дворе.

Прозрачная пластиковая трубка опускалась из-под застиранной простыни, прикрывавшей Куттаппена, к бутылке с желтой жидкостью, в которой играл свет, проникавший в дверь узким лучом, и которая дала ответ на возникший было у Рахели вопрос. Стальным стаканчиком она зачерпнула воды из глиняного кувшина и принесла ему. Она неплохо тут ориентировалась. Куттаппен поднял голову и стал пить. Часть воды стекла по его подбородку.

Близнецы сели на корточки, как заядлые взрослые сплетники с айеменемского базара.

Какое-то время все молчали. Куттаппен погрузился в неподвижность, близнецы — в лодочные мысли.

— Приехала дочка Чакко-саара? — спросил наконец Куттаппен.

— Наверно, — лаконично ответила Рахель.

— Где она?

— Не знаю. Мало ли где? Нам-то какое дело?

— А поглядеть приведете?

— Не получится, — сказала Рахель.

— Почему?

— Ей велено дома сидеть. Она очень нежная. Испачкается — умрет.

— Вот оно что.

— Сюда ее не отпустят... да и ничего такого в ней нет, — заверила Рахель Куттаппена. — Волосы, ноги, зубы — ну, как у всех... только вот довольно высокая. — Это была единственная уступка, на которую она пошла.

— И всё? — спросил Куттаппен, быстро сообразив что к чему. — Тогда зачем она нам тут нужна?

— Низачем, — сказала Рахель.

— Куттаппа, если валлом течет, его очень трудно починить? — спросил Эста.

— Навряд ли очень, — сказал Куттаппен. — Смотря как там и что. А чей это валлом течет?

— Наш, мы его нашли. Хочешь посмотреть?

Они вышли и принесли лежачему седую лодку на обследование. Подняли и стали держать над ним, как крышу. С лодки на него немножко капало.

— Сперва найти, где течет, — сказал Куттаппен. — Потом подконопатить.

— Потом шкуркой, — сказал Эста. — Потом лоск навести.

— Потом весла, — сказала Рахель.

— Потом весла, — согласился Эста.

— Потом в путь-дорогу, — сказала Рахель.

— Куда это? — спросил Куттаппен.

— Так, покататься просто, — непринужденно ответил Эста.

— Только без баловства, — сказал Куттаппен. — Эта река, она притворщица.

— Кем она притворяется? — спросила Рахель.

— Кем? Да маленькой такой богомольной *аммума,* бабусей, тихонькой да чистенькой... На завтрак рисовые лепешки, на обед рыбка да жиденькая кашка. Я, мол, по сторонам не гляжу, в чужие дела не лезу.

— А на самом деле?

— А на самом деле дикая она, вот какая... Мне по ночам слышно — шумит-бежит под луной, торопится куда-то. С ней шутки плохи.

— А что она на самом деле ест?

— Что ест? Э... Мясо кусками... и... — Он задумался, подыскивая для зловредной реки какую-нибудь английскую пищу.

— Ананасы кружочками, — подсказала Рахель.

— Вот-вот! Ананасы кружочками и мясо кусками. И виски хлещет вовсю.

— И бренди.

— Да, и бренди.

— И по сторонам глядит.

— Еще как.

— И в чужие дела лезет...

Эстаппен принес из мастерской Велютты несколько деревянных чурбаков, и они подложили их под днище лодки, которая иначе раскачивалась на неровном глиняном полу. Он дал Рахели кухонный половник из отшлифованной кокосовой скорлупы, в которую была продета деревянная ручка.

Близнецы забрались в валлом и погребли через неспокойные воды.

С залихватским *тай-тай-така-тай-тай-томе*. Под взглядом Иисуса, украшенного драгоценными камнями.

Он ходил по водам. Хорошо. Но мог ли Он *плыть* по суше?

В панталончиках в тон и темных очочках? С Божьим фонтанчиком, стянутым «токийской любовью»? В остроносых туфлях, с зачесом? Хватило бы Ему воображения?

Велютта вернулся посмотреть, не нужно ли Куттаппену чего-нибудь. Он был еще довольно далеко, когда до него донеслось громкое пение. Детские голоса, восторженно напирающие на физиологию:

Эй, Обезьян, чего приуныл,
Чего такой красный ЗАД?
Я по мадрасским СОРТИРАМ ходил
И жизни теперь не рад!

На несколько счастливых мгновений Апельсиново-Лимонный Газировщик убрал свою желтую ухмылку и убрался сам. Страх пошел ко дну и утих под толщей воды. Уснул чутким собачьим сном. Готовый, чуть что, встрепенуться и все омрачить.

Велютта улыбнулся, увидев у двери хижины марксистский флаг, яркий, как дерево в цвету. Чтобы войти внутрь, он должен был сильно пригнуться. Эскимос тропиков. Когда он увидел детей, внутри у него что-то стиснулось. Он не мог по-

нять, в чем дело. Он видел их каждый день. Он любил их, не сознавая этого. Но вдруг все стало по-другому. Именно теперь. После того, как История дала такую промашку. Никогда раньше кулак не стискивался у него внутри.

Ее дети, шепнулось ему сумасшедше.

Ее глаза, *ее* рот. *Ее* зубы.

Ее светящаяся мягкая кожа.

Он с досадой выдворил эту мысль. Она вернулась и села у самого его черепа. Как собака.

— Ха! — сказал он юным гостям. — И что это, позвольте спросить, за Рыболовный Люд здесь собрался?

— Эстапаппичачен Куттаппен Питер-мон. Мистер и миссис Радывидетьвас.

Рахель, словно руку для пожатия, протянула ему половник. Он пожал его. Потом таким же манером поздоровался с Эстой.

— А куда, позвольте спросить, направляется это судно?

— В Африку! — закричала Рахель.

— Не голоси так, — сказал Эста.

Велютта обошел вокруг лодки. Они объяснили ему, где ее нашли.

— Это значит, она ничья, — сказала Рахель с некоторым сомнением: ей вдруг подумалось, что, может быть, она чья-то. — Нам сообщить в полицию или не надо?

— Не будь дурочкой, — сказал Эста.

Велютта постучал по борту лодки, потом поскоблил его ногтем.

— Хорошее дерево, — сказал он.

— Тонет, — сказал Эста. — Протекает.

— Почините ее нам, пожалуйста, Велюттапаппичачен Питер-мон, — попросила Рахель.

— Посмотрим, — сказал Велютта. — Я не хочу, чтобы вы играли на воде в глупые игры.

— Мы не будем. Честно, не будем. Мы без тебя никуда не поплывем.

— Сначала надо течь найти... — сказал Велютта.

— Потом законопатить! — крикнули близнецы, как будто это была вторая строчка всем известного стишка.

— А долго это? — спросил Эста.

— Дня хватит, — ответил Велютта.

— Дня?! Я думал, ты скажешь — месяц!

Ошалев от радости, Эста вспрыгнул на Велютту, обхватил его талию ногами и расцеловал его.

Шкурка была разорвана на две равные части, и близнецы взялись за работу с жуткой сосредоточенностью, забыв обо всем на свете.

Лодочная пыль поднялась в комнате столбом, запорошила брови и волосы. Куттаппена она осенила облаком, Иисуса — фимиамом. Велютте пришлось забрать у них шкурку.

— Не здесь, — сказал он твердо. — Снаружи.

Он подхватил лодку и вынес ее за дверь. Близнецы двинулись следом, не спуская со своей лодки сосредоточенных глаз, похожие на голодных щенков, ожидающих кормежки.

Велютта поставил лодку на чурбаки. Лодку, на которой сидел Эста и которую обнаружила Рахель. Он научил их двигаться вдоль волокон дерева. Они стали шкурить. Когда он пошел в хижину, черная курица последовала за ним, не намеренная находиться там, где находилась лодка.

Велютта намочил тонкое хлопчатобумажное полотенце в глиняном горшке с водой. Потом выжал из него воду (яростно, как будто это была не вода, а непрошеная мысль) и дал Куттаппену, чтобы тот обтер себе лицо и шею.

— Сказали они что-нибудь? — спросил Куттаппен. — Про демонстрацию.

— Нет, — сказал Велютта. — Пока нет. Еще скажут. Они всё знают.

— Точно?

Велютта пожал плечами, взял у него полотенце и выстирал. Отполоскал. Выколотил. Отжал. Как будто это был его дурацкий непослушный мозг.

Он попытался возненавидеть ее.

Одна из них, сказал он себе. *Одна из них, больше ничего.*

Без толку.

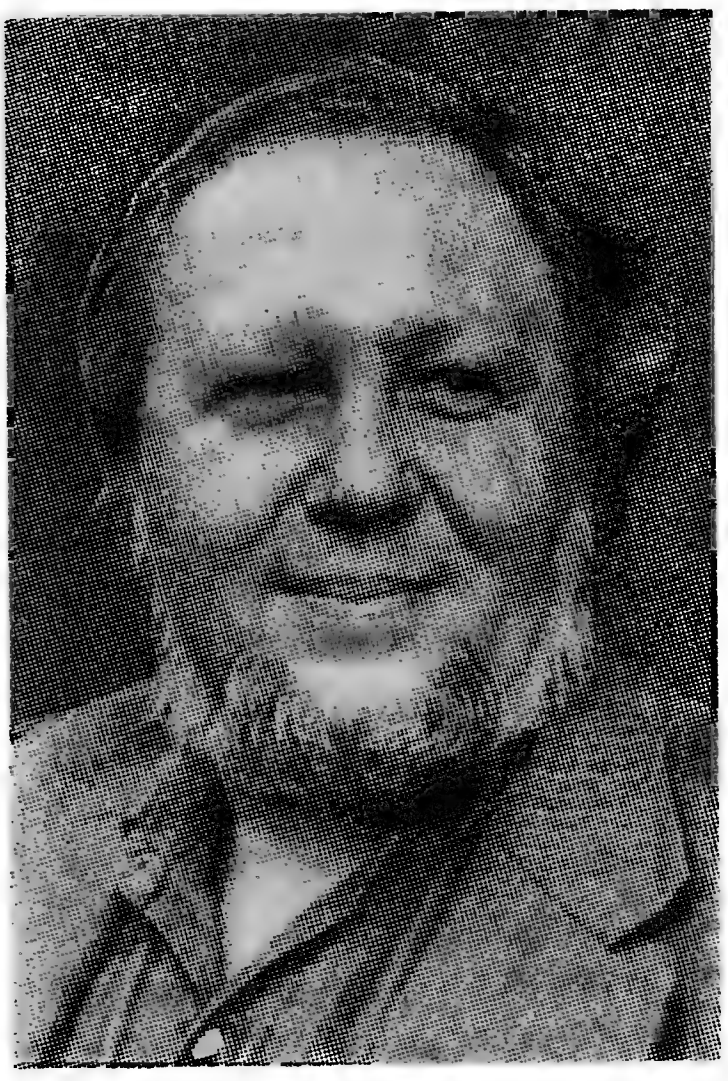
Когда она улыбается, у нее упругие ямочки на щеках. Ее глаза всегда смотрят в какую-то даль.

Безумие проскользнуло сквозь щелочку в Истории. Хватило одного мгновения.

Через сорок минут самозабвенной работы Рахель вспомнила про Мертвый Час. Вспомнила и побежала. Сквозь зной зеленого дня, спотыкаясь. Следом за ней — брат, следом — желтая оса.

Она молилась о том, чтобы Амму еще поспала и не узнала, что ее не было на месте.

(Окончание следует)



АДАМ ЗЕМЯНИН

Стихи из цикла «Польские коврики»

Перевод с польского и вступление
НАТАЛЬИ АСТАФЬЕВОЙ

С Адамом Земяниным познакомила нас в октябре 1979 года Анна Свирщиньская. Далеко идти не нужно было. Земянин жил в том же доме, что и она, в знаменитом доме 22 по улице Крупничьей, в котором жили и живут многие краковские поэты. Нас встретили радушно, той домашностью, в которой Земянин, уроженец старинного польского городка, вырос. Домашностью, певцом которой он стал.

«Дом моей памяти горит» — так начинаются стихотворение Земянина «Коврик из горящего дома» и одноименная книга, вышедшая в 1985 году. В XX веке, в мировых войнах и в других катастрофах и пертурбациях, гибнет «дом». Рушатся традиции, вековые устои жизни. Символом уходящего традиционного польского быта стали для Земянина памятные ему с детства настенные польские коврики. Прежде это были коврики из шерстяной и полотняной ткани с вышитой на них картинкой и вышитой же пословицей или сентенцией. Позже, в наше время, подобные «коврики» стали писать на холсте, полотне, сатине масляной краской, воспроизводя и варьируя привычные мотивы и привычные композиции. Эти «коврики» (например, «Коврик классически слащавый») так же аляповаты, как олеографии, украшавшие в прошлом веке и русские и польские дома в провинции и в деревне, или те «коврики» на клеенке, с прудами и лебедями на них, что продавались в России еще на нашей памяти на послевоенных базарах. «Коврики», вдохновляющие Земянина, — конечно же, типичный кич. Но таким же кичем были и малярной работы вывески дореволюционного Витебска, вдохновлявшие всю жизнь Марка Шагала. Не случайно образ Шагала (и шагаловского коня) возникает у Земянина в одном из стихотворений цикла:

...и мы домой вернемся
на белом коне который
вырвался внезапно
из цветущего сада
глянь
Марк Шагал или кто-то похожий
тянет праздник весны за собою

(«Коврик из Пшемысля»)

Цикл Земянина «Польские коврики» насчитывает 43 стихотворения. «Коврики» стали развернутой метафорой, своеобразным поэтическим жанром. Стали той рамкой, в которую Земянин вставляет и кадры сугубо современной жизни, жизни маленького человека большого города:

© by Adam Ziemianin, Krakow, 1985
© Н. Астафьева. Перевод, вступление, 1999

Серый трудяга в берете
тащится к первой смене...

*(«Коврик на сером холсте
семидесятых годов»)*

Стихи Земянина освещает присутствие автора, доброжелательного, полного любви и сочувствия к людям. Облик Земянина рождает желание сравнить его с кем-то из литературных героев. Один из краковян, писавших о Земянине, вспоминал в связи с ним Швейка. Можно вспомнить и Санчо Пансу. Вот только губернатором даже самого маленького острова даже на самый короткий срок Земянин никогда не был. К политике и к политикам он относится с откровенным недоверием, этого «медведя» поэт советует не будить, не то «он будет нами править».

По окончании учительских курсов Земянин преподавал в глубине Карпат, учился на филологическом факультете Ягеллонского университета в Кракове. Был журналистом. Но бывал и сплавщиком леса на горной реке Попрад, был даже пилотом планера. Еще в середине 70-х он ездил по Карпатам вместе с молодым ансамблем «Свободная группа Буковина», исполнявшим композиции на его тексты. Сейчас песни и блюзы на тексты Земянина исполняют польские певцы, многие пластинки джазовых ансамблей и солистов включают тексты Земянина и названы по его стихотворениям и циклам. Из десяти его книг стихов некоторые издавались дважды и большими для Польши тиражами.

Он лауреат премии польского Фонда литературы, но мне особенно приятно было узнать, что он получил — один из первых — установленную краковскими литераторами премию имени Анны Свирщиньской.

Коврик из горящего дома

дом моей памяти горит
я прыгаю в огонь
выношу что удастся
и вот он первый коврик

над озером поблекшим
от старости пересохшим
вольный стрелок охотник
в шляпе почти тирольской

в дикую утку
глядя с прищуром
целится неспешно
довоенной дробью

все давно привыкли
никто не тронется с места
утка освоилась со смертью
и стрелок берет тоном ниже

еще лишь подпись которая
не очень-то вразумительна
ссора и вражда
не доводят до добра
но это уже философия

Коврик с ангелом

легче всего тебя встретить
над глазированной бездной
где ты по дырявой кладке
двоих детей переводишь

горит на щеках румянец
как будто одухотворен ты
туберкулезом легких
а свою доброту неземную
ты ключом запираешь небесным

ночью ты может хотел бы
от стены оторваться
но гвоздь крыло продырявил
и ты остаешься с нами
ты уж нас не покинь
на веки веков аминь

Коврик классически слащавый

она молодая блондинка
а он с усами высокий
она собой как малина
а он довоенный полковник

звездочки падают с неба
они же идут себе рядом
за руки держат друг друга
и лица их светятся счастьем

над ними голубь с голубкой
воркуют в любви да совете
из клювика вьется фраза
любите друг друга дети

Коврик с танцующей Саломеей

танцует она с кружкой пива
и с ярким макияжем
все ее лапают жадно
кто взглядом кто желаньем
губы ее приоткрыты
хватают воздух мокрый
от дыма и от эрекций
алкогольных

солдаты заказали
по две котлеты сразу
один уже теряет
голову на нее глядя

только она это знает
меж столиками танцуя
и с кружкой пива
как Саломея

Коврик на сером холсте семидесятых годов

серый трудяга в берете
тащится к первой смене
в термосе китайские тени
и завтрак с собой в портфеле

на сером холсте предрассвета
плетется он еле-еле
берет в киоске газету
толстую от благосостоянья

потом в тоскливом трамвае
он едет вместе со всеми
уже он не самый серый
уже он в толпе затерялся

на коврике сверху
спит старый медведь спит крепко
будить его не будем
боимся как разбудим
он будет нами править

Коврик пасхальный

На скатерти белой
твои и мои руки
праздничные наконец-то
в пасхальное утро
сахарный барашек
озирается сладко
будто делает глазки
космическому пространству
расписное яичко
с лиственным узором
ждет чтобы мы воскресли

■

АРНО ШМИДТ

Гадир, или Познай самого себя

РАССКАЗ

Перевод с немецкого и вступление Т. БАСКАКОВОЙ

Произведения Арно Шмидта (1914—1979), человека огромной культуры и вместе с тем экспериментатора, который попытался заглянуть за порог двадцатого столетия, никогда не переводились на русский язык. Немецкий критик Крис Хирте, автор послесловия к «Избранным сочинениям» Шмидта, пишет о его последних романах («Сон Цеттеля», 1970; «Школа атеистов», 1972; «Вечер с Гольдрандом», 1975; «Юлия, или Картины», 1983, опубликован посмертно в сокращенном варианте), что «их время еще не пришло», что они представляют собой «литературные монументы, превосходящие способности современного читателя к пониманию, терпению и расчетам» и все же являющие собой «позитивный вызов»[1].

Арно Шмидт родился в бедной мещанской семье гамбургского полицейского, не смог из-за недостатка средств получить высшее образование, в период второй мировой войны был призван в армию, потом попал в плен, потом долго скитался по разоренной войной Германии, зарабатывал на жизнь переводами, даже добившись признания как писатель, всегда жил очень замкнуто и скромно в крестьянском доме, который купил в 1958 г. Он был широко образован в области истории, литературоведения, математики; был переводчиком столь высокого класса, что черновики так и не завершенного им перевода джойсовских «Поминок по Финнегану» после смерти Шмидта были изданы факсимильным изданием.

Творчество Шмидта притягательно прежде всего своей парадоксальностью. В его книгах страстность, исповедальный тон, особая яркость метафор, незаметные перетекания прозы в поэзию спонтанны, но одновременно виртуозно точны, продуманны до мельчайших деталей. Свою программу экспериментирования с формой Шмидт изложил в двух небольших эссе 1955 и 1956 гг.: «Прикидки I» и «Прикидки II». Он искал возможности зафиксировать на бумаге сон, «длинную мысленную игру», параллельное существование человека в мире собственных фантазий и мире реальности: традиционные литературные жанры и приемы казались ему не приспособленными для решения подобных задач. Примерно с конца 50-х годов (с момента начала работы над романом «Море Кризисов — тоже захолустье») Шмидт стал экспериментировать с языком, подражая Джойсу. В результате слова оказались окруженными ореолами дополнительных смыслов, вызывающими неожиданные ассоциации, что и сделало его позднюю прозу столь трудной для восприятия (и, кажется, не поддающейся переводу).

Новелла «Гадир» (1948) вошла в первый сборник рассказов Арно Шмидта, опубликованный в 1949 г., однако в ней уже присутствуют почти все характерные признаки шмидтовского текста. Действие новеллы разворачивается в некоей карфагенской крепости, в эпоху Пунических войн. Этот исторический фон воссоздан с

---

[1] *Chris Hirte*. Nachwort. — In: Arno Schmidt. Ausgewählte Werke. Bd. III, 1990. S. 627.

© Т. Баскакова. Перевод, вступление, 1999

превосходным знанием материала. Но образ старика грека, от имени которого ведется рассказ, по сути, есть «автопортрет» тридцатичетырехлетнего Арно Шмидта: не только биография старика во многом перекликается с биографией автора (вплоть до такой детали, как служба в фирме, производящей рабочую одежду); рассуждения героя новеллы о Боге и творчестве, о варварском подходе к культуре, о внутренней свободе и гнете внешних обстоятельств — это мысли, выстраданные самим Шмидтом; даже любовь к математике, даже предпочтение лунного света солнечному — черты натуры Арно Шмидта. И весь этот обширный, волнующий автора материал спрессован в лаконичную форму, построенную по принципам, которые будут объяснены через семь лет, в «Прикидках», — построенную так, чтобы можно было передать не только смысл рассуждений или воспоминаний, но и их ритм, — построенную как партитура музыкального произведения.

52 года, 118 дней

Сначала насвистывал один. Когда в следующий раз они протопали мимо меня, ту же песню гнусавили уже вдвоем: «О Мирьям, моя крошка, я с тобой потанцую немножко — та-та, та-та...», дальше шли какие-то невнятные звуки, прищелкиванья и «фта-фта»; второй, по-видимому старший, невесело рассмеялся... Луна сегодня здорово светит; что ни возьмешь в руку, серебрится.

Смена караула прямо под моим зарешеченным окном; вопрос: «Что на фронте?» (значит, где-то идет война); равнодушное бормотание в ответ.

Позже: Карфаген и Рим. Рим, ах да: с этим средних размеров государством Массилия[1] время от времени заключала торговые соглашения; оно, помнится, предусмотрительно отправило посольство к юнцу Александру, открывателю новых земель. (Еще бы! Даже интеллектуалы до сих пор восхищаются его настойчивым стремлением продвинуться дальше на Восток, за Ганг — в Бесконечность, как они говорят, выставляя его этаким образцом чистого научного влечения к непознанному! А на самом деле он получил от Аристотеля точные сведения, что Ойкумена кончается сразу же за Гангом, и вполне расчетливо, с героическим хладнокровием нацелился на Конечное, точнее, на подчинение этого Конечного собственной воле. Он был решителен и жесток, по-плебейски несдержан: мастер управлять толпой, полководец и храбрец, как-никак сын Зевса; но все это — достоинства третьей категории. Поклоняться Александру простительно только двадцатилетним; человек, который, взрослея, не избавляется от подобных глупостей, дает повод усомниться в его умственных способностях и силе характера. Будь он даже сыном Аристона[2].)

Кажется, говорят в основном о Сицилии; эти стены сильно искажают звук, к тому же когда долго стоишь на столе и тянешься вверх, к окну, ужасно устаешь. Немедленно сделать несколько упражнений: пока что сил у меня хватает (хотя живу одним хлебом и водой да профильтрованным сквозь решетку воздухом); до острова, думаю, доплыву.

Ближе к утру

Опять о Сицилии; плевать, пусть себе болтают.

52, 119

Нездоровая погода, испарения с моря и лагуны. В камере сыро, и меня знобит, сижу весь закутанный. В это время года одного одеяла мало.

Позже

Казначей Магон, с лязгом отодвинув засов, гаркнул: «Перепиши, старик!» — и бросил на пол связку счетов и писем: на это я гожусь, умею красиво писать по-

---

[1] Массилия, или Массалия (современный Марсель) с VI в. до н. э. была греческой (фокейской) колонией. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

[2] Аристон Хиосский (род. ок. 275 г. до н. э.) — знаменитый греческий философ-стоик, ученик Зенона; создатель философской школы в Афинах.

финикийски. Впрочем, и мои тетрадки с математическими и геометрическими записями они регулярно забирают, а потом отсылают в Карфаген, проверить, «нет ли там чего полезного». Зато я узнаю названия всех поселков в округе, имена крестьян, даже количество их скота; когда-нибудь при побеге все это очень пригодится (прутья на окнах из мягкого железа; если не торопиться, их можно перепилить простым гвоздем. А я должен еще раз вырваться на волю!) Собаки! Пятьдесят два года держат меня здесь взаперти, и все потому, что мне удалось тогда прошмыгнуть под видом матроса на их корабль и сделать два рейса на север; Туле, Басилиа, Абалус, Ментономон[1]. Здешним торгашам-негодяям на шарообразность Земли, естественно, наплевать, на сбыт их товаров она не влияет — все-таки надо будет с таинственным видом намекнуть этим свиньям, что в Южном море[2] они могут найти новые ойкумены, а если будут все время держать курс на запад, то доберутся до восточной оконечности нашей собственной — до Индии! Кто же не мечтает о пряностях, золоте, доходах? Они хорошие мореплаватели, блистательные техники, им сопутствует удача; но технократы когда-нибудь угробят этот мир!

Итак,

начнем переписывать (как когда-то, в месяц таргелион[3], когда я служил в заведении у Грифия — Массилия, «Рабочая и спортивная одежда»). Живы ли еще старый Софрон и Бык Николаус? И директор Ойкандрос: жесткий, холодный, неплохо образованный, но при всем том — гад без души и характера, не стеснявшийся нацепить на себя значок любой партии, стоило ей прийти к власти. Когда мне предстояла встреча с ним, почему-то всегда мерещились пустые круглые комнаты, безжизненно поникшие птичьи головки и склянки с рыбьим клеем; в жизни я никого так не презирал.

Полдень

Только что закончил; для маскировки оставил на столе перед собой два документа.

Стало жарко; море сверкает синевой и белизной. Какое же ревущее чудище должно быть там, наверху, на небе, если оно способно до такой степени раскалить гигантскую Землю; и все же Евдокс Книдский[4] мечтал жить рядом с ним, чтобы изучать его природу. Если когда-нибудь вас спросят, чем греческий дух отличался от варварского, расскажите спросившему вот об этом. И о том, что я, Пифей[5] из Массилии, уже полвека торчу здесь, в крепости Хебар близ Гадира[6], хотя должен был увидеть север Земли! И даю вам слово: я его еще увижу! Увижу, проскриплю еще хоть пять тысяч лет, лишь бы пережить вас, свиней; и ни одного мало-мальски

---

[1] Туле — остров, расположенный к северо-западу от Британии; Басилиа и Абалус — предположительно два названия одного и того же острова у северо-западного побережья Европы; Ментономон — город в Северной Германии.

[2] Южное море — чаще всего в эпоху античности так называли Красное море.

[3] Таргелион — праздник Аполлона в Афинах и названный в честь него календарный месяц (соответствует второй половине мая — первой половине июня).

[4] Евдокс Книдский (ок. 408—ок. 355 гг. до н. э.) — древнегреческий математик и астроном, ученик Архита Тарентского; в астрономии предпринял одну из первых попыток построения теории движения планет. Его сочинения не сохранились.

[5] Герой рассказа, Пифей, — реальное историческое лицо. О нем известно очень мало: он жил в IV в. до н. э., родился в Массилии, был ученым и мореплавателем, между 350 и 320 гг. до н. э. совершил плавание вдоль западных берегов Европы, по-видимому, впервые обогнул Британский остров (который назвал Британикой) и сообщил первые достоверные сведения о природе и занятиях населения этого острова; он впервые упоминает германское племя тевтонов, с которым столкнулся на юго-восточном побережье Северного моря; имеются сведения о том, что он достиг западного побережья Скандинавского полуострова. Данными из его (несохранившегося) географического труда пользовались во II—I вв. до н. э. Посидоний, Полибий и другие авторы. Действие рассказа происходит в период 1-й Пунической войны (264—241 гг. до н.э.), но девяностовосьмилетний Пифей еще помнит походы Александра (336—323 гг. до н.э.).

[6] Гадир (современный Кадис) — финикийская (позже карфагенская) колония на юге Иберийского полуострова (основана ок. 1100 г. до н.э.). В 206 г. до н.э., во время 2-й Пунической войны (218—201 гг. до н.э.) Гадир был взят римскими войсками, которыми командовал Сципион Африканский.

подходящего для побега случая я не упущу; ни одного!!! (Два ломтя хлеба все еще лежат в тайнике — я только что встал и проверил, — а из разорванного на десяток полос одеяла получится канат; не хватает только напильника или же — ах, да просто любого кусочка стали — проклятие.)

Холодно (мне, по крайней мере; меня знобит).

Сразу же после этого

я задремал (хотя вообще-то такой привычки не имею); естественно, видел себя в конторе у Грифия; Агатон, деревенщина, болтал что-то о сотне синих шалей на продажу и о «задолженностях по поставкам», а я механически вычеркивал заказ из своей карточки (работал тогда счетоводом на складе). Прекрасней всего в этом сне был ясный прохладный воздух летнего утра; все предметы виделись отчетливо и отбрасывали такие тени, какие отбрасывает на белую скатерть просвечиваемый солнцем бокал с вином, — на подобные вещи обращаешь внимание только в молодости.

После полудня

Завтра выдадут новую одежду (то есть меня вызовут к начальству); значит, впервые за последние три года я перешагну порог камеры, пройду знакомым путем до кладовой, потом — десятиминутный врачебный осмотр и снова назад. Какое-никакое, а событие; возможно, на этот раз я что-нибудь найду. Хотя бы новые впечатления.

Небо слепяще-синее и омерзительно безоблачное (лучше уж небо без богов, чем без облаков!).

Ночью

Долго лежал без сна (может быть, разволновался из-за предстоящего дня). — Из продолжительности затмений можно было бы, не привлекая никаких иных данных, вывести соотношение величин в Солнечной системе: самые долгие лунные затмения длятся около трех с половиной часов; поскольку же Луна ежедневно смещается приблизительно на двенадцать градусов, для упомянутых трех с половиной часов ее смещение составит, грубо говоря, полтора градуса, а это означает, что тень Земли в момент такого затмения имеет диаметр, равный трем диаметрам полной Луны. Учитывая несоизмеримо большую удаленность Солнца, мы можем считать, что тень Земли приблизительно равна земному диаметру (на самом деле — немного меньше!), а из этого далее следует, что диаметр Луны равен приблизительно трети земного диаметра, то есть, округленно, двум мириадам стадий. Поскольку же мы видим Луну под углом в полградуса, ее удаленность от Земли исчисляется двумястами пятьюдесятью мириадами стадий и т.д. и т.д. Таким образом, мы можем прийти к удивительным выводам относительно нашего расположения в пространстве; удаленность Солнца от Земли превышает эту величину по меньшей мере в сто раз, многие планеты отстоят от нас еще дальше; расстояние до неподвижных звезд вообще превосходит все мыслимые предположения. Некоторые из них горят гневно-красным светом, другие — голубым, как белужья чешуя; Алголь в созвездии Персея периодически меняет свою яркость и всегда пульсирует в одном и том же ритме. Мы еще слишком мало знаем; однако наверняка в неизмеримых глубинах пространства таятся ужасные огненные драконы, шевелящие пламенными, похожими на коробочки кунжута (точнее не скажешь!) языками и неистово бьющие себя в раскаленную грудь огненными кулачищами, — не надо об этом думать, не надо; мы обречены.

Все еще ночь

Банальный обрывок сна: низкорослый кеглеобразный человек в светло-коричневом балахоне — у него пронзительные глаза, правая половина лица изуродована рубцом — угрюмо протягивает мне пару деревянных сандалий. Естественно, все это навеяно известием о предстоящей выдаче одежды; но часто именно в таких эпизодах снов содержится больше всего смысла; раньше мне уже доводилось убе-

диться в том, что как раз подобного рода чепуха в точности сбывается. Потому что во сне мы действительно прозреваем будущее, из чего следует, что будущее точно предопределено, во всех своих деталях; а это, в свою очередь, означает, что никакой свободной воли нет, то есть в конечном счете получается так: ограниченное (хотя и очень большое) число элементов комбинируется в соответствии с твердыми правилами, а нам (одной из частичек, задействованных в этом процессе) остается лишь констатировать и описывать происходящее.

Ближе к утру меня слегка лихорадило; плохо!

52, 120

Утро проходит; почти полдень; чувствую беспокойство (это понятно, если покидаешь свои стены не чаще чем раз в тысячу дней, так ведь?). В полдень через решетку с шумом влетел кричаще размалеванный желто-коричневый шмель и стал описывать дикие и бессмысленные круги: это чудовище было длиной с мизинец! (Я тут же его умертвил; настиг, с холодным расчетом подкараулив удобный момент, как сама Судьба.) Я ненавижу насекомых первобытной ненавистью; в детстве меня не раз трясло от ярости, когда июньским днем в роще я тихо стоял и слушал, как вверху, в многострадальных древесных кронах, шелестяще чавкают своими челюстями несметные полчища этих мелких тварей — ползают, пробуравливают дырки в листьях, перепиливают веточки, высасывают соки; осы вонзали свои гибкие клинки в тела вздымающихся на дыбы гусениц: и тогда одна пожирала другую. Детьми мы однажды вытащили из глубины — у рифов, что перед бухтой Лакидона, — черную рыбину, которая вся была одной плавучей хищной пастью, сплошь утыканной зубами. С тех пор я знаю: добро есть нечто противоестественное, противное природе богов (и, может быть, даже человека: один лигурийский наемник как-то рассказывал мне, что наверху, на Севере, живут народы, у которых принято перерубать пленным ребра с обеих сторон позвоночника и потом, у еще живых людей, вытягивать наружу легкие — сделав из них как бы крылья; они называют это «вырезать кровавого орла»! И не думайте, что такое бывает только на Севере. Люди и боги могли бы обменяться рукопожатием; они стоят друг друга.)

Охранник

Одежду поменяют только завтра — проклятие!

После полудня потянулись облака; с северо-запада.

Пример Геродота наилучшим образом показывает, что даже великие, образованные, многогранные умы порой впадают в нелепые заблуждения, если им не хватает естественнонаучных — и прежде всего математических — знаний. Он слышал кое-что об округлости Земли, теории, которую за несколько столетий до него разработали и доказали Пифагор, Фалес, Анаксимандр, — и понимал ее только в приложении к нашей Ойкумене! По его мнению, это означало, что Земля в виде круглого диска плавает по поверхности Океана, и он, естественно опираясь на свои глубокие и обширные топологические познания, ополчился против подобных взглядов, торжествуя, доказывал их несостоятельность — и попал впросак! Он ничего в них не понял; прискорбный фарс, и, главное, нам придется сталкиваться с подобным еще не раз. А жаль! Жаркий сухой лоб; руки лениво-вялые и горячие. Собираюсь рано лечь спать.

Ветер разбудил меня среди ночи

Над башней луна золотая пылает; по сказочным пажитям буря гуляет — колдует, недоброе замышляет. Я все кувшины с вином таскаю, а оно плещет — не долито до краю. Приблизился Всадник-Луна с Оруженосцем-Звездой: солдаты быстро попрятались за облачной горной грядой. Вот Облачный остров с проливами, для нас, людей, недоступными, утесами серебристыми, что кажутся неприступными. Там, где растет можжевельник, причалила лодка Луны; над бухтою маленький город видит светлые сны; его покой охраняют горы небесной страны. Но я без усилий, как ветер, лечу сквозь воздушный простор, чрез Облачные ворота вступаю в

Облачный бор; и все следы моих странствий теряются с этих пор. Я буду бродяжничать вместе с облаками.

Как же, размечтался!

52, 121

Серый рассвет, звезды меркнут. Глотнул воды; чувствую себя плохо (от чрезмерного возбуждения?)

Вдруг

Лязг засовов!!! Быстро спрятать тетрадь!

После возвращения

Дрожу всем телом; я...

Пожалуй, мне нужно прилечь (потрогал лоб: все еще горячий! Очень плохо.)

Безумный восторг захлестывает меня, словно танцора на дионисийском празднике; теперь осталось ждать всего неделю, какое там: четыре дня, а может и всего три!!!

После полудня

Главное — сохранять видимость обычной повседневной рутины; никаких перемен. Работать я смогу только в темноте; днем, значит, буду отсыпаться.

Так вот, нынче утром Шаммай (еще более растолстевший) отворил дверь, лениво проворчал: «Коптишь небо, старая падаль? Ты нам недешево обходишься!..» Указал кивком головы и рукой на выход и для убедительности присвистнул. Я вяло поплелся (глупо представляться не в меру крепким и бодрым); преодолел длинный темный коридор (семнадцать шагов); холодную прихожую; свернул под прямым углом влево (восемь шагов); там была нужная дверь. Он втолкнул меня внутрь: три человека враждебно меня разглядывали; я знал из них только Магона, казначея, того, что развалился за столом перед приходно-расходной книгой. Высокий и тощий (наверное, врач) презрительно нащупал кончиками пальцев мой пульс, сдвинул кустистые брови, послушал, коротко спросил: «Возраст?» и, когда я ответил «девяносто восемь», удивленно посмотрел на Магона, который незаметно кивнул. Пощупав рукой мой лоб (ну как, сынок, горячий?), он обошел вокруг меня, приставил толстое ухо к ложбинке между лопаток, и я механически сделал глубокий вдох. Он еще о чем-то пошептался с Магоном; потом недовольно скривил рот и изрек: «Ему ничего не надо. Через восемь дней сдохнет». «Мм — пару сандалий», — пробормотал М. как-то неуверенно и посмотрел назад: там стоял лицом ко мне низкорослый человек, на вид пройдоха, в светло-коричневом балахоне; человек повернул лисью физиономию — и на тебе: широкий блестящий рубец пересекал ее от уха до пасти. Он почтительно, как подобает вышколенному чиновнику, поклонился — и тогда я увидел это! Прямо передо мной на каменных плитах пола лежал маленький стальной полумесяц, из тех, что носят солдаты на своих кожаных сандалиях, стершийся от времени, но сохранивший светлый и резкий блеск. Человек бросил мне деревянные сандалии, я нагнулся с нарочитой неловкостью, поймал на лету одну, повернувшись, ухватил вторую, уже ощущая в руке прохладу металлической подковки, и, спотыкаясь, вышел (на обратном пути я шагов не считал. Впрочем, говорить об этом излишне).

Час спустя

Подковка превосходная: крепкая, как лезвие ножа, длиной с большой палец и отлично закалена. Я перепилю оба прута внизу, а потом попытаюсь отогнуть их вверх. Если не получится, перепилю и сверху. У меня самая настоящая лихорадка, да и сердце стучит как барабан: сначала придется плыть к острову, примерно пятнадцать-двадцать стадий, то есть два-три часа — но я пока чувствую себя достаточно сильным, приседал же я сегодня. Там, на острове, две усадьбы, значит, должны быть и лодки; возьму одну и доберусь до материка, и так далее, и так далее.

Лучше всего, если бы удалось сейчас заснуть.

Вечером

Не могу спать, не могу. Эти сумерки бесконечны!

Перед глазами проходят целые картины, все слева направо и очень быстро: колышущиеся хлебные колосья, тяжелые и пронзительно-золотые; движущиеся вереницы телег; невнятные выкрики из зияющих солдатских глоток; стремительный пенный след на воде; по левому борту скользит, нескончаемо-зеленый, берег Британики, и разве не мы сами, молокососы, орали «Смерть тимухам», освещаемые полной луной?

Руки кажутся нечувствительными и неприятно-теплыми — раньше я ощущал их такими, только когда бывал сильно пьян. В сумеречных далях все еще не видно ни одной звезды. Ну что же: придется еще какое-то время поиграть с легкомысленными перистыми облаками.

Ночь

и в неутомимых пальцах кусок металла: дело движется! Медленно, конечно, но движется (собственно, пилить можно будет лишь через несколько минут, когда ночной патруль отойдет подальше; как только слышится двойной перебор неторопливых шагов, я вынужден прекращать работу. Кожа на большом и указательном пальцах уже стерлась и покрылась волдырями, но я продолжаю!).

Спустился вниз (пауза)

Когда я был молод, луна представлялась мне плодом с пенно-шелковистой мякотью и зазубренной серебряной косточкой в середине — плодом, висящим в переплетении усиков и извилистых стеблей. Сейчас посреди моей камеры застыла куском стекла световая лужа: была бы она круглой, я бы уплыл на ней, как на глыбе льда, в черную бесконечность, подгоняемый молниеносно-быстрым течением, словно последний человек на Земле (или первый: интересно, что хуже?). Пора взбираться на стол и приниматься за работу!

Над вершиной горы Матос появилась Утренняя звезда

Один
прут
уже
перепилен.
52, 122

Два часа провалялся, закутанный в одеяло; потом, чтобы не привлекать внимания, все-таки сел за стол. Голова лежит на ладони (тяжелая, как метательное ядро). Попытаюсь сэкономить еще кусок хлеба; надеюсь, до вечера рука более-менее оживет, и я смогу ею работать (или придется перепиливать прут слева направо; собственно, а почему бы и нет?).

Быстро накорябал в «официальной» тетради несколько формул, о навигации на большом круге и т. д. (им всегда требуются «прикладные» науки: тоже очень характерно для варварского духа). Хотя, если быть справедливым, не только для варварского: в этой связи можно вспомнить о судьбе моей книги про периоды. Одному издателю она показалась слишком длинной; другому — излишне смелой в своих философских выводах (я там кое-что ввернул против государственной религии); у третьего подошли к концу запасы папируса; четвертый хотел напечатать, для любителей сенсаций, только рассуждения о крайнем Севере — в виде своего рода милетских новелл (был, кстати, в восторге: как же, влияние Луны на движения Мирового океана! Подобные темы всегда его привлекали!) — в конце концов я позволил Диагору сделать копию книги для себя лично, «первое и единственное издание в двух экземплярах», после чего опять, на свою беду, отправился в Гадир. Думаю, немногое из «Периодов» сохранится для потомков; плевать: и без того в мире больше книг, чем глаз, способных их прочесть.

Стук отворяемого оконца

Ах да, вода и ячменный хлеб. Плюс к этому всегда свежий воздух и днем, без ограничения, свет. Ладно, теперь уж ждать недолго! — между прочим, многие бы еще спасибо сказали (мой папаша, к примеру, когда служил в Массилии, постоянно твердил: другим живется гораздо хуже! Глядя, с какой жадностью я, подросток, глотаю пищу, он всегда недовольно ворчал: «Погоди, когда-нибудь у тебя не будет чем набить брюхо!» Правда, сам спускал две трети жалования в портовых кабаках — с гетерами самого низкого пошиба. Да уж, мои родители, вообще родители... Это особый разговор!)

Ощущение, будто спина восковая и по ней струится ледяная вода; я болезненно возбужден (что неудивительно). Сегодня даже болтовня дозорных кажется раздражающе громкой; проклятые скоты. Надеюсь, веревка из одеяла выдержит, если разрезать его на десять полос; восемь полос, конечно, было бы надежнее, принимая во внимание ветхость этой дерюги, но высота внешней, обращенной к морю стены не менее тридцати стоп; в случае чего можно будет подвязать плащ.

Поем немного; мне нужны силы для предстоящего побега (и, главное, для теперешнего ожидания — с каким комфортом это свинорылое солнце развалилось в студенистой облачной луже!!! Хоть бы вспомнилось какое ругательство покрепче, чтоб тебя притушить: в Туле один северный варвар употреблял словечко «скрамасакс» — выговаривается трудно, как все языческие слова, но зато слух режет потрясающе; попробую? Ну да! Хоть руками отгоняй его прочь — подальше в туманное марево! Уф!)

Ненавижу

Аппий Клавдий Каудекс. Квэкс, квэкс. Консул Аппий Клавдий. Чушью занимаюсь; нервы расшалились, как у новиция в Элевсине: хватит, пора к окну; все услышанное может пригодиться!!!

Факты таковы

Карфагенская пехота под водительством (некоего) Ганнона[1] при Регии[2] — или при Мессане[3]: упоминались оба названия — была наголову разбита римлянами. «Консул» значит что-то вроде «суфета»[4] (а «каудекс» что значит — «высунь хвостик»[5]?! Хорошая кличка для здоровенного негра; правда, я латынь знаю плохо; мне больше нравится переводить «каудекс» как «готовый сгореть»[6] . Все шутишь, Пифей!)

Жду у окна

(вместо того чтобы отдохнуть!) И сердце стучит, как копыта рысака; но солнце наконец закатилось за ограду.

Тело ощущает себя каким-то грибом: будто я могу осторожно зажать его в кулаке и раз — (все что угодно, начинающееся с «раз...»); правая рука вроде опухла в суставе (может, я потому так копаюсь в своих ощущениях, что слишком долго не было никаких других объектов для наблюдения — только я сам да еще пара звезд. Надеюсь, что дело в этом; потому что болезнь — о ней лучше не думать. А сейчас еще ветер ворвался в окно, издевается надо мной).

---

[1] Ганнон Великий — карфагенский наместник Ливии (ок. 240 г.). Своей жестокостью вызвал восстание наемных войск («Ливийскую войну»). Противник Ганнибала; в годы 2-й Пунической войны — сторонник капитуляции перед Римом.

[2] Регий — греческая колония, порт на италийском берегу Мессинского пролива.

[3] Мессана (современная Мессина) — греческая колония в Сицилии. 1-я Пуническая война началась с того, что италийские наемники греческого города Сиракузы захватили Мессану и, разделившись на две партии, обратились за помощью одновременно к Карфагену и Риму. Карфагеняне уже владели Мессаной, но наемники передали город римлянам, которые после этого успеха, по словам Полибия, «вознадеялись даже совершенно очистить остров от карфагенян и тем усилить свое могущество».

[4] Суфет — высокое должностное лицо в Карфагене.

[5] Латинское слово *cauda* может переводиться как «хвост» (животного) или «мужской член».

[6] Лат. *caudex* означает «бревно, чурбан» (в том числе и как ругательство).

Комната постепенно погружается в темноту; еще полчаса.

Размытые силуэты барок на море: их шесть (в том месте, где бьют холодные ключи!), вместительные грузовые посудины с серебряными парусами. Мне бы увидеть кого из капитанов, уговорить отправиться на север, и в путь, нахлобучу на голову ветер, как войлочную шляпу.

Еще пятнадцать минут.

В плену я с самого детства: неотесанные родители, чьи мечты никогда не подымались выше приличной обстановки для гостиной и одежды «как у всех»; вусмерть изработавшиеся, известково-серые учителя; бедность окружала меня, как нестроганый дощатый забор; потом полурабская служба в Грифиевой костедробилке; потом много лет принудительная солдатская лямка и безумие массилийской войны; потом побег с переодеванием к финикийцам, вечная угроза, что примут за шпиона и убьют, каторжный матросский труд: день-деньской гнешь спину и все-таки (ты ведь ученый!) украдкой бросаешь ненасытные взгляды на проплывающий мимо берег Британики — а пустотелая деревяшка выгибает бока. Как мыслитель неизвестен или презираем; хор греческих философов обозвал меня «Филопсевдесом»[1]; жизнь стесненного в средствах частного лица; а потом в довершение всего эти последние пятьдесят два года: «Попробуйте сами жить ради Истины! Вы обязательно будете вознаграждены!» Все, пора: давай, сталь, вгрызайся в железный брус!

Как молоток

стукнулся подбородок о тощую грудь: прут наконец прогрызен. Я тут же рухнул на стол бесчувственной грудой костей, замотанных в грубую холстину; только голова, сама по себе, все еще парила, коварная и неутомимая, над столешницей (я видел, так покачиваются головы гадюк — малейший шорох, и старые змеи просыпаются); потом опустилась и она, покрытый снегом спящий вулкан: с быстротой молнии полетел Пифей, юноша, в горячечный сон!

Опередить преследователей. Через высокие гулкие залы устремились они в погоню. Стены красного мрамора с матово-желтыми прожилками, без видимых зазоров между плит; часто расставленные группами по нескольку штук вазы в рост человека, тулова которых оплетены спускающимися из горловин вьюнками; статуи обращали ко мне свои высокомерные обезьяньи морды; крылатые быки с подстриженными клинописными бородами и ассирийскими ликами; на круглых лбах, мнилось, начертаны тайные письмена, но знак мне дарован не был. Только задев треножник и услышав звон, я заметил, что сжимаю в руке стальной ключ в форме иероглифа «анх»[2]; выхватил из-за пазухи потемневший ломкий папирус и на бегу прочел осыпающиеся, ветхие золотые буквы: впереди, через одну залу, меня уже караулило охочее до крови карфагенское отродье. Я откинул раздувшиеся занавеси (они прикрывали пилястр), повернул четырехгранный стержень ключа в восьмой розетке лотосового фриза и проскользнул сквозь стену, которая милосердно расступилась: порфир снова беззвучно сомкнулся за моей спиной. Я задвинул железный засов и остановился перевести дух в узком, как трещина, проходе; круто вниз уходила мраморная лестница, шелковисто-серый тусклый свет беззвучно наполнял шахту. Я нашел в свитке новое указание и стал осторожно спускаться; после восьмидесяти трех ступеней «анх» опять отворил стену. С трудом я протиснулся в узкую дыру у самого пола, тщательно закрыл отверстие каменной пробкой и, заложив ее поперечным брусом, поднялся на ноги в залитом золотистым светом квадратном помещении. В стены были вделаны высокие плиты из камня мягких тонов, покрытые письменами на арамейском, халдейском, персидском... Иероглифы об-

---

[1] Филопсевдес — любящий мнимое (*др.-греч.*).

[2] «Анх» — египетский иероглиф со значением «жизнь»; по форме напоминает значок для обозначения карточной масти «трефы» (с удлиненной нижней частью).

ращали ко мне соколиные свои головки, и, пораженный, я прочитал рядом с ними две светло-коричневые греческие строки:

... Вечер. Распахнуты окна. Плывут облака неустанно.
Дева кувшин наклонила над мраморной чашей фонтана...

Потом папирус повлек меня дальше; снова я пробирался по освещенным пустым комнатам, проникал за каменные квадры, бесшумно и мгновенно сдвигавшиеся в сторону; все глубже вниз ввинчивались лестницы, как бы приглашая меня следовать за их изгибами; все больше становилось боковых помещений, наполненных всякими диковинами, которые я видел только сквозь дверные проемы: картинами, свитками, сосудами, другими творениями человеческих рук и ума (чтобы рассмотреть их, не хватило бы целой жизни). Но я не отклонялся от своего пути; я уже давно сбежал по винтовой лестнице, долго и упорно вглядывался в немой узор каменной кладки, пока наконец не обнаружил слева на высоте своей головы косой четырехугольник с загнутой внутрь вершиной, вновь вставил ключ, шесть раз повернул его, вновь прошел под мраморными сводами и очутился на крошечной каменной площадке, прилепившейся к стене, вдоль которой тянулся узкий канал — бесконечный и мрачный, он уходил куда-то вдаль. На совершенно неподвижной и темной, но шелковисто-блестящей воде слегка покачивался челн из черного дерева, в который я незамедлительно прыгнул; надежно и легко легло в мою руку весло. Возбужденный и подавленный благоговейным чувством, я заскользил по каналу меж черными гладкими яшмовыми стенами (на которые изредка падал откуда-то сверху светлый луч), непропорционально высокими; их перекрывал неумолимо ровный потолок. Проходили часы; меня все больше угнетали тишина и замкнутость этого геометрически правильного пространства; влево под прямым углом торжественной нескончаемой чередой отходили одинаковые каналы; в любом месте я мог нащупать веслом, на глубине не более человеческого роста, плоское дно. Один раз я отворил в нише левой боковой стены длинную узкую дверь и, пригнувшись, протиснулся в проход; каменная плита встала на место, и я оказался в полной темноте; затем я до изнеможения долго спускался на бурлящей водяной подушке вниз, во второй лабиринт, похожий на первый; углубился в него, лавировал, молчал; безысходность сомкнулась вокруг Пифея, Пифея, Пифея...

Уже вторая половина дня (значит, 52, 123)

Проклятая неосмотрительность: я все еще лежал на столе! Надеюсь, никто меня не видел. Взял тетрадь в руку, будто в задумчивости, и расхаживаю туда-сюда, время от времени прислоняясь к стене, якобы погруженный в размышления (на самом деле я полирую чудное стальное лезвие; оно должно быть достаточно острым, чтобы я смог быстро разрезать шерстяное одеяло, — полагаю, восьми полос хватит; на остаток я использую плащ, все равно в нем плыть неудобно).

Если бы только не было этой гадкой дрожи; первый раз в жизни чувствую себя «дряхлым» (что неудивительно, принимая во внимание ночную нагрузку для мускулов. Лучше, пожалуй, сяду).

Все еще день

Я тут же снова задремал — сидел в Массилии в тесной темной кухне с родителями, у деревянного стола; они ссорились, переругивались; отец прямо-таки кипел от негодования, с напыщенным видом отдавая мне, взрослому мужчине, какие-то нелепые распоряжения, страшно выкатывал глаза, кривил рот, изрыгал грубую солдатскую брань; я этого не спустил и рубанул ему прямо в круглую скандальную морду нечто такое, что он сразу замолк, совершенно сбитый с толку, сник и сидел смирно, будто штаны потерял, хм?! Я проснулся и снова испытал, как прежде в подобных случаях, восхитительное чувство гордости и облегчения, освобожденно рассмеялся, запрокинув голову (ничего себе было детство у этого Пифея. Да и сам он вырос малый не промах, а?!).

Руки так и чешутся, как взгляну на прутья решетки: смогу ли их отогнуть? Если да, то я исчезну уже сегодня ночью. Выпью-ка я остатки воды (или вылью на голову: она как огненный шар. Так назывался кабак в Афинах, возле библиотеки, — «У большого огненного шара»; хозяин с непоколебимой уверенностью рассказывал всем посетителям, что когда-то в этом доме останавливался Гомер; с тесного двора видно было окно комнаты с «мемориальной табличкой» внутри!).

У меня больше нет терпения, чтобы спокойно думать о чем-то, никакого терпения.

Все-таки как грамматики пóшло и нелогично мыслят, насколько они неотесанны в философском плане: называют «я был» первым, или несовершенным прошедшим временем; «я имею быть (сделавшим то-то и то-то)» — вторым, или совершенным (а «я имел быть (...)», что еще куда ни шло, — третьим, или сверхсовершенным). Между тем объяснить всю эту систему так просто: у человека есть три временных плана переживаний — неопределенное будущее («я буду»); интенсивное, но очень тесно ограниченное настоящее («я есмь»); богатое воспоминаниями, наполненное образами, гарантированное, а потому многоступенчатое прошлое («я был» и проч.). Это «я был», собственно, и является формой замкнутого в себе, уже не воздействующего на настоящее, прошлого, то есть «совершенного» прошедшего времени. Напротив, «я имею быть (...)» (как со всей очевидностью следует из факта включения в эту конструкцию формы настоящего времени «я имею»!) представляет собой самое недавнее, еще полностью связанное с настоящим и воздействующее на него прошлое! (Пример: я врываюсь, не успев перевести дух, в комнату к другу и спешу сообщить ему: «Послушай, намедни имею я быть пришедшим на агору[1]...» и т.д.); то есть это как раз и есть «первое», «недавнее», еще «несовершенное» прошедшее время! А дураки грамматики только на основании более сложного устройства этой формы сделали тупоумный вывод, что она выражает большую временную отдаленность события!!! Наверное, должно пройти не одно тысячелетие, прежде чем из учебников исчезнут подобные ложные понятия.

Красивый долгий закат

(которому нет конца! это все глупости, можно подумать, я хоть что-нибудь о чем-нибудь знаю!)

Сначала полежать минутку-две: я вдруг перестал чувствовать, покоится ли моя правая рука на груди, или она вытянута вдоль тела, или — всякое ощущение мускулов пропало.

Появились звезды

Да! Да!!! Они отгибаются! Внутрь и вверх (правда, старый стол нестерпимо заскрипел, когда я подставил плечо под свободный конец и с силой стал отжимать прут). Теперь разрезать одеяло и плащ и связать полосы.

Хорошо; стоп. (Остаток плаща я потом намотаю на голову; взять хлеб, стальное лезвие, свою тетрадь.) Веревка обернута вокруг туловища. В проеме окна я смогу сесть на корточки.

Спокойно!

Спокойно!!! Как долго сегодня двое караульных обходят один круг: четыреста восемнадцать ударов пульса — во второй раз четыреста семьдесят (или сердце бьется быстрее?) Еще раз посчитать. Проход внизу довольно узкий, неполных две сажени; напротив почти на высоте окна внешняя стена крепости. Я должен попытаться из положения на корточках одним прыжком перемахнуть туда; потом спуститься вниз к морю.

Спокойно: они возвращаются: четыреста девяносто, девяносто один, девяносто... Ладно.

Теперь еще досчитать до ста; потом прыгать.

---

[1] Агора — торговая площадь в греческих городах, место народных собраний.

Теплая; вода будет теплая. Сорок. Бороду мог бы и обрезать. Будет мешать; вся пропитается влагой. Пятьдесят. Веревку нужно будет обмотать вокруг камня, завязать и утопить, иначе они — шестьдесят — сразу нападут на след. Первые две-три стадии плыть совершенно бесшумно — семьдесят — лучше под водой. Надежно ли я закрепил веревку на прутьях? Восемьдесят. Осторожно выдвинуться вперед: подушечки пальцев на ногах должны упираться в самый край. Девяносто. Руки рядом со ступнями, чтобы оттолкнуться. Оттолкнуться: Сто!!!

Остров и полночь

(и свобода!!!). Однако легкое сердцебиение. Покрытый шрамами серебряный шар в зените, обтекаемый облаками.

Прыжок вполне удался: я упал грудью на верх стены, подтянулся, нащупал середину веревки, зацепил ее за ближайший зубец и спустился вниз, держась за двойной канат; когда я встал на галечную осыпь, оставались еще лишних две стопы. Наверху снова протопали часовые — только бы они не подняли глаза, почуяв неладное, на полуоткрытую бойницу — мне пришлось засунуть кулак себе в глотку, чтобы сдержать бешеную злобу! Потом противный фальцет сладострастника прогнусавил: «Сегодня ночью или никогда...» Я кивнул, пригасив огонь в глазах, и криво ухмыльнулся: все проделано отлично! Я действовал не хуже Симболлека из четвертой филы! Затем дернул за свободный конец; тряпичный канат шурша упал вниз; я обмотал его крест-накрест вокруг большого камня, взял камень под мышку и шагнул в море, сразу погрузившись в воду до подбородка (вполне терпимая вода; правда, я от такого отвык). Я отпустил глыбу, еще раз проверил направление на остров и лег на воду плашмя, как щепка. Дело пошло; руки и ноги сразу поймали давно забытый ритм (сначала медленный, медленный...) Да, я еще не разучился плыть равномерно и красиво. Но длилось это чересчур долго; мне часто приходилось ложиться на спину, я задыхался и сплевывал воду (прямо в три тысячи звездных рож); потом, переворачиваясь, снова вытягивался ложечкой, начинал двигать ногами. Наконец черные очертания острова приблизились, я нащупал каменистое дно, вода меня больше не несла, и я с трудом потащился через прибрежную полосу песка к кустарнику.

Это было около часа назад; теперь нужно взять себя в руки и заняться поисками лодки.

Ярчайший лунный свет, сквозь чешую облаков

Несмотря на спешку, я наслаждался ароматом кустов (какой контраст со спертым воздухом моей клетки!). Вторая усадьба вроде побольше первой — и побогаче; окруженный изгородью сад, цветущий горошек (и лук, восковые бобы) в лунном свете (надеюсь, у них нет собаки!) В ночном (полном духов!) фруктовом саду колышется развешанное на веревках белье (сплошь женские тряпки; ничего для меня). Обрамленная кустарником тропинка спускается к берегу, надеюсь, к мосткам и лодке. Проклятье:

Там вроде кто-то шепчет; впереди?

Он сказал

«Послушай, я всегда этого ждал! Всегда! Чего ради я оставался бы у равнодушного Сиалтиэля, если бы не хотел видеть тебя! Твои волосы, твои глаза, твой рот...» Он замолчал и нерешительно поднял руку, с трогательной неловкостью коснулся ее кудрей, повторил глухо: «Твои волосы», неуловимым движением дотронулся до ее правой брови после слов «Твои глаза»; потом рука упала вниз, и я скорее угадал, чем услышал: «Твой рот...» Она улыбнулась насмешливо и растроганно, лукаво запрокинула свое лунноцветное лицо, и ее расширившиеся темные зрачки устремили взгляд высоко поверх его головы, туда, где небожителей череда по мраморным перепутьям бредет, не оставляя следа. (Да, и лучше вам немного поторопиться, почтеннейшие; иначе великий бог Аксиокерс сыграет с вами злую шутку; я

стою в кустах, десять шагов отделяет меня от вас и вдвое большее расстояние — от лодки, в которой он, возможно, и появился, желая, чтобы его почтили. И я мерзну, как молодой пес! Ах, второй акт — только бы он оказался последним...)

Она провела рукой по волосам

и сказала рассеянно: «Уже поздно, Бостар; ты должен спешить».

(Да, надеюсь, он последует этому совету!) Ее профиль стал более решительным и настороженным, более твердым; она небрежно придвинулась к нему вплотную, вызывающе вздернула подбородок, дугою выгнула брови и, недобро усмехнувшись, подставила губы; она не смотрела на него, просто ждала — и тогда он наконец потянулся к ней! (А я скромно опустил глаза долу: почему бы мне хоть раз не поступить, как подобает мужчине?) Она с облегчением вобрала в легкие воздух и вывернулась из его рук: «До завтра», пружинистой походкой пошла по гравийной дорожке назад к дому, легко, как перышко, перескочила через старую изгородь, на прощанье махнула еще раз рукой и проскользнула в дом. Он скрестил руки на груди, провожая глазами дивное видение, — тогда я занес кулак с зажатым в нем камнем... (юноша был как раз моего роста).

Я придвинул губы к светлому пушку его бороды

(«и о вещах неслыханных шептали уста бородатого мужа едва опушенной щеке» — это не обо мне, так, вспомнилось когда-то прочитанное...) Я же — всего-навсего — шепнул следующее: «Мне нужны только твоя одежда и две золотые монеты. Ничего более». И снова наклонился над ним: «Да, еще одно: дальше поцелуев не заходи, если не хочешь беды. Слышишь, счастливчик?» (Все ж таки не удержался, ввернул про «неслыханные вещи»!) Он застонал, но кивнул (а шишка в его возрасте исчезнет через три дня).

В лодке

Пурпурный плащ выглядит роскошно, придает мне внушительный вид; и я наконец по-настоящему согрелся. Вишь ты: белым платочком машут из окна дома — чего же мне еще желать?! Я с достоинством — положение обязывает — шевельнул в ответ своей левой бледной рукой: итак, все участники недавней сцены довольны.

А теперь за весла! (Хлеба неплохо бы раздобыть.)

Искьерда (гнездо турдетанов[1]*)*

Светлеет на востоке, розовое на сером. (Уже 52, 124 — или нет: Нет! 0, 1!!!)

Усадьбы раскинулись на побережье, некоторые — выше по склону. Но мне придется сначала подняться в горы, вверх по почти отвесной стене, чтобы они потеряли в лесу всякий след; потом переодеться, и в гавань, в Гадир — на всякий случай покрасить волосы в черный цвет; ясное дело! — потом наймусь на корабль, что идет к северу; и дезертирую в Ментономон, исчезну в сияющих лесах, в залитых солнцем просеках, как пылающий Фаэтон, мой брат (он небось и дряхлому родственнику был бы рад).

Ноги затекли — наплавался и насиделся; но теперь пора — подъем.

При переодевании

Я пересек прибрежную улицу и по отходящей от нее тропе быстро поднялся к самому дальнему двору. Росинки покачивались в траве, розоватые (ржавые) на матово-зеленом; стоял собачий холод. Как я и ожидал, деревенские работяги уже проснулись: старик отец со смиренно склоненной головой, рядом с ним три дюжих сына-сыровара; лоток с маслом охлаждался в воде, круглые сыры были уложены рядами (у меня слюнки потекли — я бы все это лопал, пока пузо не треснет!). Я с холодной доброжелательностью приблизился к ним в своем роскошном наряде, коротко спросил, как их зовут, снисходительно пошутил, со скучающим видом оглянулся (песье мое счастье! Край солнца уже показался над холмами —

[1] Турдетаны — племя, жившее в Испании.

надо спешить). Потом вдруг оценивающе оглядел старшего из оболтусов, деланно рассмеялся и предложил: «Послушай, поменяемся на сегодня одеждой, а?!» Сунул ему большую золотую монету и с нетерпением благородного вельможи кивнул в сторону амбара. Он не понял; отец толкнул его и шепнул короткую фразу на тягучем иберийском диалекте: «Давай, ступай с ним!»

Готов

А крепкая эта хламида из грубого синего льна! (За дверью старик тихо сказал: «Он небось из высшего сословия, из судей — у господ свои причуды, нашему брату не понять». И, не выражая никакого недовольства, направился к сараю с инструментами, стал с шумом рыться в своей рухляди.) Я прихватил короткий кинжал, отрезал и положил в мешок половину крестьянского сыра, сверху два куска плотного масла, мешок завязал веревкой и перекинул через плечо. Когда я, ухмыляясь и дожевывая, вышел наружу, плоская солнечная голова, налитая кровью и еще не вполне проснувшаяся, уже вальяжно покоилась на голых холмах (сейчас они там, в Хебаре, все обнаружат при утреннем обходе...). Я крикнул, как бы между прочим, в трухлявое старческое лицо (интересно, чту бы они сказали о моем собственном?): «Поберегите мои вещички — после полудня я за ними пришлю. И...» Я скорчил наигнуснейшую финикийскую гримасу: «Никому ни слова! Кто бы ни спрашивал!» (Беззубая собака не посмела ухмыльнуться — нет; он только дотронулся до шляпы, так-то.) Теперь бы только перемахнуть через изгородь половчее.

Передышка через три часа (шикарная — на верхушке дерева)

Я едва успел углубиться на двести шагов в молодую рощу пробковых дубов, как меня будто толкнули в спину — туп, туп (звук доносился совершенно отчетливо с моря, с расстояния в триста стадий, барабанная дробь, сигнал тревоги; ну да, ведь сейчас утренний штиль), лубб — дуп, туп, туп. Они уже бегут по проходам. Я тоже бежал между искривленными, застывшими в неподвижности древесными стволами вверх, в гору. («Даруй нам легкий путь, о камень серый, твердый...») Через десять минут я оглянулся: тонкая борозда на море!

Посчитать. До Гадира (чтобы сообщить о бегстве и взять ищеек) час с четвертью; назад в камеру, чтобы собаки взяли след: час; до острова: полчаса; найти след и того парня, на которого я напал: четверть часа; сюда, на материк: полчаса; найти и взять след: полчаса. Итого, у меня форы четыре часа. Значит, в ближайшие два часа я должен как можно скорее карабкаться на гору.

Чтобы они потеряли след, я сразу же вошел в прохладный, чистый как стекло горный ручей, который протекал слева от меня. (Прохладный? Эта навозная жижа оказалась ледяной!) Я стоял и смотрел (а ноги коченели), смотрел вниз, содрогаясь от отвращения, но надо было идти. Я выдержал час; потом ухватился за ближайшую крепкую ветку, нависавшую над ручьем, подождал, пока стечет вода, и полез на дерево. (Я высушил, размял, растер ноги, теперь на них падает солнце: но они потеряли всякую чувствительность! Жуткое дело!)

Смотрю вниз

Они все еще движутся: лососи, их миллионы. Вода так и кипит (и привкус у нее рыбный!). Над поверхностью возникают спинные плавники, сами спины; всплеск, и они переворачиваются на плоскую сторону, то правую, то левую. Рыба теряет свой блеск, темнеет, становится зеленовато-серой, чешуя на брюхе стерта; выныривают окровавленные плавники, появляется вся нижняя половина тушки, темная, сине-красная, потом она становится иссиня-черной, поднимаются израненные бока; смотреть на это мерзко, как на незаживающие цинготные язвы на телах голодных животных, — сырая губчатая дикая плоть. Мириады голов, странно горбоносых, с зияющими пастями и мощными зубами. Груды рыбьих трупов гниют в лужах — о боги!

Вы, собаки!!!

Я отрекаюсь от того, кого именуют Богом, — что бы под этим ни подразумевали! Кем бы ни был Творец или Верховный правитель Вселенной! (Дерево колышется подо мной, так сотрясает меня безумная мятежная ярость!) Видите это, вы, чванящиеся своими молитвами раскормленные свиньи?! Таков последний итог вашей тошнотворной мудрости?! Так значит, это и подобное этому допускается в мире, сотворенном вашим Драконом?! Я проклинаю вас, изверги с проповедями на устах: и призываю к бунту против вас! К мятежу добра против Природы и Бога: я обращаюсь к молодым всего мира! (Впрочем, такое обращение уже звучит в Олимпии: как призыв состязаться в прыжках и бить друг другу морды! — У, у!)

Осенний туман опустился

на светлый полдень; теплый и густой, зеленоватый от смазанных силуэтов растений: теперь вы меня не найдете. Живее! Пифей!

Высоко справа конус горы кажется чудовищно неустойчивым.

Вечером

начинается буря.

Я давно обогнул гору: внизу раскинулся Гадир с его прямыми улицами и стаями голубей над предместьями.

Восемь судов стоят на якоре в главной гавани, покачиваясь на волнах; два из них — с острова Эритрея; черный, тот, что слева в первом ряду, далеко внизу подо мной (в часе ходьбы отсюда): там я и попытаю счастья. Для начала. Сегодня рано стемнело.

Последние сумерки

Мглистый сырой ветер захлестывает гору, воет, катится над стонущими лесами. Я глубоко втянул в легкие воздух и, ни о чем не думая, счастливый, с хрипом выпустил его наружу: на свободу. Широким шагом двинулся сквозь туман: на свободе! Сверху в облаках что-то грохнуло; капли дождя застучали по лбу; сердце бешено колотилось: свобода! Мои поросшие седым волосом ноги выделывали танцевальные фигуры: свобода! Свобода! Я больше не служу у Грифия; далеко позади осталась тюрьма! Я, Пифей, обрел свободу и шагаю по облакам!!!

По шею

кто-то высунулся из расселины скалы и недоуменно уставился на мой орущий рот: я замахнулся кинжалом — прочь с дороги! Думаешь, я позволю себя провести?! Давай, вали отсюда!

Пока буду спускаться с горы к берегу, мне еще достанется от бури (а ноги уже как лед! Проклятая утренняя прогулка по руслу ручья!) Лубб-дуп, лубб-дуп (на этот раз стучит мое сердце).

На берегу

С содроганием провел подковой вокруг подбородка, отбросил срезанную бороду, лихо сдвинул шапку набекрень: чем не молодой матрос?

(Надеюсь, они меня все-таки возьмут, я не покажусь им полной развалиной, проклятье, сейчас все решится!)

Пора, Пифей, тянуть время бессмысленно (корабль совершенно черный).

«Эй! Хозяин!»

Он подошел к поручням, высокий (и тощий), в черном развевающемся плаще, с длинным бледным лицом (не финикийского типа!). Я крикнул сквозь шум воды: «Вы зайдете в Ментономон? Вам не пригодятся лишние руки?» Он утвердительно кивнул на оба вопроса и молча указал на доску, по которой я молодцевато поднялся на борт, после чего нарочито сильно хлопнул его по плечу.

Почему они сразу же стали отчаливать?

Может, они таким образом хотели меня поймать? Я на всякий случай зажал в кулаке кинжал и враскачку, широко расставляя ноги, двинулся вперед...

Вздымается вверх и снова опускается

форштевень! И я покачиваюсь вместе с ним. (Уже совсем темно; вынужден прекратить писать.)

Вот оно, счастье! Пифей, ты — дитя на коленях волн! Меня подбрасывают — меня роняют вниз!

Меня подбрасывают —

Ночь сгущается.

Ничего больше не вижу.

***

Гискону, великому суфету, суфету моря, моему господину, так говорит твой раб Абдихиба, милостью твоею комендант крепости Хебар близ Гадира: к твоим ногам я припадаю семижды семь раз, я буду точно следовать твоим повелениям, я буду строить твой храм, я буду исполнять твои приказы. Пусть у тебя, господин, все будет благополучно; твоему дому, твоим женам, твоим сыновьям, твоим вельможам, твоим лошадям, твоим боевым колесницам, твоим землям пусть будет даровано много, много благополучия. Да ниспошлет Молох еще больше силы твоим кулакам, чтобы они, как скалы, отражали разбойных римских собак.

Облава на горных львов, относительно которой ты распорядился, была проведена; наш дневной рацион состоял из хлеба, вина и вареного мяса, не считая горных козлов, которых ловили для меня, и того, что добывали мои собаки.

Подати селений поступают регулярно: пятьсот шекелей серебра приготовлено для тебя, восемьдесят мотков кожаных веревок и бычьих сухожилий — для лучников. Меня оклеветали перед моим господином, обвинив в том, что я вовремя не доставил метательные ядра для твоих наемников с Балеарских островов: знай же, что у меня не хватает ремесленников; однако почти десять тысяч ядер уже готовы. Ты только прикажи: должен ли я все это прямо сейчас отправить в Дрепанон или в твой карфагенский арсенал?

Дозволь мне повысить в звании солдата Хаккадоша; он проявляет усердие, способности и рвение в делах службы; кстати, ему принадлежит главная заслуга в том, что прошлой весной нам удалось найти и изловить разбойника, который воровал животных из твоих здешних стад. Он немного умеет писать и, как должно, чтит богов.

Два дня назад сдох, наконец, тот нечистый, необрезанный, обуза для всех, которого нам, из неясных соображений, с незапамятных времен вменили в обязанность кормить. Он так и остался сидеть за столом и уже начал вонять; на нем не было никаких ран; в левой руке он сжимал старую металлическую накладку от сандалий; дорогое одеяло эта собака разодрала на полосы, как и свой плащ; свою бороду неверный отвратительно обкорнал: ему было около ста лет. Я посылаю тебе, как всегда, то, что он написал. Мы выбросили старую падаль в море. Не забирай у меня больше солдат, мой господин; иначе эта область не будет принадлежать моему господину, ведь иберы опустошают всю округу; тех, кого удается поймать, мы отсылаем в цепях на серебряные рудники. Так пишет тебе Абдихиба, раб рабов у ног великого суфета; я касаюсь ступеней твоего трона моим недостойным челом, моя спина да будет скамеечкой для твоих ног; располагай мною и моим домом, моими женами, моими дочерьми и рабынями, моими сыновьями, моими рабами, моим скотом, моим имуществом — располагай всем, о возлюбленный Молоха, о отрада для праведных, о мой господин!

■

ЛИТературный гид

ГЕРТРУДА СТАЙН,

или

Американка в Париже

КЛОДИЯ РОТ ПИРПОНТ

Мать утраты смыслов

Гертруда Стайн как первооткрывательница литературного модернизма

«Такие самцы, как Пабло и Матисс, иначе как гениями быть не могут» — эту фразу о двух художниках, в чьем обществе она намеревалась переустроить европейское искусство, Гертруда Стайн нацарапала в блокноте в самом начале своего парижского периода. Ей только что минуло тридцать, она писала и подавала надежды, а происшедшая в 1905 году встреча с этим обворожительно дерзким тандемом гениев помогла ей определиться в собственных амбициях и планах: нужно сокрушить застывшие формы и нормы образца XIX века и найти новый язык, на котором можно будет говорить о скрытой от сторонних глаз внутренней жизни человека. В 1903 году Стайн — молодая еврейка, успевшая прослушать в Гарварде курс психологии, — сбежала из Америки к уже переселившемуся на другой берег Атлантики брату, чтобы, пока тот трудится над весьма посредственными ню, написать свой отчаянный первый роман. Искусство модернизма было еще в пеленках, когда Стайны принялись скупать самые блестящие и самые шокирующие публику полотна; в скором времени самые блестящие и самые устойчивые к шоку люди стали заходить к ним в гости, чтобы окинуть взглядом плотно увешанные всем этим буйством стены, — и оставались к обеду. Коллекцию начал собирать Лео, однако именно с Гертруды Пикассо захотел написать портрет и именно ей приклеил позаимствованную из американских журнальных комиксов ковбойскую кличку Пард[1]. Гертруда закусила удила, села за новый роман и начала подумывать, что и она, пожалуй, гений и в состоянии сделать с языком то же самое, что Пикассо и Матисс сотворили с красками; а если мачизм есть необходимая составная часть гениальности, что ж, «может быть, moi aussi[2]...», — добавила она к той самой записи в блокноте. Добавила лишь для того, чтобы приоткрыть завесу над своей внутренней жизнью.

Едва успело подойти к концу первое десятилетие нового века, как поставленная цель обрела один из вариантов воплощения: первый воистину модернистский литературный стиль. За несколько лет до Джеймса Джойса (о чем она не уставала повторять всю оставшуюся жизнь), до дада и сюрреалистов, до Блумсбери и школы потока сознания Гертруда Стайн уже писала романы и рассказы, основанные на разрушении устоявшихся литературных форм, на принципиальном отказе от эмоциональности и, что самое главное, абсолютно нечитабельные. Это ее достижение задало Американской библиотеке — при составлении двухтомного собрания сочинений Гертруды Стайн — почти неразрешимую задачу. Дело в том, что Стайн — хотя об этом часто забывают — владела широчайшим спектром литературных стилей, от психологического реализма в своей ранней прозе до чисто журналистских репортажей о жизни в оккупированной Франции времен второй мировой войны. Однако шумную прижизненную славу и сохранившуюся до сей поры репутацию литературного мэтра она заслужила благодаря непроходимым дебрям основанной на диссонирующих повторах лирической неудобочитаемости — тому, что стали называть стайновским стилем. «Роза есть роза есть роза есть роза» — вышел из-под ее пера лихой

---

[1] Компаньон, партнер (ковбойский сленг начала прошлого века). *(Здесь и далее — прим. перев.)*
[2] Я тоже *(франц.)*.

© Claudia Roth Pierpont, 1998, first printed in THE NEW YORKER Magazine, 1998, May 11.
© В. Михайлин. Перевод, 1999

философический гибрид Витгенштейна с детскою считалкой. «Штаны сестрице не даны» — досадливый сексологический трюизм и, следом, автокомментарий: «Чему ж тут удивляться. Удивилась». И пусть не Гертруда Стайн сочинила песенку «У нас бананов нету», без ее прямого влияния здесь явно не обошлось.

Именно сочиняя подобного рода подозрительно чреватые смыслами бессмыслицы (в перерывах между штудиями в области психоанализа и логики Червонной Дамы — «Прежде чем Пожар Погас Порыва Погас Порыв», одно из весьма характерных названий), Стайн и вошла в английский язык этаким певцом культуры всеобщей утраты смыслов, в образе этакого невозмутимого патриарха, который ни на единый вопрос не собирается давать ответ. Однако трудно было бы сыскать человека, который с большим, чем Гертруда Стайн, удовольствием вопросы ставил, и ставил бы их в таком блистательном обществе, как то, что собиралось у нее в салоне: Пикассо, Матисс, Брак (добродушный великан, помогавший развешивать по стенам самые громоздкие картины), Дерен, Хуан Грис, Аполлинер. Затем, после Великой войны[1], ее комнаты заполнили избранные представители следующей волны культурного возрождения, а потом еще одной — с приходом Хемингуэя, Фицджеральда, Кокто, Берара, Челищева, Сесила Битона, Торнтона Уайлдера, Вирджила Томсона и Ричарда Райта. Проходили десятилетия, а ее дар оставаться на гребне волны казался неувядаемым. Она была хозяйкой салона, меценатом, критиком, подстрекателем,

Гертруда Стайн в возрасте трех лет.

легко превращалась в недоброжелателя, а затем, иногда, снова в друга самых изощренных провокаторов той эпохи, и порою трудно сказать, чем же в итоге была ее жизнь: революцией или затянувшейся вечеринкой. Однако намерения у нее были самые серьезные («отчаянно» серьезные, как выразилась Алиса Б. Токлас), и она прекрасно отдавала себе отчет в том, насколько высоки ставки и насколько силен противник. «Им нет нужды бояться за эту их чертову культуру, — изрекла она как-то раз, еще по молодости, для разнообразия здраво оценив свои силы. — Чтоб по-настоящему ее уделать, нужен самец покосматее, чем я».

Как же могло случиться, что из девочки, появившейся на свет в Аллегейни, штат Пенсильвания, в 1874 году, вырос такой подрывной элемент? Родители ее родителей приехали из Германии в Балтимор как раз ко времени, чтобы их дети успели выступить в Гражданской войне по разные сто-

[1] В англоязычной традиции Великой именуется первая мировая война.

роны фронта — расклад, серьезно повлиявший, по мнению Гертруды, на духовный облик семейства Стайн. Она была последней из пятерых детей, хотя сама считала, что детей было семеро, никак не желая забывать о двойняшках — мертворожденной девочке и мальчике, умершем во младенчестве, — которые по счету шли как раз перед ней; если бы они не умерли, ни ее саму, ни брата Лео рожать бы не стали. Лео и Гертруда не были в глазах родителей адекватной заменой потерянным детям и не могли этого не чувствовать. Потому отчасти эти двое и сошлись так близко; а еще потому, что знали: умнее и способнее их вокруг никого нет.

Гертруда была еще совсем маленькой, когда семья перебралась из Аллегейни в Вену, а оттуда в Париж (где вдобавок к английскому и немецкому девочка освоила французский) и наконец в 1880 году в диковатые окрестности Окленда, Калифорния, где Дэниэл Стайн запретил своим детям говорить на любом другом языке, кроме «чистого» американского английского. Человек холодный, властный и не обремененный излишним образованием, Дэниэл Стайн сколотил небольшое состояние, вкладывая деньги в сан-францисскую канатную дорогу, и буквально задавил своих детей учителями, уроками и честолюбивыми планами. Лео вспоминал о детстве как о мучительной эпохе, прошедшей сплошь под знаком отцовского неодобрения; мать, женщина весьма мягкосердечная, была слишком слаба, чтоб от нее хоть что-нибудь зависело; потом Гертруда как-то раз обронила, что неумение быть счастливым всегда зачисляла по разряду глупости (к детству это отношения не имело).

Однако вряд ли она так бахвалилась в 1885-м, когда у матери появились явные симптомы рака. Три года изнуряющих болей и нарастающей отрешенности превратили Милли Стайн в нечто вроде домашнего призрака задолго до того, как в 1888-м, когда младшей дочери не было и пятнадцати, она скончалась. В «Становлении американцев», объемистой автобиографической семейной хронике — первом ошеломляюще оригинальном литературном чудище эпохи модернизма, законченном в 1911 году и словно выговоренном наспех, запинаясь, словно вырвавшемся из самых глубин смятенного рассудка, — Гертруда дает понять, что болезнь настолько вывела мать за грань видимого мира, что, когда ее наконец совсем не стало, ни муж, ни дети почти не заметили ее ухода.

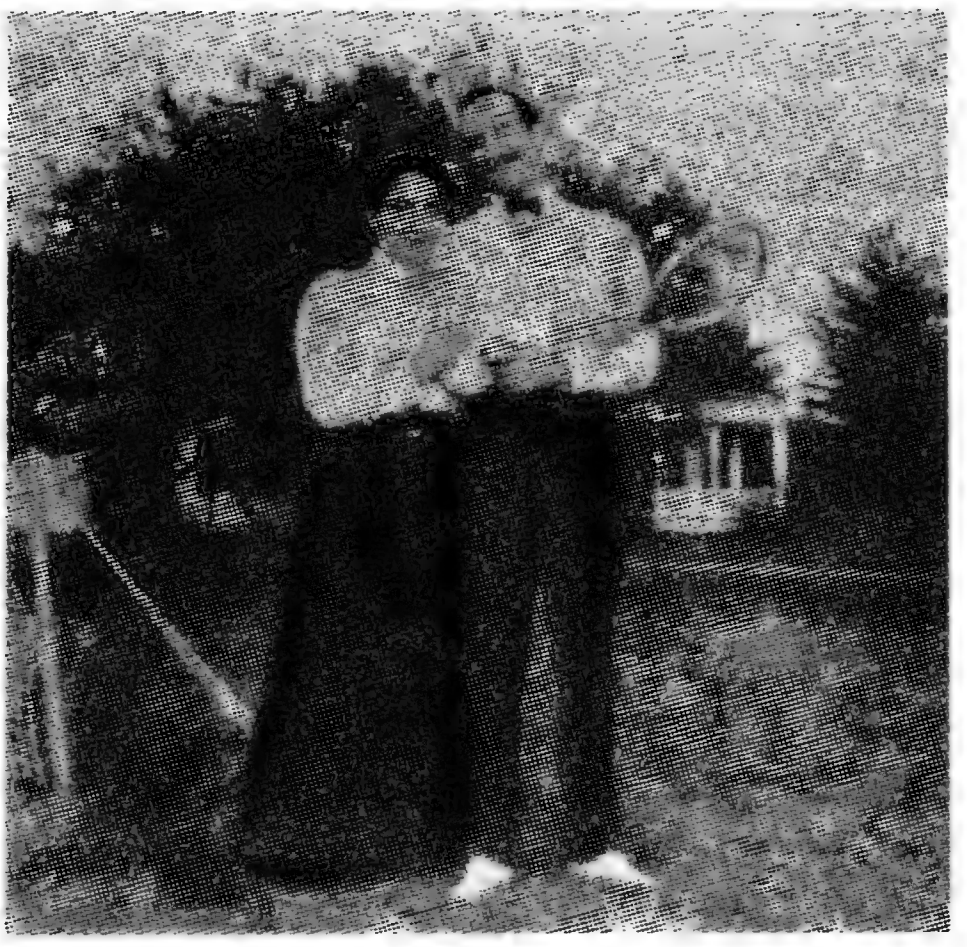
Порой они бывали к ней добры, а чаще попросту забывали о ней, она понемногу умирала в их душах, а потом в ней вовсе не осталось жизни, и она умерла, и совсем их оставила... Пока она была жива, они по большей части этого не ощущали, а потом она ушла куда-то, и от нее остался только смутный образ напуганной маленькой женщины.

Записные книжки Стайн, впрочем, излагают иную версию сюжета: «Все застыло после смерти мамы».

Дом фактически погрузился в хаос. Восемнадцатилетняя Берта изо всех сил старалась взять на себя материнские обязанности, но в этом никто, кроме нее, необходимости не видел. Однако если у Гертруды с матерью были всего лишь сложные отношения, старшая сестра вызывала у нее глубокое отвращение. «Обыкновенная баба», — написала она в блокноте с заметками к «Становлению американцев». Одинокая и никому не нужная, Гертруда забросила школу; Бренда Уайнэпл, самый надежный источник сведений о ранних годах Стайн, утверждает, что она попросту исчезла из школьных журналов и с головой ушла в то, что сама позже назовет своим «темным и тягостным» временем. Любовь к чтению превратилась в своего рода одержимость, она накупала целые груды книг (зачастую руководствуясь советом Лео) и проглатывала их, одну за другой, без порядка и счета. Одновременно в ней проснулась едва ли не столь же властная потребность

в пище. «Книги и еда, еда и книги, и то и другое великолепно», — писала она. Открытие еды как способа уйти назад, в самое раннее детство, к «чувству полного довольства оттого, что сыт по горло», стало и первым отклонением от привычного курса в кильватере обожаемого Лео, который как раз в это время увлекся голоданием.

Обвинения в адрес Дэниэла Стайна выдвигались обоими его младшими детьми неоднократно. Они его ненавидели и при этом уважали его право на власть; боялись и хотели быть на него похожими, хотя бы ради самозащиты. Более того, в «Становлении американцев» есть ряд весьма двусмысленных, на грани сна и яви, эпизодов, которые давно уже дали специалистам повод поставить вопрос об инцесте в семействе Стайн. (Вот один из самых ярких примеров: взрослая дочь обвиняет отца в том, что он вовлек ее в некий прямо не названный грех, и после этих ее слов отца разбивает паралич.)



Гертруда и Лео Стайн. Гарвард, 1890-е гг.

В 1995 году биограф Гертруды Стайн Линда Вагнер-Мартин, изучив предварительные наброски к роману, пришла к выводу, что объектом сексуальных домогательств отца была Берта: Гертруда пишет, как он явился к той «однажды ночью и позвал согреть его постель». Гертруда умудрилась запутать дело и того пуще, упомянув о точно таком же инциденте между ней самой и дядей Соломоном, родным братом отца. «Сцена вроде той, что у меня была с Солом, — написала она и добавила неудобочитаемой скорописью: — Со мной пытался то же самое». Что бы там в действительности ни произошло, поразительно другое: именно тогда, когда она доходит, пусть даже в записях сугубо личного свойства, до чего-то, чего произнести не может, ее стиль становится едва ли не квинтэссенцией стиля Гертруды Стайн, и чем она осторожнее, тем больше похожа сама на себя. «Отцы чадолюбивы девочек тем паче», — продолжает она, и возникает впечатление, что по меньшей мере одно из направлений в модернистской литературной стилистике родилось из попытки любой ценой уклониться от неких опасных исходных смыслов, из стремления непременно выдумать — кстати, не чистой ли это воды «бабское» свойство? — некий тайный код.

«Потом когда отца не стало жизнь пошла приятная», — типичный для Гертруды — без экивоков — способ вспомнить о кончине Дэниэла Стайна, умершего от удара через три года после жены. Его смерть, вне всякого сомнения, ускорила процесс высвобождения дремавшей в младшей дочери творческой энергии. В 1893-м она едет вслед за Лео в Гарвард — за год до этого Рэдклифский колледж стал «женской пристройкой» к университету, —

где специализируется в английском и психологии, а параллельно исписывает блокнот за блокнотом, втискивая глубоко личную сумятицу чувств в традиционные повествовательные формы. Ее кумирами были Джордж Элиот и Генри Джеймс, однако первым из опубликованных ею сочинений стал отчет о проведенном под руководством Уильяма Джеймса[1] экспериментальном исследовании; назывался сей опус «Нормальный моторный автоматизм», и научного руководителя психология, конечно же, интересовала как область науки, а не как один из аспектов литературного творчества.

В 1897-м Гертруда перевелась в медицинский колледж при Балтиморском университете Джонса Хопкинса, чтобы вплотную заняться таинственным дамским недугом, известным как истерия. Посвященная этой теме работа Фрейда была опубликована всего тремя годами раньше, однако проблема «тонкости» женской психики занимала Стайн с самого детства. И вот теперь ей запала в душу теория (достаточно, кстати, распространенная в то время), согласно которой определенное — весьма незначительное — количество женщин отличаются от типичных представительниц своего пола. Быть умной, образованной, самостоятельной — не говоря уж о претензиях на гениальность — означало, по определению, поступиться женственностью. До сей же поры, насколько она могла судить, если женщины в чем и преуспели, так это в чадопроизводстве.

Она хорошо училась на первых двух курсах медицинского, пока занятия не выходили за стены аудиторий и лабораторий, но чуть дело дошло до визитов в переполненные страждущими человеческими особями больничные палаты, начались трудности. К тому же на третьем курсе она влюбилась в юную старшекурсницу Брин Мор, которая, в свою очередь, питала нежные чувства еще к одной студентке. Объект влюбленности дальше туманных обещаний не шел. И вот, вместо того чтобы учиться, Гертруда принялась страдать; жизнь строилась в зависимости от того, состоится или нет очередное свидание. Те самые психические особенности, от которых она более всего стремилась избавиться — эмоциональность, неспособность контролировать собственные чувства, — подвели ее, и она провалила выпускной экзамен. И тут же, естественно, заявила, что ей на это плевать. У нее больше нет желания становиться врачом. Она открыла для себя, что единственный способ облегчить страдания — это писать о них. В конце концов, она писатель.

Вирджиния Вулф считала, что ни одной женщине пока не удалось написать правду о собственном телесном опыте — и женщины и язык должны радикальным образом измениться, прежде чем подобное станет возможным. Еще она полагала, что те, кто борется за высвобождение языка — подобно ей самой, Гертруде Стайн, Элиоту или Джойсу, — обречены на поражение так же часто, как и на успех; с этой точки зрения стайновские выверты были общей бедой поколения. Вулф была на восемь лет моложе Стайн; в том, что касалось жизненного опыта и творческих амбиций, меж ними существовало определенное сходство: в тринадцать лет — смерть матери; отец как доминирующая, внушающая страх фигура; сексуальные домогательства со стороны сводных братьев; любовь к женщинам; литературные изыскания в области мужских и женских аспектов человеческого характера и идеала андрогинности. Как и Стайн, Вулф была в достаточной мере материально обеспечена, чтобы иметь возможность писать так, как хочется; это обстоятельство, естественно, сыграло не последнюю роль в том, что две эти яркие личности, столь разные по темпераменту и природе творческого дарования, стали двумя противоположными полюсами в женском варианте модернистского — все или ничего — литературного письма.

[1] Уильям Джеймс (1842—1910) — психолог и философ, брат Генри Джеймса.

Отчаянный роман, написанный Гертрудой по приезде в Париж, был отчетом о принесшей ей столько страданий любовной связи. Текст, которым открывается вышедший в Американской библиотеке двухтомник, «Q. E. D.» — quod erat demonstrandum, «что и требовалось доказать», традиционная формула, завершающая доказательство, например, геометрической теоремы, — по иронии судьбы оказался одним из тех немногих, которые сама Стайн ни разу не пыталась опубликовать; откровенно эротическим его не назовешь, у читателя, однако, не возникает сомнений, что все три стороны любовного треугольника — женщины. В романе нет ни объяснений, ни заламыванья рук, ни бездонных глубин одиночества. Стайн как будто хотела, чтобы эта книга стала для нее своего рода экзорцизмом; она даже включила в текст подлинные разговоры и письма — с целью восстановить утраченное душевное равновесие, да так, чтобы никогда больше его не терять.

Книга очень хороша, и не только благодаря тем сведениям, которые она сообщает о Стайн, но и чисто джеймсовской остроте психологического портрета. Трудно сказать, насколько преуспела бы Стайн, если бы и дальше следовала этой традиции — ей было тогда двадцать девять лет, — однако рассказчица, наделенная откровенно автобиографическими чертами, намекает в романе, почему подобный опыт не будет иметь продолжения. Она, по собственному признанию, всегда испытывала «пуританский ужас» перед страстью, а боль, причиненная этой любовной историей, возвела страх в абсолют. «Мир, символом которого ты для меня была, был миром переполненным и сложным», — упрекает она свою возлюбленную (метя также и в Джеймса с его принципиально важными задачами зондирования и препарирования чувств), прежде чем утвердить в качестве символа веры мир «очевидной, плоскостной, чистой простоты». Чего она пока не знала — так это как туда попасть.

После года отчаянных метаний по городу Гертруда переехала к Лео, который снимал квартиру на улице Флерюс. Поскольку эрудированному брату не понравился «Q. E. D», она писала по ночам, стараясь все же лечь до рассвета, чтобы птицы не мешали заснуть. В дневные часы она охотней, чем когда-либо, выступала в роли его ученицы, постигая расцветающий на глазах мир живописи. Когда Лео взял ее с собой в принадлежавшую бывшему цирковому клоуну галерею, где выставлялись работы молодого испанского живописца, она сперва отказалась внести свою часть суммы, необходимой для покупки выбранного Лео полотна. У длинноте лой обнаженной женщины на картине были, на ее вкус, чересчур уродливые, обезьяньи ноги. Посредник предложил отрезать неугодные клиентам части и продать одну только голову, но странные американцы в конце концов решили купить картину целиком.

За «Девочкой с цветочной корзинкой» в салон Стайнов в скором времени перекочевало множество других работ Пикассо, за компанию с работами Матисса и Сезанна. Но самое главное — за ними следом туда перекочевал сам Пикассо, который считал Лео невыносимым занудой, однако в Гертруде сумел разглядеть родственную душу. Они были едва знакомы, а он уже предложил написать с нее портрет. С работой пришлось всерьез повозиться, что вообще-то было ему несвойственно: после восьмидесяти с хвостиком сеансов Пикассо стер натуралистически выполненную голову и на сем закончил. К полотну он вернулся несколько месяцев спустя, уже без модели; то, что получилось в итоге, ничего общего не имело с тогдашней Гертрудой Стайн — никто из знавших не счел портрет похожим на оригинал: то была маска некоего monstre sacré[1], Гертруды Стайн,

[1] Священное чудовище *(франц.)*.

какой ей только еще предстояло стать, когда она окончательно выкует свой талант и заплатит по счету.

Именно в 1906 году, позируя Пикассо, Стайн в основном и обдумала свою первую принесшую ей литературную известность книгу. Как-то раз Лео, в качестве упражнения во французском, усадил сестру переводить «Простую душу» Флобера. Филигранная сдержанность текста и вдохновила стайновские «Три жизни», триптих о безрадостных женских судьбах (в двух историях героини — немки-служанки, в третьей — негритянка из бедной семьи), дрейфующих в затхлой атмосфере маленького американского городка к неизбежно мрачному финалу. Основное достижение Стайн было в том, что она заставила собственную прозу выглядеть так, будто структуру ей задали внутренние состояния персонажей: по-детски несложная манера выражаться тех, кто ни разу в жизни по собственной воле не открыл книги, склонность к повторам, свойственная людям, которые не привыкли, во-первых, задумываться, поскольку задумываться особо не над чем, а во-вторых, не привыкли, чтобы их слушали другие. Книгу удалось опубликовать только в 1909 году мизерным тиражом, и за издание Стайн заплатила сама. Реакция не заставила себя ждать — и какая реакция! Общий тон и смысл рецензий можно свести к одной фразе: «Шедевр реализма». Многие писатели и критики увидели в маленькой книжке Стайн начало истинно американской «нелитературной» литературы, безыскусной, почвенной, без малейшего намека на претенциозность, — недвусмысленное свидетельство того, что немалое число писателей и критиков знали о людях, про которых писала Гертруда Стайн, не больше ее самой.

Как и во всем, что было написано (и не опубликовано) ею до сего времени, главное в «Трех жизнях» — чисто автобиографические навязчивые образы и ситуации. Здесь есть и ужасный, но не лишенный своеобразной привлекательности отец, и мать, чья смерть проходит незамеченной, и нежно любимые — в ущерб живым — умершие дети, и постоянное, из раза в раз, проигрывание мучительного любовного сюжета. Но есть и нечто новое: тон рассказчика сделался безразличным и ровным, общий эмоциональный фон предельно низок; не удивительно, что возникает впечатление, будто персонажи существуют в полубессознательном состоянии. И дело тут вовсе не в их социальной несостоятельности, а в том, что «Три жизни» застали Гертруду Стайн в момент окончательного утверждения в правах некой эмоциональной анестезии, которая станет фирменным знаком ее стиля на всю оставшуюся жизнь.

Успех «Трех жизней» совпал с двумя другими крайне важными для Стайн событиями: возвращением Пикассо после проведенного в Испании лета с полотнами, в которых появились первые отчетливые признаки кубизма, и переходом ее отношений с Алисой Б. Токлас в иную, более глубокую стадию. Результат был подобен взрыву, разметавшему усердно возводимые ею из года в год конструкции. Внезапный поток маленьких фрагментарных «портретов» и прочей нарочито броской зауми обязан своим появлением, как принято считать — в зависимости от личных пристрастий или от источника информации, — либо страстному желанию писать на кубистический манер, либо необходимости отвести в иное русло радость новой, разделенной любви. Кубизм, несомненно, был на руку Гертруде Стайн, поскольку давал рациональное обоснование тому способу видеть мир, который она давно уже была готова предпочесть всем прочим: не отрывая взгляда от поверхности. Верти ее так и эдак, отражай, разлагай на сегменты и повторяй ad infinitum[1], но даже и не пытайся лезть вглубь.

---

[1] До бесконечности *(лат.)*.

Гертруде, когда они с Алисой познакомились осенью 1907 года, Алиса показалась такой же «обыкновенной бабой», что и сестрица Берта, и Гертруда поначалу держалась настороже. «Она слушает, она податлива, глупа, но тебя к ней тянет», — гласит одна из записей в блокноте. Крохотная хрупкая женщина, питавшая пристрастие к экзотическим шалям с бахромой, которые будто нарочно подчеркивали ее и без того уже ставшие притчей во языцех семитские черты, — «кошмарная, завернутая в занавеску еврейка» (Мэри Беренсон, оценка типичная), — Алиса, если верить Гертруде, обладала при этом «изысканным и безошибочным нравственным чутьем». И что она безусловно умела, так это распознавать гениев — с первого взгляда. (Она клялась, что в ушах у нее при каждой подобной встрече отчетливо звенит колокольчик.) Кроме того, Алиса точно знала, в каком мире ей хочется жить, — особенно теперь, когда увидела этот мир воочию. Он был совсем не похож на мир, оставленный позади, в Сан-Франциско, мир, из которого она вышла и где на протяжении последних десяти лет — с ее девятнадцати, с тех пор как умерла мать — несла все тяготы домашнего хозяйства ради удобства отца, деда и младшего брата. Которых она больше ни разу в жизни не видела и ни капельки о том не сожалела.

Стайн и Токлас официально стали «супругами» летом 1909 года во Флоренции, а осенью того же года Алиса перебралась в квартиру Стайнов на улице Флерюс. И там Алиса Б. Токлас «стала самой счастливой из всех, кто только жил в те годы на земле», — написала Стайн в портрете-биографии своей невесты, озаглавленном «Ада». Потому что впервые после смерти матери Алисе было кому рассказывать свои прелестные истории: «кому-то, кто любил ее и почти всегда ее слушал». Слушать и любить, любить и слушать — отныне радости совместной жизни едва не вытеснили книги и еду. Примечательно, что именно в это время у Лео развиваются симптомы хронической глухоты, он морит себя голодом, постами, которые затягиваются порой на целый месяц; он утверждает, что пишет книгу по искусству живописи, но не может выжать из себя ни слова. Как раз тогда, когда Гертруда становится тем самым мачо, самцом, каким должен быть гений («Мне очень нравится да сэр», — писала она), Лео превращается в классический образчик личности, страдающей тем самым таинственным заболеванием, дамской истерией, которую она когда-то столь увлеченно пыталась лечить. Когда-то. Не сейчас.

Теперь, когда под рукой всегда был человек, готовый ее слушать, Гертруда принялась творить как бог на душу положит, без колебаний и оглядки. Для внутреннего пользования предназначалось блаженное младенческое мурлыканье и воркованье: «Толсто пузико поднять./ То-то удивлю тебя./ Ты меня хотела./ Скажи еще раз./ Земляника». В том, что она предлагала миру, было еще меньше уступок общепринятым стандартам.

Тот за кем кое-кто явно следовал был тот кто просто прелесть. Тот за кем кое-кто следовал был тот кто прелесть. Тот за кем кое-кто следовал был тот кто просто прелесть. Тот за кем кое-кто следовал был тот кто явно просто прелесть.

Перед вами первый абзац стайновского «портрета» Пикассо, опубликованного Альфредом Стиглицем (вместе с «портретом» Матисса) в 1912 году в журнале «Камера уорк», за год до того, как Арсенальная выставка[1] продемонстрировала модернистское искусство le tout[2] Нью-Йорку — в том числе и работы из коллекции Стайнов — и сделала Гертруду Стайн едва ли не столь же знаменитой, как тех художников, чьим возмутительным прин-

[1] Международная выставка современного искусства, проходившая в феврале — марте 1913 г. в арсенале 69-го полка в Нью-Йорке.
[2] Всему *(франц.)*.

ципам она, по общему мнению, следовала в литературе. («Сегодня в Н-Й имя Гертруды Стайн известно лучше, чем имя Божие!» — восторженно писала ей Мейбл Додж Луэн, и Стайн ответила: «Hurrah for gloire»[1].) Гертруду ничуть не смущало, что слава ее по большей части держится на пародиях и насмешках. «Меня цитируют, а тех, кем вроде как принято восхищаться, — нет», — говорила она, и данное замечание нельзя не признать воистину современным.

Для Лео это было уже чересчур. Кубизм он терпеть не мог с самого начала и не удержался, чтобы не назвать творения Гертруды «простименягосподи чушью». К концу 1913 года брат и сестра уже не разговаривали, а вскоре он и вовсе съехал с квартиры. Коллекция живописи была поделена более или менее поровну, причем Гертруда взяла всего Пикассо, а Лео — всего Ренуара; Сезанна поделили пополам. (Пикассо, чтобы восполнить утрату одной из работ Сезанна, написал Гертруде сезанновское яблоко.) Впоследствии Лео попытался возобновить отношения; она не отвечала на его письма. «У меня страшные головные боли, а я не люблю доверять бумаге то, что заставляет меня страдать», — написала она в одной из записных книжек. И Гертруде и Лео осталось прожить еще более тридцати лет, но они так больше ни разу и не поговорили друг с другом. Алиса уверяла, что Гертруда просто-напросто забыла о брате.

Стайн сумела достичь едва ли не высшей степени свободы, но предпочитала ограничивать себя достаточно узким — уютным — пространством. В самом сердце видавшего виды Парижа, где члены лесбийского кружка Натали Барней на весь свет афишировали свои пристрастия, свои интрижки и свои вечеринки с танцем живота, Гертруда с Алисой содержали образцово-показательный во всем, что касалось свойственного среднему классу декорума, салон. Несмотря на отдельные расхождения с каноном — скажем, манеру одеваться (балахоны Гертруды, экзотические драпировки Алисы) и стрижку под римского императора, которую со временем выбрала для себя Гертруда, — они играли роль двух очаровательно эксцентричных леди, у которых как раз сейчас медовый месяц.

Однако такое самоограничение не лучшим образом сказалось на творчестве Стайн. Если не считать случайных вспышек остроумия и отдельных удачных находок, выходившие из-под ее пера изобилующие повторами цепочки слов стали напоминать пробежки запертого в клетке зверя — судорожные, вялые, выдающие загнанное вглубь отчаяние. Мир отцов и детей, споров и войн оказался словно бы выведенным за жесткие рамки ее письма. В жизни Гертруда была человеком решительным и смелым. Во время первой мировой она выписала из Америки на собственные деньги грузовой «форд» и научилась им управлять (вот только задний ход ей никак не давался), чтобы развозить медикаменты по госпиталям; после войны они с Алисой поддерживали переписку со своими «крестниками» — одинокими ранеными солдатами. Однако этот опыт — ранения, страх, нежность — в ее «литературных» сочинениях остался невостребованным. Да и писать она стала много меньше, по большей части расходуя время на советы и наставления (а порой и на то, чтобы кормить и помогать деньгами) группе молодых писателей, отыскавших дорогу к ее двери, давно уже вошедшей в фольклор парижской богемы: в двадцатые годы, словно по команде, все художники куда-то подевались, а их место заняли писатели. Наибольшим ее расположением пользовался двадцатитрехлетний Эрнест Хемингуэй; он платил ей страстной привязанностью, сиживал у ее ног и учился писать как мужчина.

«Мы с Гертрудой Стайн теперь как братья», — ликовал Хемингуэй в

---

[1] Славе — ура *(англ. и франц.)*.

письме к Шервуду Андерсону в 1922 году. Он приносил ей свои рассказы, читал и получал положенную долю критики, они могли говорить часами, а между тем Алиса весьма бесцеремонно завладевала его женой Хедли. (Удерживать на расстоянии «жен гениев», чтоб не путались под ногами, входило в число неприятных обязанностей Алисы; некоторых приходилось загонять за какой-нибудь предмет обстановки — из тех, что помассивнее.) Хемингуэй позволил «мисс Стайн» убедить себя оставить журналистскую работу и сосредоточиться на серьезном творчестве. Он был в полном восторге от ее методов анализа людей и мест. И именно на улице Флерюс ему дали совет съездить в Испанию и посмотреть бой быков.

В 1925 году рецензенты первого сборника рассказов Хемингуэя «В наше время» безошибочно отследили стилистические заимствования автора у Гертруды Стайн: короткие, жесткие, без архитектурных излишеств фразы, повторы, «naivete языка», со скрытыми за ней сложными, не поддающимися выражению эмоциональными состояниями. Но для Хемингуэя стиль естественным образом служил чем-то вроде плотины для сдерживания обуревающего автора потока чувств — сыскать же подобное в прозе Стайн было бы весьма непросто. Новому американскому герою некая нарочитая отстраненность была присуща потому, что за плечами он оставил ад и уже успел пережить и перечувствовать слишком многое; его едва ли не клинический аутизм есть часть чисто мужской стратегии выживания в мире, где физическая храбрость проходит по разряду рока, а единственное, чего следует по-настоящему бояться, это женщины и чувства. У Вирджинии Вулф, употреблявшей слово «мужской» в качестве прямого оскорбления, особенное раздражение вызывало свойственное Хемингуэю преувеличение значимости мужских качеств, на которые она возлагала всю полноту ответственности за «сексуальные пертурбации» эпохи. (Дело было в 1927 году; Вулф отрецензировала его соответствующим образом озаглавленный сборник «Мужчины без женщин».) Возможно, Вулф изменила бы свою точку зрения, сумей она отследить генезис самого мужественного стиля в современной прозе вплоть до его истока в творчестве сестры по призванию, женщины — правда, женщины, любившей говорить о себе «я римлянин, и Юлий Цезарь, и мост, и колонна, и столп» (в то время как единственным употребленным Вирджинией Вулф в автобиографическом контексте образом был — «маяк»[1]).

Могут ли существовать в литературе мужские и женские качества? Мужские и женские фразы? Правда ли, что запятая — это маленькая женская хитрость, способная претворить напор и силу мужского глагола в зыбкую почву девической неуверенности? Писать — значит выставлять себя напоказ, а в постсуфражистские, постфрейдистские двадцатые страх перед тем, что может невзначай вырваться наружу, был всеобщим. Стайн была уверена, что запятая разлагает текст и является признаком слабости, поскольку человек должен сам знать, где ему удобнее перевести дыхание. Вулф считала, что всякая пишущая емким и рубленым стилем женщина, скорее всего, пытается писать по-мужски. Однако суть противоречия заключалась в том, что Вулф не понимала, с чего это женщине может взбрести в голову подражать мужчинам; женская щедрость есть сама по себе жизнь и необходимый источник мужского вдохновения. Вряд ли можно сыскать позицию более далекую от точки зрения Стайн на особенности полового диморфизма. Писательницы встретились один только раз — на вечеринке в Лондоне, в 1926 году; неприязнь была взаимной. Со стороны Вулф она была продиктована снобизмом и классовой чуждостью. «Целый рой евреев», — делилась она впечатлениями о вечере в письме к сестре. Со сто-

[1] В английском слове lighthouse фаллические коннотации зримого облика маячной башни оттеснены на задний план тематическими полями корней «свет» и «дом».

роны Стайн — бравадой, необходимостью самозащиты (она ведь не могла не почувствовать откровенно прохладной атмосферы) и, не исключено, вопиюще аномальным фактом присутствия чисто женского гения.

К исходу двадцатых Стайн и Хемингуэй стали часто ссориться, и в конце концов их пути разошлись. Она никогда не упоминала о том, что между ними произошло; он рассказывал об этом налево и направо. Иногда в качестве главной причины разрыва фигурировала Алиса, которая якобы ревновала к нему Гертруду («Я всегда хотел ее поиметь, и она об этом знала»). Хемингуэй также утверждал, что после климакса Гертруда вообще не терпела рядом с собой мужчин, если не брать в расчет гомосексуалистов — они-то и заняли его место; он их, понятное дело, не любил и называл не иначе как «пернатыми друзьями» Гертруды. Определенного рода перемены в салоне действительно произошли. Хотя Гертруда и Алиса неизменно сохраняли свой всегдашний сдержанный стиль, они мало-помалу оказались в самом центре своеобразного гомосексуального масонского братства. Более того, сама эта сдержанность, вероятно, и оказалась одним из притягательных факторов для некоторых весьма осторожных джентльменов старой школы, таких, как Фредерик Эштон, Вирджил Томсон, и других им подобных пришельцев из чрезвычайно своеобразных в сексуальном отношении миров театра, музыки и танца. Притягательность Стайн в ее новой роли профессионала сцены, литератора и друга, который пишет для близких знакомых балетные и оперные либретто, приобрела сходство с притягательностью тоже достаточно извращенной Мей Уэст[1]: милейшая женщина в чисто мужской компании, добрая и мудрая мама, которая не только опекала всех своих сыновей-гомосексуалистов, но и сама была гомосексуальна.

О чем широкая публика, понятное дело, не имела ни малейшего представления — до тех пор, пока опубликованная в 1933 году «Автобиография Алисы Б. Токлас» не превратила в одночасье едва ли не самого непонятого из современных литераторов в автора бестселлера, занявшего в списках Литературной гильдии верхние позиции. С самого начала Гертруда Стайн рассматривала «Автобиографию» — а по сути дела, собственную биографию, написанную от лица зачарованной близостью гения компаньонки, — как нудную, ради денег затеянную поденщину, не имеющую никакого отношения к действительно содержательным литературным экспериментам, которым она по-прежнему предавалась по ночам. По сути дела, эта волшебная книга и впрямь не похожа ни на один из прочих текстов Гертруды Стайн — и, если уж на то пошло, вообще ни на что в американской литературной традиции не похожа. Некоторые параллели можно отыскать разве что в других, также связанных с именем «Алиса» книгах, принадлежащих перу Льюиса Кэрролла, или в социальном сюрреализме Оскара Уайльда — что само по себе отнюдь не проясняет поднятого ранее вопроса о сексуальных коннотациях присущего данному конкретному автору стиля.

Эта книга — современная волшебная сказка: история из золотого века парижского искусства, когда гении что ни день сходились к обеду, а мудрая хозяйка рассаживала их так, чтобы каждый непременно оказался напротив собственного шедевра — для пущей радости, хотя радости и без того хватало на всех: не пришла еще пора ни смертей, ни разводов, ни успеха, — и Анри Руссо играл на скрипке, а Мари Лорансен пела, а Фредерик, хозяин кафе «Лапэн ажиль», на пару со своим осликом то появлялся, то снова исчезал. И в самом центре волшебных этих прогулок в зазеркалье — чувствительная американка Алиса Б. За первым же обедом она оказывается бок о бок с Пикассо, который всерьез принимается выпытывать у нее, действительно ли он, по ее мнению, похож на этого их президента Линкольна. «Мне в тот вечер много о чем пришлось передумать, —

---

[1] Американская актриса, сценарист; секс-символ 30-х годов.

столь же серьезно подводит она итог посиделкам, — но вот об этом я уж точно не думала». В самом сердце каждого тайфуна есть зона мертвого штиля, так называемое «око»; неизменно уравновешенная Токлас и была таким спокойным, не без иронии взирающим на окрестные катаклизмы оком. Ее невозмутимость сродни разве что удовольствию, которое она от всего этого получала. В «Автобиографии» не обошлось без мелких, из мести, шпилек — так, Лео ни разу не назван по имени, а Хемингуэй выведен трусом, — а читателю передается чувство потери, прямо не высказанное и оттого еще более глубокое. Когда-то давным-давно жизнь вокруг била ключом, и чтоб хоть немного поспать, приходилось ложиться, пока не рассвело: «В те дни за высокими оградами в деревьях жили птицы, множество птиц, теперь их стало меньше».

С Алисой Б. Токлас на палубе парохода по прибытии в Нью-Йорк, 24 октября 1934 г.

Книга имела успех, а Стайн одолела глубокая депрессия. Даже свежеобретенная слава поначалу совсем не грела: ей пятьдесят девять, она впервые в жизни добилась настоящего успеха, но... не так, как хотела. В законченной как раз в эту пору книге «Четверо в Америке», трудной, нарочито трудной для читателя, Стайн попыталась — коротко и очень эмоционально — разъяснить, каковы ее основные цели и ценности.

А теперь послушайте! Неужто вы не понимаете, что тогда, когда язык был молод — возьмите Чосера или Гомера, — поэту довольно было назвать предмет по имени, чтобы он появился. Он мог сказать: «О, луна!», «О, море!», «О, любовь!», и нате вам, луна, любовь и море. И неужели не понятно, что с тех пор прошли сотни лет, и были написаны тысячи стихов; и что произнеси он их сейчас, эти имена, он услышит только стертые литературой слова?..

А теперь послушайте! Я не дура. Я знаю, что в обычной жизни мы не ходим, целыми днями твердя: «есть...есть...есть...» Да, я не дура; но, сдается мне, в этой строчке впервые за последние несколько веков английской лирики роза снова стала красной.

Однако благие намерения в счет не идут. Вернувшись в 1934 году (впервые за тридцать лет) в Америку, чтобы присутствовать на премьере написанной на ее либретто оперы Вирджила Томсона «Четверо святых в трех актах», Стайн, помимо прочего, совершила лекционное турне по стране. Она напрямую обратилась к своему читателю, она попала в заголовки на первых полосах газет («500 ЧЕЛОВЕК ОБЕСКУРАЖЕНЫ ВЫСТУПЛЕНИЕМ МИСС СТАЙН»), но так и не добилась столь необходимого ей понимания. Творчество женщины, которая горячо верила в возможность точной передачи мысли и восстановления утраченных смыслов, так и осталось синонимом неясности и утраты этих самых смыслов. (В фильме 1935 года «Цилиндр» Джинджер Роджерс хихикает по поводу не поддающейся прочтению телеграммы: «На слух что-то вроде Гертруды Стайн».) Новый, изданный Американской библиотекой двухтомник поднимает ряд старых вопросов — не только о месте и уровне дарования Гертруды Стайн, но и о взаимоотношениях между теорией и практикой в запутанной истории модернизма.

Когда весной 1935 года Стайн и Токлас вернулись в Париж, Токлас лично проследила, чтобы копии рукописей Гертруды были переправлены в Америку. На этом, собственно, и закончились их приготовления к маячившему на европейском горизонте лихолетью. Стайн до конца не верила, что в самом деле что-то может случиться, тем более с ними — двумя стареющими еврейками, которые, во-первых, не лишены известности, а во-вторых, никогда не интересовались политикой. И эта их политическая индифферентность отныне опаснейшим образом сочеталась с привычной для Стайн манерой обращаться с любыми серьезными неприятностями: делай вид, что ничего не случилось, потом забалаболь беду, забросай дурашливыми фразами, и она, глядишь, пройдет стороной — или, по крайней мере, не увидит в тебе стóящей добычи. Когда-то, в самом начале парижской жизни, Гертруда ответила другу, который, видимо, упомянул в письме о еврейских погромах в России: «Русские очень плохой народ, и царь человек нехороший». В середине тридцатых ее оценки Гитлера вряд ли отличались большей глубиной. В 1939 году, когда разразилась война, они с Алисой жили за городом, в Билиньене. Съездив в Париж, чтобы закрыть квартиру и забрать оттуда одно полотно Сезанна и портрет Гертруды кисти Пикассо, они — как их ни отговаривали — вернулись обратно в Билиньен, который вскоре попал под юрисдикцию Виши. Там они и провели всю войну.

Как им удалось выжить? Похоже, главным их спасителем оказался один из французских друзей и почитателей, которого во время оккупации назначили директором Национальной библиотеки и который специально обращался в различные инстанции с ходатайствами, чтобы их не трогали. Они жили тихо, перебивались как умели; продали картину Сезанна и с тех пор на замечания удивленных качеством обеда гостей отвечали дежурной шуткой: проедаем Сезанна. Они были свидетелями того, как во Францию вступила немецкая армия и, по прошествии долгих и тягостных лет, откатилась обратно; в их доме некоторое время квартировали немецкие солдаты, а потом, когда наконец в войне наступил перелом, — американские джи-ай[1]. Об всем этом Гертруда Стайн просто и трогательно рассказала в законченной в 1944 году книге «Войны, которые я видела». К сожалению, книга давно не переиздавалась, и в новый двухтомник ее также не включили. Это одно из немногих произведений Стайн, которые безусловно можно считать сущностно важными: речь в «Войнах» идет о конце волшебной сказки.

Здесь много роскошных, с любовью сделанных наблюдений: над повседневной жизнью двух женщин, над соседями, над французским прагматизмом и французской смелостью. То, о чем никак нельзя говорить с

[1] GI — солдат (американский); сокращение от Government Issue (казенное имущество); вошло в обиход во время второй мировой войны.

любовью, почти всегда — или очень часто — опускается. Ибо история и Гертруду Стайн вынуждает занять позицию. Физически ощущаешь, как она пытается справиться с нежеланием лишний раз оглядеться по сторонам: самый термин «коллабо́» — единственное слово из длинного ряда синонимов, которое она таки позволяет себе обронить, — заставляет ее надолго впасть в обычную, основанную на повторах невнятицу, за которой угадывается скорее не маньеризм, но клинический случай. Попытка затронуть тему антисемитизма начинается с давних воспоминаний о деле Дрейфуса, но, едва закончив фразу, она срывается на бессмысленный детский лепет: «Он гадает по аказиям, по руке и по лицу. Аказии по вкусу козам». «Аказия» — даже не слово (Стайн никогда не выдумывала слов; подобного рода идиотизм она считала привилегией Джойса). «Акация» — это дерево, а «афазия» — утрата дара речи. Складывается впечатление, будто Стайн сама себе ставит диагноз или будто некая часть ее рассудка наблюдает со стороны за метаниями души.

После войны, в Париже, ее салон заполонили американские солдаты, коих Алиса щедро угощала фирменным шоколадным мороженым. Гертруда записывала за ними, что они говорят и как говорят, словно за пророками новой эры. Она обожала их, она воздавала им почести — как-никак они были юные герои. Но что-то в ней менялось. Мороженое было приправлено нравоучениями; она боялась, что великие освободители купятся на вежливость и лесть послевоенных немцев, боялась, что на мир они смотрят сквозь призму голливудских фильмов. Может показаться, будто малопомалу в ней зрела мысль: этим неоперившимся полубогам еще многому стоило бы научиться, прежде чем мир можно будет без опаски снова передать в мужские руки, пусть даже в руки самых лучших и благородных из мужчин.

Хотя ей уже перевалило за семьдесят и у нее был рак, Стайн по-прежнему рвалась работать. В конце 1945 года она со своим старым другом Вирджилом Томсоном затеяла писать вторую оперу. Действие (так хотел Томсон) должно было происходить в Америке, в девятнадцатом веке; место героя — идея Стайн — должна была занять героиня, суфражистка Сьюзен Б. Энтони. Стайн закончила работу над либретто «Нашей общей матери» незадолго до смерти, в июле 1946 года. Текст, чего и следовало ожидать, был весьма непрост, однако Стайн удалось поместить Сьюзен Б. в центр необычайно напряженного драматического действия. Она провела обширные исторические изыскания — что само по себе поразительно, если вспомнить ее обычные методы, — и в тексте доминирует социальная проблематика (какой она представляется героине): неравенство полов и присущая Сьюзен Б. Энтони страстная убежденность в том, что женщины сильнее и власть должна принадлежать им.

Потому что, утверждает героиня Стайн, мужчины всего боятся: «Они боятся женщин, они боятся друг друга, они боятся ближнего своего, они боятся чужих стран, а потом они начинают подбадривать себя, сбиваясь от страха вместе и строясь друг другу в затылок, а когда они сбиваются вместе и строятся друг другу в затылок, они скоты, они стадо животных». Что касается женщин — женщины боятся не за себя, а только за детей: «Вот в чем настоящая разница между мужчиной и женщиной». Стайн показывает Сьюзен Б. в конце жизни, когда та знает, что все ее труды пошли прахом. Она помогла добиться избирательного права для черных, но умрет гораздо раньше, чем к урнам допустят женщин, равно белых и черных. Когда один из персонажей пытается ее успокоить, говоря, что рано или поздно женщины все равно добьются права участвовать в выборах, ее отчаяние становится только глубже; она боится, что, получив право голоса, женщины тоже заразятся страхом — и сравняются с мужчинами.

Просто поразительно: Стайн вкладывает в уста героини мечту всей своей жизни — чтобы «женщины сравнялись с мужчинами», — но теперь эта фраза звучит как предупреждение об опасности. Не исключено, что новое понимание ценности традиционной роли и места женщины служило Стайн поддержкой в последние месяцы жизни, когда она, по-матерински выпестовавшая многих и многих, подводила итог прожитому. Может быть, именно тогда она и осознала, что, долгие годы подкармливая, поддерживая, помогая советом — в материнском (а возможно ли другое слово?) акте самоотдачи — всем этим мужчинам, которых она любила, которыми восхищалась, гениям ли, солдатам ли, трусам, не важно, она, сама того не замечая, сделалась неким воплощением женской сути и прожила сугубо женскую жизнь, и эта жизнь ей удалась.

Перевод с английского В. МИХАЙЛИНА

ШЕРВУД АНДЕРСОН

Творчество Гертруды Стайн

Однажды зимним вечером, несколько лет назад, ко мне пришел брат и принес с собой книгу Гертруды Стайн. Книга называлась «Нежные кнопки», и как раз в это время американские газеты вовсю ее обсуждали и высмеивали. К тому времени я уже прочел одну книгу мисс Стайн — «Три жизни», и, на мой взгляд, некоторые ее страницы можно было назвать величайшим достижением американской литературы. Меня заинтересовала ее новая работа.

Мой брат накануне присутствовал на некоем литературном сборище, где читали отрывки из «Нежных кнопок». Вечер удался на славу. После первых же строк чтеца прервали взрывы хохота. Все согласились, что автор достиг больших высот в искусстве эпатажа, своими эксцентричными высказываниями привлек всеобщее внимание и на некоторое время внес оживление в нашу безумную, бездумную жизнь.

Оказалось, что брат не вполне удовлетворен расхожей трактовкой творчества мисс Стайн, поэтому он купил «Нежные кнопки» и принес мне; мы долго сидели и читали эти странные предложения. «Знаешь, у слов появляется какой-то новый, удивительный привкус, — сказал он наконец, — и в то же время знакомые слова кажутся почти чужими». Вот так брат заставил меня задуматься об этой книге, а потом ушел и оставил наедине с моими мыслями.

Прошли годы. Мне довелось не раз сиживать с мисс Стайн у ее очага на улице Флерюс в Париже. И теперь меня просят написать несколько слов в качестве предисловия к ее новой книге.

В Америке существует некое представление о мисс Стайн — неверное и ложноромантическое, и в первую очередь мне хотелось бы развеять это заблуждение. Я сам слыхал россказни про длинную мрачную комнату, где на диване лежит томная женщина, курит сигареты, потягивает абсент и смотрит на мир усталым, презрительным взглядом. Время от времени она слегка склоняет голову набок и роняет несколько слов, и к дивану устремляется трепещущий секретарь, готовый немедленно подобрать и увековечить драгоценные перлы.

Я не раз затаив дыхание слушал подобные сказки и — совсем как Том Сойер — надеялся, что все это, может быть, правда. Представьте же мою радость и изумление, когда вместо томной дивы я встретил женщину необычайной жизненной силы, с мощным и утонченным интеллектом, понимающую в искусстве больше, чем любой известный мне американец или американка, к тому же обаятельную и блестящую собеседницу.

Я сказал «радость и удивление»? Позвольте мне описать свои чувства еще раз. С тех пор как я впервые столкнулся с творчеством мисс Стайн, я всегда думал о ней как об отважнейшем первопроходце в литературе моего времени. Меня не раздражает хохот публики, который неизбежно сопутствует появлению каждой ее новой работы; но мне бы хотелось, чтобы писатели — в особенности молодые писатели — постарались хоть немного понять, что́ она пытается сделать и, по моему убеждению, делает.

Вот что я об этом думаю. Каждый художник, работающий со словом, должен временами испытывать глубокую неудовлетворенность из-за ограничений, налагаемых самим материалом. Чего только он не мечтает соткать из слов! Перед ним расстилается сознание читателя, и он хочет создать там новый мир ощущений или, точнее, пробудить к жизни все мертвые и уснувшие чувства.

© А. Борисенко, В. Сонькин. Перевод, 1999

Можно сказать, что творец хочет расширить владения своего искусства. Тот, кто работает со словами, хочет ощущать на губах их вкус, вдыхать их запах, пересыпать их, словно горсть камушков, и слышать, как они гремят и стучат друг о друга; он хочет, чтобы слова на белой странице сразу останавливали взгляд, чтобы они выскакивали из-под пера и до них можно было дотронуться, как прикасаются к щеке возлюбленной.

Я думаю, что книги Гертруды Стайн в самом прямом смысле дают словам жизнь.

Мы, писатели, всегда торопимся. Нас ждут всякие важные дела. Во-первых, надо написать Великий Американский Роман; потом, целебной силой нашей драматургии, поднять из руин американскую и английскую Сцену. А эпические поэмы, а сонеты во славу очей прекрасной дамы, да мало ли еще что... Мы все заняты грандиозными планами и высокими замыслами, которые должны вылиться на страницы книг.

И что нам, полководцам этих великих битв, что нам до простых солдат, до маленьких, ничтожных слов!

Есть город английских и американских слов, и это покинутый город. Сильные, широкоплечие слова, которые могли бы маршировать по бескрайним просторам под голубыми небесами, корпят над конторскими книгами в пыльных и тесных скобяных лавках, юные, невинные слова вынуждены знаться со шлюхами, ученые слова пробавляются ремеслом могильщиков. Не далее как вчера я видел: слово, некогда поднявшее на борьбу целый народ, было унижено до рекламы туалетного мыла.

Я вижу работу Гертруды Стайн как строительство, как возрождение жизни в городе слов. Нашелся один художник, готовый принять насмешки, готовый отказаться от чести написать Великий Американский Роман, поднять из руин англосаксонскую Сцену и увенчать себя лаврами великого поэта, готовый жить среди слов-садовников, слов-работяг, слов-хулиганов, среди усердных и бережливых, безропотных и покинутых обитателей этого святого, полузабытого города.

И какая это будет чудесная, какая тонкая шутка богов — если в конце концов творчество именно этого художника останется в веках как самое значительное из того, что создано словометателями нашего поколения!

Перевод с английского А. БОРИСЕНКО и В. СОНЬКИНА

■

ГЕРТРУДА СТАЙН

Тихая Лена

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского В. МИХАЙЛИНА

Лена была терпеливая, тихая, добрая, и она была немка. Она жила в прислугах уже четыре года, и ей это было по душе.

Лену привезла из Германии в Бриджпойнт родственница, и она уже четыре года работала на одном месте.

Место Лене попалось очень хорошее. Там была хозяйка, приятная и не слишком строгая, и детишки, и Лена им всем была по душе.

Там была еще кухарка, которая часто бранила Лену, но терпеливая немка Лена не слишком от этого страдала, к тому же добрая женщина, хоть она была и нудная, бранила Лену, в общем, для ее же пользы.

Голос у Лены, когда она стучала по утрам в двери и всех будила, был такой по-немецки утренний, такой ласковый, такой был за душу берущий, прямо как нежный ветерок в середине дня летом. Каждое утро она подолгу стояла в коридоре и на свой скромный и без обид немецкий лад повторяла детям, чтоб вставали. Она все повторяла и ждала их долго, а потом повторяла опять, спокойно, мягко и терпеливо, и дети часто успевали провалиться обратно в драгоценный и густой последний сон, который даже тех, кто вступил в зрелую пору, наделяет молодой радостной силой, как у детей, когда они просыпаются.

Лене на все утро хватало доброй нелегкой работы, а после обеда, если день был приятный и солнечный, ее посылали в парк гулять с двухлетней младшенькой.

Всем прочим девушкам, которые там в парке собирались милой и ленивой стайкой в солнечные дни гулять с детьми, простая тихая немка Лена очень даже нравилась. А еще им очень нравилось шутить над ней, потому что ее легко было сбить с толку, и она делалась вся такая озабоченная и совсем беспомощная, потому что никак не могла взять в толк, что́ другие, более шустрые девушки имеют в виду, когда говорят всякие странные вещи.

Две-три девушки, с которыми Лена сидела вместе, всегда сходились дружка с дружкой, чтобы сбивать ее с толку. И все равно ей была по душе такая жизнь.

Иногда девочка падала и плакала, и Лене приходилось ее успокаивать. Когда она роняла шляпку, Лене приходилось шляпку подбирать и держать в руках. Когда малышка вела себя плохо и бросала игрушки на землю, Лена объясняла ей, что игрушек она обратно не получит, забирала их и не отдавала, пока девочка не попросит сама.

Жизнь у Лены была тихая, почти такая же тихая, как сладкое ничегонеделанье. Другие девушки, конечно, шутили над ней, и у Лены от этого внутри свербело, но не сильно.

Лена была загорелая и очень миленькая, и загар был такой, какой часто бывает у светлых рас, загар не в желтизну, не в красноту, не в шоколадный тон южных солнечных стран, а такой, когда чистый цвет прямиком ложится поверх бледной кожи, ровный, чуть коричневатый загар, с которым славно смотрятся карие глаза и не слишком густые прямые русые волосы, волосы, которые не сразу становятся русыми, а только когда пройдет соломенно-желтое немецкое детство.

У Лены были плоская грудь, прямая спина и сутулые плечи терпеливой и при-

---

© В. Михайлин. Перевод, 1999

лежной работящей женщины, пусть даже тело ее и пребывало покуда в мягкой девической поре и работа еще не успела очертить линии слишком резко.

Было в Лене, в неспешной тихости ее движений что-то особенное, но примечательней всего была в ней терпеливая, какую сейчас и не сыщешь, простота и, как будто от земли идущая, чистота ее загорелого, плоского, мягко очерченного лица. Брови у Лены были на редкость густые. Они были черные, и вразлет, и какие-то очень спокойные, хоть и темные и красивые, а под ними карие глаза, простые и милые, с будто от земли идущим терпеливым выражением тихой работящей немецкой женщины.

Да, жизнь у Лены и впрямь была спокойная. Другие девушки, конечно, шутили над ней, и у Лены от этого внутри свербело, но не сильно.

— Что такое у тебя на пальце, Лена, — спросила у нее однажды Мэри, одна из девушек, с которыми Лена обычно сидела в парке. Мэри была славная, шустрая, умная, и она была ирландка.

Лена как раз подобрала с земли игрушечный бумажный аккордеон, который уронила девочка, и неловко тянула его теперь загорелыми сильными пальцами, а он тоскливо пищал.

— А? Что это, Мэри, краска? — спросила Лена, сунув палец в рот, чтобы попробовать пятнышко на вкус.

— Это же страшный яд, Лена, разве ты не знаешь? — сказала Мэри. — Вот эта зеленая краска, которую ты сейчас взяла в рот.

Лена уже успела слизнуть с пальца немного краски. Она тут же вынула палец изо рта и стала внимательно его рассматривать. Она никак не могла взять в толк, шутит Мэри или говорит всерьез.

— Правда же, это яд, Нелли, эта вот зеленая краска, которую Лена сейчас взяла в рот? — сказала Мэри. — Точно-точно, Лена, самый настоящий яд, какие уж тут шутки.

Лена слегка встревожилась. Она внимательно смотрела на испачканный краской палец и думала, успела она что-нибудь слизнуть или нет.

Кончик пальца был немного влажный, и она долго терла его о подол, а в промежутках удивлялась, смотрела на палец, и думала, правда, что ли, это был яд, то, что она сейчас слизнула.

— Вот беда-то, Нелли, что Лена взяла это в рот, — сказала Мэри.

Нелли улыбнулась и ничего не сказала. Нелли была худенькая и смуглая и на вид итальянка. У нее была густая копна черных волос, и она забирала их высоко, и от этого лицо у нее было очень красивое.

Нелли всегда улыбалась и почти ничего не говорила, а потом смотрела на Лену, и Лена не знала, куда девать глаза.

Они еще долго сидели там, все три, на ласковом солнышке, и занимались своим несложным делом. И Лена время от времени смотрела на палец и думала, на самом, что ли, деле это был яд, и она его лизнула; а потом еще усердней терла палец о платье.

Мэри смеялась над ней и отпускала шуточки, а Нелли только улыбалась и странно смотрела.

Потом пришло время — потому что стало прохладно — собрать разбредшихся кто куда детишек в кучу и каждого отвести домой к маме. И Лена так никогда и не узнала, правда ли это был яд, зеленое это пятнышко, и она его попробовала.

Все эти четыре года Лена ездила по выходным воскресеньям домой к своей тетушке, которая четыре года назад привезла ее в Бриджпойнт.

Эта тетушка, которая привезла Лену четыре года назад в Бриджпойнт, была строгая, с понятиями, хотела всем добра, и она была немка. Муж у нее был городской бакалейщик, и жили они очень богато. У миссис Хейдон, Лениной тетушки,

были две дочери, которые как раз недавно стали барышни, и еще был маленький сын, только он был врунишка и с ним хлопот полон рот.

Миссис Хейдон была приземистая, крепкая и налитая немецкая женщина. Когда она шла, всегда ставила ногу устойчиво и очень твердо. Миссис Хейдон была как плотный ком хорошо застывшей глины, и лицо у нее было такое же, а еще потемневшее и красное, как краснеют и темнеют к старости лица белесых немок, с жирными радушными щеками, с двойным подбородком, который терялся в складках ее короткой квадратной шеи.

Две дочки, одной четырнадцать, другой пятнадцать, казались с нею рядом непромешенными и не вылепленными как следует массами плоти.

Старшая, Матильда, была белесая, медлительная, жирненькая, и она была простушка. Младшая, Берта, ростом выдалась почти в сестру, только она была темная, и пошустрей, и, конечно, была тяжеловата, но жирной не назовешь.

Этих двух мать держала в ежовых рукавицах. И вышколила их, чтоб знали себе цену. Обе всегда были хорошо одеты, в одинаковых шляпках, как положено, если вас две сестры и вы немки. Мать любила, чтоб они были одеты в красное. Самые лучшие из платьев у них были красные, из добротной плотной ткани, щедро отделанные блестящей черной тесьмой. А к платьям по жесткой красной фетровой шляпке с черной бархатной лентой на тулье и с птичкой. Мамаша одевалась как матрона, в капоре и в черном, садилась всегда промежду больших своих дочек, вся такая суровая, сдержанная и властная.

Единственная слабость, недостойная этой славной немецкой женщины, — это как она баловала сына, а тот был врунишка, и с ним хлопот полон рот.

Отец семейства был добропорядочный, тихий, толстый немецкий мужчина, и он не совался. Он старался вывести из мальчишки дурь и чтоб врать перестал, но едва отец за него брался, мать обязательно вмешивалась, не могла удержаться, и мальчик получал неправильное воспитание.

Дочки миссис Хейдон только-только стали барышни, так что выдать племянницу, Лену, замуж была поэтому для миссис Хейдон главная забота.

Четыре года назад миссис Хейдон поехала в Германию навестить родителей и взяла с собой девочек. Миссис Хейдон этот визит удался как нельзя лучше, хотя обеим дочкам не очень-то понравилось.

Миссис Хейдон была достойная щедрая женщина, и она от всей души заботилась и о родителях, и о разных там двоюродных, которых понаехало со всей округи. Старики миссис Хейдон были фермеры средней руки. Они были не то чтобы простые крестьяне, и где они жили было вроде как город, но родившимся в Америке дочкам миссис Хейдон все кругом отдавало нищетой и вонью.

А миссис Хейдон нравилось. Ей там все было знакомо, и потом она была такая богатая и важная. Она слушала родственников и решала за них всякие проблемы, и советовала, как лучше поступить. Она устраивала их настоящее и будущее и доказывала им, насколько в прошлом они были не правы, куда ни кинь.

И все было бы хорошо у миссис Хейдон, если б не две ее дочери, которых она никак не могла заставить почитать дедушку с бабушкой. Обе девочки вообще нехорошо себя вели со всеми здешними родственниками. Мать едва могла их заставить поцеловать дедушку с бабушкой и каждый день устраивала им головомойку. Но у миссис Хейдон столько было всяких разных других дел и времени на то, чтоб окоротить упрямых дочек, просто не хватало.

Трудолюбивая, с шершавыми от земли и работы руками немецкая родня казалась рожденным в Америке девочкам уродливой и грязной и много ниже их самих, вроде как рабочие-итальянцы или негры, и девочкам казалось странным, как это мама дотрагивалась до них и ее не выворачивало, и женщины были так смешно одеты, и от работы все грубые и вообще другие.

Обе девочки глядели на них свысока и всегда говорили промеж собой по-английски, как они их всех терпеть не могут и как они хотели бы, чтобы мама не связывалась. Девочки умели немного по-немецки, но даже и пробовать не желали.

Семья старшего брата интересовала миссис Хейдон прежде прочих. Там было восемь человек детей, и пять из них из восьмерых были девочки.

Миссис Хейдон подумывала, что было бы неплохо взять одну из этих девочек с собой домой в Бриджпойнт и дать ей шанс. Всем это нравилось, и все хотели, чтоб поехала Лена.

Лена была вторая по счету девочка в этой большой семье. Ей тогда было всего семнадцать лет. Лена была в семье не самая-самая. Она всегда была вроде как в полудреме и не здесь. Работница она была хорошая и безотказная, но даже и доброй работой разбудить ее не было никакой возможности.

Возраст у Лены был как раз такой, как хотелось миссис Хейдон. Лена могла бы сперва пойти куда-нибудь в прислуги и научиться по хозяйству, а погодя, когда войдет в возраст, миссис Хейдон нашла бы ей хорошего мужа. И потом, Лена была такая тихая и скромная, что никогда не станет делать на свой лад. И потом еще, миссис Хейдон при всей своей суровости была мудрая, и она чувствовала, что в Лене что-то есть.

Лена хотела уехать с миссис Хейдон. Лене в Германии не очень нравилось. И дело было не в тяжелой работе, а в грубости. В здешних людях не было обхождения, и мужчины, развеселясь, делались буйные и тогда принимались лапать ее и отпускать грубые шуточки. Они были славные люди, но все это было как-то неприятно и нерадостно.

По правде говоря, Лена и сама не очень понимала, что́ ей в Германии не нравится. И не очень понимала, почему она все время как в полудреме и не здесь. Она не знала, будет ли там, в Бриджпойнте, как-то иначе. Миссис Хейдон взяла ее и накупила всяких платьев, а потом взяла на пароход. Лена не очень понимала, что с ней такое происходит.

Миссис Хейдон, и девочки, и Лена ехали на пароходе вторым классом. Дочкам миссис Хейдон было как против шерсти, что мама взяла с собой Лену. Им не хотелось, чтоб у них была двоюродная сестра, которая ничем не лучше ниггера, и чтобы все на пароходе обращали на нее внимание. Дочки миссис Хейдон даже высказали кое-что матери, но той было некогда их слушать, а у девочек не хватило смелости прямо сказать, что у них на уме. Вот им только и оставалось, что ненавидеть Лену обеим, разом. Помешать ей вернуться с ними вместе в Бриджпойнт они все равно не могли.

Лене в пути было очень плохо. Она думала: всё, еще и не доедут, а она умрет. Ей было так плохо, что даже не было сил жалеть, что поехала. Есть она не могла, стонать не могла, а только была вся белая и напуганная до смерти и думала, вот-вот она умрет. Она ни совладать с собой не могла, ни сама за собой ухаживать. Просто лежала, где положили, бледная и напуганная, и слабая, и больная, и уверенная, что вот-вот она умрет.

У Матильды с Бертой в дороге хлопот из-за того, что Лена им двоюродная сестра, до самого последнего дня на пароходе не было, к тому времени они уже обзавелись друзьями и могли все объяснить.

Миссис Хейдон каждый день спускалась к Лене, давала ей всякие разности, чтоб не так было плохо, придерживала голову, когда было нужно, и вообще о ней заботилась и делала все, что положено.

У бедной Лены не было столько сил, чтобы терпеть и быть сильной. Она не умела ни отдаться напасти, ни перебороть ее. Она совсем потерялась в своих страданиях. Ей было очень страшно, и к тому же в Лене, в терпеливой, мягкой, тихой Лене, совершенно не было ни самообладания, ни храбрости.

Бедняжка Лена была такая напуганная и слабая и каждую минуту ждала, что вот-вот она умрет.

Вскоре после того, как Лена опять оказалась на твердой земле, она забыла про все свои страдания. Миссис Хейдон нашла ей место, с приятной и не очень строгой хозяйкой и с детишками, и Лена стала немножко понимать по-английски, и очень скоро ей стало хорошо и просто.

Каждое свое выходное воскресенье Лена проводила в доме миссис Хейдон. Лене бы, конечно, больше было по душе проводить воскресенья с девушками, с которыми она сидела в парке, которые приставали к ней с вопросами и шутили над ней, отчего немного свербело внутри, но не было такого в по-немецки безыскусной и необидчивой натуре Лены, чтобы делать не то, чего от тебя все ждут, только потому, что тебе так больше нравится. Миссис Хейдон сказала, чтобы Лена каждое второе воскресенье приезжала к ней домой, вот Лена всегда и приезжала.

Из всей семьи одна миссис Хейдон проявляла к Лене интерес. Мистер Хейдон был о ней невысокого мнения. Она была племянница жены, и он был к ней добр, но ему она казалась глупой, и немного простоватой, и очень скучной, и он не сомневался, что в один прекрасный день ей потребуется помощь, потому что она попадет в какую-нибудь историю. Всякая привезенная из Германии в Бриджпойнт родня, помоложе и победнее, в скором времени попадала в какую-нибудь историю, и требовалась помощь.

Маленький мальчишка Хейдон вел себя с ней безобразно. Он был трудный мальчик, и с ним бы кто угодно нахлебался, а мать его только портила. Дочки миссис Хейдон выросли, но лучше относиться к Лене не стали. А до Лены так никогда и не дошло, что и она их тоже не любит. Она и знать не знала, что бывает счастлива только с теми девушками, с которыми она всегда сидела в парке, которые были пошустрее, чем она, и смеялись, и всегда над ней шутили.

Матильде Хейдон, глупой, толстой, белесой старшей дочери, очень не нравилось, когда приходилось говорить, это, мол, моя кузина Лена, про Лену, которая была для нее разве что чуть лучше ниггера. Матильда была медлительная, вялая, белесая, неумная, жирная и только-только превратилась в женщину; и говорила не разбери-поймешь, и нудная была, и тупая, и очень ревновала всю свою семью и всех подружек, и гордилась, что у нее всего полно: и красивых платьев, и новых шляпок, и музыке она учится, и двоюродная сестра, которая в простых служанках, была ей как кость в горле. А еще Матильда очень хорошо запомнила, из какой грязной дыры они взяли Лену, и как Матильда там на всех глядела свысока, и как она злилась на мать за то, что та ее ругала, а тамошний неотесанный люд, от которого воняет коровой, матери нравится.

А еще Матильда делалась сама не своя, когда мать приглашала Лену к себе на вечеринки и когда говорила, какая Лена расчудесная, разным немецким мамашам, у которых сыновья, и кто-нибудь из них может сгодиться Лене в мужья. От всего от этого нудная, белесая, жирная Матильда делалась очень злая. Иногда такая злая, что даже выговаривала матери, на свой тянучий, не разбери-поймешь манер и с ревнивым злым блеском в светло-голубых глазах, что она не понимает, как можно привечать эту поганую Лену; и тогда мама ругала Матильду и говорила ей, что кузина Лена бедная, а с бедными Матильде нужно подобрей.

Матильде Хейдон не нравилось, если родственники бедные. Она сказала всем своим подружкам, что́ она думает про Лену, и девушки никогда не говорили с Леной в гостях у миссис Хейдон. Но Лена, в своей безыскусной и необидчивой терпеливости, даже и не замечала, что ее ни в грош не ставят. Если Матильда гуляла с подружками на улице или в парке и навстречу попадалась Лена, она всегда глядела на нее свысока и едва ей кивала, а потом говорила подругам, как это смешно, что мать заботится о таких вроде Лены, а в Германии вся Ленина родня ну просто свиньи.

Младшая сестра, темноволосая, большая, но не жирная Берта Хейдон, которая шустро соображала и вообще была шустрая и папина дочка, тоже не любила Лену. Она ее не любила потому, что, по ней, Лена была дура набитая и позволяла этим ирландке с итальянкой над собой смеяться и дразниться, и Лену всегда все подымают на смех, а Лене хоть бы что, и ей не хватает ума понять, что все кругом ее выставляют полной дурой.

Берта Хейдон терпеть не могла, если человек дурак. Ее отец, он тоже считал Лену дурочкой, так что ни отец, ни дочь никогда не обращали на Лену внимания, хоть та и приходила к ним в дом каждое второе воскресенье.

А Лена и знать не знала, что думают Хейдоны. Она ходила по воскресеньям к тете в дом, потому что миссис Хейдон сказала, что так надо. По той же самой причине Лена откладывала деньги. Ей просто никогда не приходило в голову, что их можно тратить. Кухарка-немка, добрая женщина, которая всегда бранила Лену, каждый месяц помогала ей класть их в банк, как только получит. Иногда деньги не попадали в банк, где о них заботились, потому что кто-нибудь их у Лены просил. Маленький мальчишка Хейдон иногда просил, а иногда тем девушкам, с которыми Лена сидела, требовалось немного лишних денег; но кухарка-немка, которая всегда бранила Лену, следила, чтобы так не получалось слишком часто. А когда так получалось, она распекала Лену на все корки и потом несколько месяцев кряду не разрешала ей даже дотронуться до денег, а сама несла их в банк в тот же день, как Лене их дадут.

Вот Лена и откладывала деньги, потому что не представляла, что их можно тратить, и всегда по выходным ходила в гости к тете, потому что не знала, что можно по-другому.

Миссис Хейдон с каждым годом все больше убеждалась, что она была права, взяв Лену с собой в Америку, потому что все выходило как ей хотелось. Лена была славная девушка, и слова поперек не скажет, и училась говорить по-английски, и складывала все заработанные деньги в банк, и скоро миссис Хейдон найдет ей хорошего мужа.

Все эти четыре года миссис Хейдон приглядывалась к знакомым немецким семьям в поисках порядочного человека Лене в женихи и вот наконец нашла что хотела.

Человек, которого миссис Хейдон приглядела Лене, был портной, американский немец, и работал у своего отца. Он был славный, и семья такая бережливая, и миссис Хейдон была уверена, что для Лены это подходящая партия, и к тому же молодой портной всегда все делал так, как скажут отец с матерью.

Эти немцы, старик портной и его жена, родители Германа Кредера, который должен был жениться на Лене Майнц, люди были очень домовитые и без затей. Герман изо всех детей единственный остался с ними жить и всегда делал так, как они хотели. Герману было уже двадцать восемь лет, но мать с отцом по-прежнему бранили его и указывали что и как, а он их слушал. А теперь они хотели, чтобы он женился.

Герману Кредеру не очень-то хотелось жениться. Он был человек мягкий и робкого десятка. И еще он был немного замкнутый. Он слушался отца с матерью. Он всякую работу делал любо-дорого взглянуть. Он часто ходил в город в компании других мужчин в субботу вечером и по воскресеньям. Ему с ними нравилось, но по-настоящему веселиться он не умел. Ему нравилось бывать среди мужчин и не нравилось, когда примешивались женщины. Он слушался матери во всем, но жениться ему не очень-то хотелось.

Миссис Хейдон и старики Кредеры много говорили про эту затею с женитьбой. Всем троим она очень нравилась. Лена сделает все, как скажет ей миссис Хейдон, а Герман всегда и во всем слушал отца с матерью. Оба они, Лена с Германом, были бережливые и работящие, и ни тот ни другая слова поперек не скажут.

Старики Кредеры — все об этом знали — деньги впустую не тратили, и они были крепкая трудолюбивая немецкая семья, и миссис Хейдон была уверена, что уж в этой семье Лена никогда не попадет в историю. Мистер Хейдон тоже не будет против. Он сам знает, что у старика Кредера куча денег и несколько хороших домов; и ему было все равно, куда его жена приткнет эту простушку, эту дурочку Лену, лишь бы той не потребовалась помощь и она не угодила бы в историю.

Лена не очень-то хотела замуж. Ей нравилось, как она живет в том доме, где работает. Про Германа Кредера она особо и не думала. Она думала про него, что он хороший человек, и он всегда казался ей немного робким. Друг с другом они почти не говорили. И Лене в то время, в общем, не очень-то хотелось замуж.

Миссис Хейдон часто говорила с Леной про замужество. А Лена хоть бы раз ей чего ответила. Миссис Хейдон думала, Лене не нравится Герман Кредер. Миссис Хейдон даже представить себе не могла, чтобы девушка, любая, а не только Лена, вообще никогда не думала про замужество.

Миссис Хейдон часто говорила с Леной о Германе. Миссис Хейдон иногда очень сердилась на Лену. Она боялась, а вдруг Лена против обыкновения взбрыкнет, и именно теперь, когда уже все слажено.

— Ну что ты стоишь как дурочка, почему ты ничего не отвечаешь, а, Лена? — спросила миссис Хейдон однажды в воскресенье после долгого разговора с Леной про Германа Кредера и про то, как Лена выйдет за него замуж.

— Да, мэм, — ответила Лена, и тут миссис Хейдон не выдержала и сорвалась на эту глупую Лену.

— Почему ты никогда не скажешь толком, а, Лена, когда я тебя спрашиваю, нравится тебе Герман Кредер или нет? Стоишь тут как дурочка, и слова из тебя не вытянешь, как будто я тут говорила, говорила, а ты слышать ничего не слышала. Нет, Лена, я таких, как ты, в жизни не видывала. Хочется тебе выложить мне все как есть, так возьми и выложи, и нечего тут стоять как дурочка и не отвечать, когда тебя спрашивают. А я-то для нее стараюсь, и мужа ей нашла, и чтоб собственный дом был, где жить. Ну, давай, Лена, выкладывай: тебе что, не нравится Герман Кредер? Такой славный молодой человек, может, он даже и слишком хорош для тебя, особенно если ты и дальше собираешься стоять тут как дурочка и помалкивать. Между прочим, не каждой девушке выпадает возможность так удачно выйти замуж, как тебе.

— Ну что вы, тетя Матильда, я сделаю все, как вы скажете. Конечно, он мне нравится. Он со мной почти не говорил, но, наверное, он человек хороший, и как вы, тетя, скажете, я так все и сделаю.

— А почему тогда ты стоишь все время как дурочка и не отвечаешь, когда тебя спрашивают?

— Я не слышала, чтобы вы мне велели что-нибудь сказать. Я не знала, что вы хотите, чтоб я говорила. Как вы мне посоветуете, чтобы мне же лучше, я так и сделаю. И если вам хочется, чтобы я вышла замуж за Германа Кредера, я выйду.

Вот так Лену Майнц и сосватали.

Старая миссис Кредер со своим Германом ни о чем таком не говорила. Ей никогда не приходило в голову, что нужно обсуждать с ним подобные вещи. Она просто сказала ему про свадьбу с Леной Майнц и что она работящая, и бережливая, и слова поперек не скажет, и Герман как обычно что-то ей такое в ответ промычал.

Миссис Кредер и миссис Хейдон назначили день, и сделали распоряжения насчет свадьбы, и пригласили всех, кто должен был прийти, чтобы увидеть, как они поженятся.

Через три месяца Лена Майнц и Герман Кредер должны были стать мужем и женой.

Миссис Хейдон проследила за тем, чтоб у Лены было все что нужно. Пришлось очень много помогать Лене шить. Шила Лена так себе. Миссис Хейдон сперва ругалась на нее, что она не умеет шить как следует, а потом проявила к Лене доброту и сочувствие и наняла девушку, чтобы та приходила и помогала шить. Лена по-прежнему жила у своей доброй хозяйки, но теперь каждый вечер и все выходные проводила у тетки за всем этим шитвом.

Миссис Хейдон накупила Лене красивых платьев. Лене это очень даже понравилось. А чтобы к платьям были новые шляпки, это Лене понравилось еще больше, и миссис Хейдон заказала их у настоящего шляпника, у которого они вышли очень даже хорошенькие.

Лена все эти дни немного нервничала, но про замужество почти не думала. Она, по правде говоря, не очень-то даже представляла себе, что это такое, что с каждым днем все ближе.

Лене нравился дом, где она работала, приятная хозяйка и добрая кухарка, которая вечно бранилась, и ей нравились девушки, с которыми она всегда сидела в парке. Но она не знала, понравится ли ей больше замужем. Она всегда слушалась тетю, но сразу начинала нервничать, едва увидит Кредеров с их Германом. Она была возбуждена, и ей нравились новые шляпки, и все шутили над ней, и свадьба была все ближе, а она никак не могла взять в толк, что же это такое, что скоро с ней произойдет.

Герман Кредер больше знал про то, что такое женатая жизнь, и это ему не слишком нравилось. Ему не нравилось, когда были девушки, и он бы не хотел, чтобы одну из них пришлось постоянно терпеть с собой рядом. Герман всегда делал то, чего от него хотели отец с матерью, и вот теперь они хотели, чтобы он женился.

Герман был человек нелюдимый; а еще он был тихий и замкнутый. Ему нравилось выбираться в город с другими мужчинами, но только чтобы без женщин. Мужчины шутили над ним, что он женится. Герман ничего ни имел против, пускай их шутят, но жениться и чтобы девушка всегда была с ним рядом, ему не очень-то хотелось.

За три дня до свадьбы Герман уехал за город, на воскресенье с ночевкой. Они с Леной должны были пожениться во вторник, во второй половине дня. Когда настал вторник, от Германа не было ни слуху ни духу.

Старики Кредеры поначалу не очень-то беспокоились. Герман всегда делал так, как они хотели, и, конечно же, он вернется как раз к свадьбе. Но когда прошел понедельник и настала ночь, а Германа все не было, они пошли к миссис Хейдон и рассказали ей все как есть.

Миссис Хейдон очень разнервничалась. Мало того, что она извелась вся, пока все приготовила, теперь еще этот глупый Герман смылся, и никто не мог объяснить, что случилось. Лена на месте, и все готово, и теперь осталось только сыграть свадьбу, и надо бы знать наверняка, что и Герман будет на месте.

Миссис Хейдон очень разнервничалась, а сказать старикам Кредерам она особо ничего и не могла. Она не хотела с ними ссориться, потому что ей теперь уж очень хотелось, чтобы Лена вышла замуж за Германа.

Наконец они решили, что свадьбу нужно отложить на неделю. Старый мистер Кредер съездит в Нью-Йорк за Германом, потому что, скорее всего, Герман уехал к тамошней замужней сестре.

Миссис Хейдон разослала всем приглашенным весточки, чтоб подождали неделю, считая с нынешнего вторника, а во вторник утром послала за Леной, чтобы та приехала к ней поговорить.

Миссис Хейдон была очень злая на бедную Лену, когда та к ней приехала. Она принялась ругать ее на чем свет стоит, почему она такая глупая, и теперь вот Герман уехал, и никто не знает куда, а все оттого, что Лена такая размазня и дурочка. А

миссис Хейдон ей вместо матери, а Лена вечно стоит столбом, и кто ее о чем ни спросит, ответа не дождешься, и Герман тоже хорош гусь, а отец теперь, значит, езди ищи его. И незачем старикам для своих детей стараться. Дети все неблагодарные, и слова доброго не дождешься, а старики всегда для них стараются. Лена, она что, думает, миссис Хейдон приятно рук не покладать, только чтобы Лена была счастлива и чтобы у нее был муж, а Лена такая неблагодарная и все норовит сделать поперек. Что ж, пусть будет урок бедной миссис Хейдон, чтоб не делала людям добра. Пусть люди сами о себе заботятся и больше не лезут к ней со своими бедами; она теперь наученная и никому ни за что помогать не станет. Ей от этого одни сплошные хлопоты, да и мужу это не по душе. Он ей всегда говорил, что она слишком добрая, а никто ей даже спасибо не скажет, вот и Лена все только стоит столбом и никому ни слова в ответ, о чем ее ни спросят. Со своими дурочками разлюбезными Лена небось еще как разговаривает, с этими, с которыми сидит все время в парке и которые ей, между прочим, ничего хорошего пока не сделали, знай только деньги тянут, а вот с собственной теткой, которая столько для нее всего, и такая добрая, и как с родной дочерью, так нет, Лена стоит и не отвечает, и никогда тетке от нее никакой радости, и нет чтобы сделать как тете хочется. «Ладно, теперь чего уж стоять и слезы лить. Все, Лена, поздно, Германа-то поминай как звали. Раньше надо было думать, не пришлось бы теперь стоять и слезы лить, и меня еще расстраивать, и чтобы меня муж ругал, что я обо всех забочусь, а никто даже спасибо не скажет. Слава богу, Лена, хоть теперь до тебя дошло; ладно, постараюсь сделать для тебя что смогу, хоть ты и не заслуживаешь, чтоб о тебе пеклись. Ну, может, хоть в следующий раз будешь умнее. Езжай теперь домой и постарайся по дороге не испортить платье, и шляпку новую тоже; зря ты их нынче надела; но тебе, Лена, хоть кол на голове теши. В жизни подобной тупости не встречала».

Миссис Хейдон замолкла, а Лена все так и стояла в своей шляпе с красивыми цветочками, и слезы текли у нее из глаз, и Лена все никак не могла понять, что же она такого сделала, но только теперь она не выйдет замуж, а если мужчина бросает девушку в самый день свадьбы, это ей позор на всю жизнь.

Лена отправилась домой одна-одинешенька и плакала в трамвае.

Бедная Лена плакала что было сил в трамвае, одна-одинешенька. Она едва не испортила новую шляпку, когда плакала и билась головой о стекло. Потом она вспомнила, что так делать не надо.

Кондуктор попался добрый человек, и он ее пожалел, когда увидел, как она плачет. «Да не убивайся ты; такая хорошенькая, а плачешь; да найдешь ты себе другого», — сказал он, просто чтобы ее подбодрить. «А тетя Матильда сказала, что теперь я никогда не выйду замуж», — ответила, всхлипывая, Лена. «Ишь ты, как в воду глядел, — сказал кондуктор, — а ведь просто пошутить хотел. Не знал, что тебя и в самом деле бросил парень. Дурной, выходит, тебе парень попался. Но ты не переживай, он, видно, совсем ничего не понимает, коли смылся и бросил такую хорошенькую барышню вроде тебя. Давай-ка расскажи мне, что стряслось, а я тебе помогу». Вагон был пуст, и кондуктор сел с ней рядом, и обнял ее одной рукой, просто чтобы утешить. Тут Лена вспомнила, где она находится и что если тетя такое про нее узнает, то станет ругаться. Она отодвинулась от кондуктора в самый уголок. Он рассмеялся: «Да не бойся ты, — сказал он, — я тебя не трону. Ты давай-ка держись. Ты такая миленькая и мужа себе найдешь обязательно, хорошего, правильного. И никому не позволяй себя дурачить. Ты хорошая девушка, и не надо меня бояться».

Кондуктор пошел обратно на площадку, чтобы помочь пассажиру забраться в трамвай. И пока Лена ехала в трамвае, он то и дело подходил к ней, чтобы утешить, чтобы она не убивалась из-за какого-то там недоумка, который мог вот так вот сбежать и бросить ее одну. Нечего и думать, найдет она себе хорошего человека, и беспокоиться нечего, так он ей говорил.

Еще он говорил с другим пассажиром, который только что сел, хорошо одетый пожилой господин, а потом с другим, который сел еще позже, тот был рабочий, из добропорядочных, а потом с одной милой дамой, та села после рабочего, и всем рассказал, какая с Леной приключилась беда и какие есть на свете негодяи, что могут так обойтись с бедной девушкой. И весь трамвай жалел бедняжку Лену, и рабочий пытался ее утешить, а пожилой господин посмотрел на нее пристальным взглядом и сказал, что, похоже, она хорошая девушка, но надо быть осторожной, а неосторожной быть нельзя, и тогда бы с ней такого не случилось, а милая дама подошла и села с ней рядом, и Лене это было приятно, хоть она и отодвинулась от дамы в уголок.

Так что Лена, когда выходила из трамвая, уже немного пришла в себя, и кондуктор помог ей выйти и сказал напоследок: «Не расстраивайся ты. Пустой был парень, никудышный, тебе еще повезло, что от него избавилась. Найдешь себе другого, в самый раз по тебе. И не переживай, я в жизни не видал, чтобы такая неприятность и у такой славной барышни», — кондуктор покачал головой и пошел обратно в салон, чтобы обсудить это дело с прочими оставшимися у него в трамвае пассажирами.

Кухарка-немка, которая всегда бранила Лену, очень рассердилась, когда услышала всю эту историю. Она так и знала, что ничего-то миссис Хейдон, которая только и знает распинаться, как-де она всех на свете осчастливит, для Лены не сделает. Добрая кухарка и раньше-то ей не слишком доверяла. От людей, которые много про себя понимают, ничего по-настоящему не дождешься. Нет, не то чтобы миссис Хейдон была дурная женщина. Миссис Хейдон женщина правильная, настоящая немка, и Лена ей племянница, и она Лене хочет только добра. Кухарке это хорошо известно, и она всегда это говорила, и миссис Хейдон ей всегда нравилась, и она со всем уважением, и та к ней с уважением, а Лена так робеет, если нужно бывает поговорить с мужчиной, и миссис Хейдон, конечно, нелегко пришлось, когда она задумала выдать Лену замуж. Миссис Хейдон славная женщина, вот только послушать ее иногда, так будто она невесть кто. Может, хоть теперь поймет, что не всякий раз легко и просто устроить так, чтобы все выходило по-твоему. Кухарке очень жаль ее, миссис Хейдон-то. Такое для нее разочарование, и столько хлопот, а с Леной она и впрямь всегда как с дочкой родной. А Лене, кстати, лучше бы пойти переодеться и перестать реветь. Слезами горю не поможешь, а если Лена будет хорошо себя вести и наберется терпения, тетя обязательно что-нибудь придумает. «А я поговорю с миссис Олдрич, чтобы она тебя пока тут оставила. Ты же знаешь, Лена, она к тебе со всей душой, конечно, она тебя оставит, и я ей все расскажу про этого дурня, про Германа Кредера. У меня, Лена, просто зла не хватает на таких дураков. И перестань, Лена, нюни тут распускать; иди сними хорошее платье и сложи его как следует, а то испортишь, понадобится другой раз, а надеть нечего; и давай-ка помоги мне с посудой, и все будет в порядке. Вот увидишь, как я сказала, так оно и будет. А ну-ка, перестань мне реветь, слышишь, а не то я тебя вконец изругаю».

Лена никак не могла остановиться, и тихонько всхлипывала, и была вся такая несчастная, но сделала в точности как сказала кухарка.

Девушкам, с которыми всегда сидела Лена, стало ее очень жалко, когда они увидели, какая она несчастная. Бывало, что ирландка Мэри очень на нее сердилась. Мэри всегда просто до белого каления доходила, когда разговор шел про Ленину тетю Матильду, которая невесть что о себе понимает, а у самой дочки две набитые дурищи. Мэри бы ни за что на свете не согласилась быть как эта жирная всё-не-поней Матильда Хейдон, ну хоть золотом ее осыпь. И как только Лена может все время к ним ездить, когда они так себя ведут, будто ни в грош ее не ставят; вот этого Мэри никогда не понимала. Но Лена, она ведь никогда не знала, как поставить человека на место, оттого-то все ее и беды. И вообще Лена дурочка, какая глупость

с ее стороны расстраиваться из-за этого олуха деревенского, который даже не знает, чего ему надо, а только смотрит в рот мамаше с папашой и знай твердит свое «ja» как трехлетка, и даже глаза поднять на девушку и то ему страшно, а потом раз и смылся в последнюю минуту, как будто кто ему чего сделать хотел. По-озор? И Лена будет тут еще про какой-то позор! Да для девушки позор, если ее с таким вот олухом кто увидит, не то что замуж за него. Но Лена такая квашня и никогда-то, бедняжка, не умела показать людям, чего она на самом деле стоит. Видите ли, позор, что он от нее сбежал. Вот только попадись он Мэри, она бы ему показала. Да чтоб ей, Мэри, не было ни дна ни покрышки, если Лена не стоит пятнадцати таких Германов Кредеров. И слава богу, что Лена отделалась от этого Германа Кредера и от его грязных, вонючих родителей, и, если Лена сию же секунду не перестанет ныть, Мэри, вот честное слово, совсем перестанет ее уважать.

Бедняжка Лена прекрасно понимала, что Мэри правда так считает, как говорит. Но Лена была вся такая несчастная. Разве не позор для порядочной немецкой девушки, если мужчина сбежит от нее и бросит ее одну. Лена прекрасно знала: тетя права, когда говорит, что из-за того, как Герман с ней поступил, все знакомые станут показывать на нее пальцем. Мэри, и Нелли, и другие девушки, с которыми она сидела в парке, всегда были к Лене очень добры, но ей от этого было не легче. То, что Лену бросил жених, для девушки позорное пятно и для любой порядочной семьи, и тут уже ничего не поделаешь.

День тянулся за днем, а Лена ни разу не виделась с тетей Матильдой. Наконец в воскресенье пришел мальчик сказать, чтоб ехала к тете. Сердце у Лены билось как сумасшедшее, очень уж она переживала из-за всего, что случилось. И к тете Матильде она бежала со всех ног.

Миссис Хейдон тут же, едва только Лена переступила порог, принялась ее ругать, что заставляет тетку ждать бог знает сколько и что всю неделю не казала глаз, хоть бы проведала, а вдруг тете чего от нее надо, и вот приходится самой за ней посылать. Но нетрудно было догадаться, даже Лене, что тетя сердится не взаправду. И Лениной заслуги тут ни на грош, продолжала браниться миссис Хейдон, если все в конце концов обернулось в ее пользу. Миссис Хейдон просто с ног сбилась улаживать за Лену все ее проблемы, а Лене, видите ли, недосуг прийти проведать, а вдруг тете надо ей что-то сказать. Но миссис Хейдон никогда не обращала внимания на подобные мелочи, если только ей выпадала возможность сделать человеку добро. Она, конечно, сбилась с ног, улаживая за Лену все ее проблемы, но, может, хоть теперь, когда Лена все узнает, то вспомнит про благодарность. «Готовься, во вторник ты выходишь замуж, ты меня слышишь, Лена? — сказала ей миссис Хейдон. — Придешь сюда во вторник утром, я все приготовлю. Наденешь новое платье, что я тебе купила, и новую шляпку с этими, с цветочками, и поосторожней, пока будешь ехать, а то перепачкаешься вся, ты, Лена, такая безалаберная, и совсем не думаешь, и вечно выкинешь что-нибудь этакое, как будто у тебя не голова на плечах, а бог знает что. А теперь ступай домой и скажи этой своей миссис Олдрич, что съедешь от нее во вторник. И не вздумай забыть, про что я тебе тут все время толкую, насчет поосторожней. Ну, Лена, будь умницей. Во вторник ты выйдешь замуж за Германа Кредера». Вот и все, что Лена узнала про то, что случилось за эту неделю с Германом Кредером. Лена совсем забыла, что нужно бы что-нибудь про это узнать. Она в самом деле во вторник выйдет замуж, и тетя Матильда назвала ее умницей, и никакого пятна на ней не осталось.

Лена опять стала как раньше, в полудреме и как будто не здесь, но ведь она и всегда была такая, если не считать те несколько дней, когда она переживала, потому что мужчина, который должен был на ней жениться, сбежал в самый день свадьбы. Лена немного нервничала в оставшиеся дни, но и не думала особенно, что это значит, быть замужем.

Герману Кредеру все это нравилось гораздо меньше. Он был тихий и замкнутый и знал, что тут уже ничего не поделаешь. Он понял, что теперь ничего не осталось, кроме как дать себя оженить. И дело было не в том, что Герману не нравилась Лена Майнц. Она была не хуже и не лучше, чем другие девушки. Она была, наверное, даже лучше других знакомых девушек, потому что очень тихая, но Герману не хотелось, чтобы всегда терпеть с собой рядом девушку. Герман всегда делал так, как хотели отец с матерью. Отец нашел его в Нью-Йорке; Герман туда уехал пожить у замужней сестры.

Отец Германа, когда его нашел, долго уговаривал, и все жаловался, жаловался ему с утра до вечера, и был такой озабоченный, но не настырный и очень терпеливый, и все повторял Герману, как бы ему хотелось, чтоб его сынок, его Герман, всегда поступал правильно и никогда не перечил матери, а Герман все молчал и ничего не говорил в ответ.

Старый мистер Кредер все время повторял: мол, он никак не поймет, с чего это Герману в голову пришло, что может быть как-то по-другому. Если заключаешь сделку, условия надо выполнять, старый мистер Кредер по-другому даже и представить не может; а сказать, что ты, мол, женишься на девушке, и она, значит, все приготовит, это такая же сделка, как в торговых делах, и Герман, он ведь сказал свое слово, и теперь он, Герман, должен слово сдержать; у старого мистера Кредера просто в голове не укладывается, чтобы такой хороший мальчик, как его Герман, мог поступить иначе; надо — значит надо. И к тому же эта Лена Майнц такая славная девушка, и Герману бы не следовало так поступать с отцом, столько беспокойства, и выкладывать деньги за билет аж до самого Нью-Йорка, только чтобы его отыскать, и оба они потеряли кучу времени, а работать когда, а ведь от Германа только и требовалось, что отстоять венчание, и был бы он женатый, и все дела, и никто бы ему дома слова не сказал.

И отец все гнул и гнул свою линию; ведь у Германа есть еще бедняжка мама, которая всегда говорила, мол, не успеешь подумать, а Герман уже все сделает, а теперь у него завелись понятия, и ему хочется показать людям, какой он упрямый, и он ее в гроб сведет, а еще платить такие деньги, только чтобы ездить туда-сюда его разыскивать. «Ты даже представить себе не можешь, Герман, что творится с мамой из-за этих твоих выкрутасов, — сказал ему старый мистер Кредер. — Она говорит, не понимаю, мол, как он может быть таким неблагодарным. Ей горько, что ты такой упрямый, а она-то ведь подыскала тебе не девушку, загляденье, Лена Майнц, она же тише воды, ниже травы, и каждый цент сбережет, и никогда слова поперек не скажет, не то что некоторые девушки, и мама так старалась, только чтоб тебе было хорошо и ты бы женился, а ты вдруг, на́ тебе, уперся, нехорошо, а, Герман. Ты такой же, как вся нынешняя молодежь, только о себе и думаешь и чтобы все было по-твоему, а мама твоя, у ней ведь одна забота, все о тебе, о твоем будущем. Ты что, думаешь, маме очень надо, чтобы чужая девушка путалась у нее в доме под ногами, а, Герман? Да она только о тебе и беспокоится, только у нее и разговору, как, мол, она будет счастлива, когда увидит своего Германа с хорошей молодой женой, и стоило только ей все устроить, так чтобы ты даже и не касался, чтоб тебе же удобнее, и ты ведь сам сказал, что, мол, согласен, так, мол, и сделаю, и тут вдруг, хлоп, и на́ тебе, и сбежал, и уперся, и у всех от этого голова кругом, и мы тратим деньги, а мне приходится ездить туда-сюда, тебя разыскивать. Давай-ка, Герман, собирайся и поехали домой жениться, а я поговорю с мамой, чтоб не попрекала тебя, во что мне стало ездить за тобой и искать тебя... Слышь, Герман, — терпеливо уговаривал его отец, — слышь, поехали домой жениться. Всего-то и дел, отстоишь венчание, а, Герман, и никаких тебе забот — слышь, Герман! — поехали со мной, завтра же, и поженишься. Слышь, Герман».

Замужняя сестра Германа любила брата и всегда старалась ему помочь, когда

знала, чего он хочет. Ей нравилось, что он такой славный и всегда делает как скажут отец с матерью, но все-таки она была б не прочь, чтобы он был чуточку посамостоятельней и сам решал, чего он хочет.

Но эта история про Германа и его девушку показалась ей очень смешной. Ей хотелось, чтобы Герман женился. Ей казалось, ему это пойдет на пользу. Она посмеялась над Германом, когда услышала, как было дело. Пока не приехал отец, она и не знала, с чего это вдруг Герман приехал к ней в гости в Нью-Йорк. А когда она услышала, как было дело, она долго смеялась над своим братом Германом и шутила над ним, над тем, как он сбежал, потому что не хотел, чтоб рядом с ним всегда была девушка.

Замужней сестре Германа нравился ее брат Герман, и ей не хотелось, чтобы он шарахался от женщин. Он был славный, ее брат Герман, и ему, конечно, пойдет на пользу, если женится. Тут ему хочешь не хочешь придется научиться за себя постоять. Сестра Германа, она и смеялась над ним, и в то же время старалась его подбодрить. «Такой видный мужчина, как мой брат Герман, а ведет себя — можно подумать, он боится женщин. А ведь женщинам нравятся такие мужчины, вроде тебя, Герман, если, конечно, ты не будешь убегать всякий раз, как их увидишь. Тебе это и впрямь пойдет на пользу, Герман, если женишься; придет охота покомандовать, так будет над кем. Тебе это не просто пойдет на пользу, Герман, вот увидишь, тебе еще и понравится, попробуй только. Езжай-ка ты, Герман, вместе с папой домой и женись на этой Лене. Ты просто не представляешь, как это здорово, попробуешь разок, тебя потом за уши не оттащишь. И бояться тебе нечего, Герман. Да за такого, как ты, Герман, любая бегом побежит. Про такого парня всякая девушка только и мечтает, чтоб на всю жизнь. Вот я тебе и говорю, езжай-ка ты, Герман, вместе с папой домой и погляди, что к чему. Нет, какой ты все-таки, Герман, смешной; сидишь себе вот так, сидишь, а потом скок и нет его, поминай как звали. Я точно знаю, Герман, она по тебе все глаза выплакала. Ты уж пожалей ее, а, Герман. Давай-ка, езжай вместе с папой домой и женись. Я же просто со стыда сгорю, Герман, если у меня будет брат, которому не хватило духу жениться на девушке, которая в нем прямо души не чает. Тебе же всегда нравилось, Герман, если я с тобой. Вот я и не понимаю, почему ты говоришь, что не хочешь, чтобы с тобой всегда была девушка. Ты ко мне всегда был добрый, и я точно знаю, к этой Лене тоже будешь добрый и не успеешь оглянуться, привыкнешь, как будто она всегда была с тобой рядом. И не притворяйся, что ты не настоящий мужчина, Герман, сильный и все такое. Сейчас-то я, конечно, смеюсь над тобой, но ты же знаешь, как мне хочется, чтобы ты был и вправду счастлив. Езжай-ка ты домой и женись на этой Лене, Герман. Она же такая хорошенькая, и милая, и добрая, и тихая, и обязательно сделает моего брата Германа таким счастливым, что дальше некуда. И перестань ты, папа, над Германом кудахтать. Завтра же он едет домой, и вот увидишь, как ему понравится быть женатым, вы просто со смеху все поумираете, такой он будет счастливый. Я тебе точно говорю, Герман, так оно и будет. Ты только слушай, что я тебе говорю, и все будет в порядке». И так она смеялась над ним и подбадривала его, а отец все продолжал рассказывать про то, как мама всегда говорила про Германа, и увещевал его, и умасливал, а Герман все молчал и ничего не говорил в ответ, а сестра собрала его вещи, и очень была веселая, и она поцеловала его, а потом рассмеялась и опять его поцеловала, а отец пошел и купил билеты на поезд и наконец в воскресенье вечером привез Германа обратно в Бриджпойнт.

Миссис Кредер всегда было очень трудно удержать, чтоб она не сказала своему Герману все, что думает, но дочка написала ей в письме, чтоб она ничего не говорила про то, что он натворил, а муж вошел в дом вместе с Германом и сказал: «Ну, мама, вот мы и дома, и я, и Герман, и мы оба очень устали с дороги, такая была душегубка, — а потом шепнул ей на ухо: — Будь с Германом поласковей,

слышь, мама, он вовсе не хотел нас огорчать», — так что старой миссис Кредер пришлось все, что у нее на Германа накипело, оставить при себе. Только она ему и сказала, поджавши, правда, губы: «Рада, что ты хоть сегодня вернулся, Герман». А потом отправилась улаживать дела с миссис Хейдон.

Герман стал опять такой, как прежде, замкнутый, и очень добрый, и очень тихий, и всегда готов сделать так, как захотят отец с матерью. Настал вторник, Герман надел свой новый костюм и пошел с отцом и с матерью, чтоб отстоять венчание и пожениться. Лена тоже там была, в новом платье и в новой шляпке с красивыми такими цветочками, и она очень нервничала оттого, что в самом деле теперь выйдет замуж. Миссис Хейдон все устроила как полагается. Все кто надо там были, и очень скоро Герман Кредер и Лена Майнц стали мужем и женой.

Когда все наконец закончилось, они оба пошли к Кредерам. Они теперь все должны были жить вместе, Лена с Германом и старики, отец с матерью, в том самом доме, где мистер Кредер портняжничал вот уже бог знает сколько лет, а его сын Герман всегда ему помогал.

Ирландка Мэри часто говорила Лене, что у нее в голове не укладывается, как это Лена вообще может якшаться с Германом Кредером и с его грязными вонючими родителями. По ней, старики Кредеры были, по-ирландски говоря, просто грязное вонючее старичье. Они насквозь провоняли не той безалаберной, лихой, задиристой, в рванье и клочьях, на глине и торфяном дыме замешенной деревенской грязью, к которой ирландка Мэри привыкла и которую могла понять и простить. Они были грязные на немецкий манер, от безвкусицы, от неряшливости, оттого что одежда вся жеваная и затхлая, нестираная, на немытом теле, чтоб сэкономить на мыле, и волосы жирные, чтобы сэкономить на мыле и на полотенцах, и одежда-то грязная не оттого, что ее носят беззаботно, а потому, что так дешевле, и в доме не продохнешь, и окна закрыты, чтоб меньше денег шло на обогрев, и живут бедно, не чтобы денег скопить, а потому что не знают, зачем нужны деньги, и работают день и ночь не только потому, что по-другому не умеют и чтоб было на что жить, но и потому, что скорее удавятся, чем копейку на себя потратят.

Вот такой он и был, новый дом Лены, только она смотрела на него совсем другими глазами, чем ирландка Мэри. Она тоже была немка, и она тоже была бережливая, хоть всегда и в полудреме и как будто не здесь. С вещами Лена всегда была очень аккуратная и всегда откладывала деньги, потому что и понятия не имела, что еще с ними можно делать. Она никогда не пыталась распорядиться своими деньгами сама, и ей даже в голову не приходило, что можно бы их потратить.

Лена Майнц до того, как она стала миссис Герман Кредер, всегда была чистенькая, и одежда на ней аккуратная, и сама она тоже, но вовсе не потому, что она об этом специально думала или ей хотелось так, а не иначе; в немецкой стороне, откуда она была родом, так жили все, и тетя Матильда с немкой-кухаркой, которая всегда бранилась, следили за ней, ругали ее и заставляли быть аккуратной, и чтоб никакой грязи, и почаще мыться. Но сама Лена не особо в этом нуждалась, и хоть ей и не нравились старики Кредеры, но она об этом сама не знала даже и уж конечно бы не подумала, что они вонючее грязное старичье.

Герман Кредер был почище своих стариков, но только оттого, что такая уж у него была натура; он привык к отцу с матерью, и ему просто в голову не приходило, что им надо бы научиться жить почище. И Герман так же точно всегда откладывал все деньги впрок, разве что выпьет кружку пива в городе, куда он по вечерам ходил с другими мужчинами, и ему нравилось с ними ходить, а куда еще можно девать деньги, он и понятия не имел. Деньги всегда были у отца, тот ими и распоряжался. К тому же у Германа все равно никогда не было своих денег, потому что он все время работал на отца, а тому никогда не приходило в голову платить ему за это деньги.

Вот так они и стали жить все вместе, вчетвером в доме Кредеров, и Лена вскорости сделалась на вид неаккуратной и даже, можно сказать, чуть не грязнулей, и жизни в ней стало еще меньше, и никому никогда не было никакого дела, чего Лена хочет, да она, в общем-то, и сама никогда не знала, что ей нужно.

Единственное Ленино несчастье, происходившее оттого, что они теперь жили все вместе вчетвером, была брань старой миссис Кредер. Лена привыкла, что все ее ругают, но ругань старой миссис Кредер была совсем другая ругань, чем привыкла Лена.

Герману Лена, раз уж он теперь все равно на ней женился, очень даже нравилась. Он не слишком обращал на нее внимание, но и хлопот оттого, что она всегда была рядом, тоже особых не было, вот разве когда мать начинала злиться и пилила их обоих, что, мол, Лена распустеха и не умеет как следует экономить на еде, и деньги уходят неизвестно куда, и ей, старой женщине, приходится самой за всем следить.

Герман Кредер всегда делал так, как хотели отец с матерью, но никогда по-настоящему сильно родителей не любил. Для Германа главное было, чтоб не ссориться. По нему бы в самый раз, чтоб его никогда никто не трогал, а он бы работал каждый день, как всегда, и ничего бы не слушал, и никто бы не приставал к нему со своей злобой. А теперь он женился, и началось, а он так и знал. Теперь ничего не слушать уже никак не получалось, и материну ругань в особенности. Ему теперь хочешь не хочешь приходилось слушать, потому что была еще Лена, которая, чуть услышит, как мать на нее ругается, тут же делалась вся такая напуганная и прибитая. Герман знал, чего от матери ждать: чем меньше ешь, тем лучше, и работать надо весь день и до седьмого пота, и не слушать, что она там говорит; именно так Герман, собственно, и жил, пока им, старикам то есть, не взбрело в голову его женить, и чтобы рядом с ним всегда была девушка, и вот теперь ему приходилось учить ее не слушать, что говорит мать, и не пугаться всякий раз, и есть поменьше, и всегда на всем экономить.

Герман, правда, не очень хорошо понимал, как помочь бедной Лене во всем этом разобраться. У него не хватало духу вступиться за Лену перед матерью, и все равно бы ей от этого было не легче, и он не знал, как ее утешить, и чтобы она крепилась и не слушала все эти жуткие гадости, которые мать говорит. Просто Герману не нравилось, когда вокруг такое творится каждый день. Герман понятия не имел, как это можно пойти против матери и заставить ее замолчать, да и вообще пойти против человека, который чего-то очень сильно захотел. Герману за всю его жизнь ничего не хотелось настолько сильно, чтобы из-за этого стоило с кем-то ссориться. Герман всю жизнь только и хотел, чтобы жить тихо-смирно, не трепать языком и делать по работе каждый день то же, что и всегда. А теперь мать заставила его жениться на этой самой Лене, и еще, что ни день, ругается, и у него голова идет кругом, и просто не знаешь, куда от этого деваться.

Миссис Хейдон виделась с Леной куда меньше прежнего. Она не потеряла интереса к Лене, к своей как-никак племяннице, но только Лена не могла теперь к ней приходить так же часто, как раньше, потому что это было бы неправильно, ведь Лена теперь была замужняя женщина. К тому же у миссис Хейдон был теперь забот полон рот насчет собственных дочек, нужно было всему их научить, и уже пора им искать подходящих мужей, а тут еще собственный муж все время ее пилит, что она портит сына и из него теперь уже точно ничего путного не вырастет, и один только будет позор для порядочной немецкой семьи, и все потому, что она его портит. Поэтому у миссис Хейдон был хлопот полон рот, но ей по-прежнему хотелось заботиться о Лене, пусть даже они теперь и не могли видеться, как прежде. Они теперь только и виделись, если миссис Хейдон заходила к миссис Кредер или миссис Кредер заходила к миссис Хейдон, а это бывало вовсе и не часто. К тому же у

миссис Хейдон никак теперь не получалось бранить Лену; миссис Кредер всегда была тут как тут, и было бы неправильно бранить Лену, когда тут как тут миссис Кредер, которая теперь, по правде сказать, одна только и имеет на это право. Так что тетя говорила теперь Лене всякие приятные вещи, хотя, по правде сказать, миссис Хейдон иногда и немного расстраивалась из-за того, какая Лена унылая и неопрятная; но времени на то, чтобы по-настоящему расстроиться, у нее все равно не было.

Лена больше не встречалась с девушками, с которыми когда-то сидела в парке. У Лены не было никакой возможности с ними встретиться, и не в Ленином характере было искать возможность с ними встретиться, да она теперь не очень-то и вспоминала́ о тех временах, когда виделась с ними чуть не каждый день. Они тоже никогда не заходили в дом к миссис Кредер повидаться с Леной, ни одна не заходила. Даже ирландка Мэри и та ни разу не подумала, чтоб зайти ее проведать. Лену они вскорости забыли. У Лены они тоже выпали из памяти, и теперь Лена даже и не вспоминала, что когда-то были у нее такие знакомые.

Единственная из ее прежних знакомых, кому было дело, чего Лене хочется и чего ей надо, единственная, кто все время заставляла Лену заходить к ней в гости, была та добрая кухарка-немка, которая всегда ругалась. Она и теперь бранила Лену на чем свет стоит, что до такого себя довела и что выходит на люди в таком вот виде. «Я понимаю, что ты ждешь ребенка, Лена, и все-таки нельзя же так распускаться, что на тебя даже смотреть тошно. Просто стыд берет, ей-богу, когда ты приходишь и сидишь тут на кухне вся такая неряха, и ты ведь, Лена, такая не была. Да я в жизни такого не видела. Герман с тобой такой добрый, сама говоришь, и слова плохого не скажет, хоть ты, Лена, того и не заслуживаешь, неряха ты и есть, совсем распустилась, как будто некому тебя было поучить, как себя держать, чтобы вид был и не распускаться. Нет, Лена, я не вижу никаких таких причин, чтобы до такого себя доводить и ходить такой распустехой, Лена, просто ж стыдно смотреть, такая, право слово, ты, Лена, уродина. Нет, Лена, я еще в жизни не встречала женщины, чтобы у нее все складывалось к лучшему, а она так распускалась, и плачешь все время, как будто у тебя беда какая. А я всегда говорила, нечего было тебе, Лена, выскакивать за этого Германа Кредера, уж я-то понимаю, чего тебе приходится терпеть от этой старой карги, и дед, скопидом этот, тоже хорош, даром что слова не вытянешь, а загляни к нему внутрь, там и будет то же самое, что у этой злыдни, уж я-то, Лена, понимаю, я знаю, ведь они тебя даже и не покормят как следует, Лена, и мне тебя, правда, Лена, жалко, сама знаешь, Лена, только все равно не годится ходить такой распустехой, даже при всех твоих напастях. Вот хоть меня возьми, Лена, разве ж я когда до такого допускала, хоть у меня, бывает, так голова разламывается, что какая уж там работа, и все из рук валится, и ни сготовить толком, но я всегда, видишь, Лена, я всегда в порядке. Только так, Лена, немецкая девушка и может добиться, чтобы все хорошо. Слышишь, Лена, что я тебе говорю. А теперь давай-ка, поешь вкусненького, Лена, я тут тебе сготовила, и помойся, и следи ты за собой, и ребеночек у тебя родится, и ничего тебе не сделается, а я тут поговорю с твоей тетей Матильдой, что пора тебе зажить своим домом, с Германом и с ребеночком, и тогда все будет хорошо. Слышишь, Лена, что я тебе говорю. И чтобы больше в таком виде ко мне не приходила, и перестань ты все время нюни разводить. Никакого толку, ровным счетом, если будешь сидеть тут и плакать, я еще в жизни, Лена, не видала, чтобы, если у кого беда, он бы чего добился, веди он себя, к примеру, вот как ты себя, Лена, ведешь. Слышишь меня, Лена. Иди-ка ты теперь домой и помни, Лена, что́ я тебе сказала, а я посмотрю, что тут можно сделать. Уж я заставлю твою тетю Матильду поговорить со старой миссис Кредер, чтоб она тебя оставила в покое, пока не родишь. И нечего тебе, Лена, бояться, и не глупи мне. Что за глупость, в самом-то деле, мужчина тебе, Лена, достался что надо, и вообще столько всего,

что любая девушка позавидует. А теперь иди-ка ты, Лена, домой и делай, как я тебе сказала, так и делай, а я подумаю, чем тебе помочь».

— Да-да, миссис Олдрич, — немного времени спустя сказала эта добрая немецкая женщина своей хозяйке. — Да, миссис Олдрич, так-то с ними, с девушками, и выходит, которым не терпится замуж. Не ценят, как им повезло, миссис Олдрич. Им повезет, а они и не поймут, и даже сами не знают, чего им надо, миссис Олдрич. Вот и наша бедняжка Лена, она тут ко мне приходила, без слез не глянешь, и ревет все время, пришлось мне ее отругать, но она-то, бедняжка, в этом своем замужестве света белого не видит, миссис Олдрич. И такая уж бледненькая, и лица на ней нет, миссис Олдрич, просто сердце разрывается. А уж какая была славная девушка наша Лена, миссис Олдрич, и никаких у меня с ней не было хлопот, не в пример этим, теперешним, миссис Олдрич, и ни одна так работать не может, как наша Лена, а ей прямо житья нет от этой старухи, от миссис Кредер. Ох, миссис Олдрич, она к нашей Лене прямо как ведьма какая. Я раньше, миссис Олдрич, и не думала, что старики могут так обращаться с молоденькими, а теперь у меня просто зла на них не хватает. Вот если бы Лене жить вдвоем с Германом, он-то не такой, какие, знаете, миссис Олдрич, бывают мужчины, но только он против матери словечка не скажет, ни-ни, я уж даже и не знаю, как помочь Лене-то, бедняжке. Я, конечно, понимаю, миссис Олдрич, что тетка ее, миссис Хейдон, она хотела как лучше, но, честное слово, бедной нашей Лене, ей-богу, было б лучше, если бы этот Герман как сбежал тогда от нее в Нью-Йорк, так бы там и остался. Мне смотреть на нее страшно, миссис Олдрич: В ней как будто совсем не осталось жизни, миссис Олдрич, слоняется туда-сюда, вся замызганная, а я-то столько с ней билась, чтоб ее научить, как себя держать и чтобы вид был. Нет, миссис Олдрич, не идет им это на пользу, девушкам-то, когда они замуж выходят, для них же лучше, чтоб нашли хорошее место, и знай работали себе, и никуда. На Лену же просто смотреть страшно, миссис Олдрич. Хотела бы я знать, как ей помочь, но она-то, она же прямо настоящая ведьма, эта старая миссис Кредер, Германова мамаша. Я, пожалуй, переговорю поскорей с миссис Хейдон, миссис Олдрич, а там и поглядим, нельзя ли как бедной Лене помочь.

Для бедной Лены настали и впрямь плохие времена. Герман был славный человек и добрый и даже иногда стал вступаться за нее перед матерью: «Не трогай ее, мама, ей худо не трогай ее слышишь меня. Если хочешь ей сказать чего надо сделать ты скажи мне, а уж я ей сам скажу. И прослежу чтоб все сделала как тебе нравится. И прекрати, слышишь мама, прекрати ты вечно Лену ругать. Слышишь, тебе говорят, прекрати немедленно погоди пока она хоть в себя-то придет». Герман теперь набрался духу идти против матери, потому что видел: Лене и так невмоготу с ребеночком внутри, и он растет, а тут еще мать такое говорит, что просто страшно делается, и все время, все время, и так нельзя.

В Германе поселилось теперь новое чувство, и он чувствовал, что у него хватит сил пойти против матери. Герман Кредер не привык чего-то хотеть и ждать, но теперь Герману Кредеру очень хотелось стать отцом и хотелось, чтобы это был мальчик и чтобы мальчик был здоровый. Герман никогда не был особо привязан к отцу с матерью, хотя всегда, всю жизнь, делал так, как они хотели; он никогда не был особо привязан и к жене Лене, хотя всегда был с ней добрый и всегда пытался ее защищать от матери, с этой ее вечной руганью, но вот чтобы стать отцом собственного ребенка, это чувство и впрямь взяло Германа за душу. Он уже почти совсем решился, чтобы уберечь ребенка от всего дурного, пойти против матери, и не как-нибудь там, а в полную силу, и даже против отца, если тот не станет на его сторону и не поможет держать мать в узде.

Иногда Герман ходил и к миссис Хейдон, чтобы выговориться про свою беду. И вот они решили, что будет лучше пожить пока вчетвером, пока не родится ребе-

нок, и Герман пока заставит миссис Кредер поменьше ругаться, а потом, когда Лена окрепнет, Герман заживет с ней своим домом, по соседству с отцом, так, чтобы всегда быть под рукой, если нужно помочь по работе, но есть и спать они станут в своем доме, где старуха не сможет за ними следить и чтоб не слышать ее жуткой брани.

Так что на какое-то время все осталось по-прежнему. Бедная Лена не чувствовала никакой радости от того, что у нее будет маленький. Она была напугана так же, как тогда, на пароходе. Чуть где заболит, и она уже пугалась. Она была напуганная, и вялая, и как приморожeнная, и ей казалось, что вот-вот она умрет. У Лены не было столько сил, чтобы терпеть и быть сильной, когда все так плохо, она только и могла, что сидеть, вся такая напуганная, и вялая, и приморожeнная, и ей казалось, что вот-вот она умрет.

Прошло совсем немного времени, и Лена родила ребенка. Такой получился славный, крепенький мальчуган, этот ребенок. Герман просто нарадоваться не мог. Когда Лена немного окрепла, они переехали в соседний с родителями дом, чтобы и сам Герман, и вся его семья могли есть, спать и вообще жить так, как им нравится. Только Лене это было уже вроде как все равно. Она какая была, пока ждала ребенка, такая и осталась. Слонялась туда-сюда, и одевалась как попало, и была как в воду опущенная, и делала все, да и вообще жила будто совсем ничего не чувствует. По дому она все делала как полагается, ее по-другому-то и не научили, но сама была как неживая. Герман был всегда с ней ласковый и добрый и помогал по дому. Как только умел, так и помогал. Если нужно было сделать по дому чего нового или для ребенка, так он тут как тут. Лена тоже делала все как полагается, как ее учили. Она теперь только и держалась, что на домашней работе, и ходила вечно растрепанная, и замызганная, и снулая, и как неживая. И, по Лене, такая жизнь была ничуть не лучше, чем вообще с тех пор, как вышла замуж.

Миссис Хейдон теперь с Леной, своей племянницей, и вовсе перестала видеться. У миссис Хейдон теперь от своих забот голова шла кругом, и с дочками, которые повыходили замуж, и с парнем, который подрастал, и управиться с ним становилось все тяжелей. Она знала, что Лене, как могла, помогла. Герман Кредер был мужчина правильный, она сама иногда думала, не худо было бы поменять его на какого из собственных зятьев, а теперь они жили своим домом, отдельно от стариков, и никаких тебе хлопот. Миссис Хейдон считала, что помогла своей племяннице Лене чем только могла, и слава богу, и чего бы теперь к ней ходить. Лена сама теперь справится, и нечего тетке с ней носиться.

Добрая немка-кухарка, которая вечно бранилась, не оставила Лену и старалась, как родная мать. Только исправить хоть что-нибудь было теперь очень трудно. Лена была теперь как глухая, кто бы ей чего ни говорил. Герман делал что мог, чтобы ей помочь. Герман всегда, если был дома, только и возился с ребенком. Герману это очень нравилось, с ребенком. А Лена даже и гулять его никогда не сводит; и вообще, ничего лишнего.

Доброй немке-кухарке иногда удавалось залучить Лену к себе в гости. Лена приходила с ребенком, сидела на кухне и смотрела, как добрая немка стряпает, и даже иногда ее слушала, совсем как раньше, но только очень недолго, а добрая немецкая женщина ругала ее, что ходит по городу не разбери-поймешь в чем одета, а все ее несчастья, между прочим, кончились, и сидит как прибитая, и спасибо не скажет. Иногда Лена как будто ненадолго просыпалась, и на лице у нее проступала прежняя тихая, терпеливая и необидчивая мягкость, но чаще кухарка ругала ее, а Лена будто почти ничего и не слышала. Лене нравилось, если миссис Олдрич, добрая хозяйка, ласково с ней поговорит, и тогда Лена будто возвращалась обратно, и у нее было такое же чувство, как тогда, когда она жила здесь в прислугах. Но чаще всего Лена просто жила себе, как спала, и была вся такая неряшливая, и как в воду опущенная, и как неживая.

В скором времени у Лены родились еще двое маленьких. Лена теперь уже не так боялась их рожать. Она вроде даже и не очень замечала, когда они делали ей больно, и вообще, что бы с ней теперь ни происходило, было ей как будто все равно.

Детишки вышли очень славные, все трое, что родились у Лены, и Герман заботился о них как только мог. До жены Герману, в общем-то, никогда особо дела не было. Единственное, до чего ему всегда было дело, это дети. Герман с ними возился, что твоя нянька. Когда он брал их на руки, то делался очень ласковый и нежный. Он научился очень ловко с ними управляться. Он проводил с ними все время, когда не работал. А вскоре даже и работать стал у себя в доме, чтобы они всегда были с ним вместе, в одной комнате.

Жизни в Лене оставалось все меньше и меньше, и Герман теперь о ней почти уже и не думал. Он все чаще и чаще брал заботу о детях на себя, обо всех трех. Он следил, чтоб они как следует поели и были чистенькие, и одевал их каждое утро, и учил, как что правильно делать, и укладывал спать, и был теперь с ними почти неотлучно. А потом должно было случиться еще одно прибавление в семействе, четвертый ребенок. Лена пошла в больницу поблизости, чтобы там родить. Ребенок, похоже, должен был быть трудный. Когда он наконец появился на свет, он был вроде как его мать, неживой. Пока он шел, Лена сделалась вся такая бледная и затвердела лицом. Когда все кончилось, Лена тоже умерла, и никто не понял, как оно так с ней получилось.

Добрая немка-кухарка, которая всегда бранила Лену и до последнего дня все пыталась ей как-то помочь, вот она единственная по Лене и горевала. И вспоминала, какая Лена была, пока работала с ней вместе в прислугах, и какой у нее был голос, какой мягкий да какой ласковый, и какая она была славная девушка, и как с ней никогда никаких хлопот, не то что со всеми этими нынешними девушками, которых теперь берут ей в подмогу. Вот добрая кухарка все это про Лену и говорила, иногда, если выдавался часок поболтать с миссис Олдрич, а больше про Лену никто теперь даже и не вспоминал.

Герман Кредер жил теперь, счастливый, очень тихо, очень скромно и очень довольный, один со своими тремя детьми. И никаких больше женщин, чтоб всегда рядом, боже упаси. Всю работу по дому он всегда делал сам, каждый день, когда заканчивалась та работа, которую они делали вдвоем с отцом. Герман всегда был один и работал всегда один, пока дети не выросли настолько, что смогли ему помогать. Герману Кредеру это очень нравилось, и он всегда так жил, ровно, мирно, и каждый день точь-в-точь как вчерашний, и всегда один с тремя своими славными, тихими детьми.

■

ГЕРТРУДА СТАЙН

Париж Франция

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ

Часть первая

Париж, Франция интригует и умиротворяет.

Мне было всего четыре года когда я впервые приехала в Париж и говорила там по-французски и фотографировалась там и ходила там в школу и ела суп на завтрак и баранью ногу со шпинатом на обед, я всегда любила шпинат, и черная кошка прыгала маме на спину. Это скорее интриговало чем успокаивало. Я не против кошек но не люблю чтобы они прыгали мне на спину. В Париже и во Франции очень много кошек и им все разрешается, сидеть на овощах и среди круп в лавке, оставаться в помещении или выходить на улицу. Учитывая какое там множество кошек просто удивительно что они так редко дерутся. Во Франции домашние животные не делают двух вещей: кошки почти никогда не орут и не дерутся и куры опрометью не выскакивают на дорогу, уж если они ступают на дорогу, то двигаются чинно в точности как сами французы.

Это должен знать каждый кто садится во Франции за руль. Все кто ступают на мостовую чтобы перейти улицу или просто идут куда-нибудь двигаются в определенном ровном темпе и ничто их не пугает не заставляет вздрогнуть прибавить или убавить шаг даже услышав внезапный резкий шум они не дергаются не ускоряют шаг и не сворачивают с пути. Если на улицах Парижа кто-нибудь отскакивает в сторону или просто вздрагивает не сомневайтесь это не француз а иностранец. Это успокаивает и интригует.

Словом я прожила в Париже год в возрасте от четырех до пяти лет и вновь уехала в Америку. Ребенок ничего не забывает просто случается много всего другого.

Немного позже в Сан-Франциско было продолжение французского.

В конце концов, всякий человек, вернее, всякий пишущий следит за тем что происходит у него внутри чтоб рассказать о том что происходит там внутри. Вот почему писателям нужны две родины та где они родились и та где живут на самом деле. Вторая романтична и не связана с ними, она не настоящая но на самом деле там внутри.

Для англичан-викторианцев такой страной была Италия, в начале девятнадцатого столетия американцы относились так к Испании, американцы в середине девятнадцатого столетия относились так к Англии, мое поколение американцев теперь в конце девятнадцатого столетия относится так к Франции.

Порой конечно люди и в своей стране находят ту другую пример тому Луи Бромфильд недавно открывший для себя Америку, и англичане такие тоже были, к примеру Киплинг открыл Англию, но все же чаще страной которая нужна вам чтоб раскрепоститься становится другая страна не та где вы на самом деле родились и выросли.

В Сан-Франциско было ясно что такой страной должна стать Франция. Конечно то могла бы быть Испания или Китай, но дети в Сан-Франциско на самом деле слишком много знали о Китае или об Испании, а Франция вызывала любопытство, в то время как Испания и Китай казались знакомыми и обыденными. Франция не была обыденной, она появлялась вновь и вновь.

© Т. Казавчинская. Перевод, 1999

Сначала она появилась в таких непохожих книжках как Жюль Верн и Альфред де Виньи и в маминых платьях и перчатках и котиковых шапках и муфтах и картонках в которых все это доставлялось.

От всего этого пахло Парижем.

А потом было очень легко довольно долгое время не вспоминать Францию.

Следующее что я помню о Франции это Анри Анри и Сара Бернар, Панорама битвы при Ватерлоо и Крестьянин с мотыгой Милле[1].

Панорама битвы при Ватерлоо.

Самое приятное в нас тех кто пишет пером и красками это чудеса которые ежедневно с нами происходят. На самом деле происходят.

Мне было восемь лет от роду и оно произошло у Панорамы битвы при Ватерлоо.

Ее нарисовал французский художник, я спрашиваю себя хотела ли бы я увидеть что-нибудь такое снова одну из этих гигантских панорам, когда ты стоишь в центре на площадке а вокруг тебя по обе стороны от тебя тянется расписанный масляными красками холст. Когда ты со всех сторон окружен расписанным масляными красками холстом.

Тогда я впервые осознала разницу между картиной и пространством. Я поняла что картина это всегда плоская поверхность а пространство никогда не бывает плоским, и пространство все состоит из воздуха а в картине нет воздуха и вместо воздуха плоская поверхность, и все что в картине изображено как воздух это подделка а не искусство. Кажется я все это поняла пока стояла на площадке окруженная со всех сторон расписанным масляными красками холстом.

А потом была Сара Бернар.

В Сан-Франциско было много французов и французский театр, и конечно были знакомые девочки и мальчики которые конечно говорили дома по-французски. Поэтому когда французский актер или актриса приезжали в Сан-Франциско они жили там подолгу.

Им нравилось там и конечно когда актрисы или актеры задерживаются где-нибудь они всегда выступают и конечно в театре часто звучал французский язык.

Вот тогда-то я конечно же узнала что по-французски говорят а по-английски пишут.

Во Франции когда кто-нибудь что-нибудь напишет и хочет узнать что получилось это читают вслух. Если же это написано по-английски рукопись конечно посылают на прочтение но если рукопись написана по-французски ее конечно читают вслух.

По-французски говорят а по-английски пишут.

А благодаря Саре Бернар я заметила какие тонкие руки у француженок. Когда я приехала в Париж я увидела что у молоденьких швеек и обитательниц Монмартра у всех у них такие руки. Лишь много лет спустя когда изменилась мода, в ту пору они ходили в длинных юбках, я заметила какие крепкие икры у обладательниц этих тонких рук. Благодаря такому же сочетанию из французов получаются очень хорошие солдаты с крепкими икрами, тонкие руки и крепкие икры, если вы понимаете, что я хочу сказать, это успокаивает и интригует.

Поэтому все французы и катят на велосипедах по горам, как умеют одни только французы, для них не существует слишком крутых склонов медленно крутятся педали все выше и выше забираются велосипедисты, мужчины девушки и маленькие дети с крепкими икрами и тонкими руками.

Что еще было французского в Сан-Франциско это семья Анри Анри. Так они прозывались.

Там были отец и мать известные как месье и мадам Анри и еще пятеро детей старший Анри Анри играл на скрипке. Мы обычно приходили к ним днем и остава-

[1] Жан Франсуа Милле (1814—1875) — французский живописец и график. *(Здесь и далее — прим. перев.).*

лись обедать и потом обычно танцевали, все дети Анри и мы под французскую скрипичную музыку.

И на обед там всегда подавали жареную баранину, она называлась gigot, приготовленную так же как когда я ходила в Париже в школу, и картофель с маслом, очень чистый на вид а не потемневший как когда его готовят американцы. Но самым интригующим были ножи и вилки. Ножи были острые-острые и лезвие тонкое как у кинжала со слегка скругленным кончиком и вилки такие легкие что стоило чуть-чуть нажать и они гнулись. Ножи и вилки были самой фантастически французской вещью из всех какие я знала какие я когда-либо знала могла бы я прибавить.

Потом еще был Крестьянин с мотыгой Милле.

Мне никогда не хотелось иметь репродукцию с картины до тех пор пока я не увидела Крестьянина с мотыгой Милле. Мне исполнилось лет двенадцать или тринадцать, я прочла Евгению Гранде Бальзака и у меня уже было ощущение того чтó это за страна но Крестьянин с мотыгой изменил его и Франция превратилась из страны в землю, почву, с тех пор она такой для меня и осталась. Франция это земля, почва.

Когда мне посчастливилось достать репродукцию с этой картины и я привезла ее домой мой старший брат глянул и спросил что это такое и я ответила Крестьянин с мотыгой Милле. Это ужас что такое, а не мотыга сказал брат.

Но такова эта страна, такова ее почва и обрабатывают ее именно такой мотыгой.

Вот и все что мне было известно тогда о Париже Франции и потом я очень надолго забыла о Париже и о Франции.

Потом однажды когда я училась в Рэдклиффе штата Массачусетс, я ехала в поезде и рядом со мной сел француз. Я его узнала это был приглашенный профессор из нашего колледжа и заговорила с ним. Разговор зашел об американках студентках колледжей. Замечательные сказал он очень интересные но, и тут он серьезно посмотрел на меня, ни одна из них, вы должны это признать, не скажет вместе с Альфредом Мюссе *le seul bien qui me reste au monde c'est d'avoir quelque fois pleure*[1]. Я была тогда молода но поняла что означает что они не могут так чувствовать. Это да еще интерес к Золя как к реалисту но все же меньший чем к русским писателям-реалистам вот и все чем был для меня Париж до тех пор пока по окончании медицинского колледжа я не поселилась в Париже Франции.

Часть вторая

Алиса Токлас сказала мне: жена моего троюродного дедушки рассказывала что ее дочь вышла замуж за сына того самого инженера который построил Эйфелеву башню но у него была другая фамилия.

Когда нам прислали напечатанную во Франции книгу мы посетовали на плохой набор. Ну объяснили нам это потому что теперь все делают машины а машины на то и машины чтоб допускать ошибки у них нет разума, человеческий ум исправляет то что делает рука а машина не может исправить свои ошибки. Само собой все мы переехали во Францию потому что во Франции применяют научные методы, машины и электричество, но никто всерьез не верит что это и в самом деле связано с реальной жизнью. Традиция и человеческая натура вот что такое жизнь.

Поэтому когда в начале двадцатого столетия нужно было прокладывать новые пути естественно потребовалась Франция.

---

[1] Из стихотворения А. де Мюссе «Грусть»:

Вся заслуга моя на свете,
Что когда-то я плакать мог *(Перевод В. Давиденковой)*.

Французы и впрямь, и в самом деле не верят что на свете есть что-либо важнее повседневной жизни почвы которая ее порождает да еще защиты от врагов. Правительство может быть каким угодно лишь бы справлялось со всем этим.

Я очень ясно помню как во время первой мировой войны французы а вокруг были одни французы говорили об избирательном праве женщин и одна прислушивавшаяся к чужим словам француженка сказала: Боже мой и так за всем на свете очереди за углем сахаром свечами мясом Боже мой только избирательного участка еще не хватало.

В конце концов от этого ничего не зависит и они знают что от этого ничего не зависит.

Когда я в первый раз жила в Париже у меня на протяжении многих лет была служанка, мы были добрыми друзьями звали ее Элен. Однажды совершенно случайно, не знаю как это вышло потому что меня это совершенно не интересовало, я спросила, Элен в какой политической партии состоит твой муж. Она обычно мне обо всем рассказывала даже об очень личном о трениях в семье и с мужем но когда я ее спросила в какой он партии у нее появилось отчужденное выражение лица. Ответа не последовало. Что с тобой Элен удивилась я, разве это секрет. Нет мадемуазель ответила она не секрет но говорить об этом не принято. Люди не говорят в какой они партии. Если я и в партии я все равно не скажу в какой.

Я уже давно жила во Франции и это меня удивило я стала спрашивать самых разных людей и все они вели себя так же. У них появлялось точно такое же выражение лица. Дескать не секрет но об этом не говорят. Сын ничего не знает о партии отца а отец сына.

Именно поэтому новый front commun[1] просуществовал совсем недолго. Все выступали и говорили и говорили всем им приходилось объяснять с утра до вечера какая у них партия и это конечно не могло долго продолжаться. Просто не могло.

Нет, публичность и впрямь не важна для Франции, традиция частная жизнь земля которая всегда дает плоды вот что имеет цену.

В Париже побывала миссис Линдберг[2] и у нас был разговор. Конечно в Америке она страдала все они страдали от публичности. В Англии на них никто не обращал внимания но Линдберги понимали что Англия про них знает. Французы при встрече окружают вас вниманием а потом предоставляют самому себе ибо никто не помнит в промежутке между встречами что вы еще во Франции.

Когда Фаня Маринофф приехала в Париж она стала перечислять имена с такими-то и такими-то хотела познакомиться. Мне очень жаль ответила я но я их не знаю. Но ты же знаешь кто они такие, о да, сказала я, правда довольно смутно. Тогда она мне назвала других. Кое-кого я знала остальных нет. Ей это было непонятно. В Нью-Йорке, заявила она, раз я знаю тебя, я все равно что знаю их. Да да, в Нью-Йорке, согласилась я, но не в Париже. Можно не знать парижских знаменитостей и не считать себя безвестным, ибо в Париже никто не знает тех кого не довелось узнать.

Почти по всем а может и по всем этим причинам Париж был местом где пребывало двадцатое столетие.

Немаловажно было и то что в Париже создавались моды. О да порой казалось что в Барселоне или в Нью-Йорке одеваются лучше но нет на самом деле это было не так.

Мода создавалась в Париже, а в переломные моменты когда все меняется мода всегда очень важна, потому что благодаря ей появляется в воздухе спускается вниз проносится мимо нечто особенное ни с чем больше не связанное.

Мода реальная часть абстракции. Это единственное что не связано с абстрак-

---

[1] Общий фронт *(франц.)*. Имеется в виду вторая мировая война.

[2] Жена американского летчика Чарльза Линдберга (1902—1974); в 1927 г. он совершил первый беспосадочный полет через Атлантический океан.

цией прагматически, поэтому вполне естественно в 1900 году все съехались в Париж где всегда создавалась мода. Они искали почву для традиции для веры в неизменную природу мужчин женщин и детей и в то что наука хоть и интересна но не имеет влияния на жизнь и что демократия конечно существует но правительство если только оно не слишком усердствует с налогами и не заставляет вас проигрывать войну решительно ничего не значит. Вот в чем все хотели утвердиться в 1900 году.

Непонятно как это происходит в литературе и искусстве, мода ведь тоже часть его. Два года тому назад все только и говорили что Франция в упадке становится второразрядным государством и так далее и тому подобное. А я говорила не думаю потому что за все последние годы начиная с войны шляпки никогда еще не отличались таким разнообразием прелестью и французским изяществом как сейчас. И выставляют их не только в дорогих магазинах а повсюду в любой мастерской где есть хорошая мастерица есть и прелестные французские шляпки.

Я не верю что национальное искусство и литература могут дышать силой и свежестью а сама страна переживать упадок не верю. Чтобы судить о состоянии страны нет более надежной лакмусовой бумажки чем произведения ее национального искусства что никак не связано с ее материальным статусом. И потому если шляпки в Париже предестны изящны по-французски и продаются на каждом шагу значит во Франции все идет как положено.

Поэтому вполне естественно что тем из нас кому предстояло создавать литературу и искусство двадцатого столетия нужен был Париж. По очень многим причинам. Здесь так легко меняют профессию, они очень консервативны очень традиционны но очень легко меняют профессию. Можно сначала быть пекарем затем агентом по недвижимости затем банкиром и все это проделывает один и тот же человек в каких-нибудь десять лет и затем удаляется на покой.

Забавно также что для любого дела всегда требуется примерно семь человек, построить целую дорогу врыть три телеграфных столба открыть ярмарку или повалить дерево. Всегда и во всех случаях нужно семь человек и семеро или около того участвуют в любой работе, два-три нужны чтобы поговорить два-три чтобы посмотреть и один-два чтобы сделать дело, каким бы оно ни было всегда требуется примерно одинаковое число работников. Что ж это было очень важно ибо в свою очередь возводило нереальность в принцип совершенно необходимый для всех кому предстояло создавать двадцатое столетие. Девятнадцатому точно было известно что делать с каждым человеком двадцатому поневоле не дано было этого знать поэтому Париж и стал самым подходящим местом.

И потом это их отношение к мертвым, такое дружеское просто очень дружеское при том что неотвратимое не вызывает горя и при том что не вызывает потрясения. Во Франции нет разницы между жизнью и смертью и поэтому она должна была стать почвой для двадцатого столетия.

Но конечно именно иностранцы создавали ее тут во Франции ведь поскольку все эти особенности французские Франция поневоле превращала их в традицию а то что стало традицией не может служить почвой для двадцатого столетия.

Иностранцев много всегда и везде но больше всего во Франции.

Как-то раз мы шли с Джеральдом Бернерсом и он сказал хорошо бы собрать вместе все ложные сентенции получилась бы хорошая книга.

Мы перебрали их великое множество и среди них такие, чем ближе знаешь человека тем лучше видишь его недостатки и трудно быть героем для своего лакея. И пришли к выводу что уж наверное в девяноста случаях из ста дело обстоит как раз наоборот.

Неверно что чем ближе знаешь что-нибудь или кого-нибудь тем лучше видишь недостатки. Напротив чем ближе знаешь то или иное место тем оно краше и неповторимей. Возьмем к примеру ваш жилой квартал, как там чудесно, это редкое прекрасное место и уезжать из него ужасно.

Помню я как-то слышала разговор на парижской улице кончился он как раз тем что делать нечего придется уезжать. Вот оно и случилось, ничего другого не остается придется покинуть лучшее в мире место. Лучшее потому что то самое где они тут изо дня в день жили.

Такими казались все парижские кварталы, у всех у нас были свои кварталы и уж конечно если мы оттуда уезжали а потом снова возвращались они и впрямь казались нам унылыми и совсем не похожими на те чудесные места где мы живем сейчас. Поэтому неверно что чем ближе знаешь что-нибудь тем лучше видишь недостатки.

А теперь о том что нельзя быть героем для своего лакея. Но кто еще так радуется вашей славе как ваша прислуга, конечно ваша французская прислуга очень рада можете в этом не сомневаться и вся бывшая нынешняя и будущая прислуга очень очень этому рада.

А теперь о том какие кварталы Парижа были лучшими и когда это было.

Между 1900 и 1930 годом Париж сильно изменился. Я часто слышала что Америка очень изменилась но она изменилась не так сильно как Париж за те годы когда он стал Парижем каким мы его знаем, к тому же люди уже не помнят каким он был раньше даже не помнят какой он сейчас.

В те годы никто из нас не жил в старых районах Парижа. Мы жили на улице Флерюс в обыкновенном столетнем квартале, очень многие из нас жили вблизи него и бульвара Распай который еще не был тогда проложен а когда его проложили все крысы и мыши поселились под нашим домом и нам пришлось вызывать парижскую санитарную службу чтобы они приехали и избавили нас от грызунов, интересно существует ли такая сейчас, все это исчезло вместе с лошадьми и гигантскими фургонами в которых обычно приезжали чистить канализационные трубы в домах где еще не было новой системы канализации, теперь ее провели даже в самые старые дома. Во Франции то хорошо что здесь ко всему приспосабливаются медленно меняются целиком и полностью но все время думают что они такие же как раньше.

В наши дни маленький провинциальный городок Белле целое лето употребляет в пищу ягоды винограда, его жители пришли к выводу что ягоды винограда это необходимая роскошь.

Наша старая служанка Элен которая работала у нас еще задолго до войны, выучилась от нас что детей следует воспитывать иначе в более здоровом духе и так она и делала но все равно однажды я услышала как она говорит своему шестилетнему сыну, ты хороший маленький мальчик, и он ей отвечает да maman, когда ты вырастешь ты будешь любить свою маму, да maman, и дальше она говорит, а потом когда ты вырастешь ты уйдешь от меня к другой женщине правда, да, maman, отвечает он.

Я всегда вспоминаю также что когда затонул Титаник и все были так растроганы героическим спасением женщин и детей, Элен сказала, не вижу тут ничего хорошего, что проку от женщин и детей когда нет мужчин, как они будут жить, было бы намного больше проку, сказала Элен, если бы многие утонули бы себе а хоть какие-то семьи спасли бы целиком, намного больше было бы проку, сказала Элен.

Именно поэтому Париж и Франция стали почвой для литературы и искусства двадцатого столетия. Традиция удерживала их от перемен они естественно смотрели на жизнь как она есть и принимали ее как есть, и в то же время не нарочно все со всем соединяли. В иностранцах не было для них ничего романтичного, такова была реальность и никаких сантиментов просто они тут жили, как ни странно это не побуждало их самих создавать искусство и литературу двадцатого столетия но с неизбежностью превращало в нужную среду.

Итак с 1900-го по 1930-й мы хотя и жили в Париже но не в живописных кварталах и если жили на Монмартре как Пикассо и Брак то не в старых домах а в по-

строенных лет пятьдесят назад это теперь все мы живем в старинных кварталах у реки, это теперь когда двадцатое столетие утвердилось и определилось все мы склонны мы норовим селиться в домах 17 века, а не в сараях вместо ателье как тогда. Дома XVII века стоят так же дешево как стоили тогда наши сараи-ателье но теперь нам подавай живописность и великолепие нам нужны воздух и пространство какие бывают лишь в старинных кварталах. На днях речь зашла о том что в Париже сносят грязные ветхие кварталы и как раз Пикассо сказал, но ведь только в старых кварталах и есть солнце и воздух и пространство, и это правда, все мы живем там и те что только начинают и люди среднего возраста и те что постарше и старики все мы живем в ветхих домах в старинных кварталах. Что ж это вполне естественно.

Неверно что чем ближе знаешь что-нибудь тем лучше видишь недостатки, то что делаешь изо дня в день кажется важным и значительным и место где живешь кажется завораживающим и прекрасным.

Так что понемногу становится понятно почему двадцатое столетие с его техникой с его преступлениями с его стандартизацией которые начались в Америке нуждался в Париже как в месте где были столь прочны традиции что оно могло выглядеть современным не меняясь и где чувство реальности было так велико что всем прочим дозволялось иметь чувство нереальности.

И потом еще это их отношение к иностранцам которое очень помогает.

В конце концов французы почти не видят разницы между иностранцами и приезжими. Иностранцев так много и если кто из них и обладает реальностью так это те что приехали и живут в Париже или во Франции. Этим они отличаются от других народов. Для других народов иностранцы более реальны когда они живут в своих странах но для французов иностранцы реальны только если они живут во Франции. Естественно они приезжают во Францию. Что может быть естественней чем это.

Я помню как старая служанка придумала забавное словцо для иностранцев, американцы существовали на самом деле существовали потому что она была наша служанка и мы были оттуда, а еще имелось нечто что она называла *créole écossais*[1], мы так и не узнали откуда она это взяла.

Конечно все они приехали во Францию многие из них чтобы рисовать картины и естественно у себя дома они не могли этого делать, или еще чтобы писать книги этого они тоже не могли делать дома, у себя дома они могли стать зубными врачами она знала про все это еще до войны, американцы люди практичные и лечение зубов дело практичное. Да уж она и сама практичная не хуже их, потому что когда у нее заболел ребенок она конечно ужасно взволновалась это же был ее ребенок но тут было еще и то что все придется начинать сначала потому что у нее ведь должен быть ребенок, у каждой француженки должно быть по ребенку, а теперь два года прошло и опять все придется начинать сначала, и опять же деньги и так далее. Но конечно почему бы и нет почему бы и нет.

Итак вся эта немудрящая ясность взгляда на жизнь как она есть, на животную и социальную человеческую жизнь как она есть, на материальную ценность человеческой и социальной и животной жизни как она есть, без брутальности и без наивности, все это сказанное сегодня некой французской женщиной некой американской писательнице, все это ложь хотя и очень естественно произнесенная.

Для того чтобы французы так заговорили не нужно было двадцатого столетия двадцатое столетие нужно было чтобы так заговорили остальные.

Иностранцы составляют часть Франции потому что они всегда там были и делали то что должны были там делать и оставались там иностранцами. Иностранцы должны быть иностранцами и это хорошо что иностранцы это иностранцы и что их не может не быть в Париже и во Франции.

---

[1] Шотландский креол *(франц.)*.

Сейчас они начинают наконец осознавать, кинематограф и первая мировая война заставили их мало-помалу осознать какой национальности бывают иностранцы. В маленькой гостинице где мы прожили несколько дней они нас называли англичанами, нет поправляли их мы нет мы американцы, наконец один из них несколько раздосадованный нашим упрямством сказал да ведь это одно и то же. Да согласилась я, так же как французы и итальянцы. Кстати до войны они так не сказали бы и не почувствовали бы резкости моего ответа. Так вот у нас была здесь в деревне горничная финка, однажды она вернулась сияя, как замечательно, сказала она, молочница знает про Финляндию знает где находится Финляндия все знает про Финляндию, подумать только, сказала горничная финка, я знала очень образованных людей которые не знали где находится Финляндия а она знает. Впрочем знает ли. Навряд ли зато блюдет старинную французскую учтивость вот и все. Они ее действительно блюдут.

Но если что они и впрямь делают так это уважительно относятся к литературе и искусству, если вы писатель у вас есть привилегии если вы художник у вас есть привилегии и привилегии весьма приятные. Мне всегда вспоминается как я приехала из деревни в гараж куда я обычно ставила свой автомобиль гараж был страшно переполнен там проходила выставка автомобилей, но что же мне делать сказала я, ничего сказал служащий посмотрим и потом вернулся и сказал понизив голос, там есть уголок в этот уголок я поставил машину месье академика а рядом я поставлю вашу остальные пусть постоят на улице, и это в самом деле так даже в гараже академику и писательнице оказывают предпочтение и даже перед миллионерами и политиками, в самом деле оказывают, это невероятно но оказывают, полиция тоже обращается с художниками и писателями почтительно, что ж со стороны Франции это умно и несентиментально потому что в конце концов все что остается в памяти остается благодаря писателям и художникам, никто не остается жить на самом деле если его не описали по-настоящему и то что французы это понимают свидетельствует об их неизменном чувстве реальности а вера в чувство реальности это двадцатое столетие, у людей может его не быть этого чувства но вера в него у них есть.

Они чу́дные чу́дные даже сейчас, все крестьяне в деревне ну не все но очень многие питаются хлебом и вином, они сейчас вполне преуспевают, к хлебу у них есть варенье отличное варенье из абрикосов и яблок, плохо представляю как можно собрать их в одно время наверное из поздних абрикосов и ранних яблок, но очень вкусное.

Словом мы разговаривали и они мне сказали, теперь скажите мне, почему французский парламент наголосовал себе еще два года сроку, ну конечно мы никогда ничего не сказали бы против но все-таки почему это они скажите. Ну а почему бы и нет сказала я, вы это знаете они это знают и кроме того раз уж они там почему бы им там не остаться. Ну ладно сказали они смеясь, пусть будет как в Испании, пусть у нас будет гражданская война. Ну сказала я что в этом толку, после всего после всей этой стрельбы друг в друга они собираются вернуть себе короля или хотя бы его сына. Тогда почему бы нам для разнообразия сказали они не вернуть племянника короля.

Вот что они чувствуют по этому поводу, единственное что важно это повседневная жизнь, и потому гангстеры и потому двадцатое столетие на самом деле ничему не могут научить французского крестьянина и значит то была подходящая почва для литературы и искусства двадцатого столетия.

Импрессионисты.

Двадцатое столетие не изобрело но подняло большой шум вокруг серийного производства, серийное производство на самом деле началось в девятнадцатом столетии это вполне естественно машины должны выпускать серийную продукцию.

Поэтому хотя больше шума было вокруг машин и серийного производства в

двадцатом столетии чем в девятнадцатом это конечно изобретение девятнадцатого столетия.

У импрессионистов а они были девятнадцатым столетием была мечта был идеал писать по одной картине в день вернее по две картины в день картину утром и картину днем а на самом деле еще лучше по картине утром и в полдень и перед вечером. Но в конце концов у человеческой руки есть предел возможностей в конце концов живопись рукотворна поэтому на самом деле даже в самые вдохновенные минуты они редко писали больше двух чаще одной в день а как правило и ни одной за день. У них была мечта о серийном производстве но как сказал месье Дарантье по поводу книгопечатания в конце концов у них не было недостатков и особенностей машин.

Поэтому Париж был естественной почвой для двадцатого столетия, Америка слишком хорошо его знала слишком хорошо знала чтобы создавать его, с точки зрения Америки у двадцатого столетия был романтический ореол и это мешало ей заняться творческой деятельностью. Англия сознательно отказывалась от двадцатого столетия полностью отдавая себе отчет в том что они блистательно справились с девятнадцатым столетием и пожалуй двадцатое столетие собиралось стать для них чем-то непосильным, поэтому они сконфуженно отрекались от двадцатого столетия но Франция не беспокоилась об этом, что было то и есть, что есть то и было это и было ее точкой зрения которую они почти не сознавали, они были слишком поглощены своей повседневной жизнью чтобы беспокоиться об этом, к тому же вторая половина девятнадцатого столетия и в самом деле не слишком их занимала, не занимала с тех самых пор как кончилось движение романтиков, они упорно трудились они всегда упорно трудились, но вторая половина девятнадцатого столетия и в самом деле не слишком их занимала. Но как любят говорить крестьяне все имеет свой конец, им нравится когда плохая погода не мешает им работать, они любят работать, работа для них вроде игры, и потому хотя вторая половина девятнадцатого столетия их не занимала они работали вовсю. А теперь настало двадцатое столетие и оно может оказаться более занимательным, если ему и в самом деле предстоит быть занимательным они не будут так много работать, интерес порою отвращает от работы работа при этом может даже стать чем-то докучным и отвлекающим.

Итак двадцатое столетие настало оно началось в 1901 году.

Часть третья

Итак это двадцатое столетие. Я много думала о столетиях. Мне думается столетия похожи на людей, они начинают с того же что и дети простые и полные надежд затем они проходят через годы которые доктор Ослер обычно называл бестолковым возрастом, мальчики с одиннадати до семнадцати, а затем наступает время когда они цивилизуются и после этого столетие более или менее определяется становится как говорят французы rangé то есть цивилизованным и дело сделано.

У меня есть смутное чувство будто каждое столетие таково же, таким конечно было девятнадцате столетие и двадцатое тоже а возможно и другие столетия. То что верно для одного столетия скорее всего верно и для всех остальных.

Итак мы сейчас в двадцатом столетии на стадии когда столетие почти готово для окультуривания.

В начале столетия а порой начало сильно затягивается столетие как и все юноши рвется уйти из семьи, и от семьи реальной и от идеи семьи.

Каждый юноша мечтает об этом каждое столетие мечтает об этом каждый революционер мечтает об этом, отменить семью.

Однако даже для юных интеллектуалов неистовых революционеров молодых

коммунистов это на самом деле не слишком реально во Франции. В конце концов каждый француз знает что ему предназначено стать a père de famille отцом семейства, даже если у него нет ни жены ни ребенка быть a père de famille его главное предназначение. Каждый француз неизбежно скажет о себе и о своих приятелях nous pères de famille, это на самом деле единственный способ которым француз может реализовать себя в жизни и хотя юность и интеллектуализм требуют чтобы он верил в мир не основанный на семейных узах каждый француз знает про себя что все закончится семьей и его превращением в отца семейства.

Любопытно что в сельской местности чуть ли не в каждой деревне есть мужчина который так и не женился, либо его мать жила слишком долго и он так и не женился, либо он не женился потому что уезжал куда-то и долго не возвращался, как бы то ни было по той или иной причине в деревне есть человек который остался неженатым. Обычно если мать живет слишком долго и мать такая властная что ее сын состарился неженатым когда мать умирает какая-нибудь вдова все же выходит за него замуж однако иной раз и даже довольно часто почти в каждой деревне есть неженатый мужчина.

На самом деле его никто не принимает всерьез, они пренебрежительно называют его женишком, и почти всегда он и впрямь становится немного чудаковатым грустно стоит и смотрит на женщин ни одна не станет ему женой а порой он делается совершенно сумасбродным, как недавно в одной деревне неподалеку отсюда ему уже было лет пятьдесят пять женат он никогда не был и застрелил женщину просто женщину которую заметил вдалеке. Ни один мужчина который был когда-либо женат не сделал бы этого явно бы не сделал.

Встречаются конечно женщины в деревне обычно не больше одной которые не вышли замуж, но во Франции вряд ли такая станет чудаковатой, ведь всегда на самом деле рядом есть животные а животные могут заменить семью француженке, француженке но не французу.

В нашей деревне есть такая женщина она любит свою собаку а не так давно собака ослепла и она и ее старик-отец и слепая собака как были так и остались одной семьей и даже когда ее отец умрет у нее все равно будет семья потому что животное станет для нее членом семьи.

Madame Chaboux рассказала мне об этом историю.

Во Франции сказать что маленькая собачка сидит на коленях у своей мамочки вполне допустимо. По сути французы совершенно убеждены что французский единственный язык в котором есть настоящий детский язык для собак, я помню долгий спор кончившийся торжествующим, ну и как же вы скажете по-английски, chien chien иди иди к своей mamére.

Нельзя сказать собаке француза, иди к своему папочке но можно сказать собаке француженки, иди к своей мамочке.

Словом Madame Chaboux была у себя в деревне в Юра и она пошла на концерт который давали для солдат и все крестьяне были там и рядом с ней сидела крестьянка и держала на коленях песика. Рассказывая историю Madame Chaboux совершенно естественно сказала рядом со мной на коленях у матери спал песик, песик был очень воспитанный, когда раздавались аплодисменты он просыпался и тявкал а все остальное время вел себя очень тихо. Объявили что самый известный французский флейтист сейчас находится в деревне и предлагает поиграть для солдат. Он вышел на сцену и стал настраивать флейту. Немного встревоженная мать песика повернулась к Madame Chaboux и сказала, pourvu que mon petit chien aime la flute, pourvu, будем надеяться что моему песику нравится флейта, будем надеяться.

Это сказано по-французски, уверенности нет но есть надежда не более того.

Французы любят называть вещи и называют их исчерпывающим образом.

Причина в том что если нечто названо оно их больше не тревожит. Как только

выражение une guerre des nerfs[1] сказано вслух ничто больше не действует им на нервы. Такова их логика стиль и цивилизация.

Поэтому хотя французы как и каждая нация вроде бы нуждаются в этом юношеском интеллектуализме отрицания семьи на деле это конечно же не так. В этом одна из причин того что французы не снобы.

Неважно каково социальное происхождение человека, неважно чего он достиг, ему никогда в голову не придет не навещать свою семью, у простого крестьянина могут быть дети самого разного общественного положения никаких сложностей не возникает, хорошо одетый человек приходит к себе домой где его родители в простой одежде такие же как когда-то и никто не чувствует что тут что-то не так, никогда и ни при каких обстоятельствах.

И конечно то же самое относится к армии, кто угодно может быть простым солдатом как и кто угодно может быть офицером. Это зависит от рода деятельности, от профессии, а не от общественного слоя.

Здесь в городе нотариус, адвокат, банкир все простые солдаты, сын мясника офицер, все это зависит от профессии это не зависит от класса.

На днях молодой писатель наш сосед по деревне Пьер Лейрис говорил об этом. Он не очень сильный и поэтому он нестроевик а не в действующей армии но во время мобилизации их нестроевую роту призвали и послали помогать при проведении мобилизации. Ему очень понравилась его короткая военная служба ему очень понравились его товарищи им очень хорошо было вместе, но потом мобилизация кончилась и их расформировали. Он сказал что это был ужасный день. Когда они надели штатское платье все стало по-другому, они увидели всех в другом свете они узнали кто есть кто а когда они были все вместе никто не знал и не придавал значения.

Помню как одна сестра француженка в монастыре тоже говорила об этом. Она сказала что облачение и чепец, тот самый чепец который как сказал кюре из Арса надо так долго снимать что за это время можно омлет с двух сторон обжарить чепец который многим из них пришлось снимать чтобы надеть противогаз, да так вот сказала она мы никогда не знали откуда родом та или иная сестра и из какой она семьи если только случайно не оказывались в приемной со своими родственниками а она в приемной со своими. Тогда они могли узнать но думаю они вряд ли это замечали.

Мы вчера видели отца настоятеля abbaye royale d'Hautecombe[2], шестнадцать из двадцати шести его монахов мобилизованы, почти все простые солдаты. Один из них из тех что постарше стал aumônier[3], священником летной дивизии. Он страшно доволен собой, к его услугам не только автомобиль не только шофер но у него свой самолет и свой летчик. В глазах отца настоятеля загорелись веселые искорки когда он рассказывал нам это.

Madame Giroud сама вдова генерала рассказала нам о своей семье, каждые десять лет они отмечают встречу всей семьи какая только есть в живых и в последний раз двумя самыми удивительными гостями были один из самых прославленных судей Франции и возница сельских похоронных дрог. Но они были одной семьей им подали прекрасный обед самый лучший обед и все были вместе.

Madame Giroud рассказала нам о своей двоюродной бабушке, она была одной из самых больших красавиц во Франции и очень важной особой. Как-то раз сравнительно недавно Madame Giroud побывала в деревне откуда все они были родом и встретила пожилую женщину и они разговорились. О сказала пожилая женщина вы помните вашу двоюродную бабушку. О да сказала Madame Giroud, прекрасно сказала пожилая женщина, я знаю о ней кое-что такое чего никто больше не знает.

---

[1] Война нервов *(франц.)*.
[2] Монастырь в Откомб *(франц.)*.
[3] Капеллан *(франц.)*.

Когда она была молодая совсем молодая и очень красивая тут проходил солдат. И ваша двоюродная бабушка родила мертвую двойню, таких очень маленьких близнецов и она похоронила их под грушевым деревом похоронила обоих.

Madame Giroud призналась что с тех пор когда она видит грушевое дерево она испытывает странное чувство.

В этом году как и всегда они собрали виноград и сделали вино, они всегда думают что его не будет потому что в этой деревне всё всегда против вина, поздние заморозки, град, ложномучнистая роса и мало вечернего солнца, но все равно они собирают урожай. В этом году как и всегда они собрали урожай и довольно большой, а французы как и их земля бережливы и щедры, много должно быть вложено в нее и много она дает в ответ, и они должны отпраздновать это, faire part[1], как пишется в их объявлениях о похоронах свадьбах и рождениях, во Франции они всегда отмечают праздник такой штукой которая называется ramequin[2], похоже на гренки с сыром по-уэльски, только вместо пива и сыра она делается из белого вина яиц и сыра, и все мешают ее такими огромными ломтями хлеба.

На днях они тут в деревне из-за чего-то не поладили и одного из соседей не позвали. Все остальные собрались вместе делать этот самый ramkin, это единственное кушанье которое должен готовить каждый французский отец семейства а не особый повар. Мужчины готовили ramkin на плите, была уже темная ночь, тот самый сосед взобрался на крышу и уселся на трубу и дым повалил назад и ramkin покрылся копотью, приятели решили что дело в ветре и начали сначала, а тот человек на крыше привстал потом услышал что они говорят теперь есть тяга тогда он уселся на трубу и опять испортил ramkin, и так продолжалось до тех пор пока какое-то время спустя незадачливые повара не узнали в чем дело.

Итак самое поразительное во Франции это семья и terre, земля Франции. Революции приходят и уходят, мода приходит и уходит, остаются логика и цивилизация а с ними семья и земля Франции.

Они так разумно относятся к этой земле, конечно она ничего не стоит без человека и конечно человек не может существовать без семьи.

Естественно у семьи, у каждой семьи есть свойство усугублять изоляцию. Это то что характеризует семью, это то что характеризует войну, вся война целиком и полностью это такое же усугубление изоляции. И французы которые не желают войны спокойно переживают войну, потому что в конце концов это усугубление изоляции а такова семья и в мирное и в военное время.

Как в обработанной земле нет ничего грубого или заведомо жестокого так и французы никогда не бывают ни грубыми ни жестокими. Они придумали слово садизм но их садизм никак не связан со страстями и страсти никак не связаны с землей или семьей это как то что революции и все остальное существуют по отдельности.

Во Франции сразу бросается в глаза одно тут никогда не наказывают детей и даже замечаний почти не делают. Они французы с самого рождения а значит логичны цивилизованны и обладают чувством стиля и исчерпывающим пониманием фактов жизни. Любой французский ребенок может понять все и очень основательно.

Единственный редчайший случай когда я видела плачущего мальчика произошел однажды там внизу на набережных в Париже.

Набережные в Париже никогда не меняются, то есть конечно они с виду другие но жизнь которая там идет и идет всегда одна и та же. Я только в прошлом году по-настоящему узнала их, я ставила автомобиль в гараж за Нотр-Дам и каждое утро и каждый вечер я проходила по всей протяженности набережных туда и обратно. Я

---

[1] Оповестить *(франц.)*.
[2] Ватрушка *(франц.)*.

обнаружила что сойдя вниз к самой воде я могу спускать собак со сворки потому что мы не переходили улицу и потом я обнаружила что жизнь там внизу очень приятная, с городской жизнью она никак не была связана, это одна из самых типичных черт Франции город и деревня деревня и город всегда совсем рядом. У каждого в городе есть родственники в деревне и у всех в деревне есть родственники в городе и все в городе надеются вернуться куда-нибудь в деревню все государственные служащие все полицейские все рабочие любой квалификации по сути даже все владельцы магазинов надеются в конце концов оставить дела и перебраться в деревню, то есть туда где ты неизбежно обосновываешься когда тебе больше не нужно зарабатывать на жизнь когда у тебя есть пенсия когда ты отложил кое-что и ты выращиваешь овощи и ты строишь себе маленький домик и ты надеешься что деньги не слишком обесценятся и ты сможешь жить на то что у тебя есть. Как бы то ни было у тебя всегда будут про запас овощи и кролики и куры а это всегда кое-что.

Конечно деньги сильно обесценились но всегда есть надежда что они когда-нибудь остановятся не будут падать. Как бы то ни было французы никогда не принимают деньги слишком всерьез, они конечно экономят их упорно копят их но знают что деньги на самом деле не отличаются надежностью. Вот почему все мечтают о земле в деревне. Многие знакомые нам люди пытались купить дом в наших местах и их всегда удивляет что никто не хочет продавать, ни крестьяне ни люди победнее или побогаче. Но как и все они говорят если мы продадим наш дом что мы получим взамен, деньги, а что проку от этих денег, деньги кончаются а потом когда они кончатся что с нами будет, и потом у нас есть все что нужно, и что можно сделать с деньгами кроме как потерять их, и потом тратить деньги не так уж приятно, и если они у вас есть и вам нужно их потратить, это очень хлопотно, экономить деньги это утешение и развлечение, экономия это не долг а развлечение, скупость это азарт, но трата денег это ерунда, потраченные деньги это деньги которых нет, а сэкономленные деньги это вырученные деньги даже если как это порой случается в деревне они сгорают.

Внизу в долине возник пожар в стоявшем в стороне амбаре это было в дневное время и кузнец начальник пожарной команды пытался погасить огонь но амбар был набит сеном, так что это было совершенно безнадежно.

Амбар принадлежал одному человеку а сено принадлежало другому человеку и вроде бы все отнеслись к этому философски, амбар был старый но это был хороший амбар для сена а сена у владельца было еще много и вдруг кто-то вспомнил что есть еще пристройка которая принадлежала какому-то другому человеку и кто-то смутно помнил будто он сказал однажды что оставил там свои вещи поэтому кто-то пошел искать того человека которому принадлежала пристройка. Он не был занят но не хотел идти но потом ему в конце концов пришлось пойти, а тем временем они вошли в пристройку и нашли одежду и тюфяк и 40 000 франков в кувшине.

Когда сообщили об этом хозяину он сказал да, это его пенсия, он вдовец, чтоб прокормиться ему довольно того что он получает с земли, они ему выписали эти деньги, пришлось за ними в город ходить но коль скоро у него не было для них применения он и оставил их там в пристройке.

Что он с ними сделал когда ему в конце концов отдали их я не знаю, но думаю что он оставил их где-нибудь еще.

Французы не любят тратить деньги это их тревожит, но к роскоши они относятся естественно, если она у вас есть это уже не роскошь а если у вас ее нет это еще не роскошь.

Так что на берегах Сены внизу у воды совсем нет городской жизни, это приятная жизнь и каждый человек проживает ее по-своему.

Так вот однажды я увидела там мальчика лет тринадцати плотного коренастого и прилично одетого мальчика сидевшего у воды а рядом с ним была женщина явно

не мать но родственница и они там сидели. Крупные слезы катились у него по щекам. Что случилось, спросила я у нее, о сказала она, огорчение но это пройдет. Он провалился на экзамене, но ничего пройдет. Совершенно безучастно сидела она рядом с ним и конечно это было огорчение но как она сказала, огорчение пройдет.

Странная жизнь идет там у реки. Однажды я проходила мимо и там было двое мужчин, один нашел цилиндр и еще какие-то оранжевые цветы которые он приколол к цилиндру, и пока они шли один представлял всем другого, это мой брат, говорил он о втором.

На баржах всегда выращивают цветы и мужчины всегда спускаются с мимозой в руках и куда-то с ней исчезают, и под мостами кровати из картонных ящиков, может быть картон хорошо защищает от холода во всяком случае они его используют, и женщины стирают белье и мужчины там удят рыбу и художники там рисуют и каждый занят своим делом. Они бурчат под нос или разговаривают сами с собой но никто не дерется.

Итак с детьми во Франции никогда не обращаются сурово. Ребенок во Франции это нечто ценное, это не сокровище но как и все что сопричастно земле имеет цену а о ценной вещи всегда очень заботятся, французы все употребляют в дело но ничем не злоупотребляют.

Итак двадцатому веку и в самом деле нужна была Франция как почва. Франция могла играть с идеей разрушения семьи которая есть начало и конец всего но на самом деле это не могло убедить ни одного француза и потому Франция стала почвой для начинавшегося двадцатого столетия, у нее за плечами была единственная реальная попытка проверить что семья и все что семья держит в руках и проживает и съедает и выпивает, и все что этой семье принадлежит, у них была за плечами эта попытка попробовать не верить во все это накануне девятнадцатого века во время Великой французской революции но на самом деле это было не увлекательно. Вело ли это к войнам да к волнениям да но на самом деле было неувлекательно. В этом не было ни логики ни цивилизации и не было стиля.

Поэтому когда двадцатое столетие собралось проверить это снова с самого начала французы были очень рады присутствовать при этом но не участвовать.

Во Франции никогда так сильно не ощущается семейная жизнь как во время каникул. Семья это всегда семья но во время каникул она разрастается и это утомительно.

Один француз сказал мне как-то что его преследовал мучил не переставая страх того что он назвал каникулярной погодой. Я сказала но это же всего лишь летняя погода, нет возразил он в ней есть какая-то тяжесть вот почему это погода не летняя а каникулярная.

В каждый деревенский дом съезжаются все родственники и все их дети и все их слуги, зимой родственники только наносят друг другу визиты, довольно много визитов, обедают все вместе не меньше раза в неделю, но на каникулах они живут все вместе.

Потом настало двадцатое столетие с его автомобилями особенно после войны, французские семьи стали меньше собираться вместе на каникулах потому что вполне естественно они больше разъезжали. Все они прекрасно осознали что это даже утомительнее чем совместное житье и менее полезно для детей и для них всех. Приезжать и уезжать в поездах было лучше потому что поезда все же останавливаются а автомобили едут себе и едут. Потом во время последней войны все деревни заполнились родственниками съехавшимися вместе но раз это не каникулярная погода и вообще не каникулы, всем так больше нравится не говоря о том что ездить нельзя даже в поездах и значит так менее утомительно. Просто постоянное совместное проживание а это все меняет. Родственники теперь постоянное явление и за исключением того что кто-нибудь то и дело говорит про ту или иную кузину какая она

надоедливая особа, а французские семьи всегда единодушны и все они считают какую-то одну особу самой надоедливой, и за исключением того что всегда есть трения между свекровью и невесткой, все это сильно смягчается тем что сын и муж на фронте. И многие денежные споры которые прежде были неизбежны из-за трений между невесткой и овдовевшей свекровью временно затихают. И всем так легче.

Во Франции не показывают друг другу письма. У всех свои письма. К какому бы классу во Франции ни принадлежал тот или иной человек он скажет у меня вестей нет но есть у моей матери, у меня вестей нет, но у моего сына есть. Неужели сказала я как-то раз с удивлением, они не читают вам того что написано в их письме, я хотела сказать неужели они не показывают вам письма но я инстинктивно почувствовала что этого нельзя говорить. О да последовала ответ, он или она читает мне отдельные места.

Во Франции все личное и частное и в то же время семья всегда вместе. Даже в разгар войны письма друг другу не показывают. Как сказала однажды моя старая служанка Элен, нет мадам это не секрет но об этом не говорят.

Я ни разу не видела Париж во время объявления войны. Войны всегда начинаются во время каникул и каникулярной погоды когда вас нет в Париже. Париж всегда там на своем месте, по крайней мере так кажется нам в деревне хотя в такое время мы не очень уверены в его существовании, начало войны поглощает вас где бы вы ни находились, так что даже Парижа нет там на своем месте. Это усугубление изоляции которое и есть война.

Париж находится там на своем месте и постепенно даже здесь довольно далеко от него вы начинаете понимать что он там на своем месте.

Я ни разу не видела Париж начала войны, Париж разгара войны я видела не в этот раз а в прошлый, в этот раз я наблюдала его всего лишь полдня.

Тем не менее я знаю Париж с самого начала двадцатого столетия до сегодняшнего дня, знаю довольно хорошо.

Когда я снова увидела Париж в 1900 году в первый раз после детства и в другие разы всегда на каникулах Франция это и был Париж, Франция это и был Париж и его ближайшие окрестности, Париж а он и был Францией которую я знала был тогда совершенно республиканским.

Я знала американку миссис Доусон, мы встретились в Англии и она сказала что уехала из Парижа после 1870 года. Она сказала что манеры французов-республиканцев были совсем не такие как очаровательные парижские манеры в эпоху империи. Но в годы республики ко всем конечно же обращались месье и мадам. Даже мальчишка в мясной лавке говорил нашей служанке bonjour Madame и она так же серьезно отвечала ему bonjour Monsieur хотя ему было всего пятнадцать лет. Во всяком случае хотя во Франции всегда есть империалисты и монархисты, порою самые неожиданные люди, они в действительности чуть ли не все в душе республиканцы и мечтают о республике, так как они знают что семья настолько сильна во Франции что принцип наследования должен быть отделен от власти, просто должен.

Кроме того до сих пор республика совсем неплохо справлялась с тем что как тут думают должно делать правительство, предоставляет их самим себе, защитило их, в общем и целом, от врагов, и хотя обходится оно дорого это правительство, могло бы обойтись еще дороже будь это какое-нибудь другое правительство, да и потом ни одна его часть не укоренилась настолько чтобы слишком далеко зайти хоть в чем-нибудь. Словом что касается Третьей республики она не так плоха. Могла бы быть лучше, могла бы быть хуже, но ничего, не так плоха.

В Париже между 1900 и 1914 годами мужчины были элегантны и в них было чуть ли не больше обаяния и элегантности чем в женщинах. Когда мы приехали в Париж мужчины в сдвинутых на сторону шелковых цилиндрах и откинувшиеся для симметрии в другую сторону и тяжело опиравшиеся на трость, тяжелая голова тя-

желая рука на трости, воплощали собой элегантность Парижа. Женщины были некрасивые скорее модные чем элегантные в отличие от мужчин. Когда столетие подросло началась война. Черные с синим цвета вечернего небосклона форменные тужурки летчиков поддерживали традицию французской элегантности среди мужчин. Женщины на время перестали быть модными и вслед за тем мужчины постепенно утратили свою элегантность а женщины снова обрели стиль и больше не были некрасивыми и стали красивыми и через некоторое время это уже стало новым идеалом. После этой войны мужчины скорее всего снова обретут элегантность а женщины стиль и элегантность. Все это очень интригует.

Цветы и фрукты в начале столетия были гораздо большей редкостью чем сейчас. В те дни цветы и фрукты были редки и будучи редкостью были очень элегантны.

Их очень тщательно выращивали чтобы они хорошо выглядели и хорошо гармонировали с тем что могло оказаться с ними по соседству, будь то люди или другие вещи. Они не имели ничего общего с жизнью под открытым небом а были целиком и полностью связаны с помещением и декорирование помещения фруктами и цветами было традиционным элегантным и модным.

Я помню ужас нашей служанки-бретонки когда мы в Пальме возвращались домой с охапками цветов и ставили их повсюду в доме. Сегодня любой француз или француженка совершенно спокойно может принести цветы куда угодно и в любом количестве сегодня но не тогда. Это же относилось к фруктам. Они были невероятно крупные, почти всегда с нанесенной на них еще во время произрастания меткой и очень дорогие. Никому не разрешалось до них дотрагиваться. Были только эти совершенно изумительные фрукты и обычные яблоки и в сущности ничего больше и эти обычные яблоки всегда были червивые. С того времени и в самых маленьких провинциальных городках фрукты появились в изобилии, все едят фрукты и на самом деле фрукты больше не предмет для восхищения или элегантное украшение стола. То же самое верно и в отношении цветов. Цветы теперь покупают большими букетами и всякий может купить в пределах разумного все что пожелает. Так что теперь цветами украшают многие дома на английский манер так сказать множество цветов повсюду и новая мода на цветы повелевает расставлять их так чтобы создавалось впечатление буйства мощи или необычности. Это постепенно создает новую элегантность.

Я разговаривала с Madame Giroud, она все помнит, и я спросила ее что ей кажется самым поразительным отличием между Францией ее юности Францией девятнадцатого столетия и Францией сегодняшней. Она сказала безусловно разница в одежде людей живущих не в городе а в деревне. Не только девушки но и женщины из деревень и захолустных городков все хорошо одеваются, все намного больше следят за собой.

Я знаю что короткие рукава короткие платья очень мне понравились как важнейший стимул к личной опрятности. Между довоенной и послевоенной модой имелась очень большая разница. Это относилось к женщинам помоложе и даже к более старым женщинам.

С другой стороны за вычетом электричества дома в деревне и в сельской местности не слишком изменились. Конечно появление электрического освещения и само по себе изменило вещи потому что все стало лучше видно. К тому же переменились юноши они спортивные и аккуратные правда когда они взрослеют они все больше становятся такими как были. Женщины высоко держат стандарт и это очень влияет на детей. На мужчин меньше. Я говорю сейчас о деревне а не о городе. Одна из самых главных вещей в городе это появление центрального отопления. В домах магазинах в Париже и в других больших городах вдруг стало очень жарко. Это естественно привело к изменению женской моды коротким рукавам коротким юбкам отказу от нижнего белья тонким чулкам а так как Франция творит моду

для всех, из-за центрального отопления которое провели в городах Франции появились новые фасоны. Эти фасоны пришли вместе с американизацией Европы столь заметной тотчас после войны, с гигиеной ваннами и спортом.

После того и до самого недавнего времени предпринимались настойчивые попытки вернуть старые или придумать новые более закрытые фасоны, но до сегодняшнего дня этому сопротивлялись потому что условия которые породили послевоенные фасоны сохранялись более менее неизменными. Однако постепенно желание сорить деньгами ослабело, стало труднее добывать деньги и потому появилась тенденция их откладывать. В прежней Франции девятнадцатого столетия всегда предполагалось что вы живете на свой прошлогодний доход и никогда на доход этого текущего года. А теперь во Франции все жили на доход текущего года или на доход следующего года, жили в рассрочку, короче говоря, они не были сами собой. И понемногу их стала раздражать эта тенденция, он исходил от всех классов этот отпор и фасоны в соответствии с ним отражали старание вернуться к большей прикрытости тела длинными юбками добротным бельем.

А сейчас идет война, дома в Париже больше не обогреваются центральным отоплением. В квартирах вы обогреваетесь чем можете. Многие люди как и мы живут в деревне и топят брикетами той Франции которую я не видела с 1900 года и еще впридачу дровами и естественно этому сопутствуют шерстяные чулки и все прочее и фасоны меняются. Очень сильно влияет на все темнота. Madame Giroud всегда говорит мне вы не знаете какими были эти деревни в прежние годы ведь даже и теперь хотя дороги темные в домах и амбарах внутри горит электрический свет, улицы все темные но магазины внутри светлые. Поэтому хотя снаружи они выглядят средневековыми лавками изнутри они выглядят иначе. Так что даже когда в двадцатом столетии снаружи черно внутри ярко освещено. Чего нельзя сказать о девятнадцатом столетии.

Брикетного топлива Франции круглых орешков спрессованного угля которые были во всех домах в начале двадцатого столетия больше не существовало даже в деревне, колосники которые прежде вставлялись в камин и подпирались обломком кирпича и засыпались угольками орешками дававшими ровное нежаркое тепло никогда казалось не менявшееся ни днем ни ночью больше нигде нельзя было увидеть. А сейчас 1939 год война и все хотят вернуть пламя брикетов. У нас оно есть. В местных лавках мы нашли колосники с точно таким же волнистым узором как и у тех которые мы нашли на чердаке нашего дома который стоит не знаем с каких пор. У тех в лавках точно такой же узор что означает каким тусклым было пламя брикетов.

Итак столетие состоит из ста лет и сто лет это не так уж долго. Каждый может знать кого-то кто помнит еще кого-то и так можно вернуться на сто лет назад. Если для этого не хватает двух поколений трех поколений более чем достаточно. Так что сто лет это не так долго.

Скорее тревожно что нашей цивилизации если думать о ней из расчета три поколения на столетие потребовалось так мало поколений чтобы начаться.

Столетие это сто лет. У каждого столетия есть начало и середина и конец. Каждое столетие это как жизнь любого человека, как жизнь любого народа, а это значит что оно начинается это значит что у него есть детство у него есть юность у него есть взросление у него есть средний возраст у него есть пожилой возраст и потом оно кончается.

Девятнадцатое столетие прошло все это, двадцатое столетие проходит это. Я думаю всякое столетие проходит.

Оно начинается как начинает ребенок волоча за собой облака славы из того столетия которое только что прошло. Конечно так вело себя и двадцатое столетие. Лишь малая группка всех тех что начинали двадцатое столетие приступила к нему

как к двадцатому столетию а не как к не завершившемуся девятнадцатому. Оно начинало в нерешительности, продвигалось с трудом, скорее даже просто ползло.

А потом оно постепенно прошло через отрочество затем разразилась первая мировая война, и это заставило всех осознать что это уже было не девятнадцатое столетие а двадцатое столетие.

Я спросила у Madame Pierlot, она выросла в деревне, она была провинциалкой, она никогда не бывала в Париже, она была женой военного атташе в разных столицах и потом в самом начале столетия она приехала в Париж уже женщиной лет сорока. Что ж, сказала она я была в нем разочарована. Но почему же, ну понимаете сказала она я думала что он не такой замкнутый как посольские круги в других странах, французы в Париже показались мне изощренными и не очень интересными. Но потом, прибавила она, я обнаружила что парижане гораздо интереснее когда они в деревне. Я перестала видеться с ними в Париже я стала приглашать их пожить у меня в деревне и тогда увидела что парижане интересные.

Затем она дальше рассказала мне что когда впервые приехала в Париж она присутствовала на обеде и сидела рядом с Анатолем Франсом. Немного погодя он сказал мадам вы не парижанка вы всегда жили в провинции. Это так подтвердила она. Это восхитительно, так и продолжайте, живите в Париже но всегда оставайтеь провинциалкой.

Итак столетие начинает понемногу приближаться к совершеннолетию, война была борьбой и это сделало двадцатое столетие неуверенным. Каждый живущий в нем знает его без прикрас.

На самом деле Франция не интересовалась двадцатым столетием Англия отказалась от двадцатого столетия, а теперь мировая война заставила и ту и другую осознать что двадцатое столетие уже наступило, оно прошло через муки как должна пройти всякая молодость, оно страдало как страдают все молодые и вот имеет место быть то что пришло двадцатое столетие.

После войны и Франция и Англия постепенно стали ощущать что двадцатому столетию пора цивилизоваться. Ему нужно было пройти через революционный период через который проходит любая молодежь, когда им кажется что системы станут не системами а чем-то совсем новым, когда каждый уверен что они всех могут переделать если только пойдут по правильному для этой работы пути.

Это был период первой мировой войны, период фасонов без стиля, систем без порядка, насилия без надежды, переделки каждого и значит преследования каждого. Все это естественно после молодости и накануне процесса цивилизации накануне признания за каждым права не подвергаться переделке а это приходит когда народы становятся взрослыми.

И Франция и Англия надеются сделать это сейчас когда этому столетию почти сорок лет и у него уже за плечами время когда оно начинает цивилизоваться время когда оно начинает взрослеть время чтобы перейти в среднюю возрастную категорию к приятной жизни и радостям обычного существования.

Поэтому эта книга посвящается Франции и Англии.

Франции которая была почвой для всех тех кто был заинтригован и сформирован и увлечен двадцатым столетием но которая не была сама слишком в нем заинтересована. Франции которая на самом деле предпочитает цивилизацию мятущейся юности, Франции которая предпочитает чтобы юноши учились сдержанности и логике и цивилизации и стилю по мере того как они вырастают из юности, Франции которая думает что детству и юности следует инстинктивно понимать что они не самоцель а переход к цивилизованности. И Англии которая как ребенок который не ходил в школу потому что его родителям не нравилась ни одна из существовавших школ и который уже переростком идет в школу и очень быстро все схватывает и опережает других что были в школе с самого начала, потому что Англия отказалась

от двадцатого столетия не поверила что оно уже там у нее считала что все совершают ошибку кроме них англичан которым известно что девятнадцатое еще не кончилось.

Но теперь они уже знают.

Эта книга посвящается Франции и Англии которые должны сделать то что необходимо сделать, они собираются цивилизовать двадцатое столетие и превратить его в эпоху когда каждый сможет быть свободен, свободен цивилизоваться и существовать.

Столетию сейчас сорок лет от роду, слишком взрослое чтобы делать что ему велят.

Оно достаточно взрослое чтобы жить хорошо и спокойно, идти к Богу или к черту как ему заблагорассудится и понять что жить как хочется приятнее чем когда тобой командуют.

Итак тому что Англия и Франция собираются предпринять и посвящается эта книга потому что я хочу чтобы они сделали то что собираются. Спасибо.

Перевод с английского Т. КАЗАВЧИНСКОЙ

■

ДЖЕЙМС Р. МЕЛЛОУ

Зачарованный круг, или Гертруда Стайн и компания

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

САЛОН ГЕРТРУДЫ СТАЙН И ЕЕ БРАТА ЛЕО

Гость, явившийся в студию на улицу Флерюс, дом 27, в начале двадцатого столетия, мог решить, что попал в совершенно новый тип учреждения — министерство пропаганды современного искусства. Если бы он постучал в массивную двустворчатую дверь, закрытую на единственный во всем VI округе Парижа цилиндрический замок, ему навстречу вышла бы хозяйка — полная, яркая женщина тридцати с лишним лет, с невозмутимым выражением лица, с пытливыми карими глазами. Можно было сразу почувствовать ее исключительное самообладание. Если визитер не принадлежал к устоявшемуся кругу ее друзей и знакомых, она бесцеремонно спрашивала: «De la part de qui venez-vous?»[1] Она говорила глубоким контральто, и в ее французском слышался призвук изысканного американского акцента.

Поскольку на вечера пускали всех, вопрос был чистой формальностью. Однако, случалось, гости смущенно бормотали в ответ: «Да вы же сами, мадам». Ибо Гертруда Стайн, хозяйка этих субботних вечеров, где оживленная беседа сочеталась с возможностью увидеть самые дерзкие современные полотна, нередко, встречая интересных людей, приглашала их к себе домой и моментально забывала об этом.

Цилиндрический американский замок врезали не для надежности. Хотя белые стены комнаты были увешаны картинами до самого потолка — захватывающие дух холсты и акварели Сезанна, смелые фовистские пейзажи Матисса, мрачные, задумчивые ню и акробаты «голубого» и «розового» периодов Пикассо, — эти картины еще не стоили тех баснословных денег, которые за них будут предлагать впоследствии. Цилиндрический замок был уступкой глубоко укоренившемуся в Гертруде Стайн американскому пониманию удобства. Она находила французские ключи слишком громоздкими и обременительными. Маленький ключ от ее цилиндрического замка можно было положить в сумочку во время привычной послеполуденной прогулки. Или в карман, когда она выходила из *павильона* — двухэтажного здания, где она жила с братом Лео, — чтобы открыть двери студии для прибывающих субботних гостей.

Именно картины в первую очередь привлекали людей в дом Стайнов. В предвоенное десятилетие мало где в Париже можно было увидеть подобную выставку самых смелых новинок. Показывая современное искусство непрекращающемуся потоку гостей со всего мира — любознательным немецким студентам, случайным шведам и венграм, богатым американским туристам, — Стайны, по сути дела, создали первый музей современного искусства. За несколько лет жизни во французской столице они собрали удивительную коллекцию того, что традиционный парижский бомонд считал дерзким, революционным, а часто и откровенно издевательским. Среди французов стало признаком хорошего тона посетить Стайнов хотя бы однажды, чтобы своими глазами увидеть невероятный хлам, который эти легковерные американцы развесили по стенам.

---

[1] Кто вас пригласил? (*франц.*) *(Здесь и далее — прим. перев.).*

© 1974 by James R. Mellow
© А. Борисенко, В. Сонькин. Перевод, 1999

Стайны и сами считались достопримечательностью. Открытые, гостеприимные, оба любили и умели поговорить. Лео Стайн рассуждал о любом предмете, от живописного стиля Пикассо до новейших способов похудания, расцвечивая свою речь удивительными сведениями и неожиданными выводами. Гертруда, уже начинавшая серьезно относиться к своим литературным занятиям, с радостью уступала брату разговоры об эстетике. Тем не менее она признавалась, что вне атмосферы спора ей становилось душно. Среди разношерстных гостей, всегда в центре горячей перепалки, Лео выглядел странно. Он был выше и тоньше Гертруды и, со своим острым профилем, рыжеватой бородкой и редеющими волосами, слегка походил на раввина. Нередко он совершал внезапные и странные действия: посреди разговора мог сесть, положить ноги на книжную полку, так что они оказывались на несколько дюймов выше головы, и заявить, что это необходимо для его прихотливого пищеварения.

Внешность Гертруды внушала благоговейный страх. Субботними вечерами ее большое тело, как правило, было скрыто под свободным длинным платьем. Она выглядела монументально; большая, мощная голова, обширное тело казались высеченными в камне. Даже те, кто недолюбливал Гертруду, бывали поражены ее статью. Она усаживалась на старинный стул с высокой спинкой, подогнув под себя ноги на манер Будды, — словно таинственная неумолимая сила притворилась неподвижным объектом.

Стайнов часто видели на улицах Парижа или в картинных галереях. Они ходили в простых одеждах из практичного коричневого вельвета, в удобных сандалиях необычного фасона. Нередко их можно было встретить в крошечной антикварной лавке, где мадемуазель Берта Вайль выставляла картины молодых непризнанных художников, или на улице Лафитт, в маленькой галерее, принадлежавшей бывшему клоуну Клови Саго. Еще чаще их можно было увидеть в другом заведении на той же улице: они пробирались среди сваленных в кучу холстов по галерее хитрого, изворотливого Амбруаза Воллара. Воллар, по слухам, держал лучшие вещи под замком в потайной каморке и ждал, пока цены на них повысятся. Среди его сокровищ была чрезвычайно богатая коллекция полотен Сезанна: он успел скупить их до смерти художника. Если кто-то случайно находил интересную картину и просил назвать цену, он напускал на себя изумленный вид и, не моргнув глазом, отвечал, что продал эту картину уже месяц назад, просто не мог отыскать, — и тут же уносил ее с глаз подальше.

Но к Стайнам Воллар испытывал симпатию и потому продавал им картины регулярно. Стайны меньше были склонны торговаться, чем его более богатые клиенты. К тому же они быстро платили. Воллар однажды признался Лео, что богатые платили, только если вспоминали об этом; обычно же их мысли были направлены на иные дела. Завсегдатаи парижских кафе считали Стайнов богатыми американскими чудаками. Лео даже называли американским меценатом. Но для Воллара мнение улицы ничего не значило. Он не жалел усилий на то, чтобы в точности выяснить финансовое положение своих клиентов. Он разузнал, что Стайны жили на скромный, но надежный доход от собственности в Сан-Франциско, то есть были далеко не так состоятельны, как миллионеры Х. О. Хейвмейерс и Чарльз Лёзер, тоже покупавшие Сезанна. Но Воллару все-таки нравилось иметь дело с Лео и его сестрой. Они были единственными клиентами, говорил он, которые покупали картины «не оттого, что были богаты, а несмотря на то, что не были». <...>

Тот, кто впервые встречал Гертруду Стайн, обычно обращал внимание на ее скульптурную голову, широкий, гладкий лоб, крупный, прямой нос, глубокие, искренние, порой лукавые глаза, полный, всегда сжатый рот. Некоторые говорили, что у нее голова римского императора, только высе-

ченная из американского гранита. Других восхищала легкость и нежность ее голоса, заразительный смех. Этот смех один из ее друзей сравнил с бифштексом — так он был сочен и основателен. Иные говорили, что этот смех похож на огонь, дремлющий в железной печке студии. Внезапная вспышка вдохновения могла раздуть гудящее пламя и полыхнуть жаром.

Гертруда Стайн и Алиса Б. Токлас. Венеция, 1908 г.

У нее была страсть знакомиться с людьми. Как она однажды написала: «Дайте мне новые новые лица». При этом Гертруде редко удавалось поддерживать с кем бы то ни было ровные отношения. За редким исключением, ее дружеские связи походили на ее же коллекцию диковинок: изящные и странные вещицы, вызвавшие когда-то ее интерес, сувениры, привезенные из поездок, или дары, возложенные на алтарь ее славы. Они редко бывали бесценными; они не должны были демонстрировать изысканный

вкус; их можно было заменить. У нее не хватало терпения защищать их, следить за тем, чтобы им ничто не грозило. Они должны были выдерживать поток людей, проходивший через ее салон. Заботиться о них, сдувать пылинки — это она оставляла другим. Нередко из-за беспечности или неловкости самые хрупкие разбивались, и их выбрасывали. Она бывала огорчена, раздражена, но обычно обнаруживала, что радость новой дружбы может успокоить ее досаду от утраты прежней.

На большинство вещей — на новую картину, на новое лицо — она реагировала бурно. Встречая кого-нибудь впервые, она вперяла в него взгляд и, не обращая внимания на смущение собеседника, засыпала его вопросами: Откуда он? Сколько ему лет? Чем занимается? Кто его родители? Много позже, к ужасу друзей, она усовершенствовала технику, спрашивая просто: «Каких вы кровей?» Для тех, кто помнил, что «наука» о расовом происхождении привела к газовым печам Освенцима, эффект был леденящим. Наблюдение над человеческой натурой забавляло и поглощало ее. Будучи хозяйкой светского салона на протяжении большей части своей жизни, она могла видеть разнообразные и интересные драмы — связи, браки, размолвки, разводы, примирения — и наблюдала их не раз. Ей, как писателю, повезло, что человеческая комедия разыгрывалась прямо у нее в гостиной.

Важную роль в творческой судьбе Стайн сыграла ее незаурядная интуиция. Она прекрасно понимала, как строится карьера в современном мире. Из любопытства или расположения, руководствуясь неизменным чутьем, Гертруда неутомимо пестовала молодежь на протяжении нескольких поколений. В начале века она поддерживала авангардных парижских художников; в двадцатые она занялась молодыми писателями, журналистами, критиками и издателями маленьких журналов, которые, как она любила говорить, «пали за освобождение стиха»; в тридцатые годы, во время нашумевшего американского турне, она взрастила новый урожай поклонников среди студентов университетов и колледжей; в сороковые переключилась на американских солдат второй мировой войны — так она обеспечивала себе постоянную аудиторию. Это была превосходная стратегия.

Пока она была жива, над ней смеялись, ее пародировали, ее редко печатали — да и то в основном за ее же счет. Тем не менее она завоевала себе место в американской литературе — не во главе когорты (хотя считала, что ее настоящее место именно там), но, по крайней мере, в первых рядах своего поколения.

ЗНАКОМСТВО С АЛИСОЙ ТОКЛАС

Алиса Токлас и ее подруга Гарриет Леви приехали в Париж в сентябре 1907 года. Там и состоялось знакомство Алисы и Гертруды.

Первое, что Алиса и Гарриет сделали в Париже, сразу после того как расположились в гостинице «Магеллан» неподалеку от площади Звезды, — это отправились в гости к Стайнам, в их просторную квартиру на улице Мадам. На стенах висели еще более яркие картины Матисса, чем те, что Алиса видела в Сан-Франциско. Однако посреди звона чашек, в шуме разговоров внимание Алисы было приковано вовсе не к картинам, а к фигуре Гертруды Стайн, только что вернувшейся после летнего отдыха в Италии. «Это была золотисто-бронзовая скульптура, — вспоминает Алиса, — опаленная тосканским солнцем, с золотым сиянием в теплых каштановых волосах. Она была в теплом коричневом вельветовом костюме. К нему была приколота большая круглая коралловая брошь; когда она говорила — говорила она мало — или смеялась — а смеялась она много, — мне казалось, что ее голос исходит из этой броши. Этот голос не был похож ни

на какой другой — он был глубокий, бархатистый, как оперное контральто, как два голоса».

Во время этой первой встречи, согласно легенде, которую впоследствии насаждала Гертруда, Алиса услышала колокольчики — они возвещали присутствие непризнанного гения, вернее, трех гениев: кроме Гертруды — еще Пикассо и философа Альфреда Норта Уайтхеда. Когда в тот памятный день Алиса собралась уходить, Гертруда отвела ее в сторону и сказала, по всей видимости довольно строго, чтобы Алиса пришла к ней на улицу Флерюс назавтра: они вместе совершат прогулку по Люксембургскому саду.

На следующий день стало ясно, что Алиса может опоздать на встречу с Гертрудой. Гарриет настояла на совместном обеде в одном из ресторанов в Булонском лесу, поэтому Алиса послала Гертруде *petit bleu*, своеобразную внутрипарижскую телеграмму, заранее прося прощения. Она явилась на улицу Флерюс с получасовым опозданием. Если Гертруда рассказывала, что Алиса слышала колокольчики, то Алиса в своих воспоминаниях уверяет, будто Гертруду поразил *un coup de foudre*, этот непременный атрибут всех романтических историй, — любовь с первого взгляда.

«Когда я добралась до улицы Флерюс и постучала в массивную дверь студии во дворе, — рассказывает Алиса, — мне открыла Гертруда Стайн. Она была совсем другая, нежели накануне. В руке она держала мой petit bleu. Она уже не источала благожелательность; теперь передо мной стояла богиня мщения, и я испугалась. Я не знала, что произошло и что произойдет».

«Более того, — загадочно продолжает Алиса, — я и сейчас не могу об этом рассказать. После того как она некоторое время расхаживала вокруг длинного флорентийского стола, который казался еще длиннее из-за двух столов, стоявших по краям, она подошла ко мне и сказала: Теперь вы все поняли. Я все сказала. Еще не поздно прогуляться. Вы можете посмотреть картины, пока я переоденусь».

Гертруда вернулась в более мирном расположении духа. Она мимоходом спросила про Гарриет. Они с Алисой пустились в первое из множества путешествий — миновали несколько узких домов по улице Флерюс, потом углубились в Люксембургский сад, прошли по аллеям, мимо статуй забытых поэтов и знаменитых композиторов, мимо нянек в накрахмаленных белых чепцах и детей, катающих обручи. Гертруда сказала: «Алиса, посмотрите на осенние клумбы». Однако Алиса все еще не опомнилась от устрашающего зрелища разъяренной Гертруды и не склонна была поддерживать легкую беседу. Этот первый день их долгой совместной жизни, в начале которого разразилась их первая, но не последяя ссора, завершился в кондитерской на бульваре Сен-Мишель, где они мирно ели мороженое-пралине и самые вкусные булочки в квартале.

ХЕМИНГУЭЙ И ГЕРТРУДА СТАЙН

Эрнест Хемингуэй познакомился с Гертрудой Стайн в марте 1922-го. Ему было двадцать два года, он только что женился и был многообещающим молодым сотрудником «Торонто дейли стар». Когда Хемингуэй получил место европейского корреспондента в канадской газете, Шервуд Андерсон дал ему рекомендательное письмо к Гертруде. В письме говорилось, что молодой писатель «инстинктивно связан со всем настоящим, что есть в этом мире». Гертруда сразу же почувствовала симпатию к Хемингуэю — с того самого дня, как он появился на улице Флерюс с молодой женой Хэдли. Этого нельзя было сказать об Алисе. Она лишь терпела Хемингуэя, уважая профессиональный интерес Гертруды к начинающему литератору.

Гертруда, которой в то время уже исполнилось сорок восемь, считала, что Хемингуэй «необыкновенно хорош собой», что глаза его «скорее излу-

чают, нежели привлекают интерес». Красивый, темноволосый, он был самоуверенно-мужествен и пользовался успехом у женщин, а Гертруда всегда реагировала на привлекательность своих друзей-мужчин — например, Пикассо, Пикабиа, Хуана Гриса. Хемингуэй, в свою очередь, восхищался ее внешним обликом: «У нее были прекрасные глаза и волевое лицо немецкой еврейки, которое могло быть и лицом уроженки Фриули». Она напоминала ему «крестьянку с севера Италии — и одеждой, и выразительным, подвижным лицом, и красивыми, пышными и непокорными волосами». У Алисы, по его мнению, был приятный голос. Его поражали ее мелкие, заостренные черты, ее стрижка, заставлявшая вспомнить Жанну д'Арк со старинных гравюр. Но хотя Алиса и казалась домашней и гостеприимной, когда молчаливо сидела над вышиванием или подавала маленькие пирожные и наливки, и Хемингуэю и Хэдли было жутковато в ее присутствии.

Хемингуэй был в восторге от студии, он говорил, что она похожа на «лучшие залы самых знаменитых музеев», только теплее и уютнее. В особенности ему запомнились наливки — «ароматные, бесцветные напитки», со вкусом малины или черной смородины, которые «приятно обжигали язык, и согревали, и вызывали желание поговорить». Разговор был всегда интересен, хотя поначалу Гертруда монополизировала беседу. «В... беседах с мисс Стайн почти никогда не было пауз», — отмечал Хемингуэй.

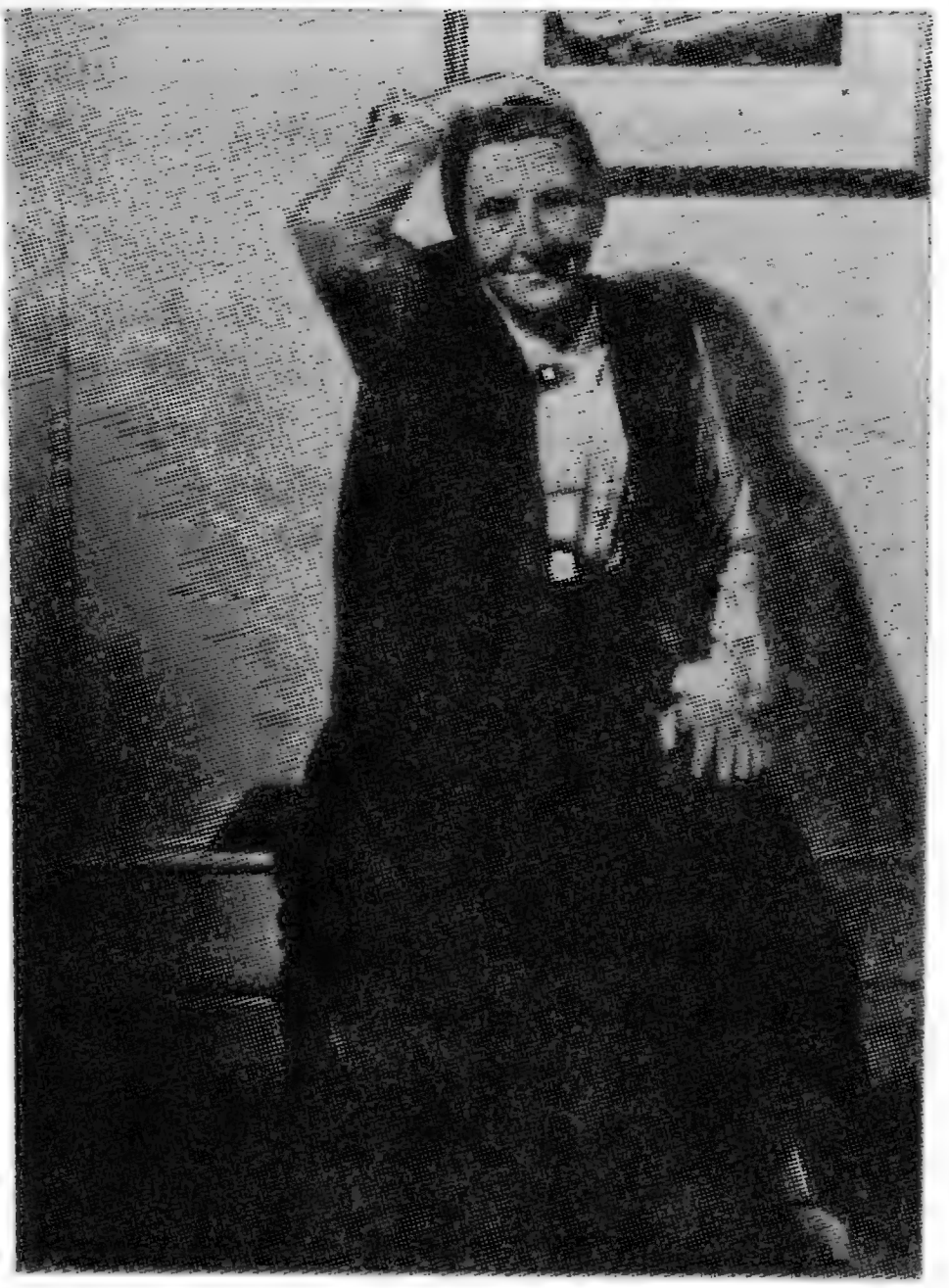
Хэдли пригласила женщин на чай в квартиру на улице Кардинала Лемуана, Гертруда и Алиса приняли приглашение. В этом тесном жилище Гертруда сидела на кровати и читала рассказы и стихи, которые показывал ей Хемингуэй. Он работал над «неизбежным» первым романом. Гертруде нравились стихи, «прямые, киплингианские», но роман она находила неудовлетворительным. «Здесь слишком много описаний, — сказала она, — и притом не лучших описаний. Начните сначала и сосредоточьтесь». Он также показал ей несколько недавно оконченных рассказов. Они понравились ей все, за исключением рассказа «У нас в Мичигане», содержавшего откровенную сексуальную сцену. Хемингуэй был слегка удивлен этим викторианским целомудрием, однако Гертруда обосновала свое замечание тем, что писать о подобных вещах непрактично. Рассказ хорош, сказала она. «Просто он *inaccrochable,* неприемлем», — объясняла она, как картина, которую художник написал, но никогда не сможет выставить из-за ее непристойности. И ни один коллекционер ее не купит, поскольку ее нельзя повесить на стену. Когда Хемингуэй мягко возразил, что это была попытка написать правдиво о жизненных фактах, Гертруда резко ответила, что ему следует избегать всего *inaccrochable:* «В этом нет никакого смысла. Это неправильно и глупо». Последнее замечание проливает свет на ее собственную эвфемистическую манеру в обращении с рискованными темами. Но может, дело было еще и в том, что в отдельных местах рассказа — например, когда героиня жалуется на размер пениса героя, — Стайн чувствовала, что автор просто тешит свое самолюбие, забывая о требованиях литературного вкуса.

На ранней стадии дружба Гертруды и Хемингуэя была безоблачной. Его ждали на улице Флерюс каждый вечер, после пяти. Он приходил и сидел у камина, потягивая *eau de vie*[1], глаза его привычно бродили по полотнам Пикассо, развешанным вокруг. Гертруда рассказывала ему о современных художниках — «больше как о людях, чем как о художниках», вспоминал Хемингуэй; и о своих собственных трудах, показывая ему тетради, громоздившиеся на бюро в стиле Генриха IV. Он чувствовал, каким счастьем была для Гертруды ежедневная порция работы. И только позже он ощутил прорывавшуюся порой горечь от отсутствия литературного признания. В ранние годы их дружбы неудовлетворенность Гертруды не была еще такой острой.

[1] Водка (*франц.*).

Хемингуэй восхищался силой ее характера. Гертруда была человеком настолько значительным, что могла завоевать кого угодно, стоило лишь приложить к тому усилие. Критики, по его мнению, многое в ее творчестве принимали на веру под гипнозом ее необыкновенной личности. Но Хемингуэю запомнились и ее веские высказывания об использовании ритма и повторов в литературе.

Гертруда отказывалась обсуждать с молодыми писателями частности и не критиковала их работы с редакторской точки зрения. Она предпочитала говорить «лишь об общих принципах, о том, как писатель видит то, что пожелал увидеть, о соотношении между ви́дением и тем, как оно воплощается». «Когда ви́дение неполно, — утверждала она, — и слова остаются плоскими, это очень просто, тут не ошибешься». Если Андерсон, чей стиль уже обнаруживал склонность к отрывочности и размытости эмоций, под влиянием Гертруды начал еще больше злоупотреблять повторами и многосло-



Гертруда Стайн в Билиньене

вием, то Хемингуэй сосредоточился на сильных сторонах ее письма. В своей ранней журналистике он уже усвоил ту сжатую, декларативную манеру, которая впоследствии сделала его знаменитым, и проницательные замечания Гертруды помогали ему совершенствовать свои достоинства.

Гертруда, казалось, расцветала от внимания молодого писателя. Он хорошо слушал, был восприимчив и обладал даром убедительно польстить при случае. Она взяла его под крыло, советовала, как ему построить свою личную жизнь, чтобы она способствовала дальнейшей писательской карьере, и даже давала рекомендации, как отложить деньги на покупку картин, сократив расходы на одежду — в особенности, на одежду для жены. Хэдли Хемингуэй слушала с тревогой, поглядывая на мешковатые одеяния самой Гертруды. Гертруда учила молодую пару не обращать внимания на моду. Одежда должна выбираться по принципу удобства и прочности, только и всего. На сэкономленные деньги можно будет покупать картины. Если учесть скудный доход молодой четы, вряд ли это был особенно ценный совет.

По-видимому, однажды Гертруда взялась просвещать Хемингуэя в воп-

росах секса. В «Празднике, который всегда с тобой» Хемингуэй утверждает, что как-то вечером, когда они беседовали в тишине студии на улице Флерюс, Гертруда напрямик затронула тему гомосексуальности. Она считала Хемингуэя «слишком невежественным» в данном вопросе и явно хотела смягчить предрассудки, усвоенные им в юности и во время военной службы в Италии. О мужской гомосексуальности она говорила в покровительственной манере.

«Вы, в сущности, ничего не смыслите в этом, Хемингуэй,— вещала Гертруда. — Вы встречали либо преступников, либо больных, либо порочных людей. Но главное в том, что мужская однополая любовь отвратительна и мерзка и люди делаются противны самим себе. Они пьют и употребляют наркотики, чтобы забыться, но все равно им противно то, что они делают, они часто меняют партнеров и не могут быть по-настоящему счастливы».

По словам Хемингуэя, Гертруда считала, что такие мужчины достойны скорее жалости, нежели презрения.

«У женщин совсем по-другому, — продолжала она. — Они не делают ничего противного, ничего вызывающего отвращение, и потом, им очень хорошо, и они могут быть по-настоящему счастливы вдвоем». Конечно, это было оптимистичное упрощение, и, быть может, Хемингуэй еще больше упростил его в пересказе, поскольку воспоминания эти были написаны много позже, уже после их болезненного разрыва, однако в этом высказывании присутствует та странность, что была свойственна некоторым широким обобщениям Гертруды.

Хотя Хемингуэй и не был готов соглашаться с ее взглядами на вопросы пола, однажды он пришел к Гертруде за утешением. Он появился на улице Флерюс один, вскоре после поездки, которую они предприняли вместе с женой. Гертруда убеждала его оставить работу в газете и жить на скромные сбережения, чтобы сосредоточиться на писательстве. «Если вы будете и дальше работать в газете, — говорила она, — вы перестанете видеть вещи, вы будете видеть одни лишь слова, а это не годится, если вы, конечно, хотите стать писателем». В тот день Хемингуэй вел себя странно. «Он пришел рано, около десяти утра, —писала Гертруда в «Автобиографии», — и остался. Остался на обед, просидел весь вечер, остался на ужин, и вдруг около десяти вечера внезапно объявил, что его жена беременна, и после добавил с горечью: «А я еще слишком молод, чтоб быть отцом». Мы утешили его как смогли и отправили восвояси».

Ввиду приближающегося счастливого события чета Хемингуэев решила вернуться в Америку, чтобы ребенок родился там. Хемингуэй собирался работать в газете «Стар» и надеялся накопить денег на возвращение в Париж. Но перед этим они с Хэдли планировали съездить в Испанию, чтобы посмотреть бой быков в Памплоне. Гертруда рекомендовала этот испанский город; в начале июля там проходила большая фиеста, на которую съезжались самые знаменитые матадоры. Хемингуэй давно интересовался корридой, которая потом стала важной темой в его произведениях. На основании одних лишь рассказов Гертруды, Алисы и их друга, художника Майка Стрейтера, он написал красочный очерк о бесстрашном матадоре для журнала «Литл ревью». Вскоре после этого Хемингуэй отправился в Испанию, чтобы увидеть настоящий бой быков, в сопровождении издателя Уильяма Берда и Роберта Макалмона, который великодушно оплатил Хемингуэю расходы на путешествие. Но погода им не благоприятствовала, и Хемингуэй, нередко испытывавший неприязнь к людям, которые делали ему добро, стал вести себя оскорбительно по отношению к Макалмону. Поездка же его с Хэдли в июле 1923 года имела странное объяснение: он считал, что зрелище окажет благотворное воздействие на будущего ребенка. Бои быков произвели на Хемингуэя сильное впечатление, особенно восхищали его два матадора: Мануэль Гарсиа и Никанор Вильяльта. Они с

Хэдли поклялись, что, если родится сын, они назовут его в честь последнего. В середине августа, по возвращении в Париж, они нанесли прощальный визит Гертруде и Алисе, перед тем как отплыть на «Андании».

Их сын, Джон Хэдли Никанор Хемингуэй, родился 10 октября; все детство он откликался на прозвище, данное ему матерью, — Бамби. Через месяц Хемингуэй написал Гертруде: «Я очень к нему привязался». Он также сообщал, что серьезно намеревается оставить журналистику, как она советовала, и что они планируют вернуться в Европу, едва лишь ребенку исполнится три месяца. Они приехали в Париж вскоре после Нового года и сняли квартиру на Монпарнасе. Супруги попросили Гертруду и Алису быть крестными матерями Бамби. Английский друг, Чинк Смит, был приглашен крестным отцом. «Мы все воспитывались в разных религиях, и большинство из нас не признавало ни одной, — вспоминала Гертруда, — так что нам было довольно трудно решить, какая церковь больше подходит для крещения. Той зимой мы все только это и обсуждали». В конце концов для крещения была выбрана епископальная церковь, как наиболее подходящая к случаю. Алиса связала младенцу несколько нарядных вещиц и вышила крошечную подушечку на детский стульчик.

Хемингуэй был благодарен Гертруде за материнское покровительство, и его благодарность нашла конкретное выражение после возвращения в Париж. Это был поступок, который Гертруда всегда потом помнила. По настоянию Эзры Паунда Хемингуэй согласился быть младшим редактором в «Трансатлантик ревью». Журнал издавался в Париже Фордом Мэдоксом Фордом. Деньги на это литературное предприятие дали Джон Куинн, состоятельный американский юрист и коллекционер, а также сам Форд и его тогдашняя любовница — художница Стелла Боуэн.

Как редактор Форд отличался непоследовательностью. Это был человек напыщенный и самовлюбленный, прижимистый в финансовых вопросах, но щедрый в поддержке молодых. Первый выпуск журнала вышел в январе 1924 года и включал в себя работы Паунда и э. э. каммингса. Форд не упустил возможности опубликовать в своем издании собственное произведение — одно из ранних, написанных совместно с Джозефом Конрадом, эссе «О природе преступления». Молодые американские писатели, жившие в Париже, считали, что Форд слишком привязан к традициям и как редактор с трудом балансирует между авангардом и безопасным конформизмом. Они вообще не очень жаловали Форда. Надутый, бесцеремонный, с блеклыми голубыми глазами и поникшими усами, он напоминал моржа; Хемингуэй, карикатурно изобразивший в романе «И восходит солнце» его и его любовницу как легковерных иностранцев мистера и миссис Брэддок, так и называл его за глаза — «золотой морж». Форд, часто превозносивший талант Хемингуэя, не питал иллюзий насчет благодарности молодых, темпераментных авторов по отношению к своему редактору. Однажды в письме к Гертруде он описал себя как «застрявшего где-то между непризнанными гениями и большими деньгами — что-то вроде вертящейся двери, которую всякий норовит пнуть при входе и выходе».

Вскоре после начала работы в «Трансатлантик ревью» Хемингуэй появился на улице Флерюс радостно возбужденный и объявил, что Форд согласен опубликовать что-нибудь, принадлежащее перу Гертруды. Хемингуэй хотел печатать «Становление американцев» с продолжением в нескольких выпусках. Гертруда пришла в волнение. Первые пятьдесят страниц требовались Хемингуэю немедленно. К сожалению, у Гертруды был только рукописный экземпляр — отпечатанный текст она отослала Карлу Ван Вехтену, который пытался продать его своему издателю Кнопфу. Хемингуэй предложил помочь Алисе перепечатать отрывок и потом взял на себя вычитывание гранок — занятие, которое Гертруда находила весьма

утомительным. «Хемингуэй сделал всю работу», — с благодарностью вспоминала она в «Автобиографии» годы спустя. Однако она также отметила инстинктивные подозрения Алисы, что Хемингуэй что-то от них скрыл.

Вскоре Хемингуэй радостно написал ей, что первая часть «Становления американцев» появится в апрельском выпуске. «Форду вещь нравится, он собирается к вам наведаться», — сообщал Хемингуэй. «Я сказал ему, что вы писали эту вещь четыре с половиной года и что всего в ней шесть томов. Он спрашивает, согласитесь ли вы на 30 франков за страницу (его журнальную страницу), и я сказал, что, может быть, сумею вас уговорить. (Заносись, да не слишком.) Я дал ему понять, какая это удача для его журнала, и подчеркнул, что этой добычей он обязан исключительно моим способностям добытчика. У него сложилось впечатление, что обычно, когда вы соглашаетесь что-либо опубликовать, ваши гонорары значительно выше. Я не убеждал его в этом, но и не разубеждал». Хемингуэй советует ей обращаться с Фордом царственно. Он сказал издателю, что дальше книга все лучше и лучше и что из шести томов «Трансатлантик» может напечатать все, что пожелает.

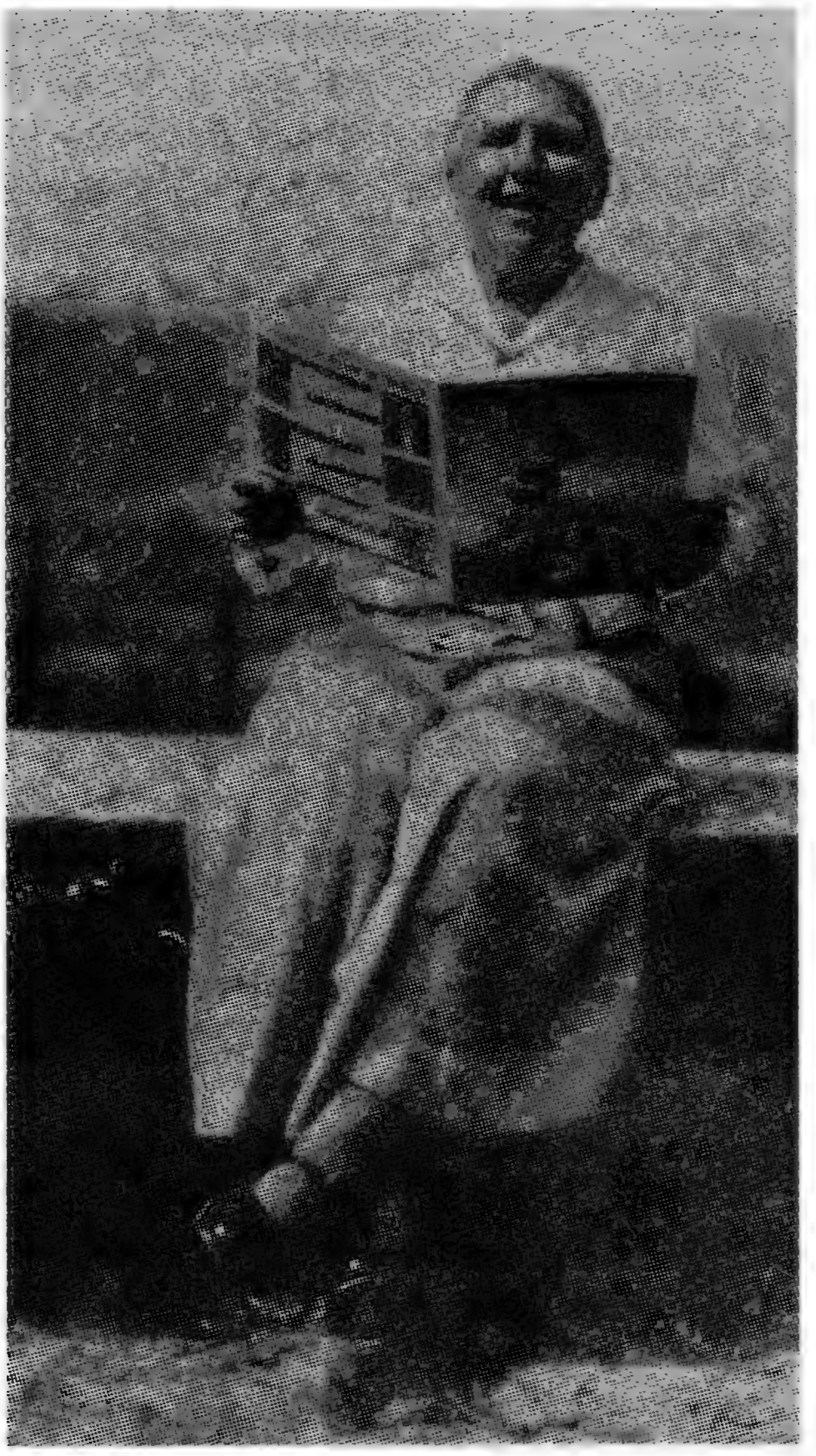
Впечатления Хемингуэя от книги и вообще от творчества Гертруды заметно менялись по ходу перепечатывания и вычитывания гранок. Его первые письма были письмами восторженного протеже. Он пытался пристроить книгу к Харольду Стернсу, агенту Ливерайта, и когда эта попытка не удалась, сердито писал Гертруде, что это «просто позор». Он добавлял в утешение: «Мы — Алиса Токлас, я, Хэдли, Джон Хэдли Никанор и другие хорошие люди — просто обязаны издать вашу книгу. И это непременно произойдет рано или поздно, все будет так, как вы хотите. И это не пустые слова». Позже, говоря о своей собственной работе, он спрашивал: «Оказывается, писательство тяжелый труд? До встречи с вами все было легко. Конечно, я писал плохо, господи, я и сейчас пишу ужасно плохо, и все-таки это другое «плохо». Гертруда с невинным эгоцентризмом полагала, что вычитывание гранок дает молодому писателю возможность тоньше оценить ее стиль. За время работы, утверждала она, «Хемингуэй многому научился, и он восхищался всем тем, чему учился». Однако позже Хемингуэй дал несколько иную, более продуманную оценку творчества Стайн. «Становление американцев», — писал он, — начиналось великолепно, далее следовали десятки страниц, многие из которых были просто блестящи, а затем шли бесконечные повторы, которые более добросовестный и менее ленивый писатель выбросил бы в корзину».

«Становление американцев» печаталось в девяти выпусках, с апреля по декабрь 1924 года, в трудные для журнала времена. Форд не имел особых способностей к бизнесу, и с самого начала «Трансатлантик ревью» преследовали финансовые трудности. Форд довольно неуклюже делал вид, что проблема — по ту сторону Атлантики. «Более двадцати тысяч экземпляров журнала, — жаловался он, — исчезли где-то в глубинах Америки». Его поездка в Америку весной 1924 года не дала особых результатов; Джон Куинн, умиравший от рака, не выразил интереса к возрождению проекта. Форд пытался найти поддержку и в Париже. Он решил спасти увядающее предприятие путем выпуска акций. Гертруда, заинтересованная в том, чтобы «Становление американцев» продолжали публиковать, купила акции, то же сделали и ее друзья — Натали Клиффорд Барни и Элизабет де Грамон, герцогиня клермон-тоннерская. Форд старательно пускал пыль в глаза, чтобы все выглядело как положено: акции были напечатаны на изысканной бумаге, проводились собрания акционеров, иногда на улице Флерюс. Хемингуэй тоже искал поддержку. Он уговорил своего состоятельного знакомого, Кребса Френда, вложить капитал в журнал, и еще какое-то время «Трансатлантик ревью» продолжал выходить. Хемингуэй опасался, что из-за финансовых разногласий между Фордом и Френдом Гертруда может

остаться без гонорара за публикации. Он хотел, чтобы она написала письмо с требованием денег. «Это такая старая американская игра: дождаться, пока долг так разрастется, что любую просьбу вернуть его можно будет встречать благородным негодованием». Он все еще в числе ее преданных сторонников: «Журнал выжил единственно благодаря вашему роману. И если они перестанут его печатать, я устрою такой скандал, такой шантаж, что от них просто ничего не останется. Так что держитесь твердо».

Отношения Гертруды с Фордом были вполне дружескими. Алиса знала его еще до войны, когда он звался Форд Мэдокс Хьюффер, и его роман с писательницей Вайолет Хант вызвал светский скандал в Лондоне. Английская газета по ошибке назвала Вайолет Хант «миссис Хьюффер», и первая жена Форда подала в суд. В результате пара подверглась остракизму; Генри Джеймс, который знал обоих, вынужден был с сожалением отказаться от общения с ними. Жена Форда не соглашалась дать развод. После войны, живя со Стеллой Боуэн, которая родила ему дочь Джулию, Форд сменил фамилию, дабы не повторять одну и ту же ошибку дважды.

Гертруда и Алиса были добры к Стелле и очарованы Джулией. Стеллу



часто приглашали на улицу Флерюс для «милой дамской болтовни» (выражение Стеллы). Гертруда и Алиса также никогда не пропускали рождественских праздников, которые Форд и Стелла устраивали для соседских детей. Они бывали у Форда на набережной Анжу, где по четвергам Стелла поила чаем разношерстное литературное общество. Форд искренне радовался посещениям Гертруды и спешил всем ее представить... Форду хотелось, чтобы его называли «*cher maître*», как сам он называл Генри Джеймса; по словам его любовницы, такое обращение «согревало ему сердце».

Однако его обычная манера поведения вряд ли способствовала достижению цели.

Гертруда, верная новейшим предрассудкам, не особенно интересовалась традиционно построенными, хоть и прекрасно написанными романами Форда, она предпочитала его описания путешествий. Форд собирался посвятить ей одно из таких произведений, «Франция в зеркале», путевые заметки и наблюдения о французской жизни и французской кухне. Об этом намерении Форд объявил в своей обычной манере. На какой-то вечеринке он подошел к Гертруде, которая беседовала с Хемингуэем, и, отстранив Хемингуэя, произнес: «Молодой человек, это я желаю говорить с Гертрудой Стайн». Затем попросил разрешения посвятить ей свою новую книгу. Гертруда была тронута.

Когда Гертруда написала Форду о невыплаченных гонорарах за июльский и августовский выпуски, то в ответ получила обычную фордовскую отговорку. «К моему большому облегчению, — сообщал Форд, — бразды финансового правления перешли из моих рук в руки одного капиталиста, который расстается с деньгами неохотно, но немедленно это сделает». Он также уверял, что со слов Хемингуэя понял: «Становление американцев» — лишь длинный рассказ. Правда, он добавлял: «Возможно, такое впечатление сложилось у меня по собственной вине». Если бы он знал, что речь идет о большом романе, то предложил бы за него единовременную выплату, как это обычно делают в таких случаях. Журнал, по его словам, «лишь начинал вновь оживать», и теперь появилась надежда на «реальные деньги».

Письмо Хемингуэя, датированное 10 октября 1924 года, было призвано открыть Гертруде глаза: «Кстати, говоря о честности, получали ли вы от Форда письмо с пометкой «конфиденциально», которое, следовательно, не могли показать мне, где он уверяет, что я вначале преподнес ему «Становление» как рассказ? Это не единственная ложь в его письме, которого, как он надеялся, я никогда не увижу; вся суть в том, чтобы заставить вас снизить цену». Журналу хронически не хватало денег. Хемингуэй боролся как мог, но «у миссис Френд появился блестящий замысел уменьшить расходы журнала за счет авторских гонораров. Последняя идея Кребса — заставить молодых писателей писать для журнала бесплатно, чтобы доказать свою преданность». Хемингуэй предсказывал, что «журнал полетит к чертовой матери еще до первого января, и я хочу, чтобы вы получали деньги вовремя, а «Становление» печаталось в каждом выпуске, пока они еще выходят». Последняя порция «Становления американцев» появилась в последнем, декабрьском выпуске «Трансатлантик ревью».

***

Воспоминания Хемингуэя о начале их дружбы были по понятным причинам пронизаны горечью из-за опубликованных Гертрудой заметок о нем. По прошествии более чем тридцати лет в «Празднике, который всегда с тобой» он описывает идиллический Париж, рисуя себя исключительно чистым и цельным человеком. Этот персонаж во многом напоминает Джейка Барнса, героя его знаменитого романа «И восходит солнце». В те идиллические годы, вспоминает Хемингуэй, Гертруда никогда не говорила об Андерсоне-писателе; она лишь превозносила его как человека. Особенно ее восхищали «его прекрасные итальянские глаза, большие и бархатные». Только после того как Андерсон потерпел творческое фиаско, Гертруда принялась хвалить его сверх всякой меры. Хемингуэй намекает, что Гертруда ревниво относилась к чужому творчеству, если она видела в нем угрозу для своего собственного положения. На улице Флерюс, по его словам, было не принято говорить о Джойсе. «Стоило дважды упомянуть Джойса, и вас уже никогда больше не приглашали в этот дом».

Возможно, воспоминания Хемингуэя о том времени — прямое опровержение версии Гертруды, изложенной в «Автобиографии Алисы Б. Токлас». Там Гертруда ссылается исключительно на беседы об Андерсоне-писателе и утверждает, что они с Хемингуэем расходились во мнениях по поводу его достоинств. Гертруда повторяла свои собственные слова: Андерсон «гениально использовал предложение для передачи прямой эмоции, в духе великой американской традиции», и «кроме Шервуда в Америке нет никого, кто мог бы писать такими четкими и страстными предложениями». Хемингуэй не соглашался; ему нравились рассказы Андерсона, но романы его он находил «странно бесцветными». Кроме того, ему не нравился андерсоновский вкус. «Вкус, — заявляла Гертруда, — не имеет ничего общего с предложениями».

Уже в 1923 году Хемингуэй возражал против попыток сравнивать его с Шервудом Андерсоном. Письмо звучало очень по-стайновски:

«Нет, я не думаю, что мой «Старик» берет начало от Андерсона. Это о мальчике, о его отце и о лошадях. Шервуд тоже писал о мальчиках и о лошадях. Но совсем иначе. Мой рассказ берет начало от мальчиков и от лошадей. Андерсон берет начало от мальчиков и от лошадей. Я не думаю, что в этом есть что-то похожее. Я знаю, что не он меня вдохновил».

Позже он добавляет, что, по его мнению, творчество Андерсона «полетело ко всем чертям, быть может, оттого, что в Нью-Йорке ему слишком часто твердили, как он хорош». В том же письме Хемингуэй гораздо более охотно признает влияние Гертруды. «Ее метод, — говорил он Уилсону, — неоценим для анализа, или для заметок о человеке или о месте...»

В следующем, 1924 году, в октябре, в журнале «Дайал» была опубликована статья Уилсона, где критик рассуждал о парижском издании хемингуэевского «В наше время». Уилсон отмечает, что Хемингуэй «единственный писатель, не считая Шервуда Андерсона, почувствовавший гениальность «Трех жизней» мисс Стайн и явно находящийся под ее влиянием. Мисс Стайн, Андерсон и Хемингуэй могут рассматриваться как отдельная литературная школа». Уилсон указывает на такую отличительную черту этой школы, как «наивность языка, характерную в том числе и для речи персонажей, которая призвана выражать глубокие эмоции и сложные состояния ума». Уилсон считал их творчество «ощутимым достижением американской прозы». Хотя Хемингуэй и откликнулся письмом, где хвалил рецензию и отмечал, что Уилсон «единственный критик, чьи статьи я могу читать даже в том случае, если мне знакома обсуждаемая книга», однако едва ли он остался доволен тем фактом, что его так прочно связывают с двумя писателями, от которых он теперь пытается отмежеваться.

Хемингуэю представилась возможность публичного разрыва с Андерсоном в 1925 году, когда тот напечатал «Темный смех». Хемингуэй заявил: книга Андерсона «так ужасающе плоха, так глупа и нарочита», что он «не мог удержаться от пародии». Так он порой поступал с людьми, которые, как ему казалось, представляли угрозу для его имиджа. В ответ на дружеское участие Эзры Паунда Хемингуэй тут же написал на него пародию, высмеивая богемный образ жизни поэта. Только аргументы Льюиса Галантьера убедили Хемингуэя не предлагать эту пародию издателям Маргарет Андерсон и Джейн Хип, которые в то время находились в Париже и просили у него что-нибудь для публикации. Льюис заметил, что вряд ли издатели «Ревью» примут произведение, высмеивающее человека, который убедил Джона Куинна вложить деньги в их журнал и который работал на них в Париже в качестве литературного редактора.

Пародия Хемингуэя на Андерсона имела форму романа, называлась «Вешние воды», была написана на скорую руку, за десять дней, и высмеивала все то, что Хемингуэй считал сентиментальным отношением американского писателя к американской жизни. В четвертой части романа объеди-

нились две темы — недовольство Хемингуэя Андерсоном и его разочарование в главном произведении Гертруды. Эта часть называлась «Уход великой расы, или Становление и упадание американцев». Гертруда, казалось, ничего не имела против шуток на свой счет, однако ее «очень рассердило» подобное отношение к Андерсону. Хемингуэй «напал на человека, который был частью ее окружения».

К удару, нанесенному Андерсону, Хемингуэй добавил оскорбление. Он предложил свою книгу Ливерайту. Ливерайт был их общим с Андерсоном издателем, по сути, это Андерсон уговорил издательство заключить соглашение с молодым писателем. Хемингуэй понимал, что Ливерайт, скорее всего, не станет печатать роман. Но он хотел издаваться у Скрибнера; у него была готова новая книга «И восходит солнце», и Хемингуэй рассудил, что в случае отказа сможет разорвать контракт с Ливерайтом и предложить обе книги Скрибнеру. После отказа Ливерайта Хемингуэй написал об успехе своего тактического маневра Ф. Скотту Фицджеральду, с которым познакомился в тот год в Париже и который подал ему идею перейти к Скрибнеру. «Я с самого начала знал, — писал Хемингуэй, — что они не смогут и не захотят опубликовать эту вещь, так как я выставил идиотом их драгоценного и популярного Андерсона... Я, однако, совсем не имел такого намерения».

История с Андерсоном не привела к немедленному разрыву с Гертрудой, только к некоторому охлаждению отношений. В своем новом романе, очень для него важном, Хемингуэй в качестве эпиграфа использовал недавнее высказывание Гертруды: «Вы все — потерянное поколение». Какое-то время он даже собирался назвать роман «Потерянное поколение». Различные версии рассказа Хемингуэя об эпизоде, вызвавшем к жизни замечание Гертруды, проливают некоторый свет на изменение их отношений. В неопубликованном предисловии, написанном в сентябре 1925 года, когда он только кончил править рукопись, он довольно прямолинейно рассказывает об этом эпизоде. Гертруда путешествовала летом по департаменту Эн и поставила свою машину в гараж в небольшой деревушке. Один молодой механик показался ей особенно старательным. Она похвалила его хозяину гаража и спросила, как ему удается находить таких хороших работников. Хозяин гаража ответил, что он сам его обучил; парни такого возраста учатся с готовностью. Это тех, кому сейчас от двадцати двух до тридцати, тех, кто прошел войну, — вот их ничему не научишь. Они — *«une génération perdue»*, так сказал хозяин гаража. В своем предисловии Хемингуэй давал понять, что его поколение «потеряно» по-особому, не так, как «потерянные поколения» прошлых времен.

Вторая версия происшествия, данная Хемингуэем тридцать лет спустя в «Празднике, который всегда с тобой», рассказана с иным настроением, и само определение воспринимается весьма иронично. По этой более поздней версии, молодой механик — представитель «потерянного поколения», проведший год на фронте. Он был недостаточно «сведущ» в своем деле, и Гертруда пожаловалась на него хозяину гаража, может быть, предполагает Хемингуэй, потому что механик просто не захотел обслужить ее вне очереди. *Патрон* сделал ему выговор, сказав: «Все вы — *génération* perdue!» Согласно этой версии Гертруда обвиняла все «потерянное поколение» — включая Хемингуэя — в том, что у них ни к чему нет уважения и все они неминуемо сопьются. Хемингуэй предположил, что сам хозяин «в одиннадцать утра был уже пьян... Потому-то он и изрекал такие чудесные афоризмы».

«Не спорьте со мной, Хемингуэй. Это ни к чему не приведет. Хозяин гаража прав: вы все — «потерянное поколение». По пути домой в тот вечер Хемингуэй размышлял о Гертруде и Андерсоне, «об эгоизме и о том,

что лучше — духовная лень или дисциплина». Он также задавался вопросом, кто же из них «потерянное поколение». Потом он отмел «ее разговоры о «потерянном поколении» и все эти грязные, дешевые ярлыки» и помнил только о том, каким добрым и заботливым другом она была. В конце концов он решил, что Гертруда «очень милая женщина», но «иногда она несет вздор».

Еще более поздняя версия в изложении Хемингуэя выглядит правдоподобнее. У Гертруды действительно было представление, что во Франции художникам и прочим людям искусства положены особые привилегии. Их обычно быстро обслуживают и находят места для парковки, даже когда все переполнено. От этого заблуждения она не избавилась до конца жизни. Поэтому она вполне могла пожаловаться, что механик заставил ее ждать. Кроме того, в двадцатые годы она действительно не одобряла поведение молодых американцев, собиравшихся в парижских кафе. Ей казалось, что соприкосновение с богемной жизнью таит опасность для художников и писателей. Следует поддерживать в себе постоянную готовность к писательскому труду, к «ежедневному чуду». Пьянство, наркотики, погоня за запретными «удовольствиями» — все идет во вред творческому процессу. Однако за свою жизнь она знала множество пьяниц и, по ее собственному утверждению, любила «многих людей, которые всегда находились в большей или меньшей степени опьянения. Ничего нельзя поделать, если они всегда более или менее пьяны». Опыт научил ее обращаться с ними так, «как если бы они были трезвы». Она пришла к ряду странных заключений относительно мужского пьянства. «Забавно, — писала она, — что мужчины чаще всего выбирают в качестве главных оснований для гордости две вещи, на которые способен любой мужчина и которые любой мужчина делает одинаково: это пьянство и рождение сына... Если подумать, становится ясно, насколько это удивительный выбор».

Рассказ Гертруды об истории с «потерянным поколением» менее подробен, чем у Хемингуэя. Впервые она услышала это выражение от владельца гостиницы «Пернолле» в Белле, городе в департаменте Эн: «Он сказал, что каждый мужчина становится цивилизованным существом между восемнадцатью и двадцатью пятью годами. Если он не проходит через необходимый опыт в этом возрасте, он не станет цивилизованным человеком. Мужчины, которые в восемнадцать лет отправились на войну, пропустили этот период и никогда не смогут стать цивилизованными. Они — «потерянное поколение». Обстоятельства похожи на те, что описывает Хемингуэй в первой версии. В гостинице «Пернолле» действительно был молодой автомеханик. По сообщению одного из тех, кто навещал Гертруду в гостинице, писателя Бравига Эмбса, молодой слесарь был «косоглаз и чрезвычайно мил», так что Гертруда вела с ним «нескончаемые» разговоры, покуда Алиса ждала во дворе и исходила злобой. Вторая версия хемингуэевского рассказа о «потерянном поколении», похоже, припоминалась не в спокойном состоянии духа, там явно чувствуются отголоски давней вражды.

Хемингуэй еще находился с Гертрудой в дружеских отношениях, когда в 1925 году впервые привел на улицу Флерюс Ф. Скотта Фицджеральда. Фицджеральд признался в своем дневнике, что это было лето «тысячи вечеринок и полного безделья». Он находился на гребне успеха, проснувшись знаменитым после выхода в свет первого же романа, «По эту сторону рая». Роман был опубликован в 1920 году, когда ему еще не исполнилось и двадцати четырех. И он, и его жена Зельда были красивые самовлюбленные люди; они постоянно находились в угаре непрекращающегося кутежа. В моменты трезвости Фицджеральд уже начинал с тревогой размышлять о своей беспутной жизни и о пьянках, которые превратили его с женой в знаменитостей мирового масштаба, хотя известность эта и была сомнительного свойства.

Гертруда прочла «По эту сторону рая» сразу по выходе, тогда она еще не переключила свое внимание на молодых писателей. Она считала, что Фицджеральд «по-настоящему создал новое поколение в глазах публики». Более того, ей казалось, что Фицджеральд — «единственный из молодых, кто естественно обращается с предложениями». Ее отношения с Фицджеральдом, как и многие из ее длительных привязанностей, сводились к ограниченному числу личных встреч и к восторженной переписке. Во время поездки в Америку в 1934 году Гертруда спланировала свое расписание так, чтобы провести с Фицджеральдом рождественский вечер в Балтиморе. К тому моменту его жизнь сильно изменилась: Зельда находилась в психиатрической лечебнице, а он сам страдал от чудовищных последствий своего бурного успеха. Гертруда оставалась в убеждении, что Фицджеральда, создавшего свою эпоху так же, как Теккерей создал эпоху «Ярмарки тщеславия», станут читать и тогда, «когда многие из его знаменитых сверстников будут забыты».

Фицджеральд, блестящий и тонкий писатель, видимо, был, несмотря на свое пребывание в Принстоне, малообразованным человеком. Не обладая уверенностью в собственном таланте, он с особым почтением относился к писателям с репутацией, в которых с легкостью обнаруживал талант. Его дружба с Хемингуэем — по всей видимости, более нужная Фицджеральду — складывалась непросто. Когда они вместе выпивали, Фицджеральд был попеременно то слезлив, то мстителен. «Я то дразню его, то заискиваю перед ним», — признавался Фицджеральд.

Фицджеральд обычно наносил визиты на улицу Флерюс в трезвом состоянии. «О его пьянстве много говорили, — вспоминает Алиса, — но он всегда был трезв, когда приходил в дом». К Гертруде он относился как к наставнице. Еще до встречи с ней он осознал ее значимость в качестве одной из «настоящих личностей» в литературе и даже попытался убедить редактора издательства «Скрибнер» Максвелла Перкинса напечатать ее «Становление американцев», хотя читал только отрывки в «Трансатлантик ревью». Когда Перкинс отказался, Фицджеральд написал ему: «Меня удивляет то, что ты говоришь о Гертруде Стайн. Я думал, критики и издатели считают своей обязанностью поднимать читателей до уровня писательского труда». Его более поздний взгляд на роман, когда тот вышел в виде книги, совпал со взглядом Хемингуэя. В письме Перкинсу, признавая свое заблуждение, Фицджеральд заметил, что только первые куски романа «вообще можно было понять».

Гертруда похвалила его за новый роман — «Великий Гэтсби», экземпляр которого Фицджеральд подарил ей во время их первой встречи. Фицджеральд написал Перкинсу, что и Хемингуэй, и Гертруда «в восторге» от его новой книги. «Настоящие личности, такие, как Гертруда Стайн (с которой я разговаривал) и Конрад (см. его эссе о Джеймсе), уважают людей, чье творчество не похоже на их собственное».

Вскоре после встречи с Гертрудой он написал ей восторженное письмо: «Мы с женой думаем, что вы очень красивая, очень галантная, очень добросердечная леди, — думаем так с первого дня знакомства с вами». Все его письмо было исполнено великодушия:

«Я счастлив, что вы и еще один-два тонко чувствующих человека считаете меня и таких, как я, художниками... — так же как человек 1901 года был бы счастлив, если бы Ницше считал его интеллектуалом. Я в высшей степени второсортный человек по сравнению с людьми первого сорта — во мне гнездится нетерпимость и другие пороки, — и я воистину трепещу, когда думаю, что писатель вроде вас приписывает такое значение моему искусственному роману «По эту сторону рая». Я чувствую, что это ставит меня в ложное положение. У меня, как у Гэтсби, только одна надежда».

Комплименты Гертруды молодому писателю стали впоследствии чем-

Коллекционер и коллекция. Фотография Сесила Битона

то вроде ритуальной шутки при их встречах. Фицджеральд утверждал, что ее искренность его глубоко ранит. Он добавлял, что в жизни не встречал большей жестокости. Однажды, в свой тридцатый день рождения, он пришел к Гертруде и Алисе в угнетенном состоянии. Он чувствовал, что в его жизни наступает трагическая перемена — молодость кончается. Что с ним станет, спрашивал он, что ему делать. Гертруда посоветовала не беспокоиться: он «пишет как тридцатилетний уже много лет». Она сказала, что ему следует пойти домой и написать роман, еще более великий, чем предыдущие. Она даже нарисовала линию на листе бумаги и сказала, что следующая книга должна быть такой толщины. Когда восемь лет спустя вышел роман «Ночь нежна», Фицджеральд послал экземпляр Гертруде с надписью: «Это та книга, о которой вы просили?»

Были, однако, случаи, когда комплименты Гертруды заставляли его обороняться. В 1929-м он пришел на улицу Флерюс с Хемингуэем, который только что опубликовал «Прощай, оружие» — и эта книга хорошо распродавалась. Фицджеральд находился в угнетенном состоянии и был раздражителен. Подойдя к Алисе, чью неприязнь к Хемингуэю он, видимо, чувствовал, он сказал ей: «Мисс Токлас, я уверен, вам будет интересно услышать, как к Хему приходят его великие замыслы». Хемингуэй с подозрением спросил: «Ты к чему это, Скотти?» — «Расскажи ей», — настаивал Фицджеральд. «Дело вот в чем, — начал объяснять Хемингуэй. — Когда у меня возникает идея, я уменьшаю пламя, как будто на спиртовке, насколько возможно. Потом происходит вспышка. Это и есть моя идея». На этом Фицджеральд развернулся и отошел от них. Алиса, крайне редко хвалившая Хемингуэя, заметила, что отступление из Капоретто было очень хорошо описано.

Возможно, чтобы польстить самолюбию Фицджеральда, Гертруда сказала, что «пламя» Фицджеральда и Хемингуэя — не одно и то же. Фицджеральд долго размышлял над этим разговором и в конце концов пришел к выводу, что Гертруда хотела подчеркнуть превосходство «пламени» Хемингуэя над его собственным. Он написал Хемингуэю озлобленное и жалобное письмо, побуждая его доказать свое превосходство. Хемингуэй был вынужден ответить ему крайне осторожно: Гертруда, дескать, не имела в виду ничего такого и вообще сравнивать две разновидности выдуманного пла́мени — полная чепуха.

***

В декабре 1926 года Шервуд Андерсон приехал в Париж с новой, третьей женой, Элизабет Пролл, директором книжного магазина «Даблдей». Он встретил ее в Нью-Йорке. С ними были один из его сыновей Джон и дочь Мими — дети от первого брака. Андерсоны очень мало виделись с Хемингуэем. Молодой писатель словно избегал их, хотя общие друзья искали пути к примирению. По мнению Гертруды, Хемингуэй «естественно, боялся» такой встречи.

Андерсонов часто приглашали на улицу Флерюс. Элизабет Андерсон предупредили о протоколе, и перед первым визитом она заранее трепетала, однако нашла Гертруду и Алису весьма милыми, а истории о женах, которым следовало знать свое место, — преувеличенными. Только когда ее муж и Гертруда вступили в продолжительную дискуссию о гражданской войне, которой Элизабет не интересовалась, она принялась обсуждать кулинарию и домашние заботы с Алисой.

В ходе спора о Гражданской войне Гертруда и Андерсон обнаружили, что их любимым героем был генерал Грант, а не Ли и даже не Линкольн. Полушутя, полусерьезно они даже поговаривали о совместном написании биографии Гранта. Гертруде мысль очень нравилась, и она была разочарована, когда Андерсон передумал этим заниматься. В результате она сделала Гранта одним из главных героев длинных биографических эссе об американских исторических личностях — «Четверо в Америке». Остальными тремя были Джордж Вашингтон, Генри Джеймс и Уилбер Райт.

Однако главным предметом споров между Гертрудой и Андерсоном в ту зиму был Хемингуэй. Оба снисходительно считали его «хорошим учеником», оба испытывали «гордость, смешанную со стыдом», видя это творение собственных рук. Алиса возражала: Хемингуэй-де «дурной» ученик, но они считали, что лестно «иметь ученика, который об этом не подозревает; иными словами, он усваивает урок, а любой, кто усваивает урок, становится любимым учеником». Андерсон не понимал, почему Хемингуэй так обращается со старшим другом, который помог ему начать карьеру писателя. Его особенно расстроило вероломное письмо, полученное им от Хемингуэя

непосредственно перед публикацией «Вешних вод». В нем Хемингуэй объяснял, что его пародия — не следствие личной неприязни, просто Андерсон написал плохую книгу и он, Хемингуэй, счел своим долгом откликнуться на нее. Серьезные писатели, полагал Андерсон, не считают своим долгом ставить друг другу шпильки. Андерсон решил, что это письмо — что-то вроде «траурной речи над моей могилой. Оно было такое грубое, такое претенциозное, такое высокомерное, что впору было смеяться — но я все равно недоумевал». Гертруда была уверена, что в характере Хемингуэя — избавляться от соперников. (Позже она сказала то же самое Хемингуэю, но он отрицал злой умысел подобного рода.) Хемингуэй, по ее словам, не мог вынести мысли о том, что Андерсон написал такие два рассказа, как «Я дурак» и «Я хочу знать почему». Хемингуэй, по ее словам, решил, будто Андерсон залез на его территорию.

Кроме того, Гертруда считала Хемингуэя «завистником». Он, по ее словам, был «в точности похож на паромщиков Миссисипи, описанных Марком Твеном». О Хемингуэе следовало рассказать правдивую историю, он сам должен был бы это сделать — «не то, что он пишет сейчас, а признания истинного Эрнеста Хемингуэя. Такая история была бы для иной публики, чем его нынешние читатели, что само по себе замечательно». Однако она была уверена, что Хемингуэй никогда этого не сделает. Как сказал ей сам Хемингуэй: «Все дело в карьере, в карьере». В беседах с Андерсоном Гертруда особенно строго судила Хемингуэя-писателя. Она сравнивала его с художником Дереном: «Кажется современным, а пахнет музеем». Несмотря на все это, Гертруда продолжала утверждать, что к Хемингуэю она питает «слабость».

***

Настоящая размолвка между Гертрудой и Хемингуэем произошла значительно позже, в 1933 году, когда в составе «Автобиографии Алисы Б. Токлас» были опубликованы некоторые ее заметки о Хемингуэе. После визита Шервуда Андерсона в 1926 году она реже виделась с Хемингуэем. Алиса регулярно напоминала Гертруде, отправлявшейся на привычную послеполуденную прогулку: «Не вздумай только притащить с собой Хемингуэя». В один прекрасный день, конечно, это произошло. Начался длинный спор, и Гертруда в итоге сказала: «Хемингуэй, в конце концов, вы на девяносто процентов обыватель». — «А нельзя снизить долю до восьмидесяти процентов?» — поинтересовался Хемингуэй. «Нет, нельзя», — ответила Гертруда.

Хемингуэй записал окончательную версию их разрыва гораздо позже, в 1957 году, когда начал работать над серией мемуарных зарисовок о своей парижской юности. Он рассказал о самом начале их дружбы, когда Гертруда показала ему свое жилище. Она заявила, что студия в его распоряжении, даже если ее нет дома. Горничная подаст ему что нужно, а он пусть располагается и ждет. Не указывая год, Хемингуэй описал случай, который произошел как-то утром, когда он, по просьбе Гертруды, зашел попрощаться: Гертруда и Алиса отправлялись на юг. Это случилось в то счастливое время, когда он еще был влюблен в Хэдли. Гертруда звала супругов в гости тем летом, но это не входило в их планы.

Хемингуэй вспоминал, как чудесным весенним днем он прошел через Малый Люксембургский сад, где каштаны стояли в цвету, на дорожках играли дети, а на скамейках сидели их няньки. На улице Флерюс горничная открыла ему дверь прежде, чем он постучал. Гертруда и Алиса были наверху, и горничная налила ему рюмку eau de vie, хотя время обеда еще и не наступило.

Пока он ждал, он услышал шум особенно жаркой ссоры между Гертрудой и Алисой. Алиса обращалась к Гертруде так, как Хемингуэй «не слышал, чтобы люди разговаривали друг с другом. Ни разу, никогда, нигде!» Потом до него донесся голос Гертруды, жалобный и умоляющий: «Не надо, киска, не надо. Пожалуйста, не надо. Я на все согласна».

«То, что говорилось, было отвратительно, а ответы еще отвратительнее», — пишет Хемингуэй. Он проглотил eau de vie и пошел к двери. Когда горничная погрозила ему пальцем и попросила подождать, поскольку мисс Стайн сейчас спустится, Хемингуэй сказал, что не может ждать, потому что заболел его друг. Что он напишет.

Так это кончилось для него — «глупо кончилось», признается Хемингуэй, «хотя я продолжал выполнять мелкие поручения, приходил, когда было необходимо, приводил людей, о которых просили, и дождался отставки вместе с большинством мужчин-друзей, когда настал новый период и новые друзья заняли наше место». Впоследствии он писал, что, как и остальные, примирился с ней, чтобы не казаться обидчивым или слишком уж праведным. Но так никогда и не смог вновь подружиться с Гертрудой «по-настоящему» — ни сердцем, ни умом.

Это яркое, желчное описание по всем подробностям очень правдоподобно. Нет ничего невозможного в том, что он подслушал ожесточенную ссору между Гертрудой и Алисой — ссору, которая без прикрас открыла для него лесбийскую природу их взаимоотношений, причем стальной характер Алисы проявился так, как это никогда не случалось на людях. Однако не исключено, что в этом инциденте, как и в случае с автомехаником, Хемингуэй поставил себя на место кого-то другого ради большей эффектности. В любом случае Хемингуэй датировал свое разочарование Гертрудой более ранним периодом, чем в реальности, отодвинув его от настоящей причины — едких замечаний на его счет в «Автобиографии».

Гертруда с ее безошибочным чутьем угадала, какой удар будет для него самым болезненным — удар по образу безупречно смелого и мужественного человека, который он культивировал. Он парировал этот выпад весьма успешно, выставив напоказ нехватку «мужества» в ней самой. В ссоре с Гертрудой последнее слово осталось за Хемингуэем; «Праздник, который всегда с тобой» был опубликован в 1964 году. Но теперь это мало что значило: обоих уже не было в живых.

Перевод с английского А. БОРИСЕНКО и В. СОНЬКИНА

■

ГЕРТРУДА СТАЙН: краткая летопись жизни и творчества

1874. Родилась 3 февраля в семье богатого коммерсанта Дэниэла Стайна и Амалии Стайн в Аллегейни, штат Пенсильвания (США). Младшая из пятерых детей.

1877—1878. Семья Стайнов живет в Европе: сначала в Австрии, потом во Франции.

1879. Возвращение в США (Балтимор, затем Окленд, Калифорния).

1882. Гертруда Стайн предпринимает первые попытки писать. Дружба с братом Лео (он на два года старше ее).

1888. Умирает от рака Амалия Стайн.

1891. Смерть Дэниэла Стайна. Материальную заботу о семье принимает на себя старший брат Майкл.

1892. Гертруда едет в Балтимор, где живет у богатой тетки, Фанни Бахрах.

1893. Поступает в Гарвард-Аннекс (с 1894 г. — Рэдклифский колледж), учится психологии у Уильяма Джеймса.

1894. Работает в Гарвардской психологической лаборатории.

1896. Первая публикация: «Нормальный моторный автоматизм» (в журнале «Сайколоджикал ревью»).

Летом Гертруда совершает первую самостоятельную поездку в Европу.

1897. Поступает в медицинскую школу Джонса Хопкинса при Балтиморском университете.

1898. Получает степень бакалавра.

1902. Весной живет у брата Лео в Италии. Лето и осень они проводят в Англии.

1903. Живет в Нью-Йорке у друзей. Начинает писать первый вариант «Становления американцев» и роман «Q.E.D.», опубликованный посмертно (1950) под заглавием «Вещи как они есть».

Лео поселяется в Париже на улице Флерюс, 27.

Гертруда проводит осень у брата.

1904. Во время путешествия по Италии знакомятся во Флоренции с коллекцией картин Сезанна, принадлежащей Чарльзу Лозеру.

Гертруда переезжает к Лео в Париж.

1905. Пишет повесть «Три жизни».

На Осеннем салоне Стайны покупают за 150 франков «Женщину в шляпе» Анри Матисса.

Начало дружбы с Матиссом.

Стайны покупают у Клови Саго «Девочку с цветочной корзинкой» и еще несколько картин Пабло Пикассо.

Ноябрь. Стайны знакомятся с Пикассо, начинают посещать его мастерскую в «Бато-Лавуар», где завязывают дружбу с Максом Жакобом, Ван Донгеном, Аполлинером.

1905—1906. Пикассо пишет портрет Гертруды.

1907. В Париж приезжает Алиса Токлас с подругой Гарриет Леви. Знакомство Гертруды с Алисой (по некоторым данным, оно состоялось в 1908 г.).

1909. В Нью-Йорке напечатаны «Три жизни» — первая книжная публикация Стайн.

Алиса Токлас поселяется у Стайнов на улице Флерюс.

1911. Завершение работы над романом «Становление американцев» (первое издание — Париж, 1925).

1912. Журнал «Камера уорк» публикует эссе «Матисс» и «Пикассо».

1913. Разрыв с братом. Лео переезжает во Флоренцию, коллекция поделена практически поровну.

В Нью-Йорке проходит Арсенальная выставка; критики связывают представленное на ней кубистское искусство с влиянием Гертруды Стайн.

1914. В июне опубликована книга стихотворений в прозе «Нежные кнопки».

В августе Гертруда и Алиса гостят у философа Уайтхеда в Локридже.

1915. Работа над «Полезным знанием» (первое издание — Нью-Йорк, 1928).

Напуганные ходом военных действий, Гертруда и Алиса перебираются в Испанию.

1916. Возвращение в Париж.

1917. Гертруда покупает автомобиль «форд» (прозванный «тетушка») и участвует в работе Американского фонда помощи французским раненым, доставляя продовольствие и медикаменты в госпитали, расположенные в окрестностях Парижа.

1921. Знакомство с Шервудом Андерсоном.

1922. Французское правительство награждает Стайн почетной медалью за помощь во время войны.

Начало дружбы с Эрнестом Хемингуэем.

1924. Фрагменты романа «Становление американцев» печатаются в «Трансатлантик ревью».

1926. Читает лекции в Англии.

В Лондоне издана «Композиция как объяснение».

Знакомство с Вирджилом Томсоном.

1927. Повесть «Люси Черч, с любовью» (первое издание — Париж, 1930).

1928. Гертруда с Алисой переезжают в загородный дом в Билиньене.

1930. «Дружба завяла прежде цветов дружбы» (первое издание — Париж, 1931).

1932. Публикация сборника драматургии «Оперы и пьесы» (Париж). Работа над «Автобиографией Алисы Б. Токлас».

1933. Выходит в свет «Автобиография Алисы Б. Токлас». Журнал «Атлантик мансли» печатает ее как роман с продолжением. Шумный успех.

1934. Премьера оперы Вирджила Томсона на либретто Стайн «Четверо святых в трех актах».

Лекционное турне по США (более 40 выступлений).

1935. Чтение лекций на западе США.

Лекции Стайн публикуются в Чикаго под заголовком «Наррация» (с предисловием Торнтона Уайлдера).

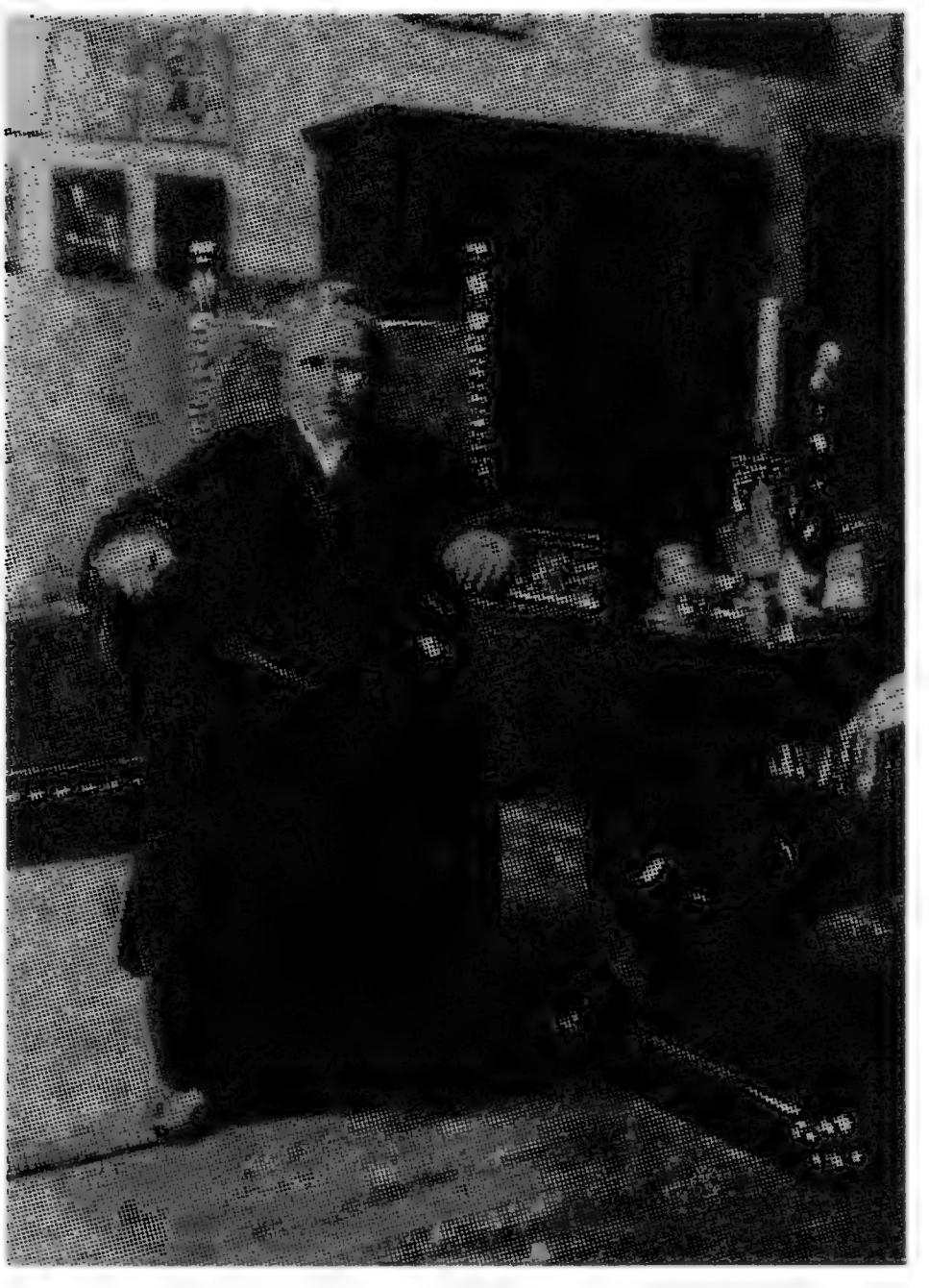
Пишет трактат «Географическая история Америки, или Отношение человеческой натуры к человеческому духу» (первое издание — Нью-Йорк, 1936, с предисловием Торнтона Уайлдера).

1936. Читает лекции в Оксфорде и Кембридже.

Пишет повесть «Автобиография всех» (первое издание — Нью-Йорк, 1937).

1938. Публикуется (на английском и французском языках) очерк «Пикассо».

1939. Завершает работу над книгой «Париж Франция» (первое издание — Нью-Йорк, 1940).



1940. «Ида. Роман» (первое издание — Нью-Йорк, 1941).

1942—1944. Живет в Билиньене, затем в Кюлозе, оккупированном немецкими, а позднее итальянскими войсками.

Пишет воспоминания «Войны, которые я видела» (первое издание — Нью-Йорк, 1944).

1944. Возвращение в Париж. Среди новых друзей — американские солдаты. Гертруда признается, что чувствует себя «всеобщей бабушкой».

1945. «Брюси и Вилли» (первое издание — Нью-Йорк, 1946).

Поездка в Германию на военные базы США.

Декабрь. Лекции в Брюсселе.

Первый приступ болезни.

1946. *19 июля.* Госпитализация с диагнозом «рак ободочной кишки».

23 июля. Составляет завещание, основной наследницей делает Алису Токлас.

27 июля. Безуспешная операция. Последние слова Гертруды Стайн: «В чем ответ?.. В таком случае — в чем вопрос?»

В. СОНЬКИН

НИНА ГЕТАШВИЛИ

ГЕРТРУДА СТАЙН И ХУДОЖНИКИ

О парижских вечерах у Гертруды Стайн написано много. Стоит перечислить лишь некоторых из ее гостей-художников: Анри Руссо и Жорж Брак, Франсис Пикабиа и Жюль Паскен, Хуан Грис и Мари Лорансен, Андре Дерен и Робер Делоне, Андре Массон и Жак Липшиц, Джекоб Эпштейн и Тристан Тцара, «очень неинтересные» футуристы во главе с Маринетти и Мэн Рэй. Список далеко не полон, а если вспомнить еще и бывавших у Стайнов литераторов, то станет понятно, что дом их был, по сути, одним из центров модернистской культуры первых десятилетий века, а госпожа Стайн — непосредственным свидетелем и участником самых значительных культурных событий того времени. Коллекция же, которую Лео и Гертруда начали собирать сразу после переезда в Париж, стала первым крупнейшим собранием новой живописи.

Непосвященному читателю может показаться естественным, что в приведенном выше списке едва ли не все имена звездные. Однако феномен в том и состоит, что покупалось искусство «непроверенное». Когда еще не были выработаны критерии его восприятия и определены основные черты. Когда оно еще вовсе не считалось «дорогим» и вкладывать в него деньги было весьма рискованно. Когда критерии отбора диктовались одной только интуицией. А дружба с художниками славы никак не прибавляла и укреплению репутации не способствовала, ибо ни один из тех, кому сегодня посвящены тома и тома искусствоведческих трудов, не был тогда знаменит. Более того, почти все они слыли скорее изгоями.

Все началось с «отшельника из Экса» — Поля Сезанна. Рекомендация Бернарда Беренсона[1] привела Лео и Гертруду Стайн в поисках картин незнакомого им еще художника в галерею Амбруаза Воллара. Первой покупкой был «маленький зеленый пейзаж». Затем наступила очередь «Женского портрета», который на долгие годы занял место в кабинете писательницы и, по ее словам, стал объектом внимательного изучения и образцом нового отношения к форме. «Это была очень важная покупка, потому что глядя и глядя на эту картину Гертруда Стайн написала Три жизни»[1]. Учтем время покупки, 1903 год, и отдадим должное чутью коллекционеров. Ибо в тот момент, когда покупалась картина, имя Сезанна лишь набирало известность. И еще очень громко звучала язвительная критика в его адрес. В 1903 году в связи с состоявшейся в Париже аукционной распродажей вещей Эмиля Золя (а работы Сезанна, гимназического друга писателя, пылились на чердаке его дома) в одной из газет можно было прочесть: «Здесь был десяток произведений, пейзажей или портретов, подписанных неким господином Сезанном... Люди корчились от смеха, глядя на голову темноволосого бородатого мужчины, чьи щеки, выбитые шпателем, казалось, покрыты экземой... Если прав Сезанн, то все великие мастера кисти заблуждались».

Гертруда Стайн в правоту Сезанна уверовала. Более того, его наглядные уроки оказались усвоенными начинающей писательницей. Они состояли, кроме всего прочего, и в упрощении формы — ради выявления ее материальной основы, в сдвиге пространственно-композиционных и ритмических структур (в искусствоведческом лексиконе нет термина «инверсия», который с легкостью применим к письму Стайн, однако он справедлив и в отношении живописи Сезанна).

Поняв Сезанна, легче было найти ключ и к пониманию матиссовской «дикой» гармонии. При всей разности творческих методов Сезанна и Матисса очевидное сходство усматрива-

---

[1] Бернард Беренсон (1865—1959) — американский искусствовед, крупный исследователь искусства итальянского Возрождения. Создатель метода «критического формализма» для атрибуции картин.

[1] Г. Стайн. Автобиография Алисы Б. Токлас. Перевод с английского И. Ниновой. «Нева», 1993, № 10—12.

ется в их отношении к натуре, когда индивидуальность «яблока» и «лица» исследуется с равным вниманием. Отличие же сама Гертруда Стайн сформулировала довольно точно: «Сезанн пришел к своим изломанным линиям и незаконченности по необходимости. Матисс это сделал намеренно». И в своих текстовых пространствах она воспроизводила неправильный, на первый взгляд, сбивчивый ритм, создававший некую особо прочную устойчивость при кажущейся шаткости всей конструкции.

В автобиографии писательницы, написанной от имени ее подруги, не раз повторялось, что именно ей, Алисе Токлас, приходилось «сидеть» с женами художников, пока госпожа Стайн вела беседы с молодыми мэтрами нового искусства. «Я сидела с ненастоящими женами настоящих гениев. Я сидела с настоящими женами ненас-

Гертруда Стайн под своим портретом кисти Пабло Пикассо

тоящих гениев. Я сидела с женами гениев, почти гениев, неудавшихся гениев, короче говоря я сидела очень часто и очень подолгу со многими женами и с женами многих гениев». Примечательно, что две значительнейшие работы ее коллекции — «Женский портрет» Сезанна и «Женщина в шляпе» Матисса — были именно портретами жен художников.

«Женщина в шляпе» была первым «матиссом» в коллекции Стайнов. И история этой покупки хорошо известна. Небольшое отступление поможет понять значимость данного события.

Напомним, что первым новым направлением, которым двадцатое столетие одарило искусство Запада, был фовизм. Отныне, с Осеннего салона 1905 года, «дикость» в обращении с устоявшимися нормами, нарушение и разрушение правил делается основой авангардного художественного мышления. Уже успела сложиться прочная традиция осмеяния работ, идущих вразрез с общепринятым вкусом. Возмущались импрессионистами на их первой совместной выставке 1874 года. Осмеивали и пинали в прессе первых «гогенов» и «сезаннов». Постепенно часть зрителей свыкалась с непонятным искусством, поклонников нового становилось все больше. Затем отторгаемые поначалу работы становились объектом коллекционного внимания. И в конце концов — музейного. Но впервые именно в Осеннем салоне 1905 года самое возмутительное, самое непривычное полотно экспозиции — «Женщина в шляпе» Анри Матисса — оказалось оцененным и востребованным.

Действительно, было чем возмущаться — ни светотени, ни пространственных планов на полотне не угадывалось; краски горели и кричали, забыв о правилах хорошего тона; формы лица смело лепились цветными плоскостями и широкими мазками; энергия цветового напора поддерживалась четкой графикой контуров. Стайнам же такое видение было понятным — помогли уроки Сезанна. Обратимся еще раз к «Автобиографии Алисы Б. Токлас»: «Люди вокруг картины покатывались со смеху и соскабливали краску. Почему, Гертруда Стайн понять не могла, ей картина казалось совершенно естественной. Портрет Сезанна поначалу не казался естественным но эта картина Матисса была совершенно естественная и она не могла понять почему она вызывает такое бешенство... так же как позднее она не понимала почему то что она пишет, если она пишет так естественно и ясно, вызывает насмешку и злобу».

Состоявшаяся покупка очень много значила для художника. К этому времени он находился на грани отчаяния из-за материальной нужды и даже подумывал оставить занятия живописью. Таким образом, Стайны оказались среди первых ценителей нового искусства, Матисс стал частым гостем еженедельных субботних приемов на улице Флерюс, а «Женщина в шляпе» — первой, но отнюдь не последней его картиной в череде их приобретений.

Благодаря Гертруде Стайн многие художники обрели материальную независимость, а для некоторых из них она и вовсе была первым покупателем. «Давным-давно Мари Лорансен написала странную картину, портрет Гийома, Пикассо, Фернанды и самой себя. Фернанда рассказала об этом Гертруде Стайн. Гертруда Стайн купила ее и Мари Лорансен ужасно обрадовалась. Это была ее первая картина которую купили».

Важно отметить, что коллекция Стайн с самого начала была доступной для публики. В начале века ситуация в искусстве менялась иногда в течение месяцев. Тому способствовало постоянное общение художников, их бесконечные споры и взаимная поддержка. Создавались уникальные условия творческого соревнования, стремительного распространения художественной информации. Стоит ли в этой связи еще раз подчеркивать значение салона на улице Флерюс, 27?

Здесь переплетались биографии и происходили судьбоносные встречи. Именно здесь состоялось знакомство основоположников двух самых ярких направлений в искусстве XX столетия — Матисса и Пикассо.

У начинающей писательницы и коллекционера достало интуиции сразу выделить молодого Пикассо. Участие Стайн в судьбе Пикассо поистине неоценимо. Норман Мейлер в своем «Портрете Пикассо в юности» среди факторов, повлиявших на становление художника, называет и «знакомство с Лео и Гертрудой Стайн, которые стали довольно регулярно покупать произведения Пикассо. Счастливая любовь и материальная независимость способствовали тому, что цвета его палитры сделались ярче и теплей»[1].

К тому же Пикассо по принципиальным соображениям не участвовал ни в одной совместной выставке (даже в салоне Независимых), а в салоне Гертруды Стайн любители искусства и молодые художники получали возможность познакомиться с его работами. Это обстоятельство трудно переоценить.

Впрочем, отношения Пикассо и Стайн — тема неисчерпаемая. Дружба связывала их мно-

[1] «ИЛ», 1997, № 4.

гие годы. Нет ни одной истории искусства новейшего времени, в которой не упоминался бы портрет Гертруды Стайн кисти Пикассо. В отличие от Сезанна и Матисса Пикассо не имел обыкновения долго и пристально изучать натуру во время работы. Ему было четырнадцать, когда на вступительном испытании в барселонскую Академию он в течение нескольких часов выполнил задание, рассчитанное на месяц,— рисунок обнаженной натуры. Поэтому более 80 сеансов, которые понадобились художнику, чтобы написать портрет писательницы, — факт из ряда вон выходящий. Сегодня «Портрет Гертруды Стайн» — гордость нью-йоркского музея Метрополитен.

Несмотря на утверждение Гертруды Стайн, что художнику «не нужны критики, ему нужны ценители», сама она была одним из первых критиков и аналитиков нового искусства. Кроме отдельно опубликованных литературных портретов Пикассо, Матисса, Хуана Гриса, ее перу принадлежат тонкие и меткие характеристики художников и их творчества, включенные в другие тексты. Но и регулярные беседы, об- суждения текущих художественных событий и открытий в ее салоне были полезны молодым художникам. Иными словами, улица Флерюс была одним из главных адресов в топографии Парижской школы.

Еще одной главой в теме «Гертруда Стайн и художники» может стать анализ ее роли посредника между культурами Европы и Америки. Потому что семье Стайнов американское общество обязано первым широким знакомством с новой европейской живописью, а парижские «новые» — первыми публикациями об их творчестве в американской прессе. Впрочем, это в равной мере относится и к Англии. Ибо английские интеллектуалы именно от Гертруды Стайн узнавали о новых работах парижских модернистов, знакомились с ними самими на ее приемах, а затем пропагандировали их у себя на родине.

И мы в России пользуемся наследием Стайн: знаменитая «Девочка на шаре» в Пушкинском музее — из ее бывшей коллекции. А в Эрмитаже хранятся некоторые работы Пикассо с улицы Флерюс, относящиеся к раннему периоду кубизма.

■

«ВСЕХ ЭТИХ СЛОВ НА РУССКОМ НЕТ...»

Круглый стол «ИЛ», посвященный переводу ненормативной лексики

УЧАСТНИКИ:

ИРИНА ВОЛЕВИЧ, переводчик; ВИКТОР ГОЛЫШЕВ, переводчик; ГРИГОРИЙ ДАШЕВСКИЙ, переводчик, преподаватель

ВЕДУЩИЙ — **СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ**

Сергей Гандлевский. Похожее собеседование уже проводилось журналом несколько лет назад[1]. Но тогда собравшиеся говорили о сексе и эротике в литературе с точки зрения тем и сюжетов, обсуждали, что может, а чего не может вместить русская словесность. Сейчас говорить об этом — пустая трата времени: жизнь распорядилась по-своему. Советское пуританство и запреты общественного мнения ослабли. Привычка сквернословить во всеуслышание входит в обыкновение с малолетства — лет тридцать пять назад, если память мне не изменяет, матерщина была привилегией трудных подростков или словесным щегольством золотой молодежи, в Москве во всяком случае. Теперь обсценная лексика не редкость и в средствах массовой информации. Границы литературного языка размыты, лишено смысла само понятие «непечатного» слова. Случившееся — большая лексическая неожиданность для двух-трех старших поколений. Я помню, что в начале перестройки мы с приятелями гадали о порядке, в котором может быть легализован в журналах «самиздат», и выстроили такой примерный ряд, с идущей на убыль вероятностью публикации: «Чевенгур» как произведение, антисоветское по пафосу, потом «Архипелаг «ГУЛАГ», антисоветский по существу, потом «Лолита» — из-за сюжетной щекотливости, и в последнюю очередь — «Николай Николаевич» по причине лексической недопустимости. Уж не помню, верно ли был предсказан нами порядок снятия цензурных запретов, но характерно, что табуированная лексика казалась нам тогда бóльшим препятствием для допуска к печати, чем идеологическая крамола.

Помимо того что эротика и отчасти порнография явочно легализованы литературным ширпотребом, появился ряд научных исследований: издательство «Ладомир» в серии «Русская потаённая литература» уже выпустило несколько книг на эту тему[1].

Судя по всему — нравится нам это или не нравится (я имею в виду лексическую вседозволенность), — дело сделано. Упростилась ли задача переводчика, означает ли внешнее послабление, расширение границ литературного языка, что переводчик получил новую степень литературной свободы? И шире: эта свобода во вред или на пользу?

Традиционно запретными темами до недавнего времени были секс, так называемые низкие области — естественные физиологические отправления, затем гениталии, которые не назывались на письме впрямую, а только обозначались, и, наконец, собственно сквернословие, лексика, табуированная во многих языках.

Когда-то Пушкин жаловался на отсутствие в русском языке средств для выражения метафизических понятий. Теперь эти средства есть. Пушкин же писал: «Но *панталоны, фрак, жилет.* / Всех этих слов на русском нет...» Есть и они — были заимствованы, но прижились. Но там поначалу не было и понятий, предметов. А здесь странная ситуация: существуют понятия, но не существует приличных слов для их называния.

---

[1] «ИЛ», 1991, № 9.

[1] «Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова» (1992), «Под именем Баркова» («Эротическая поэзия XVIII—нач. XX века» (1994), «Стихи не для дам. Русская нецензурная поэзия второй половины XIX века» (1994), «Заветные сказки (из собрания И. Е. Ончукова)» (1996), «Народные русские сказки не для печати... (А. Н. Афанасьева)» (1997).

Сложившееся положение вещей может быть причиной серьезных огрехов в переводе: в одном случае тон оригинала искажается в сторону наукообразия; в другом случае, напротив, привносится эдакая казарменная смачность; в третьем — когда прямое называние заменяется эвфемизмом, вроде набоковского «скипетра страсти», — переводчик неизбежно вынужден прибегать к помощи тропов, то есть навязывать автору несвойственную ему образность. Из текста, скупого на выразительные средства, может получиться нечто довольно барочное. Как быть?

Есть недоумение и не профессионального, а скорее психологического свойства. Ведь перевод — академически-сдержанное, кропотливое, чуть ли не смиренное занятие. И вдруг — бунтарство, новаторство, нарушение социальных и культурных запретов... Каково это? Делались ли вами чисто литературные усилия, или были личные моральные противопоказания — браться за такое или нет? Скажем, в 1890 году американская переводчица Толстого Исабель Хэпгуд, прочитав «Крейцерову сонату», отказалась ее переводить с таким объяснением: «Даже с учетом того, что нормальная свобода слова в России... больше, чем это принято в Америке... я нахожу язык «Крейцеровой сонаты» чрезмерно откровенным... Описание медового месяца и их семейной жизни... является нецензурным».

И последний из пришедших нам в голову вопросов: чем вы объясняете лексические пробелы в русском литературном языке, когда речь заходит о плотской любви и физиологии? Историей? Культурной традицией? Складом национального характера? Ваши прогнозы, касающиеся предмета сегодняшнего разговора.

Ирина Волевич. Я бы хотела начать с цитаты из стихотворения Маяковского (кстати, напечатанного в СССР) «Верлен и Сезан»:

> Бумаги / гладь / облевывая /
> пером, / концом / губы, — /
> поэт, / как блядь рублевая, /
> живет / с словцом любым...

Стихи-то сами по себе кошмарно плохие, но они могут служить эпиграфом к нашей беседе. Ведь если «поэта» заменить «переводчиком», это сказано очень справедливо, пусть не по форме, но по сути. Действительно, переводчик обязан жить с любым словом, жить — а не сожительствовать — в полной мере. Я не знаю, можно ли говорить о чисто советском пуританстве. По-моему, это отношение идет еще из дореволюционного прошлого, возьмите того же Баркова. Барков был в андеграунде эротическим — до 1914 года на него существовал официальный запрет. А ведь он переводил «Сатиры» Горация, басни Федра, написал «Житие Антиоха Дмитриевича Кантемира», и тем не менее был запрещен. Вы считаете, что ослаблены запреты... Ослаблены или ослабли? Думаю, что ослабли сами собой, потому что в русском обществе намеренные движения в положительную сторону были крайне редки. Просто система рухнула, все прогнило, и фонтан эротики, порнографии и прочего добра вырвался на волю и забил вовсю. А вот хорошо это — или плохо, что запреты ослабли?.. Во-первых, для читателей, во-вторых, для переводчиков?

Начнем со второго: для добросовестного переводчика, несомненно, хорошо, хоть и чревато трудностями, ибо, заполучив в руки текст с откровенным описанием, скажем, актов плотской любви, он должен будет передать содержание максимально богатым, раскованным, щедрым русским языком. Для плохого переводчика — тоже хорошо, оттого что легко: ведь словесная вседозволенность поможет ему распуститься и впасть в похабщину самого дурного вкуса. Верно кто-то сказал, что нет литературы обычной и эротической, а есть хорошая и плохая.

Рискну еще добавить, что и сама личность, и вкус переводчика оказывают влияние на качество работы: очень важно, каким тоном произносится неприличное или слишком откровенное слово, и чуткий читатель всегда уловит верно найденную интонацию и не обвинит переводчика в смаковании непристойностей.

А что касается самой этой лексики, то в ней есть, для меня по крайней мере, определенная привлекательность. Я ее сравнила бы с Элизой Дулитл: она является на сцену в лохмотьях, но притом в шляпе с пышным пером. Иными словами, при всей своей приземленности, обсценная лексика своеобразно привлекательна яркой стилистической окраской, непривычной образностью, энергией выражения, эдакой пикантной пряностью, позволяющей с удовольствием расцвечивать ею устную повседневную речь, фольклор и уж конечно предоставляющей переводчику богатейшие возможности для самостоятельного словотворчества. Недавно мне попались на глаза два прелестных слова «кобельеро» и «буферастая» (определение полногрудой женщины) — какие сочные, точные слова! Кстати, и во французском языке есть соответствующий жаргонный оборот «elle a du monde au balcon» (у нее много народу на балконе) или, как у Раймона Кено, «elle a un balcon aux pommes» (у нее мировой балкон). Или возьмем совсем недавно, буквально на наших

глазах родившийся «блин», суррогат известного ругательства, — ей-богу, это словцо имеет все права на существование, оно энергично, сочно, выражает то, что должно выражать, хорошо заполняет паузу, по крайней мере, его приятнее слышать, чем само ругательство...

Виктор Голышев. А мне оно кажется жутким уродом, есть искреннее междометие «бля».

И. В. Но того, что вы сейчас сказали, я, слава богу, не слышу от своих студентов, а «блин» — слово почти легальное, оно уже перешло рубеж недозволенности. Так что пути этой лексики неисповедимы, она перетекает из одного слоя в другой, и лично у меня к таким словам вполне спокойное отношение, главное — ввести их в литературный обиход.

С. Г. Я сейчас нарушу данное себе обещание не вмешиваться в разговор. Мне кажется, что табуированная лексика — своего рода засадный полк языка. Переводчик, как и всякий пишущий или просто говорящий, знал, что на крайний случай у него под рукой всегда есть предельный способ выражения своих эмоций. Если меня память не подводит, у Толстого на сотни страниц «Войны и мира» всего два непристойных слова, но это сильно действует, недаром я это помню. Не опресняется ли мат от расхожего употребления, не лишают ли себя словесники такого ударного средства?

И. В. Конечно, пользоваться этим следует тактично. Но идти, в любом случае, нужно от автора. Переводчик и автор связаны, как два каторжника цепью. А что касается экспансии обсценной лексики в СМИ, это вполне понятно: язык в советское время был выхолощенный, сухой, казенный. После этого хочется чего-то пряного, пикантного... Хотя в данном случае следовало бы скорее говорить о прискорбном распространении не обсценной лексики, а жаргонов — блатного, спортивного, военного и прочих, — отражающих больной менталитет нашего общества, его крен в сторону пограничных ситуаций. Вот, например, набор «перлов» из совсем небольшой газетной статьи, строк на двадцать-тридцать, посвященной выборам: процесс выборов стартовал; президент как фаворит гонок; нет свободы маневра; перетягивание электората; признанные тяжеловесы политики; дисквалифицирован избиркомом — такое впечатление, что это писал отставной тренер... Настоящий словесный Чернобыль!

В. Г. А спортивные комментаторы, наоборот, норовят выражаться, как Мандельштам.

И. В. И конечно, поток ненормативной лексики — поневоле пожалеешь о цензуре! Если известная актриса в телеинтервью в ответ на вопрос, как она живет, ответствует с экрана на всю страну: «Хреново!», то куда уж дальше! Стремление показаться свободным, а еще лучше «крутым» выливается в эдакий словесный эксгибиционизм, и это, увы, отнюдь не воспитывает у наших молодых читателей правильный подход к нетрадиционной (назовем ее так) литературе, а у старых вызывает просто-напросто категорическое отторжение этой лексики в целом. Попробуй убеди какую-нибудь пожилую учительницу, что «хреново» с экрана — это безобразие, зато в романе соответствующего настроя — и уместно и необходимо. Тем более что большинство читателей, а особенно молодежь, литературных «академиев» не кончали и знать не знают разницы между хорошей литературой и плохой, между эротикой и порнографией. Замечательная иллюстрация: молоденькая студентка спрашивает меня с ужасом: «Вы, оказывается, порнографические рассказы пишете?» А прочитала-то она мой перевод новеллы Возрождения в молодежном журнальчике!

Что же касается «большой литературы», то, повторюсь, здесь присутствие ненормативной лексики — вопрос, во-первых, авторского замысла; во-вторых, авторского таланта; и, в третьих, авторского такта. При соблюдении этих трех условий почти всякое слово в тексте уместно, а в нашем случае и достойно перевода, разумеется умелого. Ни о какой свободе для переводчика речи быть не может, переводчик по сути своей не может и не должен быть свободен от автора — вот тот, действительно. литературно свободен. Покойная переводчица с немецкого Елена Михайловна Закс рассказала мне случай из своей практики — такое случается с каждым из нас. Она, ничтоже сумняшеся, написала: «Машинист паровоза увидел на путях человека и резко повернул штурвал». Так вот, крутить «штурвал» имеет право только автор, а переводчик — уж изволь следовать за ним, как вагон за паровозом! У переводчика — задача другая: создавать новые словарные запасы, и создавать не только путем словотворчества, хотя и оно неизбежно, и не только путем адаптации существующей обсценной лексики к нуждам большой литературы. Дело в том, что современная русская лексика такого рода не универсальна, она скорее площадная, чем будуарная, скорее порнографическая, чем эротическая, скорее приземленно-скабрезная, нежели одухотворенная, — значит, в поисках слов иной стилистической окраски придется исследовать другие лексические пласты языка.

В. Г. Насчет прогнозов и постановки задач — я думаю, это бесполезно. Я читал прошлый эротический «круглый стол» в «Иностранке»

— многое из сказанного не оправдалось, потому что жизнь идет своим чередом. А нужные «лексические пласты» просунутся к нам сами. Прогнозы бесполезны хотя бы потому, что неизвестно, какая власть здесь будет, может, теократия, например. Если наши неофиты лоб себе не расшибут.

А что касается нашей отсталости... У нас все эти слова, действительно, какие-то грязные. У нас с этим хуже обстоит дело, чем в средиземноморских странах; может, потому, что климат более холодный и больше вещей с себя снимать надо, и дистанция до половой жизни очень удлиняется. Но и в английском языке для обозначения половых органов есть слова не то что ласкательные, но приличные. У нас — или ты пишешь медицинское слово, или блатное — середины никакой нету. И даже мягкого нет: «cock» или «rod», которые, в общем, на письме не задевают. А кроме холодного климата, это заторможено советской властью. Ожидали коммунизма: такой будет нескончаемый коллективный оргазм, и нельзя попусту тратить силы, сок надо копить. На самом деле отставание у нас не очень большое. Я помню, что первое полуматерное слово в американской литературе я повстречал, когда читал роман Мейлера «Нагие и мертвые». Он написан году в сорок шестом — сорок седьмом, и там еще «fuck» не было, там писалось «fugging», примерно то, что у Солженицына «фуечки». То есть отставание — меньше двадцати лет. У нас такое представление, что там всегда это разрешено было. Не было — Генри Миллера не печатали. Просто у нас сексуальная революция произошла немного позже. Отстали на двадцать лет — так же, как в генетике, кибернетике. Я думаю, что папуасы еще на сколько-то лет отстают. Хотя ценность такого рода прогресса для меня неочевидна.

Григорий Дашевский. Ровно та же дистанция по этой части и мною замечена. Я преподаю латинскую литературу. Когда у нас началась перестройка, то впервые стали издавать здесь полные переводы Марциала с непристойными эпиграммами, которые Петровский перевел давно, но они лежали в его архиве. И было впечатление, будто мы нагоняем какой-то вечный западный стандарт научной честности. Не совсем так. В начале шестидесятых годов в Англии вышло долгожданное комментированное издание Катулла, и один англичанин вспоминал, что ни одного непристойного стихотворения Катулла там не было — причем не только в переводе, но и на латыни. А в предисловии говорилось: «опущены стихотворения, неудобные для комментирования по-английски». Хотя, казалось бы, настолько защищенная от пуританства зона. Поэтому, когда мы говорим «Запад» и «советское пуританство», вместо «Запада» надо говорить какой-нибудь «шестьдесят восьмой год».

В. Г. Культура включает в себя набор табу, и они должны сохраняться...

И. В. В каком смысле?

В. Г. В таком же смысле, как мы, например, при посторонних не снимаем штаны. Есть вещи, которые человек почему-то стесняется делать при других: совокупляться, ходить по-большому. Я думаю, что примерно так же он должен вести себя в письменной речи. Потому что литература учит людей языку — а не только «народ» снабжает им литературу.

И. В. Ну хорошо, а если автор так написал, что делать переводчику?

В. Г. Автор может быть более продвинутый, может принадлежать к другой цивилизации, которая старше, он уже спокойно пишет «fuck» — мы здесь этого не пишем. И тоже не потому, что запрещает главный редактор... Ты брезгуешь этим потому, что это слово на себя слишком много текста стягивает. И относит тебя к забору. У них оно уже привычно, а когда ты его повторяешь, ты нарушаешь пропорцию, и оно вылезает сильнее, чем вылезало там. Поэтому я думаю, что следовать за автором надо все равно в меру. В конце семидесятых годов я почувствовал, что переводить все трудней становится, потому что они уже про *это* пишут, а мы — нет. И первый раз я на цензуру согласился, наверное, в восьмидесятые годы, когда просто выбросили описание порнографической коллекции. Было написано: на фотографии огромный негр совокупляется со страусом — выкинули. Я думаю, редколлегия рассуждала так: «Как же ему не совестно!» Негру. И это не связано с матом. И поскольку отставание есть или было в том, что мы считаем нормальной литературой, я думаю, надо исходить из сложившейся ситуации в нашем литературном языке: ты будешь смягчать, и цензор будет действовать, но не в виде должностного лица, а цензором будешь ты сам. Хотя бы потому, что ты должен сохранить пропорции. Хочу заметить, что никак не связываю это с особым русским «целомудрием», с нашей пресловутой духовностью и западной, наоборот, бездуховностью. Это противопоставление кажется мне вымышленным — в лучшем случае оно происходит от комплекса неполноценности. Россия им не только страдает, но ей его еще и навязывают поверхностные люди, свои и чужие. Самоцензура — результат чисто языковой практики, языковой ситуации, которая должна меняться постепен-

но. А не так, чтобы большим скачком кого-то догнать. Это раз. А два — мы рассуждаем сейчас локально. Однажды художник Борис Петрович Свешников сказал по поводу своих акварелей, что, если нет голубой краски, небо можно написать зеленой, но все остальные цвета должны измениться соответственно, и картинка будет в порядке. Можно сделать так, чтобы обыкновенное слово звучало как ругательство, все зависит от фона. То, о чем сказал Гандлевский по поводу «Войны и мира».

И. В. Пропорцию сохранять нужно, но ведь читателя в каком-то смысле воспитывать необходимо, вкус прививать к слову. А то ведь будет как в анекдоте: молодая кормящая мать приходит к врачу с больным ребенком, и врач спрашивает у нее: «Чем вы кормите вашего ребенка?» — «Доктор, я не могу сказать». — «Все-таки скажите!» — «Бюстом». Она стесняется сказать «грудью». По-моему, вот это главное: научить людей через хорошую литературу изъясняться грамотно, адекватно ситуации; не знаю, может быть, во мне сильнее говорит педагогическое начало, чем переводческое. И приучать нужно постепенно, с помощью предисловий, послесловий, комментариев к текстам. Гораздо хуже, если мы будем прибегать к многоточиям. Мне кажется, главная *моральная* задача переводчика на современном этапе — способствовать сближению читателя и хорошей иностранной литературы, помочь ему понять, что эротическая лексика — это явление чисто литературное, а не похабщина, льющаяся грязным потоком со страниц низкопробных «розовых» или «черных» романчиков. А для этого есть лишь одно средство — смело и спокойно называть вещи своими именами, не причмокивая, не делая в тексте возбуждающих нездоровый интерес купюр.

Вот здесь помянули Алешковского. Я очень люблю «Николая Николаевича» именно потому, что автор создал стилистически и лексически цельное произведение, оно не оскорбляет, оно написано просто таким, почти былинным языком. А вот я переводила «Галантных дам» Брантома, автора XVI века, — там есть такие слова: «За что ж еще можно назвать ножку красивою? <...> ежели она слишком мала, то умаляет весь облик и очарование своей хозяйки. Недаром же, хоть оно неучтиво, а говорится: п... велика, да ножка тонка». Всего лишь «*неучтиво*» — обращаю ваше внимание! А вы возьмите да повторите это слово в том же контексте несколько раз спокойно — и оно перестанет коробить. Оно будет восприниматься совершенно нормально. А потом надо еще выяснить: считалось ли это слово непристойным в XVI веке? Думаю, не считалось; тогда и во дворце, и на улице все называлось своими именами, и это слово было, что называется, нормативным. Значит, его нужно было сохранить в контексте как нормативное, а не сокращать, «стыдливо потупившись».

Г. Д. Мне кажется, что *эта* лексика или *этот* слой понятий у нас неизбежно будет оставаться предметом персонального вкуса переводчика. Мы говорим сейчас так, как если бы были возможны коллективные решения или объективный учет. Но непристойная лексика — это не совсем то, что просто технический жаргон, который ты можешь выучить по словарю, — лошадиные слова или рыболовецкие. Я рыболовецких слов, например, не знаю, но могу выучить и вставить в текст совершенно спокойно. С *этими* словами, мне кажется, несколько трудней: у каждого пишущего своя граница, и вовсе не потому, что один более отсталый, а другой — менее. Просто отношение к этому более персональное. Тебя, например, определенное слово бесит. Или кажется пошлым. И никак нельзя сказать, что это просто *так* называется. Я помню, когда я был в младших классах, практически все мои соученики матерились, а я нет. Но я разозлился на кого-то в столовой и сказал кому-то из них, раскованных, «сволочь». И он чуть не заплакал и побежал к учительнице жаловаться, что я его страшно оскорбил, потому что это для меня было сильное слово. Даже если я узнаю, что в XVI веке какое-то слово было нормативным для французов, но меня это слово отвращает, никто мне не объяснит, что я его должен написать, в отличие от жаргонов чисто технических.

И. В. Конечно, это индивидуально: переводческий вкус, переводческий стиль...

Г. Д. Я хочу сказать, что это индивидуально в гораздо большей мере, чем весь перевод. «Голубой» или «розовый» — тоже индивидуальное решение. Но с эротической лексикой какие-то именно персональные мании или фобии играют роль, и что-то тебе кажется сюсюкающим, а что-то похабным. И это твои персональные границы, тот слой культуры, который роздан каждому по отдельности — ну, по крайней мере, у пишущих людей.

И. В. Ну, я думаю, нам «роздано», как вы говорите, примерно (конечно, примерно!) одинаково. Но, во всяком случае, ясно, что после какого-то периода, может быть после римлян, может быть раньше или позже, этот ровный поток лексики, который позволял выразить все, разделился как бы на два рукава и потек в подвалы и на чердаки. Розово-мещанское сюсюканье типа того же «бюста» — и черный мат. И

вот наша задача — как-то вернуть, свести эти два протока в одну нормальную реку.

В. Г. Боюсь, что *мы* свести не можем, это сводится народом, а не переводом. Нам остается лишь внимательно слушать. Тем более в таком деморализованном обществе, как наше. Оно и раньше было деморализованным, но иначе. Было ханжеское. Стало циничное. Когда бывший московский мэр говорил телезрителям, что взятки — нормальное дело, он думал, что говорит правду, а это было извращением — именно потому, что говорилось миллионам людей. «И тогда и с меня взятки гладки», — думает человек. Примерно так же дело обстоит с похабщиной. Литература отчасти создает речевую норму. В эпоху разнузданности ей, разнузданности, лучше не подыгрывать. В эпоху ханжества — дело другое. Но там попробуй подыграй. Моя приятельница однажды в переводе написала «жопа». Так ее потом десять лет клевали — коллеги в том числе! Вообще, *эти* слова, мне кажется, не могут быть вполне доступны. Самые сильные ощущения описать нельзя — это личное дело. Как только мы начинаем общаться с другими, мы область личных ощущений должны уплощать и делать ее общедоступной. А самое личное — физиология — почти невыразимо. Если не считать выражением метафору или пошлость. Гомер понимал, что Прекрасную Елену описывать бесполезно, надо говорить, как старики на нее смотрят и ахают. Здесь примерно то же самое. Поэтому я думаю, что «приучать» никого мы не можем, мы можем просто смотреть, как люди сами приучаются, и этим пользоваться.

Думаю, что жизнь языка происходит не только устно, но и письменно. То, что уже языки распустились, о чем говорил Гандлевский, это ясно, и, конечно, сейчас больше матерятся и все такое... Юз Алешковский, поскольку он гений и вообще, может быть, главный послевоенный авангардист, мог втянуть весь этот слой в литературу, и получилось замечательно пластично и весело, особенно в «Николае Николаевиче». Но есть и совершенно другие примеры, скажем, у Андрея Сергеева в «Альбоме для марок» нецензурные слова употреблены, но он писал как хроникер, просто показал, отношения к этому не выражая, как говорили. А вот есть рассказ у Марамзина, где баня описана и как у кого болтается, — замечательно сделано, но ни одного похабного слова, хотя эти вещи ведут себя как живые люди. Значит, для того чтобы этой тематики касаться, совершенно необязательно употреблять похабные слова. Все зависит от способностей пишущего, и лучше всего получается, по-моему, когда такое слово употребляется не по прямому назначению, а со смещением — или для комического эффекта, или для внезапности. А когда начинается веризм, получается туповато. Между прочим, и у Генри Миллера.

И. В. Тогда выходит, что вы каким-то образом корректируете автора?

В. Г. Я его корректирую каждый раз, когда перевожу, — по всем параметрам, вынужденно.

И. В. Сергеев, Алешковский, Марамзин — русские авторы, давайте все-таки вернемся к переводу. Имеем ли мы право погасить какой-то настрой автора, подрезать ему крылья, потому что эти крылья несут его, по нашему мнению, не туда, куда можно?

В. Г. Я думаю, что мы автора каждый раз корректируем, потому что он писал в своей стране, он писал про известные своей публике дела, он всеми нитками привязан к их истории, и ты его все равно корректируешь. Его корректирует и читатель — хорошо, если он усваивает 60% того, что там написано, и переводчик тоже переводит 60%, итого — 36%. Можно сказать, что это проклятье перевода. И прагматика — лишь одна из его (проклятья) составляющих. Мы его корректируем по любой части, не только по матерной. Мы не можем очень яркое, вполне литературное выражение перевести, потому что оно — часть их языка, *их* вербализированного мира; автор данное выражение не сам хорошо придумал. Например, иногда простейшее слово ты не можешь перевести, потому что за этим *understatement* стоит, а у нас для этого просто нет возможностей. Говорится не в первом лице, не в третьем, не во втором — там полная нейтральность, это воздух говорит, а у нас сказать так почти нельзя. У нас речь, по-моему, более эмоциональная, чем, скажем, в Англии, более резкая; как бы цивилизация менее отесанная: там давно уже тесно, а у нас такой простор, что перекрикиваемся.

И. В. Мы не «менее отесанная» — мы просто другая цивилизация; и русский характер — страстный характер, необузданный, беспорядочный: он или витает в эмпиреях, или уж сидит в грязной луже, середины нет, оттого и мечемся из крайности в крайность, и это отражается в языке.

В. Г. Я думаю, что менее отесанная, иначе десятками миллионов мы бы друг друга не истребляли, а они уже приучились друг друга жалеть. Когда ты читаешь, как американцы брали японский остров и что у них, у наступающих, у морского десанта потери меньше, чем у японцев, нам это представить трудно, потому что мы, я думаю, клали пять на одного. Так что, кроме того, что мы более страстные, еще и

дикарства больше.

И. В. Но в результате из Венеры Милосской мы получаем «Девушку с веслом»: берется классическая статуя, на нее надеваются трусики и лифчик — и это наш современный перевод.

Г. Д. Мы не можем рассуждать так, как если бы в английском, французском или латинском оригинале уже были написаны во всех местах нужные русские слова — или матерные, или медицинские, или казарменные, — а мы бы просто выбирали: вычеркивать их или оставить. Все равно придумываешь всё. Просто данную область нам легко выделить, и кажется, что остальную часть текста переводишь слово в слово — а на самом деле полностью придумываешь. Вы правильно сказали, не только распущенность языка увеличилась, но и он распадается на множество жаргонов... У нас вообще очень слабым мне кажется, по сравнению с европейскими языками, нейтральный слой языка. Просто описывающий действительность — с одной стороны, без эмоций, с другой стороны, без оценок. Скажем, идеал какого-нибудь «королевского английского»: если ты не имеешь в виду эмоцию, пиши нейтральными словами. По-русски это ужасно трудно. Приходится какой-то узкий пресный слой языка чуть ли не специально выискивать. Русский язык приспособлен больше к описанию того, что у тебя внутри и как ты реагируешь на мир, чем для описания самого мира; и все перечисленные в начале сегодняшнего «круглого стола» варианты перевода щекотливых мест: медицина, казарма, излишняя образность — это все говорит о говорящем больше, чем о предмете разговора. Ты врач, ты солдат или ты извращенец. А о *чем* ты, собственно, говоришь? Русский язык, как более мутное, что ли, стекло.

В. Г. Для каких-то вещей — да, особенно для абстрактных.

Г. Д. И метафизический язык, который Гандлевский упоминал, не развился по-настоящему. Это Пушкин по поводу перевода констановского «Адольфа» писал Вяземскому: давай переведи — разовьешь. В действительности, ничего сравнимого с французским, конечно, так и нет. Описывать механику переживаний, мыслей, отношений именно механическим образом, а не впадая бесконечно в чувствительность — как раз это и не удается. Нейтральное описание по-русски звучит или цинически, или искусственно.

В. Г. Набоков писал, примерно так, что у нас хорошо получается передача жестикуляции или движений, а когда начинаешь про психологию, получается трудно. Как только начинаются абстракции, у нас почему-то цепным глистом ползут отглагольные существительные — не знаю, как у других, а мои мозги от этого цепенеют.

Г. Д. Я с этим сталкиваюсь постоянно в латинских текстах, к которым в каком-то смысле восходит и французская, и вообще европейская лексика, скажем, для описания чувств и прочего. Там слова вроде «зависть», «злоба», «гнев», «сердитость» и тому подобное не являются непрерывным рядом — они обозначают отдельные куски действительности, относящиеся к разным ситуациям. И когда мы со студентами читаем латинские тексты, большая часть времени уходит не на то, чтобы сам текст понять, а чтобы объяснить разницу между русскими словами «гневаться» и «сердиться». И начинает казаться, что ты объясняешь несуществующую разницу, что она чисто стилистическая. Тогда как там — разница понятий, ситуаций. Мне кажется, что это связано со свободой. Свободные люди вступают между собой в разнообразные отношения. На дуэль, например, можно вызывать по какой-то сложной иерархии поводов и сложно реагировать на это, а мутузить друг друга двум мужикам — никаких сложных иерархий и поводов не нужно, и спрашивать: «Ты на меня разгневался, рассердился, оскорбился или обиделся?» — бессмыслица, когда у тебя нет всего репертуара реакций. И надо быть просто более свободными людьми, тогда будет более разнообразная лексика.

И. В. С одной стороны, свобода, а с другой стороны — западное общество жутко зарегламентировано во всех своих проявлениях, и, мне кажется, отсюда идет некая опресненность и ментальности, и лексики (в частности, *этой* лексики) и тот факт, что у них она нормативна и спокойно воспринимается читателем.

Г. Д. А я думаю, что опресненность *этой* лексики — в той мере, в которой ее можно почувствовать извне, — идет вовсе не от регламентированности. Потому что регламентированность жизни как раз и развивает оттенки слов. Вот читаешь какой-нибудь детектив, и там в американском или английском суде свидетель или адвокат говорит: «Я знаю, что этот человек вчера вечером то-то и то-то...» Ему возражают: «Вы не имеете права говорить «знаю», вы должны говорить «мне кажется». Прозвучи что-нибудь подобное у нас в суде, мы бы подумали, что идиот судья придирается. И вот эта точность номинаций, она развивается как раз в регламентированных областях — в том же суде, например.

И. В. Я имела в виду не регламентированность официальных институтов, а тот факт, что на Западе *все* области жизни признаются имеющими право на существование, и оттого *все*

имеют нормальное словесное выражение. Западный человек, например, спокойно спросит: «Где у вас туалет?», а наш — умрет, штаны намочит, но спросить не решится — неприлично! Вот откуда у них такая литература — и отсюда же наши переводческие проблемы.

Г. Д. Потому что там всякая малость — оттенок реального, а у нас — голая стилистика. Усложненность жизни и существование регламентированных зон — языку скорее на пользу. Как, например, непрофессиональный человек всю лошадиную сбрую «ремнями» называет, а для знатока здесь — сто разных слов. Опресняет, по-моему, другое — то, что они, по крайней мере за последние несколько десятилетий, стали *всё* обсуждать. И это касается и того, о чем, Виктор Петрович, вы говорили: есть вещи, которых не только не выразишь, но даже и не обсуждаешь. Где мы в реальной жизни так уж сильно мучаемся, чтобы выразить ощущения при половом акте или при испражнении? Это, конечно, трудно выразить, но практически нет и ситуации, когда бы эта проблема так уж сильно вставала. Разговор иначе устроен. А если обсуждать названные материи с тем же психоаналитиком или еще с кем-нибудь — хотя я понимаю, что говорю как дикарь, — вот эти обсуждения, по-моему, и опресняют слова. Должна быть разница: на какие-то темы, о каких-то вещах ты говоришь с тем-то, с тем-то и с тем-то. Мы привыкли смеяться над пуританством прошлого века — что в Европе, что у нас, — мол, мать эту книгу дочери даст или не даст читать, но это замечательное установление: что не все книги для всех. Хорошая же современная литература уже и пишется с сознанием того, что читателем может стать любой анонимный покупатель, а не девушка, скажем, или пожилой развратник. А старым книгам — отечественным или переводным — мы эту неопределенность адресата навязываем. Но ведь книги, ставшие для нас так называемой классикой, эти книги были некогда или для либертинов, или, наоборот, народные, или которые дочери дашь читать, а для нас это — одна полка, вот эта жуткая библиотека всемирной литературы, где Боккаччо, Джейн Остин и что-нибудь еще — все вместе. А несмешанность жанров и адресатов тоже создает непресность — и в словаре, и в литературе. А когда всё в кашу, тогда, по-моему, для языка хуже.

В. Г. Григорий Михайлович, можно я с вами соглашусь по поводу регламентации? Я судился с одним издательством и присутствовал на суде. И, начитавшись всякого западного добра, попробовал себя вести так же: «Вы утверждаете, что книга не была подписана в печать, между тем как на самом деле есть свидетельства...» — и тому подобное. На меня судья и заседатели смотрели недоброжелательно: крючкотвор. И поэтому во второй раз, когда был пересуд, я на речи чужого адвоката кричал с места: «Это неправда!» На третий раз судья сказал мне: «Если вы не будете вести себя как положено, я велю вас вывести», но я видел, что они мне сочувствуют... Примерно то же с переводом: если здесь еще не принято писать на букву «х», а у них принято или у них оно нейтральное, а у нас — нет, надо себя вести соответственно своей стране, а не только соответственно оригиналу — вот у меня какая идея, и вот в чем спор с вами, Ирина Яковлевна.

И. В. А не устареет ли перевод, если он будет соотноситься со здешней и с сегодняшней ситуацией?

В. Г. Он устареет, конечно. Я думаю, что вообще книжки устаревают, любые, и когда мне будут говорить, что «Повести Белкина» не устарели, я усомнюсь. Перевод устаревает быстрее. Но устаревает и сама книжка; все читали бы «Тристрама Шенди», если бы он не старел. Кто читает «Беовульфа»? А ведь это мировая классика. А Кибирова читают при этом.

Г. Д. Ну, может, это тоже мировая классика...

В. Г. И он устареет.

Г. Д. У нас как раз несколько неправильная ситуация, возможно, из-за советской власти. Они пытались сделать переводы такими же каноническими, как оригинальные произведения. Раз «Повести Белкина» мы не переписываем, а заново перечитываем, то пускай у нас будет свой Гомер, как перевели Гнедич с Жуковским двести лет назад. Что в любой европейской стране — полный бред. Там каждый год три новых перевода Горация и каждые пять лет новый перевод «Илиады», потому что перевод устаревает гораздо быстрее, чем оригинальная вещь.

В. Г. Вот мы говорим о литературе, а если спуститься в более низкие жанры, проблема становится яснее. Во-первых, мат употребляется не всегда, когда он нужен. Вы смотрите американский фильм, и каждое третье слово — «fuck», хотя на самом деле они так не разговаривают. Здесь «fuck» — условный знак. Нам дают знать, что герой — бандит, хам или тупица — пользуется штампами, его характеризуют социально. Так сценарист упростил себе работу. Но вообще-то, все эти сведения можно донести до зрителя и совершенно другими способами. Если ты будешь в русском фильме все время «блядь» говорить, то его смотреть нельзя будет.

И. В. Я абсолютно с вами согласна. Вы не

думайте, что я за тупой перевод каждого ругательства ругательством.

Г. Д. Я хотел бы возразить и вам и вам, но по разным поводам. В переводе ведь что хорошо? Что художественность возникает в неожиданных местах. Возьмем те же тупые фильмы так называемой «серии В» — где закадровые переводчики гнусавыми голосами бесконечно повторяют: «Убери этот пистолет, твою мать!» или «Да пошел ты!» Причем так ни по-русски не говорят, ни в английском этому ничего не соответствует. Но для меня в этой чепухе был важный признак именно этого кино. Оно мне даже нравилось, когда я смотрел видео сколько-то лет назад. Теперь, когда фильмы того же порядка идут по телевизору в профессиональных переводах, с индивидуальными речевыми характеристиками персонажей, — смотреть уже скучно. Языковое убожество им шло.

В. Г. Дашевский сказал, что его не шокирует «твою мать» потому, что он этим деньги не зарабатывает, а я этим зарабатывал, и мне такое сказать — всё равно как если бы меня вырвало на людях.

Г. Д. Я и говорю, что здесь возникает новая художественность.

В. Г. Художественность кича.

Г. Д. Разумеется.

В. Г. Но вы в этом не хотите лично участвовать, в киче? Не хотите, когда вы Марциала переведете, чтобы женщина в лифчике была на обложке?

Г. Д. Что непристойного из какого угодно автора я бы ни перевел, конечно, лифчиков на обложку я не допущу.

В. Г. И «твою мать» в переводе...

И. В. Есть у Марциала в эпиграммах такие слова: «Crede mihi, non est mentula quod digitis» («Поверь мне, этому органу не прикажешь, как своему пальцу...»). «Этот орган» там обозначен вполне откровенным латинским словом «mentula».

Г. Д. Да.

И. В. И как бы вы это перевели?

В. Г. «Сердцу не прикажешь».

Г. Д. С мертвыми языками проблема в чем: мы же не можем понять, как это «звучало». Про новые языки, пусть фантастическое и неправильное, но какое-то представление о весе и стилистике имеется. А когда у нас есть лишь обрывки письменных текстов, то понять вес и окраску слова ужасно трудно. Но всегда переводить *это* матом, конечно, бессмысленно. У меня по поводу современного русского мата есть одно наблюдение. Считается, что эта лексика и вообще все похабное во всех культурах связано с земледелием и плодородием, а ремесленные традиции, наоборот, обычно запрещали сквернословие. То, что связано с природой и ее производительной силой, лучше растет оттого, что ты будешь вспоминать про этапы деторождения, а если ты делаешь оружие или льешь колокол и тому подобное, то, напротив, ты должен соблюдать словесную аскезу, которую ремесленник и по другим линиям был должен соблюдать. А у нас все виды деятельности превратились в природные: и летчик и слесарь — ругаются, как будто сеют или пашут.

В. Г. Да, это очень странно, когда ты слышишь переговоры летчиков. У американских — никакого мата нет, у нас — беспрерывно.

И. В. Так откуда все-таки брать ненормативную лексику?

Г. Д. Из души, как все остальное.

И. В. Из души — это прелестно, но этого мало... Я всю жизнь пытаюсь как-то привести в систему процесс перевода, нахождения слов... Что я установила для себя? Во-первых, можно адаптировать существующую ненормативную лексику к своим переводческим нуждам. Второе: переброска слов из одного лексического пласта в другой, скажем из научного, из медицинского — в бытовой. Вот, в частности, когда я переводила роман Муакса «Праздники любви», там середина романа сплошь посвящена описанию плотских актов, естественных отправлений и так далее. И я поняла, что даже медицинскую терминологию можно ввести в такой текст, приподнять и опоэтизировать. И наконец, третье: словотворчество и словообразование. Словотворчество — доступно только гениям. Вот Хлебников придумал слово «летчик», и оно вытеснило французского «авиатора». Остается словообразование. Скажем, тот же «блин», когда обсценная лексика переводится в полунепристойную или в почти пристойную. Далее, очень хороший источник — русская нормативная лексика. У Бабеля в «Конармии» командир тащит женщину в кусты со словами: «Ну, сделаемся, что ль?» А сколько можно выразить хорошей метафорой!

А по поводу моральных проблем переводчика... Женщине в каком-то смысле труднее, чем мужчинам, переводить «ненормативные» тексты (хотя и интересно!). И потом, я заметила еще такой чисто психологический феномен: старинную литературу — Брантома, к примеру, — переводить морально легче, хотя там много непристойностей.

Г. Д. Мне кажется, что если моральная проблема возникает, то она возникает по отношению к тексту в целом, а не по отношению к его куску. Или тебе эта книга вообще нравится, ты будешь ее переводить, и там возникают пробле-

мы уже внутри, только технические. Или она тебе вообще не нравится, может быть в том числе и за *эти* места. Но не так, что ты книгу вообще хочешь переводить и вдруг на сотой странице встал перед моральной дилеммой.

В. Г. Совершенно точно.

И. В. Мне современные романы морально переводить труднее: на тебя словно ложится часть вины за наличие непристойностей и за то, что ты их пытаешься перевести. Но, продолжая спор с Виктором Петровичем, я скажу, что все-таки перевод обсценной лексики оправдан там, где он необходим. У того же Муакса — ну нельзя там без этого! Там сумасшедшая страсть, которая крушит все препятствия, и если это перевести многоточиями или снять некоторые куски, то совершенно непонятно, а чего они, собственно, так безумствуют? По этому поводу я хотела бы процитировать эссе французского писателя Паскаля Киньяра «Секс и испуг», где он исследует характер эротики древних греков и римлян: «Непристойные слова — это язык страсти, ибо они враждебны пресным речам обыденности. Грубое, веское, стыдное — подобно тому как мужской член служит любви напряженным, вздутым, весомым, и стыдным, и полным жизни, — таким и лишь таким должно быть слово, способное выразить самую суть страсти».

В. Г. Это французское краснобайство. И почему за него стыдно? Или он сам покраснел от стыда? Вопрос не моральный, на самом деле вопрос эстетический. А эта пышность — прямо «Союз нерушимый».

И. В. Но меня книжка Муакса захватила, если хотите, одухотворенностью низменных сторон жизни. Не знаю, удалось ли мне это выразить, но это было привлекательно — и как профессиональная задача, и как чтение.

Г. Д. Так и есть: это вопрос вкуса или симпатии по отношению к целой книге или автору. Один берется ее переводить, другой — нет, не из-за того, что у кого-то моральные запреты слабее, а просто потому, что нравится — не нравится. Но, если вернуться к вашей цитате, довольно забавно, что Киньяр эту французскую красоту наводит по поводу античности. Потому что римляне, насколько я могу судить, никогда не смешивали обсценное и страсть, кроме как в комическом регистре. Обсценное — принадлежность брани, порнографии, дидактики, а не любовной поэзии. У Катулла есть и обсценное и страсть, но в разных стихотворениях.

И. В. Так какие у нас прогнозы на будущее? Скорее пессимистические. По-моему, на Западе интерес к такой литературе уже спадает. И у нас сначала народ ринулся к прилавкам покупать и читать «про это», а сейчас, по-моему, несколько утихомирился. Поэтому не уверена, что нам придется переводить много такой литературы, но я просто знаю, что, пока она будет, ненормативную лексику нужно осваивать, «причесывать», вводить в обиход.

В. Г. Да, консерватизм там усиливается понемножку, по сравнению с шестидесятыми-семидесятыми годами. В те десятилетия шло введение нового материала в англосаксонскую литературу, как в тридцатые годы у нас кузнечный цех вводили. И возникает впечатление, что, когда ты вводишь новый материал, ты что-то для литературы делаешь. На самом деле — ничего подобного. Введение нового материала вообще ничего не дает литературе, пока за него не берется большой человек. Тысяча человек будет писать про кузнечный цех, и это ничего не даст, а когда Платонов напишет про паровоз — это другая история. Или Киплинг, допустим. И все эти половые дела, ругань — тоже новый материал. Пишущие на это бросаются, потому что думают, что за счет материала можно найти новое художественное качество. Нет. За счет голого материала получается журналистика. И я думаю, что интерес к этому должен упасть, как он к заводским делам сильно упал. А сейчас все возьмутся писать про буддизм. Тоже попишут-попишут, может, никто ничего хорошего не напишет, может, один человек напишет хорошо. И дальше будет на уровне всего остального. Это не зависит от того, был буддизм запрещен или нет. Попишут про Николая II двадцать лет, может, один кто-то напишет могучую книжку вроде «Спартака». И то же самое про половые дела, я думаю. Хотя это более вечная тема, чем кузнечный цех.

■

ЖОРЖ БАТАЙ МЕЖДУ ВОЗМОЖНЫМ И НЕВОЗМОЖНЫМ

Georges Bataille. Choix de lettres 1917—1962. Paris, Gallimard, 1997.

С. Л. Фокин. Жорж Батай в 30-е годы. Философия. Политика. Религия. Издательство Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, 1998.

Томас Зейфрид. Смрадные радости марксизма. Заметки о Платонове и Батае. — «Новое литературное обозрение», № 32 (1998).

В жизни писателя публика более или менее сознательно ищет некоей истины о его творчестве, не совсем очевидной из творчества как такового. Подобное любопытство оправдано в известной мере — в той, в какой направляется не на поиски *смысловых* биографических «ключей» (вернее, отмычек) к литературе, а на лучшее понимание *форм*, в которых писатель присутствует, утверждает себя в жизни и культуре. Биография автора и, в частности, его переписка показывают эти формы в подвижном, незавершенном виде; в отличие от книги, она в общем и целом неумышленна — начинается не мастерским заголовком, а неуверенными юношескими опытами, а кончается чаще всего не эффектной развязкой, а внезапным обрывом или медленным угасанием.

Хотя книги Жоржа Батая[1] и сами по себе менее всего обладают формальной завершенностью, тем не менее публикация толстого тома его избранных писем, состоявшаяся в год столетия со дня рождения (1997) и осуществленная Мишелем Сюриа, который ранее выпустил в свет основательную биографию писателя, позволяет увидеть их разорванность в более четкой перспективе. В письмах выразительно сталкиваются две стороны батаевского жизненного опыта, две его противопоставленные творческие личности; за каждой из них стоит солидная литературная традиция, но небывалым оказалось их совмещение в одном лице.

Французская литература еще с прошлого века, с Нерваля и Рембо, отводит важное место фигуре поэта-провидца, священного безумца, который ценой «систематического расстройства всех чувств», ценой более или менее буквально осуществляемого самоуничтожения добывает для своих читателей крупицы запредельного мистического опыта. Такую функцию страдальца-медиума в полной мере выполнял и Жорж Батай. «Расстройство чувств», неустойчивость психики он унаследовал еще от родителей, а в дальнейшем и сам усилил традиционными средствами вроде алкоголя и беспорядочного разврата. В своих письмах он не раз характеризует себя как «бешеного» или «ненормального», и достаточно знать его прозу, чтобы понять: эти слова он не бросает всуе. Юношей он пытался претворить свою неуравновешенность в религиозный порыв, мечтал то о монастыре, то о семинарии; впоследствии он даже давал понять, мистифицируя сознательно или нет своих будущих биографов, что действительно проучился год в семинарии, но эта легенда, принятая Мишелем Сюриа в его книге о Батае (1992), теперь опровергнута им же на основании вновь найденных писем Батая к некоему Жан-Габриелю. Этот человек, фамилия которого осталась неустановленной, был старшим другом Жоржа Батая в 1917—1918 г.; возможно, они познакомились в учебном полку, куда будущий писатель был призван в 1916 году. Затем Батая демобилизовали из-за открывшегося туберкулеза, а Жан-Габриель отправился на фронт. Искренне верующий, овеянный героическим воинским ореолом, он на несколько лет стал своему младшему товарищу настоящим духовным отцом (родной отец Батая, разбитый сифилисом, как раз в ноябре 1915-го умер в осажденном германскими войсками городе Реймсе). В одном из писем к нему Батай пишет фразу, предвещающую все его конфликтное, болезненное самоощущение: «Я устал, до крайности устал отдаваться во власть этого безумного и страстного идиота по имени Жорж Батай. Моей мечтой было бы провалиться в какую-нибудь глубокую дыру и в ней ос-

[1] На русском языке пока вышли только две из них — «Литература и зло» (1994) и «Внутренний опыт» (1997).

таться, но мой верный зверь (безумный, страстный) уже беспокоится, о чем-то мечтает и воет, кричит, что ему надо порезвиться, и его только берегись». Неприязнь юного Батая к самому себе — своему «верному зверю» — можно здесь понять как христианский конфликт души с телом; в дальнейшем христианские устремления уйдут, но останется эта отчаянная непримиренность с собой, которая будет сказываться и в печатных книгах писателя, и в самых интимных его письмах. В сборник переписки вошли лишь немногие его послания женщинам, которых он любил, но даже они дают представление о температуре его страсти, как это письмо 1944 года: «Ты ведь знаешь, что в тебе я должен больше всего любить *самое худшее* [...] Потому что, видишь ли, позволь мне это сказать, я люблю тебя настолько, что это как предчувствие смерти. Смерть и ты. Все остальное ложь». Такое «смертническое» переживание собственной жизни, разумеется, трудновыносимо для других, и история жизни Батая — история конфликтов, разрывов, примирений. Вот только одно короткое письмо 1947 года, обращенное не к женщине, а к другу и предполагаемому соавтору Жоржу Амброзино, в попытке преодолеть углублявшуюся размолвку:

«Ты должен был бы мне написать.

Ты действительно должен мне написать.

Говорю тебе это совершенно прямо. Говорю тебе это потому, что, право же, думаю, что ты сейчас, должно быть, заблуждаешься на мой счет.

Разве я мог бы писать тебе столь прямо, столь верно, если бы ты не заблуждался?»

С точки зрения Батая-мистика — уже не юноши, а зрелого пятидесятилетнего мужчины, — письмо должно действовать как настоящее магическое заклинание, самой силой своего «прямого» высказывания-заговора.

Но наряду с сакральным — возвышенным и отверженным одновременно — образом вдохновенного безумца Батай являет собой еще и совсем другую, вполне профанную фигуру — неутомимого литературного и научного *организатора*. На протяжении своей жизни он не менее пяти раз вставал во главе весьма амбициозных коллективных проектов, воплощавшихся в форме литературных или научных сообществ или журналов; самый удачный из этих журналов — «Крит`ик», основанный в 1946 году, продолжает выходить и высоко котируется поныне. Соответственно многие страницы батаевской переписки заняты длинными, детальными деловыми посланиями сотрудникам и соредакторам, обсуждением журнальных планов, споров, коллизий. История «Крит`ик» вообще уникальна географической разобщенностью самого журнала и главного редактора, которая как бы подчеркивала сознательную отстраненность, дистанцированность последнего по отношению к освещаемым «горячим» темам. Еще в 1942 году Батай уволился по состоянию здоровья (все тот же туберкулез) со службы в Национальной библиотеке и год спустя переехал в крохотный средневековый городок Везеле, затерянный в глубине Бургундии; именно оттуда, не имея в своем распоряжении даже домашнего телефона, он с помощью одной лишь интенсивной переписки издавал, ставил на ноги сложнейший журнал, где собственно литературная критика совместилась с очень квалифицированным обсуждением новейших проблем общественных и даже физических наук. Лейтмотив пространных «редакторских» писем Батая 1946—1947 годов — утверждение рационального, четкого мышления: «надо избегать приблизительности, слишком расплывчатых текстов»; статью одного писателя, связанного с опытом йоги, он отвергает как «никудышную, полную дешевого мистицизма», а о другом сочинении того же автора резко выступает уже и прямо в печати: адепт йоги, поясняет он, «мог и в самом деле пережить то, о чем пишет. Но мне показалось правильным выступить против путаных мыслей, которые проводятся в его книге». Итак, Батай-редактор, Батай-ученый — как бы оборотная сторона Батая-мистика; его сверхзадача — рационализировать мистический бред, ввести в разумные рамки, охватить строго научной теорией. Контраст разительный: все равно как если бы Артюр Рембо, вместо того чтобы бросить культуру и уехать искать счастья в Африке, сделался солидным парижским ученым — социологом вроде высоко ценимого Батаем Марселя Мосса или же историком вроде его современника Марка Блока — и стал бы сугубо позитивно изучать мистический опыт своей юношеской поэзии, *не переставая вновь и вновь переживать этот опыт* уже «остепенившимся» человеком.

Действительно, прорывы «по ту сторону» были для Батая постоянной экзистенциальной стратегией. В конце 30-х годов он с маленькой группой единомышленников организовал вокруг журнала «Ацефал» одноименное тайное общество с целью создать и сохранить перед лицом надвигающейся угрозы фашизма некое, по его словам, «ядро, устойчивое против любых воздействий и вокруг которого в дальней-

шем могла бы восстановиться жизнь во всей своей полноте». Речь шла не более и не менее как о заговоре ради спасения культуры — и акции для этого замышлялись экстремальные. «Если кто-то из нас полагает, — писал Батай членам общества 31 мая 1939 года, — что условленное между нами будет понарошку, что можно будет как-нибудь увильнуть, что самовольство будет подавляться только на уровне письменных конвенций, а не поступков, то ему пора удалиться самому; он должен осознать, что между нами существует нечто *неумолимое,* нечто такое, что станет *свирепствовать,* что может обернуться драмой и ни в коем случае не может окончиться комедией». Из воспоминаний близких к «Ацефалу» людей известно, на что именно так настойчиво и мрачно намекает Батай: героическим деянием заговорщиков должно было стать добровольное *человеческое жертвоприношение,* призванное высвободить в современном обществе первобытную сакральную энергию и тем укрепить его силы в борьбе против фашистского насилия. Задуманное не осуществилось: как вспоминал писатель Роже Кайуа, трудно оказалось найти добровольца не столько на роль жертвы, сколько на роль жреца... Но вот прошло два десятилетия — и Батай, уже пожилой респектабельный писатель и журналист, снова попадает в сходную экзистенциальную ситуацию. Истерзанный болезнью (атеросклерозом, от которого он и умер в 1962 году), устрашенный катастрофическими бедствиями, которые грозят современному миру (на сей раз это бедствия не политические, а «природные», такие, как перенаселение), он вдруг возвращается к старой идее — в нескольких письмах 1960 года к бывшим товарищам по «Ацефалу» высказывает, с большими или меньшими оговорками, желание «дать продолжение тому, что мы когда-то предполагали сделать вместе», ибо «по сути, в той бредовой затее было нечто так и не умершее, несмотря на мой собственный отход от него». Мы не знаем и вряд ли уже узнаем точно, что имел в виду сделать Батай; но можно предположить, что на этот раз он предпринимал попытку превратить собственный неизлечимый недуг в добровольное самопожертвование, противопоставить внешним силам абсурда встречную, сознательную разрушительную силу, ответить на вызов судьбы — жертвой и тем восстановить в мире возможность той не-церковной, не-христианской «духовной власти», о которой он спорил с друзьями еще накануне второй мировой войны. Легко, конечно, отмахнуться от подобных замыслов, списав их на «безумие», на несомненно болезненное душевное состояние писателя; но это «безумие» слишком уж «систематично», логически оформлено, философски и научно разработано; это нечто большее, чем безрассудство отдельного человека, а скорее мобилизация коллективного бессознательного европейской культуры, которое Батай считал необходимым вывести из темных глубин психики на свет целенаправленной практики — пусть даже ценой своей личной катастрофы.

Как объяснить это резкое противоречие двух обликов Жоржа Батая? Мишель Сюриа, составитель книги его писем, сумел сделать блестящий композиционный ход — поместил в конце тома несколько писем к самому Батаю, написанных его великим другом, писателем и мыслителем Морисом Бланшо. Всего восемь страничек текста — но даже самый факт их появления в печати представляет собой из ряда вон выходящее событие; престарелый отшельник Бланшо никому не дает разрешения печатать свои письма, и в книге специально оговорен исключительный характер этой публикации, обусловленный теснейшей дружбой, которая связывала двух писателей. Эти письма, датированные как раз последними годами жизни Батая, демонстрируют удивительное интеллектуальное взаимопроникновение друзей: Бланшо четко, философски аккуратно, как бы проговаривая негромким голосом каждое слово, формулирует те самые больные проблемы, которые в текстах Батая выражались в сбивчивой, полубредовой речи, терялись в бесконечных оговорках и недомолвках, демонстрировали *невозможность* своего изречения. Бланшо как раз и говорит о *возможном* и *невозможном* — это последнее слово стало новым, измененным заглавием последней прижизненной книги Батая, в выборе которого, вероятно, не последнюю роль сыграли именно размышления друга.

«Лично я хорошо вижу, — пишет Бланшо, — с некоторых пор вижу все лучше, каким двум импульсам мне всегда нужно соответствовать, равно необходимым и вместе с тем взаимно непримиримым. Один (выражаясь крайне грубо и упрощенно) — это страсть, реализация и изречение целого через диалектическое осуществление; второй же, по сути, недиалектичен, совершенно не заботится о единстве и не стремится превозмочь (не стремится к возможному). Этим двум импульсам соответствуют два языка и два притяжения, испытываемых любой речью: один язык — речь столкновения, оппозиции, отрицания, которая стремится устранить

любого противника и в которой, собственно, утверждает себя целостная истина как безмолвное равенство (здесь проявляется императив мысли). А другой язык — это речь, говорящая прежде целого и вне целого, всякий раз первозданная, ни с чем не согласованная и ничему не противостоящая, готовая принять в себя неведомое, чуждое (здесь проявляется императив поэзии). Один *именует* возможное и возможного желает. Другой *отвечает* невозможному».

Слова Бланшо — лучший комментарий к Батаю, к его амбивалентной «ненависти к поэзии» (таков был первый заголовок его книги «Невозможное»), к его метаниям от «возможной», социально и метафизически оправданной практики (научной, литературной, политической) к «невозможному» опыту темной, мучительной мистики, которая не поддается сколько-нибудь точному «именованию» и которой приходится только «отвечать». В «невозможном» нельзя пребывать постоянно — это значило бы полную асоциальность, настоящее безумие, — но контакты с ним меняют и всю «возможную» жизнь человека, что и видно на примере Батая — мыслителя, испытывавшего свои мысли, словно врач вакцину, на себе самом.

Серьезным введением в данную проблематику может служить первая русская монография о Жорже Батае — небольшая и внешне неказистая книжка, выпущенная в Санкт-Петербурге Сергеем Фокиным. Автор уже не первый год занимается исследованием и изданием этого писателя; в его переводах и с его комментариями вышли книга самого Батая «Внутренний опыт» и сборник зарубежных трудов о нем под заглавием «Танатография Эроса» (1994). В своей новой работе, несмотря на некоторые мелкие погрешности[1], он сумел дать развернутый и внятный очерк творческой мысли Батая в самый остроконфликтный, самый спорный период его деятельности — 30-е годы (кстати, относительно слабо документированный в сборнике переписки Батая — многие письма были, очевидно, уничтожены во время войны и немецкой оккупации из боязни, что они попадут в руки властей). За отправную точку анализа критик берет батаевское понятие «опыта» — очень специфичное по своему содержанию, которое есть основания сближать с опытом «невозможного». Такой опыт экстаза, «выскальзывания сознания *вне* себя» подрывает, разъедает устойчивые научные, философские и иные формы сознания, идейно-политические программы, одни из которых писатель во многом разделял (например, марксизм), а с другими непримиримо боролся (например, фашизм). Все они подвергаются разрушительному испытанию «низким», «гнусным», «инородным», которое служило постоянным объектом внимания Батая, — тот «рылся, точно Марксов «старый крот», в гноище — том самом, с которого возносились молитвы Иова к небу». Эта точка зрения «снизу», «с гноища» помогла, например, Батаю разглядеть такую фундаментальную черту фашизма, как доходящее до абсурда пристрастие к *здоровому телу*. «Клиническая картина современного социума, составленная Ж. Батаем в работах 30-х годов, обнаруживает, что фашистская чума проникает в социальное тело посредством своего рода режима гигиены, безжалостно отсекающего от жизни все, что представляется нечистым, нездоровым, низким». Эти батаевские догадки оказались поистине прозорливыми — ведь они делались еще до «окончательного решения еврейского вопроса» и других нацистских акций по «оздоровлению» Европы. А с другой стороны, глубокая интуиция «невозможного» опыта позволила Батаю переосмыслить, переработать идею, казалось бы, безнадежно скомпрометированную фашизмом, — ницшеанскую идею «суверенной личности». Суверенность по Батаю, комментирует С.Фокин, — это «сила, что не уклоняется от встречи с другими силами, сколь бы сильными те ни казались [...] Вот почему на обликах движимой силой мысли все время остаются следы от встречи с другими силами; сила не может не тронуть, как не может остаться нетронутой». Таким суверенным соприкосновением, экстатическим «опытом» и являлись для самого Батая его отношения с фашизмом, коммунизмом, сюрреализмом: да, все они «оказывали на него влияние», но это «влияние» было не порабощающим, а конфликтным, провоцировало духовную работу по его преодолению. Тот же пафос преодоления «влияния» (только в отношении не себя самого, а любимого мыслителя прошлого) характерен, заметим, и для акции по «денацификации» Ницше, за репутацию которого Батай убежденно вступился в 1945 году, сразу после освобождения Франции от нацис-

[1] Такова, например, упомянутая в качестве достоверного факта история с учебой Батая в семинарии (автор книги не успел ознакомиться с опровергающим ее изданием переписки), а также некоторые неточности в переводах с французского.

тов, в серии печатных работ и писем стремясь очистить его от замаравшей его идеологии гитлеризма.

Концепция суверенного соприкосновения позволяет С. Фокину выразительно показать взаимоотношения Батая с рядом крупных мыслителей, во многом противостоявших и вместе с тем внутренне необходимых ему, — таких, как вождь сюрреализма Андре Бретон, философ-неогегельянец Александр Кожев, социолог Марсель Мосс, теоретик культуры Вальтер Беньямин и другие. С другой стороны, кое в чем такой подход может оказаться и помехой: он заставляет подчеркивать уникальность (бесспорную) творческой личности Батая, недооценивая его единство с современниками, его укорененность (столь же несомненную) в историко-культурной почве. Лучшим средством избегнуть подобной недооценки было бы, вероятно, изучение *форм* писательского творчества Батая, особенно его повествовательной прозы, которая при всех своих шокирующих чертах — и моральных, и эстетических — достаточно плотно связана с определенными литературными традициями. Однако в монографии С. Фокина о Батае-писателе почти ничего не говорится[1].

Одновременно с этой работой на русском языке в журнале «Новое литературное обозрение» появилась статья, где как раз сделана попытка сопоставить литературную прозу Батая с прозой другого писателя (причем писателя русского) и соотнести их обоих с некоей важной тенденцией в мировой культуре XX века. Автор статьи — американский славист Томас Зейфрид, а объект, выбранный им для сопоставления с Батаем, — творчество Андрея Платонова.

Батай и Платонов действительно могут быть сближены между собой по многим признакам: как «умиротворившиеся» в зрелости левые радикалы, как мистики и богостроители, как мастера «самодельного», причудливо «неправильного» художественного языка... Т. Зейфрид взял за основу сравнения лишь одну, не менее важную проблему — физиологизацию идейно-философских категорий марксизма, их систематическое буквально-телесное прочтение: «[...] при всей своей навязчивой сосредоточенности на теле, при всем своем радикальном пересмотре материализма «снизу», и Платонов и Батай упорно истолковывают «низший материализм» в контексте марксистской политики и социологии». Сопоставляя ряд частных черт художественного мира и языкового воображения обоих писателей — скажем, знаменитые «прочие» из платоновского «Чевенгура» странно соответствуют понятию социальной «инородности», которым пользовался Батай в одной из своих главных работ 30-х годов «Психологическая структура фашизма», — автор статьи приходит к далеко идущему предположению: «[...] приходится думать, что в марксистской мысли двадцатого столетия могла содержаться особая философская линия — некоторое подводное органическое течение, направляющее фокус внимания вниз, к низшей материи существования, но при этом также стремящееся включить обретенные таким образом онтологические интуиции в состав экономических, политических и общественно-нравственных учений, более соответствующих общепринятому представлению о марксизме. Или же — что, впрочем, быть может, почти то же самое — существует определенное «органическое» онтологическое течение в мысли начала двадцатого столетия, обратившееся ради временной поддержки к доктрине марксистского материализма». Думается, обе эти гипотезы, призванные найти для Платонова и Батая общее место в истории современной культуры, равно уязвимы: исследователь напрасно и, пожалуй, даже не без идеологического упрощения (отсюда формула о «смрадных радостях» в заголовке статьи) отделяет марксизм от «онтологического течения», признавая между ними лишь взаимное приспособление; правильнее будет сказать, что это течение, устремленное к телесным началам человеческого существования и восходящее — как на это указывает Т. Зейфрид, в согласии с самим Жоржем Батаем — к традициям гностицизма, развивалось в новоевропейской культуре в рамках одного общего процесса с коммунистической идеологией — процесса упадка традиционной религиозности и обращения к нестандартным формам сакрального. Батай, как и Платонов, действительно может служить индикатором этого эпохального развития. Оба были внимательными слушателями «невозможного», оба отвечали на его зов, только Батай — с неистовой силой ницшеанского отрицания или же «безработной негативности» по Гегелю, а Платонов более тихим,

[1] Главы о литературном творчестве имеются в посвященной Батаю докторской диссертации С. Фокина; однако мне они известны только по очень краткому изложению в автореферате, и судить о них я не берусь.

«минималистским» голосом сосредоточенной медитации, заставляющей вспомнить писательский стиль Мориса Бланшо.

Статье Т. Зейфрида вредит явно недостаточное знакомство американского слависта с творчеством Батая, известным ему лишь по одному англоязычному сборнику избранных сочинений; подчас это ведет к нелепым фактическим оплошностям[1]. Тем не менее ценна его первая попытка — до сих пор не предпринимавшаяся историками французской литературы — всерьез сопоставить Батая с равновеликим, современным и родственным ему русским писателем. За этим сопоставлением скрывается и более общая тема его многообразных связей с историей и культурой России — тема вовсе еще никем не исследованная и все время напоминающая о себе при чтении его книг и писем. В молодости Жорж Батай общался в Париже со Львом Шестовым; русские корни имела его вторая жена Диана Кочубей; русскими эмигрантами были его друзья и оппоненты 30-х годов — журналист Борис Суварин (Лифшиц) и философ Александр Кожев (Кожевников); герою одного из его романов снится странный сон о Советской России, где он, как и сам писатель, никогда не бывал; как левый интеллектуал, Батай не мог не возвращаться много раз к оценке политических и экономических реальностей в нашей стране (достаточно прочитать в его переписке, как настойчиво он в середине 40-х годов добивается публикации в «Крит`ик» аналитической рецензии на новую книгу о советской экономике — настолько важной представлялась ему тема); в 1956 году, в пору «оттепели», он принимает участие в международной встрече журнальных редакторов в Цюрихе, где были и несколько участников из СССР[1]; вскоре он вынужден определять свою позицию по отношению к советской интервенции в Венгрии и, готовя публичную речь на эту тему (она осталась непроизнесенной из-за внезапного приступа болезни), убеждает в необходимости несмотря ни на что поддерживать разрядку напряженности, требует от западной интеллигенции отказаться от своих конфронтационных рефлексов — по отношению либо к Западу, либо к Востоку, — унаследованных от довоенного периода; два года спустя, в 1958-м, все более тяжело болея и кое-как оправляясь после операции, он в письме поэту Рене Шару обеспокоенно спрашивает, «какой может оказаться участь Пастернака». Кажется, не было страны, на которую он всю жизнь оглядывался бы более внимательно и напряженно, чем Россия. Интерес России к Батаю, хоть и запоздалый, но постепенно набирающий силу, выглядит с нашей стороны всего лишь справедливым долгом взаимности.

С. ЗЕНКИН

[1] Критик утверждает, например, будто Батай в молодости сотрудничал «главным образом в сюрреалистских журналах», тогда как на самом деле с сюрреализмом он враждовал; или, спутав первую мировую войну со второй, сообщает, что отец Батая, умерший в 1915-м, «погиб, спасаясь от нацистов».

[1] К сожалению, в связи с этой встречей в книге писем Батая получилось много путаницы. Во-первых, то ли публикатором, то ли почему-то самим автором явно перепутаны датировки двух писем: в первом, датированном 11 августа, Батай рассказывает о результатах уже прошедшей встречи, а во втором, от 5 сентября, пишет, что еще только собирается в Цюрих, что приедет на машине вдвоем с женой и т.д. Во-вторых, несколько месяцев спустя, в феврале 1957-го, он сообщает о письме, полученном от одного из участников той встречи, — *Александра Чаковского* (имя и фамилия дважды повторены в тексте), который протестовал против «недружественного» освещения встречи в западной периодике. Комментируя это место, Мишель Сюриа неосторожно доверился воспоминаниям адресата батаевского письма и написал явную нескладицу: «На самом деле это Александр Тарковский, русский поэт, чьи стихи с «двойным дном» [...] могут считаться первой формой диссидентства. Он публиковался в “Литературной газете”», — то есть спутал литературного функционера Чаковского с поэтом Тарковским, чье имя — Арсений, а не Александр — нетрудно было проверить даже по французской справочной литературе.

■

МАРТИН ВАЛЬЗЕР

Бьющий фонтан

Martin Walser. Ein springender Brunnen

Suhrkamp, 1998

Новое, автобиографическое произведение выдающегося немецкого писателя Мартина Вальзера по жанру можно отнести к нравоучительным романам; оно посвящено тем, чья юность пришлась на 1932—1945 годы. В нем Вальзер снова возвращается к постоянно волнующей его теме нацизма и исторической памяти немцев. Рецензенты отмечают, что эта проблема находит отражение не только в творчестве писателя, но и в его общественной жизни: недавно он выступил инициатором обсуждения идеи о сооружении около Бранденбургских ворот памятника жертвам холокоста. По мнению Вальзера, нашедшему отражение и в новом романе, важнейшей задачей историков является сохранение памяти об этом страшном явлении. Роман «Бьющий фонтан» занимает первые строки в списках немецких бестселлеров на протяжении уже нескольких месяцев.

АЛЬФРЕДО БРЮС ЭЧЕНИКЕ

Воспаление миндалин у Тарзана

Alfredo Bryce Echenique. La amigdalitis de Tarzan

Alfaguara, 1999

Парадоксы и гиперболы этой книги начинаются уже с заглавия: болезнь поражает само воплощение силы и здоровья. В данном случае «Тарзан» — женщина, получившая это прозвище за сильный характер. Она живет в постоянном напряжении, поскольку не может ни оставить опустившегося мужа-пьяницу, ни соединиться с далеким возлюбленным. Их эпистолярный роман длится почти 30 лет. В конце концов традиционный любовный треугольник превращается в квадрат: у главной героини есть еще служебный и материнский долг. И когда ее заболевший малыш, смотревший по телевизору фильм про Тарзана, спросил, может ли у того тоже болеть горло, она вдруг поняла, что «Тарзан» уже давно болен. Она справилась с упадком душевных сил, но «воспаление миндалин» дало осложнение: героиня стала бояться любви. Ее заменила романтическая дружба, которая и воспета в этом романе, удостоенном Национальной премии Испании за прозаическое произведение. Эту награду автор назвал превосходным подарком, венчающим его 34-летнее пребывание в Испании, ибо восьмое десятилетие своей жизни он решил прожить на родине, в Перу.

ДАИНА ЧАВИАНО

Он, она и голод

Daina Chaviano. El hombre, la hembra y el hambre

Planeta, 1998

Роман молодой кубинской писательницы Даины Чавиано удостоен премии «Асорин» за 1998 год. В нем показан физический и моральный упадок современной Кубы — страны, где правят черный рынок, доллар и контрабанда, а нужда соседствует со странными социальными метаморфозами, где вездесущие спецслужбы нещадно преследуют оппозиционных интеллектуалов и заставляют их превращаться в люмпенов. Но помимо этой невыносимой реальности есть и прошлое страны, затоптанное революцией. Это прошлое возникает в видениях главной героини, которые переплетены с описаниями сегодняшней Кубы и размышлениями автора о судьбе своей страны и своих персонажей.

ИНГРИД НОЛЛЬ

Красная розочка

Ingrid Noll. Röslein rot

Diogenes, 1998

Роман весьма популярной писательницы Ингрид Нолль стал бестселлером №1 в немецкоязычных странах. Главная героиня его, не слишком счастливая домохозяйка Аннароза, находит убежище от монотон-

ной повседневности в рисовании: она изображает великолепные натюрморты в стиле барокко, пышные букеты, роскошные блюда, редкие и загадочные драгоценности. Когда же она помещает на этих идиллических полотнах и себя, ее уход от реальности становится полным и появляется мистическое ощущение перехода в иные миры. Героиня начинает ощущать некую опасность, с тревогой чувствует, что ей наскучил муж, с ужасом замечает, что ее привлекают другие мужчины, и опасается, что две ее лучшие подруги что-то от нее скрывают. Так продолжается до тех пор, пока кого-то из ее окружения не находят в постели мертвым... Критики отмечают изящный стиль повествования, мастерство, с которым Ингрид Нолль удерживает читателя в напряжении вплоть до самого конца книги.

ПИТЕР АКРОЙД

Жизнь Томаса Мора

Peter Ackroyd. The Life of Thomas More

Doubleday, 1998

Известный английский писатель и историк Питер Акройд обратился к масштабной фигуре Томаса Мора. Рецензенты отмечают, что это первая биография Мора, где должным образом учтены и подробно описаны отличительные особенности английского католицизма. Томас Мор Акройда — прежде всего представитель католической Англии: динамичный, чувственный, жизнерадостный человек и глубоко верующий; блестящий памфлетист и государственный деятель. «В отличие от большинства своих современников, он ясно видел грядущую гибель христианской цивилизации в своем понимании этого слова», — пишет Акройд.

АБЕЛЬ ПОССЕ

Пражские тетради

Abel Posse. Los cuadernos de Praga

Atlantida, 1998

Известный аргентинский писатель и дипломат Абель Поссе[1] часто делает героями своих произведений исторических персонажей. На сей раз главным героем романа выступает его соотечественник, знаменитый революционер Че Гевара. В книге воссоздан малоизвестный период его жизни, когда после провала операции в Конго и перед последней, трагической поездкой в Боливию Че Гевара некоторое время жил в Праге. Опираясь на логику и фантазию — ибо документальных свидетельств почти нет, — автор охватывает прошлое этого человека (детство, аристократическое происхождение) и анализирует те особенности его личности (стремление к саморазрушению, балансирование на грани гибели, мессианство, одержимость борьбой с капитализмом и созданием «нового человека»), которые отчасти свойственны и сегодняшним леворадикально настроенным аргентинцам.

АНТОНИО ФАЭТИ

Дом на дереве: ужас, тайна, страх и детство у Стивена Кинга

Antonio Faeti. La casa sull'albero: orrore, mistero, paura, infanzie in Stephen King

Einaudi Ragazzi, 1998

Уже не первый год в литературных кругах идет полемика: имеют ли воспитательное значение для детей и юношества произведения Стивена Кинга? Одни считают, что «король ужасов» подталкивает юных к насилию, увлечению ирреальным, использованию в речи грубых выражений; их противники полагают, что его книги учат молодежь не доверять внешнему спокойствию и лоску, заглядывать в глубь явлений, быть пытливыми и способными анализировать окружающий мир. К лагерю «защитников» С. Кинга принадлежит и итальянский писатель Антонио Фаэти, «специализирующийся» на подростковой теме. Он уверен, что книги его «подзащитного» помогают детям взрослеть, то есть осознавать проблему жизни и смерти, уметь разглядеть ужасное в обыденном: ведь в произведениях С. Кинга не столько представлены чудовища, сколько анализируется само понятие чудовищного, и, возможно, поэтому они так интересуют молодежь.

ХОСЕ ИЕРРО

Нью-йоркский дневник

Jose Hierro. Cuaderno de Nueva York

Hiperion, 1998

Один из старейших и лучших испанских поэтов послевоенного времени Хосе Иерро стал лауреатом высшей литературной

[1] Роман «Райские псы» опубликован в «ИЛ», 1992, № 8-9.

награды испаноязычных стран — премии имени Сервантеса за 1998 год. О высоком мастерстве Иерро свидетельствует и новый, первый за последние восемь лет поэтический сборник, созданный в Нью-Йорке. Город, которым был очарован Гарсиа Лорка, много лет спустя вдохновил и другого испанца. Главные мотивы книги — воспоминания, музыка (Моцарт, Бетховен, Бах, Шуберт), мысли об одиночестве, об ушедшей любви и занявшей ее место печали. Благодаря причудливому переплетению временных планов и высокому накалу эмоций свободный стих Хосе Иерро воспринимается как волшебная фантазия и тем самым перекликается с его самым известным произведением, «Книгой галлюцинаций» (1964).

ТИМ ШТАФФЕЛЬ

Терродром

Tim Staffel. Terrordrom

Ammann Verlag, 1998

Новый роман 32-летнего немецкого писателя Тима Штаффеля, по мнению литературных критиков, отражает стиль и тревоги многочисленной группы немецких авторов, появившихся на литературной сцене после объединения страны. Истинным главным героем романа является Берлин недалекого будущего, чудовищный город, в котором после экологической катастрофы царят разорение и хаос. В гнетущей атмосфере массовых беспорядков в городе хозяйничают банды агрессивной молодежи, а также продажные и беспомощные политики. Непринужденно себя чувствуют лишь руководители некоей частной телекомпании, готовые на любые низости и бесчинства ради привлечения зрителей. «Терродром» — это яркий пример обращения к молодежным проблемам в европейской литературе наших дней.

ТОМ ВУЛФ

Человек в полной мере

Tom Wolfe. A Man in Full

Farrar, Straus & Giroux, 1998

Большой интерес критики вызвала новая книга широко известного писателя и журналиста Тома Вулфа[1]. Перед нами эпическая панорама, охватывающая все стороны жизни в современной Америке. Одновременно разгораются два скандала — в связи с банкротством огромной корпорации, принадлежащей главному герою книги, и с тяжким преступлением, в котором обвиняют знаменитого чернокожего футболиста. Эти события ломают жизнь самым разным людям, богатым и бедным. Главное внимание Вулф сосредоточивает на межрасовых взаимоотношениях. Лейтмотивом книги стала тема гибели идеалов старого сельского Юга (воплощенных в образе главного героя) под натиском современности. По мнению рецензентов (в том числе Джона Апдайка), «Человек в полной мере» — большая писательская удача Вулфа. Как и прежде, он пишет смешно, остро и зло. Критики сравнивают Вулфа с энергичным экскурсоводом, который, хватая за руки читателя-туриста, тащит его то в тюрьму, то в фешенебельный особняк, дабы показать ему все чудеса и безумства своих неистовых героев.

ЭЛЬЗА ТРИОЛЕ

Дневники (1912—1939)

Elsa Triolet. Écrits intimes (1912—1939)

Stock, 1999.

Издательство «Сток» опубликовало ранее не издававшиеся дневники Эльзы Триоле и несколько писем из ее переписки с Маяковским. «Дневники» охватывают период, ставший переломным в жизни Триоле. Одинокая русская эмигрантка, неуверенная в себе, безуспешно пыталась придать смысл своему существованию в Париже. К 6 ноября 1928 года, дню, когда она впервые увидела Луи Арагона, Эльза уже всерьез задумывалась о самоубийстве. Встреча с Арагоном, только что оправившимся от попытки сведения счетов с жизнью, полностью изменила ситуацию. Читая «Дневники», можно увидеть, как на место прежней Эльзы Триоле приходит другая — холодная, расчетливая, амбициозная женщина. Многие страницы посвящены стремлению Триоле стать писательницей, ее размышлениям о литературе. Критики с сожалением отмечают, что в «Дневниках» почти ничего не сказано о самом знакомстве с Арагоном и обо всех обстоятельствах возникновения их союза.

[1] В «ИЛ», 1991, № 10,11 опубликован его роман «Костры амбиций».

■ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КЕМ БЫЛ ДЖОРДЖ СМАЙЛИ?

Джон Ле Карре долго отказывался отвечать на вопрос о том, кто послужил прототипом его основного персонажа Джорджа Смайли. Некоторые критики были склонны считать, что им был шеф разведки М16, на которую Ле Карре работал в течение пяти лет, но различия были слишком велики, чтобы поставить знак равенства между реальным человеком и вымышленным героем. В 1995 году Ле Карре признал, что кое в чем Смайли напоминает его бывшего учителя, преподобного Вивиана Грина; в частности, речь шла о толстых очках и «интеллектуальных и духовных достоинствах». И вот наконец в 1999 году писатель «сознался» во всем. Смайли объединил в себе черты двух людей: старого учителя и друга Грина и Джона Бингхема, седьмого барона Кленморриса, умершего в 1989 году. Это был «спокойный, блестящий, очень проницательный человек, который проникал в мысли собеседников, но никогда не стремился произвести на них впечатление». Джон Бингхем служил в М16 с 1938 года, его «официальным прикрытием» была литературная деятельность. Он писал юмористические стихи для журнала «Панч», «черные» романы, многие из которых были опубликованы и пользовались определенным успехом у читателей. Вместе с Джоном Ле Карре он работал в отделе, занимавшемся наблюдением за подрывными элементами на территории Великобритании. Вдова Бингхема Мадлен, также писательница, подозревала, что ее муж оказал влияние на творчество Ле Карре, хотя не имела никаких документальных доказательств этого. Несколько лет назад она хотела опубликовать свою биографию под названием «Жена Смайли», однако министерство обороны потребовало такого количества купюр, что она отказалась от этой затеи. Дети Бингхема, сын Саймон и дочь Шарлотта (тоже писательница), не удивились, узнав о двойной жизни отца. Однако, по их мнению, «Смайли всегда будет похож на Алека Гиннесса».

■ ИСПАНИЯ

НЕЛЕГКО БЫТЬ КОРОЛЕМ

«Когда Вы станете королем — советы будущему монарху» — так называется книга, опубликованная издательством «Планета» и формально адресованная будущему королю Испании, а ныне наследному принцу Фелипе. Кто же из его подданных решился на столь дерзкие советы? Это видный каталонский журналист, публицист, писатель, поэт, лауреат нескольких литературных премий Валенти Пуиг. Впрочем, автор не ставит перед собой задачи поучать принца: вместо наукообразного футурологического исследования он предлагает читателям занимательную, полную иронии и метких наблюдений книгу, в которой достается всем — от политиков, интеллектуалов и журналистов до правительства и даже самих королей, тем более что автор отнюдь не является монархистом. Обращение к принцу для него всего лишь повод, чтобы порассуждать о будущем Испании, ее месте в Европе и мире, о роли монархии и монархов в разные эпохи.

Будущее планеты В. Пуиг видит не в самых светлых тонах: кибернетические войны, разрушение телефонной связи и систем жизнеобеспечения, биологический терроризм, обезлюдевшие территории, где хозяйничают новоявленные пираты и наемники... Главе нации будет непросто приспособиться к научным, технологическим и социальным изменениям, и готовиться автор предлагает уже сейчас. Однако унывать не стоит: «Когда Вы станете королем, Ваше Высочество, многое изменится, на дворе будет XXI век, но человеческая природа — власть, секс, тщеславие, смерть — останется неизменной, разве что биохимики что-то наколдуют». С чисто испанским оптимизмом автор уверяет, что хотя «в Испании есть и будут проблемы, сама она проблемы не представляет». Помимо абстрактных рассуждений, книга В. Пуига изобилует вполне конкретными советами, правда приправленными некоторой дозой сарказма: «Будет гораздо лучше, Ваше Высочество, не доверять никаких секретов премьер-министру, иначе он начнет рассказывать Вам обо всем, что знает сам». По мнению автора, правительство вообще существует лишь для того, чтобы создавать дефицит бюджета и собирать налоги с граждан, так что от него лучше держаться подальше — как,впрочем, и вообще от публики, ибо главными достоинствами будущего Филиппа VI автор считает не только популярность, но и непроницаемость.

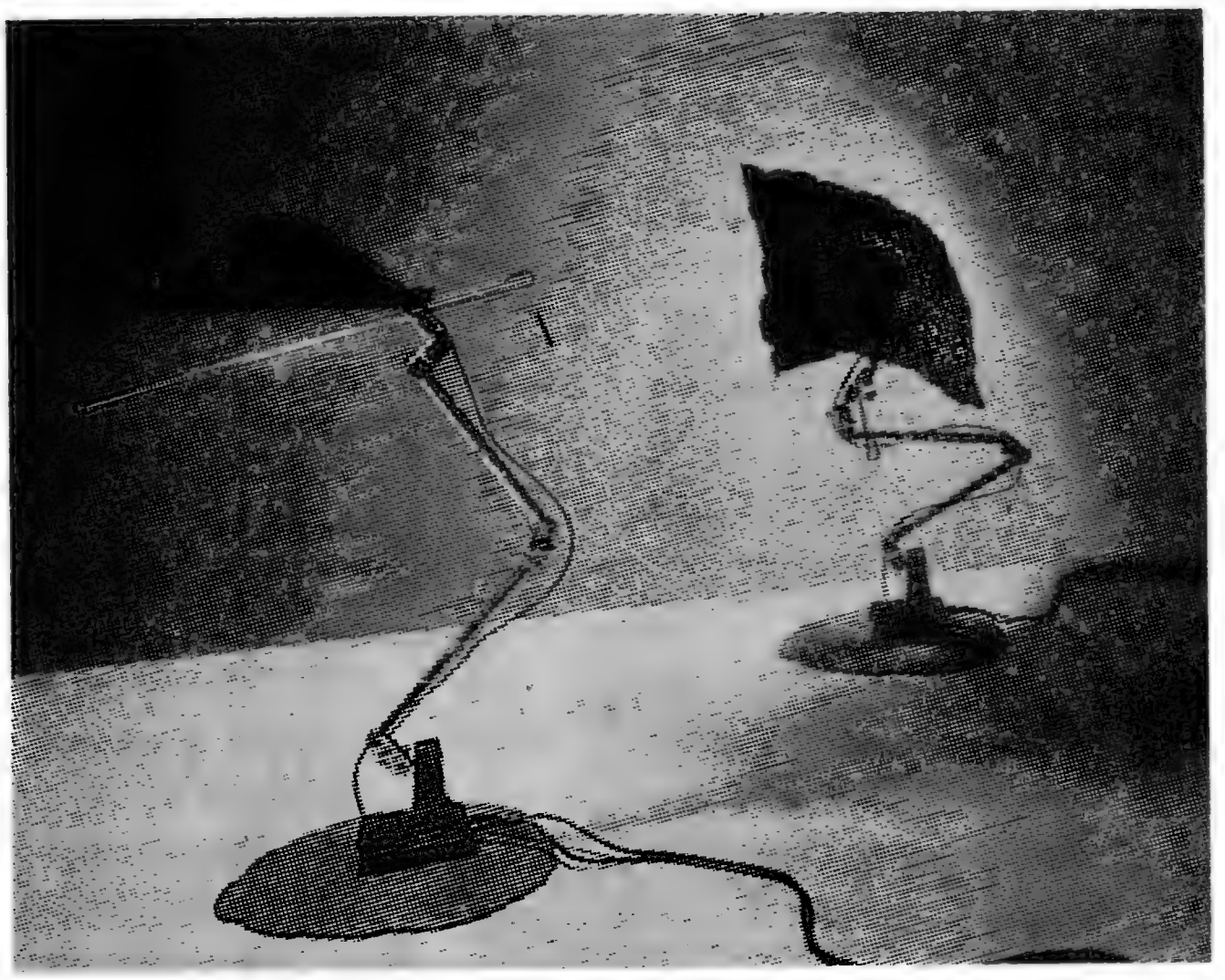
Принц Фелипе, будущий король Испании

При всей благожелательности тона, В. Пуиг не удержался от колкости: «Как бы там

ни было, постараемся все же чувствовать себя счастливыми. Хотя, как известно, реальной возможности быть счастливым у будущего монарха, разумеется, нет и в помине». Неужели и в самом деле, став королем, сияющий красавец Фелипе помрачнеет? Будем надеяться, что он этого избежит, а кое-какие из советов ему действительно пригодятся.

ПЕРВОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ КРИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

В прошлом году благодаря усилиям испанского «Института Сервантеса» увидело свет новое издание знаменитого «Дон Кихота». Успех книги, выпущенной в издательстве «Критика», превзошел все ожидания: было распродано 25 тысяч экземпляров. Пришлось сразу же переиздать книгу, и редколлегия, решив не останавливаться на достигнутом, подошла к этой задаче критически. В результате новейший «Дон Кихот» получился исправленным и дополненным окончательно: на почти 3000 страниц двухтомника нет наконец опечаток, неточностей и пропусков, которыми грешат предыдущие варианты. Кроме того, он получил постоянную прописку в сети Интернет. Труд испанских сервантистов удостоился внимания и высокой похвалы зарубежных литературоведов. Так, британская газета «Таймс литерари сапплмент» назвала его монументальным, остроумно заметив, что это «первое критическое издание» (игра слов на названии издательства).



Настольная лампа «Дон Кихот» работы Инго Маурера
(Газета «Паис»)

Монета с изображением Сервантеса
(Газета «Паис»)

Впрочем, Сервантес и его герой всегда были в центре творческого внимания не только литераторов, но и мастеров совершенно иных областей. Например, среди работ Инго Маурера — известного во всем мире немецкого дизайнера светильников — есть настольная лампа «Дон Кихот». А испанские художники-дизайнеры, получив, как и их европейские коллеги, карт-бланш на оформление лицевой стороны евромонет для своей страны, выбрали наиболее прославившего ее человека. Так что наряду с прочими символами Испанию будет представлять Сервантес — бессмертный носитель языка, объединяющего эту страну с Латинской Америкой.

■ ИТАЛИЯ

НУЖНЫ ЛИ СКАЗКИ ВЗРОСЛЫМ?

Сказки занимают особое место в истории средневековой культуры. В странах Средиземноморья до появления варваров этого жанра не знали: в культуре эллинов существовали только мифы. После падения Рима сказки распространились по всей Европе. Любопытно, что сказки изначально противоречили христианской доктрине — если та предлагала рай на небе как награду за земные страдания, то герои сказок после нелегкой борьбы и приключений получали счастье при жизни (симптоматична традиционная их концовка «и жили они после этого долго и счастливо»).

Современные исследователи, лингвисты и литературоведы прекрасно понимают, что мир сказок — это отнюдь не только детский мир, он не менее важен и для взрослых, которые могут найти в нем ответы на многие вопросы, связанные с историческими корнями того или иного народа. Именно поэтому изучению сказок как элемента культуры, составляющего основу современного общества, уделяется пристальное внимание.

Важным шагом в этом направлении стала публикация итальянским издательством «Мельтеми» солидного «Словаря сказок: Символы, персонажи, сюжеты итальянских сказок». Его создатели рассматривают и оценивают эмоции, ценности, стили и смысловые особенности многочисленных сказок, басен и устных историй, никогда прежде не исследовавшихся в совокупности из-за их регионального характера. В работе над словарем авторы использовали монументальное 18-томное издание итальянских народных сказок, опубликованное издательством «Мондадори» под руководством Дж. Давико Бонино, а также еще десять наиболее значительных сборников сказок. Материал сгруппирован в 129 словарных статей, или «изобразительных единиц», по определению составителей словаря. Каждая из них представляет собой ключевое понятие для мира сказок. Например, «изобразительная единица» «огонь» затрагивает такие темы, как очаг, адское пла-

Иллюстрация Кавальери к сказке Карло Коллоди «Приключения Пиноккио»
(Еженедельник «Стампа-Туттолибри»)

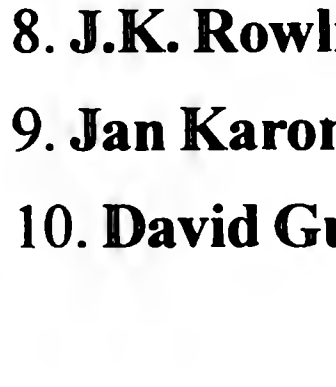
мя, очищающее и возрождающее пламя, а также носитель огня. А такое чисто сказочное понятие, как «фея», разбирается по трем направлениям: подарки фей, их царство и злые феи (ведьмы) — с привлечением конкретных примеров из почти сотни сказок. С публикацией «Словаря сказок» у взрослых итальянцев появилась возможность не только ответить на любой, даже самый каверзный, детский вопрос, но и самим по-новому взглянуть на волшебную часть собственного детства.

■ ФРАНЦИЯ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДЮМА

Издательство «Бернар Грассе» выпустило в свет два неизвестных романа Александра Дюма, найденных совсем недавно. Действие книги «Катрин Блюм», написанной в 1854 году, разворачивается в пикардийской деревушке. В ней не происходит никаких значительных событий, читатель не встретит никаких известных исторических персонажей. Роман повествует о любви двух молодых крестьян, счастью которых пытается помешать коварный соперник. В отличие от широко известных романов Дюма, «Катрин Блюм» поражает своей камерностью и «деревенским» колоритом. Что касается «Безухого Жако», то это — один из романов, написанных Дюма в России. Его герой — русский князь Алексей Грубенский, эксцентричный и жестокий помещик, живущий в имении Макарьево на Волге. Книга написана в виде воспоминаний старика Жако, бывшего лакея Грубенского. Видимо, в сюжете отразились все стороны русской жизни, поразившие Дюма: невероятное богатство и сумасбродство провинциальных помещиков, многообразие народов, населявших страну, безудержное пьянство и купание в проруби в трескучие морозы... Конечно, ни один из этих романов нельзя поставить на одну ступень с «Тремя мушкетерами» или с другими всемирно известными историческими сагами Дюма, но их существование лишний раз доказывает, насколько разносторонним и плодовитым писателем он был.

По материалам газеты «Паис» (Испания), еженедельника «Стампа-Туттолибри» (Италия), журнала «Магазин литтерер» (Франция)



Книги, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров еженедельника «The New York Times Book Review» от 19 июня 1999 г.

1. **Terry Brooks.** STAR WARS: EPISODE I. THE PHANTOM MENACE.
2. **Janet Fitch.** WHITE OLEANDER
3. **Mary Higgins Clark.** WE'LL MEET AGAIN
4. **John Sandford.** CERTAIN PREY
5. **Dr. Seuss.** OH, THE PLACES YOU'LL GO!
6. **Stephen King.** THE GIRL WHO LOVED TOM GORDON.
7. **John Grisham.** THE TESTAMENT
8. **J.K. Rowling.** HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE
9. **Jan Karon.** A NEW SONG
10. **David Guterson.** EAST OF THE MOUNTAINS

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

АРУНДАТИ РОЙ (ARUNDHATI ROY) — индийская писательница, автор двух киносценариев, была режиссером и художником кинофильмов. «Бог мелочей» — ее первый роман, опубликованный в 1997 году и тогда же удостоенный Букеровской премии («The God of Small Things». London, Flamingo).

АДАМ ЗЕМЯНИН (ADAM ZIEMIANIN; род. в 1948 г.) — польский поэт. Автор книг стихов «Распогоживается над нашим домом» («Wypogadza się nad naszym domem», 1975), «Под одной крышей» («Pod jednym dachem», 1977), «Нам солоно досталось» («Nasz słony rachunek», 1980), «В общем вагоне» («W kącie przedziału», 1982) и др. Лауреат нескольких польских литературных премий.
Публикуемые стихи взяты из книги «Коврик из горящего дома» («Makatka z płonącego domu». Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1985).

АРНО ШМИДТ (ARNO SCHMIDT; 1914—1979) — немецкий прозаик, литературовед, переводчик англоязычной литературы. Лауреат премии Гёте (1973). Автор повестей «Пустошь Бранда» («Brand's Haide», 1951), «Черные зеркала» («Schwarze Spiegel», 1951), «Из жизни фавна» («Aus dem Leben eines Fauns», 1953), «Косма, или О Северной горе» («Kosmas, oder Vom Berge des Nordens», 1955), «Республика ученых» («Die Gelehrtenrepublik», 1957), романов «Каменное сердце» («Das steinerne Herz», 1956), «Море Кризисов — тоже захолустье» («Kaff auch Mare Crisium», 1960), «Школа атеистов» («Die Schule der Atheisten», 1972), «Юлия, или Картины» («Julia, oder Die Gemälde»; издан посмертно, 1983) и др., а также нескольких сборников рассказов.
Рассказ «Гадир, или Познай самого себя» («Gadir, oder Erkenne dich selbst»), написанный в 1946 году, впервые был опубликован в сборнике «Левиафан», удостоенном в 1950 г. литературной премии Майнцкой академии.
Рассказ печатается по изданию «Leviathan». Hamburg — Stuttgart, Rowohlt Verlag, 1949.

ШЕРВУД АНДЕРСОН (SHERWOOD ANDERSON; 1876—1941) — американский писатель. Первая книга Ш. Андерсона — роман «Сын Уинди Макферсона» («Windy McPherson's Son», 1916). Наиболее известны его сборники рассказов «Уайнсбург, Огайо» («Winesburg, Ohio», 1919, рус. перев. 1925), «Торжество яйца» («The Triumph of the Egg», 1921, рус. перев. 1925), «Кони и люди» («Horses and Men», 1923, рус. перев. 1926). Ш. Андерсону принадлежат романы «Множество браков» («Many Marriages», 1923), «Темный смех» («Dark Laughter», 1925), «По ту сторону желания» («Beyond Desire», 1932, рус. перев. 1933).
Публикуемое эссе «Творчество Гертруды Стайн» взято из книги «Гертруда Стайн. Статьи. Переписка» («Gertrude Stein: Correspondence and Personal Essays». Chapel Hill, University of N. Carolina, 1972).

ГЕРТРУДА СТАЙН (GERTRUDE STEIN; 1874—1946) — американская писательница (подробнее см. раздел *Литературного гида* «Гертруда Стайн: краткая летопись жизни и творчества»).
В номере публикуется повесть Гертруды Стайн «Тихая Лена» («The Gentle Lena») из книги «Три жизни» («Three Lives». New York., Boni, 1927) и отрывки из воспоминаний «Париж Франция» («Paris France». London, Peter Owen, 1971).

ДЖЕЙМС Р. МЕЛЛОУ (JAMES R. MELLOW; род. в 1926 г.) — американский критик и историк литературы. Автор книг «Натаниел Хоторн и его время» («Nathaniel Hawthorne in His Times», 1980), «Выдуманные жизни: Ф. Скотт и Зельда Фицджеральд» («Invented Lives: F.Scott and Zelda Fitzgerald», 1984), «Хемингуэй: жизнь без последствий» («Hemingway: A Life Without Consequences», 1994).
Книга «Зачарованный круг, или Гертруда Стайн и компания» была издана в США в 1974 году («Charmed Circle. Gertrude Stein and Company». New York, Washington, Praeger Publishers).

КЛОДИЯ РОТ ПИРПОНТ (CLAUDIA ROTH PIERPONT) — американская писательница, эссеистка, работающая в биографическом жанре, автор книги «Пылкие умы»

(«Passionate Minds»), рассказывающей о жизни и творчестве двенадцати знаменитых современных писательниц.
Публикуемая в номере статья «Мать утраты смыслов» («The Mother of Confusion») взята из журнала «Нью-Йоркер» («The New Yorker», May 11, 1998).

ГЕТАШВИЛИ НИНА ВИКТОРОВНА — кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусства Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Член международной ассоциации искусствоведов. Директор художественной галереи «Нина». Автор статей по изобразительному искусству.

■Переводчики:

МОТЫЛЕВ ЛЕОНИД ЮЛЬЕВИЧ (род. в 1955 г.) — переводчик с английского. В его переводе издавались романы «Неестественные причины» Ф. Д. Джеймс («ИЛ», 1992, № 11-12; совместно с И. Бернштейн и Г. Чхартишвили), «Завещание Оскара Уайльда» («ИЛ», 1993, № 11) и «Процесс Элизабет Кри» П. Акройда («ИЛ», 1997, № 5), «Восток есть Восток» Т. Корагессана Бойла («ИЛ», 1994, № 8; совместно с И. Бернштейн и Г. Чхартишвили), «Бедные-несчастные» А. Грея («ИЛ», 1995, № 12), книга американского историка Дж. Стефана «Русские фашисты» (М., 1992), рассказы А. Грея («ИЛ», 1996, № 9), Дж. Барнса («ИЛ», 1999, № 1), А. Конан Дойла, Г. Э. Бейтса, «Из «Маргиналий» Эдгара А. По («ИЛ», 1999, № 3), стихи Р. Киплинга и др.

АСТАФЬЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА — поэт и переводчик польской поэзии. Автор семи книг стихов. В «И[illegible]» публиковались ее переводы из поэзии К. Иллакович, М. Павликовской, Я. Ивашкевича, А. Свирщиньской, Я. Б. Ожуга, Ю. Хартвиг, В. Шимборской, Т. Новака, Е. Харасымовича, Х. Посвятовской, Е. Липской, Ю. Корнхаузера, А. Вата, А. Каменьской и др. Лауреат польских переводческих премий ЗАиКС (1979) и ПЕН-клуба (1993), премий «ИЛ» (1986, 1989).

БАСКАКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА — египтолог, кандидат исторических наук. В ее переводе опубликована книга Я. Ассмана «Египет: теология и благочестие ранней цивилизации» (1999); готовятся к печати книги К. Жака «Нефертити и Эхнатон: Солнечная чета» и А. Роке «Брейгель, или Мастерская сновидений».

МИХАЙЛИН ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ (род. в 1963 г.) — переводчик, литературовед, кандидат филологических наук. В его переводе издавались романы «Жюстин», «Бальтазар», «Маунолив» и «Клеа» Л. Даррела, пьесы «Лир» Э. Бонда и «Козий остров» И. Бетти, «малая проза» Д. Г. Лоуренса, У. Б. Йейтса, Дж. Барта, Г. Гессе, Л. А. фон Арнима, М. Ауслендера, Саки и др. В «ИЛ» в его переводе напечатана глава «Коронация 1930 года» из книги И. Во «Когда не ездить было — грех» (1999, № 2) и роман «Конец пути» Дж. Барта (1999, № 5).

КАЗАВЧИНСКАЯ ТАМАРА ЯКОВЛЕВНА — переводчик с английского и польского языков. В ее переводе издавались художественные биографии: «Мэри Шелли» М. Спарк, «Записки викторианского джентльмена — У. М. Теккерей» М. Форстер, «Жизнь Шарлотты Бронте» Э. Гаскелл, «Николай Чернышевский — человек эпохи реализма» И. Паперно, а также повести «Безумный Монктон» У. Коллинза, «Дом и разум» Э. Бульвера-Литтона, памфлеты Д. Дефо, эссеистика У. М. Теккерея («ИЛ», 1986, № 1), главы из книги «Западный канон» Х. Блума («ИЛ», 1998, № 12), главы из книги «Дороги беззакония» Г. Грина (совместно с А. Ливергантом), рассказы Р. Киплинга, С. Моэма, Г. К. Честертона и др. В переводе с польского опубликованы: сборник рассказов «Особый знак» Г. Бацевич, «Семиотика книги» М. Червинского и др.

БОРИСЕНКО АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА — аспирантка филологического факультета МГУ; **СОНЬКИН ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ** (род. в 1969 г.) — сотрудник Института славяноведения и балканистики Российской академии наук; переводчики с английского, соавторы ряда рецензий на произведения зарубежной литературы и обзорных критических статей. Статья «Букеровская премия и лоскутные одеяла» была напечатана в «ИЛ» (1997, № 6). В их совместном переводе печатались произведения П. Трэверс, П. Остера и Ч. Симика («ИЛ», 1996, № 10).

■

РУССКИЙ ЖУРНАЛ
www.russ.ru

ежедневное сетевое издание,
посвященное наиболее актуальным
проблемам политической,
литературной и культурной жизни

ВЫХОДИТ В ИНТЕРНЕТЕ С ИЮНЯ 1997 ГОДА

Ежедневно на сервере РУССКОГО ЖУРНАЛА:

- ☑ рецензии на новые книги, журналы и учебники
- ☑ новости электронных библиотек русского Интернета
- ☑ последние события политической и культурной жизни
- ☑ аналитические обзоры масс-медиа
- ☑ дискуссионные форумы
- ☑ экспертные оценки и мнения по широкому спектру гуманитарных проблем
- ☑ новости киберкультуры и анализ различных вопросов развития Интернета

Русский Журнал (http://www.russ.ru)
103009, Москва, Малый Гнездниковский пер., д.9, стр.3б
тел.: (095) 201-81-70
(095) 201-80-83
факс: (095) 201-75-51
e-mail: journal@russ.ru

МОСКОВСКИЙ ЛИТФОНД и АЛЬФА-БАНК

сообщают, что ими учрежден

СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ
(прозаиков, поэтов, драматургов, критиков, переводчиков) — членов Литфонда, работающих над новыми произведениями.

Начиная с 1 ноября 1999 года 15 писателей, прошедших конкурсный отбор заявок, будут в течение года получать ежемесячную стипендию в размере 1200 рублей.

Чтобы принять участие в соискании стипендии, *следует до 25 сентября 1999 года подать в Московский Литфонд заявку на будущее произведение.* Заявка пишется в произвольной форме, но в ней должны быть указаны: *жанр, тема или краткий сюжет, примерный объем. Размер заявки не более 3 страниц.* Кроме того, соискатель представляет вместе с заявкой *фрагмент будущего произведения*; *отрывок не должен превышать половину авторского листа.*

И заявка, и отрывок подаются в 3 экземплярах.

Представленные документы рассматриваются экспертной комиссией, состоящей из представителей ведущих литературно-художественных журналов. *Имена стипендиатов будут объявлены в конце октября.*

Прием заявок производится в Московском Литфонде (Гоголевский бульвар, 8. Тел. 291-85-85) ежедневно с 14 до 17 часов, кроме пятницы.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

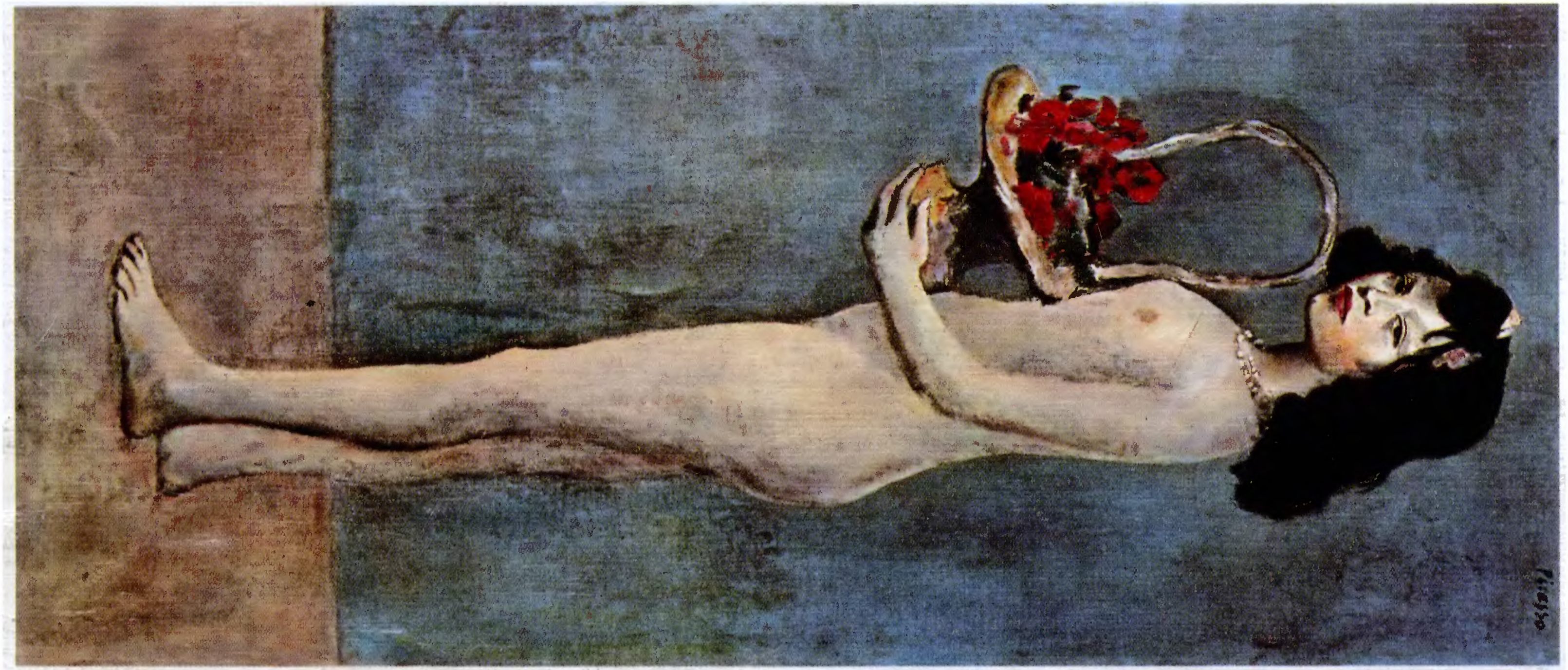
галерея
линия-арт

Среди ведущих
авторов Галереи
известные московские художники,
представители поколений
60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ
ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ
АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
ИГОРЬ КИСЛИЦЫН
АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
ОЛЬГА БУЛГАКОВА
СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ
ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО
ОЛЕГ СЛЕПОВ
КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Адрес Галереи:
Пятницкая ул., д. 41, стр. 1
(левое крыло
особняка)

Галерея открыта для посетителей
с 12 до 20 час.
по предварительным заявкам.
Тел./факс **953-3624**; **201-2603**



ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1999, №7, 1 — 256.

ИНДЕКС 70394